

84Р7  
Т-26

А. ТВАРДОВСКИЙ М. ГЕФТЕР

**XX**  
**век**

**ГОЛОГРАММЫ  
ПОЭТА И ИСТОРИКА**





84 P7  
T-26

2010/62-3704

Рвардовский А.  
XX сес. Генерал.  
1167 норма II

KA  
- 496 C



Издательская программа правительства Москвы

к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне



А. ТВАРДОВСКИЙ М. ГЕФТЕР

Aerospace Manufacturing Management 2010-2011

www.oxfordjournals.org

Bek

# ГОЛОГРАММЫ ПОЭТА И ИСТОРИКА

## Н **Х**НОВЫЙ ХРОНОГРАФ

Москва  
2005

84Р7  
Т26

УДК 821.161.1-822  
ББК 84 (2 РОС.=РУС.) 6

Т26

Автор идеи, редактор-составитель — ЕЛЕНА ВЫСОЧИНА

Художественное решение — ЮЛИЯ САВЧЕНКО

**Твардовский А.Т., Гефтер М.Я.**

**Т26 ХХ ВЕК. ГОЛОГРАММЫ ПОЭТА И ИСТОРИКА.**

Составитель: Е.И. ВЫСОЧИНА. —

М.: Новый хронограф, 2005. — 496 с.

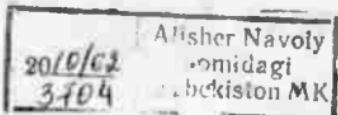
Мир XX века предстает в этой книге в ощущениях-переживаниях и мыслях двух современников — поэта, прозаика, главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского и историка, философа, публициста Михаила Гефтера. Их разножанровое двухголосье во множестве голограмм-фрагментов, деталей, оттенков и панорамных полотен воссоздаёт в неожиданных ракурсах картину минувшего столетия.

Ряд произведений А. Твардовского (поэзия, проза, военные корреспонденции), а также большая часть текстов М. Гефтера не были известны до сих пор. Извлеченные из личных архивов, они являются первой книжной публикацией или неизвестными читателям вариантами текстов.

ББК 84 (2 РОС.=РУС.) 6

Агентство SIP РГБ

Охраняется законом РФ об авторском праве.



ISBN 5-94881-038-0

- © НОВЫЙ ХРОНОГРАФ. 2005
- © Е.И. ВЫСОЧИНА. составление, редактура,  
подготовка текстов М.Я. Гефтера. 2005
- © А.Т. ТВАРДОВСКИЙ [наследники]. 2005
- © Ю.А. САВЧЕНКО. дизайн, 2005
- © Тексты М.Я. ГЕФТЕРА. Центр «УТОПИС». 2005

# СОДЕРЖАНИЕ

От составителя

11

М.Гефтер

Россия:  
пространство и время

19

## КОРНИ

А.Твардовский      М. Гефтер

Родная картина **27**

Перевозчик **28**

Матери **29**

Лес осенью

**30** Словом Строится начало

Братья **33**

Есть обрыв **34**

Размолвка **35**

Дождь надвигается внезапный **36**

В поселке **37**

На хуторе Загорье **38**

**40** Непоправимые 30—

СТРАНА МУРАВИЯ **47**

**87** Кромешный поиск

М. Гефтер

Металоколение

91

## ПРЕДВЕСТИЕ

А.Твардовский      М.Гефтер

Две строчки **103**

**104** 39-40-й: долгий год

Зашел я в дом, где жил герой **106**

С Карельского перешейка **107**

Из фронтовой тетради

Не дым домашний над поселком **119**

Жеребенок **120**

Григорий Пулькин **123**

Велика страна родная **126**

Зима под небом неожитым **127**

**128** Симптомы

**132** 1940: эпизод  
в контексте развики

М.Гефтер

Капкан

**141**

## ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЛОМНАЯ

А.Твардовский      М.Гефтер

Я знаю, никакой моей вины **151** На зыбкой грани

Война, война. Любой из нас **154**

Память первого дня

Сидели старики под липой старой **157**

**158** 22 июня 41-го

**6.VII. 1941** **161**

Из дневников и писем

**О героях 162**

*Газета «Красная армия» 163*

Командир батареи Рагозян  
Рассказ боцмана Шербины

*Дневники. Письма. 1941-1945 167*

*Газета «Красная армия» 168*

Николай Буслов и Владимир Соломасов  
Майор Василий Архипов

*Рассказ танкиста 172*

*Газета «Красная армия» 174*

Батальонный комиссар Петр Мозговой  
Сержант Павел Задорожный  
Сайд Ибрагимов

Под вражьим тяжким колесом 181

*28.II. 1942 182*

*Из дневников и писем*

Дом бойца 183

Зачем рассказывать о том 184

На родных пепелищах 185

**188 Живые мертвые**

Я убит подо Ржевом 189

О стихотворении «Я убит подо Ржевом» 192

«Гитлер-газен-ваген» 194

В Витебске 195

Когда пройдешь путем колонн 197

В поле, ручьями изрытом 198

Кенигсбергское утро

У моря 200

В тот день, когда окончилась война 204

*3.V. 1945 207*

*Из дневников и писем*

**208 Перекличка**

## ЖИЗНЬЮ ТЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК

А. Твардовский      М. Гефтер

А. Твардовский — Марии Илларионовне, жене. 215

Москва — Чистополь (письмо второе, с окаиней)

8.VII. 1942

216 Да будет болью боль

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН. Книга про бойца 223

301 «Потерял и уберёт»

М. Гефтер

Притяжения-отталкивания

303

## САМОСТОЯНЬЕ

А. Твардовский      М. Гефтер

309 Утопия суверенности  
«жизни как таковой»

ДОМ У ДОРОГИ. Лирическая хроника 311

335 ДОМ как МИР

М. Гефтер

Проблеск

339

## ПРЕОДОЛЕНИЕ

А. Твардовский      М. Гефтер

Послевоенная зима 349

Беда откроется не вдруг

Жестокая память 350

351 <Из блокнотов>

В те дни за границей	<b>353</b>
Не знаю, как бы я любил	<b>354</b>
Вся суть в одном-единственном завете	
	<b>355</b> Обидная бесприютность
<i>Из рабочих тетрадей 60-х годов</i>	<b>361</b>
	<b>373</b> Узость и безграничье
ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ	<b>377</b>

## ЗЛОБА ДНЯ

A.Твардовский	M.Гефтер
	<b>407</b> Душа и злоба дня
<i>Из рабочих тетрадей 60-х годов</i>	<b>409</b>
	<b>454</b> Встречи без встреч
<i>Из рабочих тетрадей 60-х годов</i>	<b>460</b>
3.IV.66.Показ	
Чернил давнишних блеклый цвет	<b>461</b>
	<b>462</b> После самого страшного

## К ОПЫТУ — ОПЫТ

A.Твардовский	M.Гефтер
	<b>467</b> Небесспорный
Памяти матери	<b>469</b>
Трехногий одноглазый пес	<b>472</b>
В дальний угол шалаша	
Лежат они, глухие и немые	<b>473</b>
Есть имена и есть такие даты	
	<b>474</b> Возврат в мир
Полночь в мое городское окно	<b>477</b>

В чем хочешь человечество вини

Всему свой ряд, и лад, и срок 479

Что нужно, чтобы жить с умом?

Час мой утренний, час контрольный 480

Не впасть бы мне в чрезмерную гордыню

**481 Начать со слова**

**483 Постскриптум**

Об авторах

А.Твардовский

Автобиография

«Фрагменты»

**485**

Е.Высоцина

М.Я.Гефтер

**491**

### От составителя

Эта книга — эксперимент. Не исключаю, что странный и уж точно весьма рискованный. Но так случилось, что много лет работая сначала с М. Я. Гефтером, потом с его архивом, я оказывалась в поле притяжения и А. Т. Твардовского. Они — современники, между датами рождения небольшой срок: Твардовский появился на свет в 1910, Гефтер — на восемь лет позже. Разные судьбы — но немало и общего. Главное: ответственность, «нравственность мозга» и чувство вины, совестливость, «обидная бесприютность»...

Эти двое — поэт и историк — подсказали возможность их встречи под одной обложкой. И потребность в этом, и своевременность встречи — в год очередного юбилея победы, в юбилейный год со дня рождения поэта и со дня завершения знаменитой «книги про бойца» Твардовского, а также в год памяти Гефтера, ушедшего 10 лет назад в 1995-м.

Все сошлось. И потому главная тема, их важнейшая тема — век XX-й, который передал следующему тревоги, нерешенные вопросы, но также и опыт тех, кто принял их, как свои собственные и не уклонился от возможных, хотя и не единственных — ответов. Какими поэта и историка воспринимают сегодня?

Поэта изучают в школьной программе, историк признан оригинальным мыслителем.

Но оба — каждый по-своему — не прочитаны, не поняты, не расслушаны временем, в котором жили.

Гефтер о Твардовском: «им открытое Слово “думает” дальше, движется выше».

Это верно и применительно к автору слов, к его дару открывать то, мимо чего привычный взгляд порой проскальзывает.

(М. Гефтер — из блокнотов)

Резюме к А. Твардовскому.

Природу такого явления не постичь наложением иного — и тоже великого — опыта (наследства).

Общее — через особенное: е г о.

От него — к нему же: «предмету», человеку, Миру,

В последнем счете решает это последнее.

Обратным ходом: от него — Мира людей, Мира человека, — к поэту изначальному,

«просто» человеку,

начинающему свою жизнь и свое Слово.

Концы и начала значат здесь —

от Мира, который уже не тот благодаря ему.

к Миру, его первично сотворившему.

подвигнувшему, исторгшему из себя «вовне»

(вне — тут означает «внутрь»,

внутрь его сомнения,

его дерзания,

его «само-изменения»).

Это — реальная работа Слова, его «эстетическая этика»...

Дальше главное, труднейшее:

впрямь ли Мир уже не тот благодаря ему,

— и в каком отношении, смысле?

NB! Заново воскрешенная словом нравственная коллизия

XIX-го русского:

против себя — стать собою.

Перегрузка Слова = перегрузка Человека.

Историк убежден: есть в 20-м веке сгущения, концентрации страдания, требующие от человека остановиться и подвергнуть сомнению самого себя. Оттого так важно представить этот век в ключевых для него событиях, идеях, людях. Твардовский для Гефтера и есть одна из центральных фигур времени. В том смысле, — пояснял М. Гефтер, — в каком Г. Плеханов предлагал оценивать В. Белинского, то есть включая и его примирение с действительностью, ибо таким именно путем идущий человек и был центральной фигурой своего времени: Белинский — для XIX-го, а Твардовский — для века XX-го.

А потому нужна — был убежден М. Я. Гефтер — обстоятельная, «дельная» книга о Твардовском. Ее способен написать лишь тот, кто близок поэту корнями, складом ума, растревоженным сознанием, какому не успокоиться, пока не доищется дальних и окольных истоков бед мировых и российских, но также и надежд, поразительно близких бедам, им родственных.

О том, какой могла бы стать книга о поэте, можем судить теперь лишь по отдельным частям, наброскам, планам, идеям, наметкам... Сама же тональность была задана историком четко: не из частностей складывать Целое, а обнаруживать присутствие, преломление контекстов в фрагментах-голограммах, в произведениях, в душевных переживаниях, в житейских испытаниях. Голограмма как метод — не простое заимствование гуманитария-историка из области точного знания, но установка, ориентирующая на объемное, многомерное видение «линейных» по реалиям бытия явлений — будь то факт, переживание или текст.

Своими — порой краткими до афористичности — оценками этапов-эпох жизни страны и прозрениями о Твардовском Гефтер выяснил то, что прежде оставалось скрытым в «складках» исторической фактуры и не всегда улавливалось даже при основательном изучении минувшего века и перечтении поэта. Историк оснастил особой духовной, ментальной оптикой — и панorama двадцатого века обрела новые измерения и перспективы.

Да, есть особый способ видения — голограммический. Пояснял: «голограмма — такое воспроизведение мира, в котором Целое затаилось. Разыскать, увидеть, осветить его доступно, лишь вводя СЕБЯ в контекст». Через фрагмент, событийный сколок, странно поставленный вопрос, как и с помощью художественных образов, обладающих многомерностью голограмм, только и дано воссоздать ХХ век как одиссею мысли и духа в их страшных испытаниях,— убежден М. Я. Гефтер.

Тогда обнаруживается сложная картина неизвестных до поры смыслов, сопоставлений, связок российских тенет ХХ-го века с веком-предшественником.

Гефтер: <...> К подобию разных, от Конца к Началу:

от АТТ (Александра Трифоновича Твардовского)

к АСП (Александру Сергеевичу Пушкину).

Катализмы — в истоке.

Что близкого у «коллективизации» с николаевщиной?

Масштаб. Всех Россия.

С выносом вовне — в могущество, требующее платы людьми,  
питающееся человеческим мясом.

С обрывом в катастрофу могущества.

С переменою в жизни всех от смерти Одного.

И ЕЩЕ: Слово их — соавтор и жертва.

Тоже плата: жизнью, «мясом» поэта.

Различие, разумеется, велико.

АСП ушел досрочно.

АТТ пережил Сталина. Чего-то Пушкинского не достигнувши.

В чем-то превзошедши его.

«Новый мир» большее сотворил, чем «Современник».

Но оба вошли, растворившись во всеобщность,

в «нацию».

в следующий социум власти.

в движение Вопроса — в Россию как Вопрос...

Таков один из примерных ракурсов, заданных Гефтером для размышлений над историей российской и над творчеством Твардовского.

Масштаб мысли и чувства обоих авторов — **тайна**, над которой думать и биться не одному поколению. Вне этого пути иссякает самое человеческое — энергия страсти и сомнения.

Гефтер: Была б Севастопольская кампания победной,

быть может, Толстой и не написал бы «Войну и мир».

Не та ли роль у Финской кампании для АТТ? («Переправа»)

Любое, даже мимолетное замечание, вдруг делает очень значимым и весомым тоже вроде мимолетно оброненное Твардовским в дневнике периода войны, как тогда принято было говорить, с белофиннами: [8.III.40] «...Я же столько уже видел и слышал! Живем, пишем, болеем, ездим, замерзаем, пьем, едим и т.д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось. Сознание постарело.»

В блокнотах своих и набросках М.Гефтер часто вспоминал эти слова, обычные на первый взгляд-слух, но необыкновенно важные в том, что может случиться с человеком, поколением, страной. ПОСТАРЕЛО сознание... Что это? Мудрость, внезапно обретенная новым опытом? Опытом, чрезмерным для человека, нации, государства?

Вопросительность интонации, некатегоричность оставляет многие гефтеровские мысли и характеристики разомкнутыми. Подсказан

возможный ход размышлений. И тут подспорьем — новые свидетельства, неизвестные прежде материалы. Чутьем историка Гефтер угадал многое из того, что получило подтверждение в публикациях самого последнего времени. Мотивы поступков и идеи поэта в **испытаниях** двадцатого столетия стали ближе читателю благодаря изданным в веке XXI-м прежде неизвестным текстам, военным дневникам и письмам (издание 2005 года), рабочим тетрадям 1960-х (публикации 2000 — 2005 годов).

Фрагменты из этих новинок вошли и в эту книгу. В ней же даются первые книжные публикации стихов, статей из газеты «Красная Армия», не вошедших в считавшись «полным» собрание сочинений Твардовского. Он сам их не включил. А теперь его тексты о ежедневных тяготах войны, о том, что видел и замечал, как воспринимал-переживал и сохранил в слове — не менее важное свидетельство жизни духа и истории самого поэта.

При отборе текстов поэта я опиралась на шеститомное собрание сочинений и другие издания Твардовского из гефтеровского архива. Наиболее близкие историку произведения хранят следы помет, подчеркиваний. Расставленные им акценты — своего рода партитура прочтения поэта, при котором не покидает нас мудрый поводырь-Вергилий.

Упомяну и контекст их личных взаимоотношений.

Поэт и историк — современники. Михаил Гефтер был автором «Нового мира»; в трудные времена, предшествовавшие разгону сектора методологии истории Академии наук СССР, которым он руководил, А.Т. Твардовский опубликовал развернутую рецензию на книгу,\* вызвавшую резкие нападки\*\* отдела науки ЦК партии.

\*Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. М., 1969

\*\*Об этом: Неретина С.С. История с методологией истории // Вопросы философии. 1990.— № 9; Твардовская В.А. Излом [На рубеже 1960-70-х годов] // Аутсайдер — человек вопроса. 1996, часть 1.— С. 200-213; Курносов А.А. За кулисами. По материалам Центра хранения современной документации.— Там же. С. 164-182.

Их личные контакты весьма скучны: обмен несколькими письмами, взаимное уважительное отношение — на дистанции. Но не прерванными даже после ухода А. Твардовского из жизни оказались «встречи без встреч», как называл М. Гефтер «собеседования» с людьми, поддерживаемые его интересом к ним. Стенограммы «встреч» историка сохранились в виде аудио-записей, запечатлены в текстах и на многих листках вопросов, с которыми обращался к себе, а оставил додумывать — нам.

Все тексты А.Т. Твардовского и примечания к ним, а также фотографии из семейного архива публикуются с разрешения наследников поэта В.А. Твардовской и О.А. Твардовской.

Тексты А.Т. Твардовского печатаются по:

Твардовский А.Т. Собрание сочинений в шести томах.— М.,— Т 1-6.; 1966-1971.

Поэма «Теркин на том свете» в полном виде (с восстановленными строфами) публикуется по изданию: Твардовский А.Т. Я забыть того не вправе... Поэзия. Записки. Публицистика.— М.: Русская книга, 2000.

Дневниковые записи публикуются по:

Александр Твардовский «Я в свою ходил атаку...» Дневники. Письма. 1941-1945.— М., Вагриус, 2005.

Александр Твардовский. Рабочие тетради 60-х годов. // журнал «Знамя» (2000-2005 гг.) — Публикация В.А. и О.А. Твардовских. Примечания в №№ 6, 7, 9, 11, 12 за 2000 год Ю.Г. Буртина и В.А.Твардовской, в остальных частях — примечания В.А. Твардовской.

**Составитель книги приносит особую благодарность наследницам поэта за консультации, советы и предоставление права первой книжной публикации ряда произведений А.Т. Твардовского.**

При подготовке очерков и корреспонденций военных лет из газет сохранена орфография оригинала.

Основная часть наследия М.Я Гефтера хранится в личном архиве историка.

Тексты, фрагменты из дневников, блокнотов и аудиозаписей М.Я. Гефтера специально подготовлены для настоящего издания и публикуются впервые. Истинно творческое участие в подготовке этих материалов к печати про-

явила Р.В. Лысенко. Все работы по сохранению и переводу в цифровую форму архива М.Я. Гефтера были бы невозможны без заинтересованного участия и помощи Г.О. Павловского.

Датировки текстов и поэта, и историка приведены там, где они необходимы для ориентации читателя.

Угловые скобки с троеточием внутри них означают пропуск части текста оригинала.

В текстах Гефтера сохранена манера записи: угловые, круглые и квадратные скобки, подчеркивания, восклицательные и вопросительные знаки в середине фраз и т.д. Слова, написанные сокращенно, даются в полном виде, аббревиатуры раскрываются в двойных круглых скобках.

В рабочих тетрадях А.Т. Твардовского восстановленные после авторского сокращения буквы заключены в прямых квадратных скобках. Восстановленные буквы — в угловых скобках.

Фотографии А.Т. Твардовского и М.Я. Гефтера — из личных архивов поэта и историка.

Елена Высочина

20/0161  
3704

Alisher Navoiy  
nomidagi  
O'zbekiston MK



М.Я. ГЕФТЕР, 1994 г.

М. Гефтер

## Россия: пространство и время

Есть времена, когда расхожие мнения рушатся в одночасье и человек воочию постигает суть жизни, могущество Времени и неподатливость Пространства, их сродство и их несовместимость.

Век XX, вероятно, в этом отношении разительнее предшественников, а наша Евразия является уроком особенно тревожный. Однако вправе ли мы говорить о единственном образе Времени и Пространства? Ведь у него множество индивидуальных вариаций. Чем ближе к современности, тем ощутимее гамма растущей несходства этих вариаций и противоположная ей тенденция, гасящая своеобразие. И относится это не только к отдельным людям, но и к народам.

Пространство нынешней России и бывшего СССР огромно, многоцивилизационно. В растерянности и страхе пятимся от выходящего наружу страшными толчками несовпадения родословных. Страсти заново обретаемой суверенности делают спорными не только границы отдельных территорий, но и всю евразийскую связность как таковую. Острота «пространственной» проблемы подчеркивается временной лихорадкой: все рвутся к окончательному решению и сообща упускают сроки неизбежного компромисса. Таким образом, наш хронотоп — ныне ключ ко всей ускользающей семантике долгой переустройки.

Сегодняшние напасти подстрекают обернуться в прошлое — не в поисках буквальных совпадений, а с целью уяснения истоков того, что мы условно можем назвать русско-российским образом

времени и пространства. Какие обстоятельства придали ему «лица необщее выраженье»?

Открываем знаменитый словарь «живого великорусского языка» (составитель Владимир Да́ль, первое издание 1863-1866). Какое емкое определение Времени: «пространство в бытии», «продолжение случаев, событий». Конечно, и в других языках нечто близкое, родственное. Ибо все подобные определения восходят к первичным прообразам, как и к последующим, собственно-историческим переосмыслениям архетипов. Но и русский свет падает на эти крылатые слова. Где-то в истоках «пространства в бытии» и «продолжения случаев» — и взаимовхождение городской Руси начальной эпохи и переменчивой в своих этнических ликах «Степи» кочевников; цезура чингиз-хановых нашествий, и «конкиста» московского царства, по следам монголо-татар достигающего в считанные десятилетия берегов Тихого океана. А затем — имперское расплаззание, стимул которого — неисполнимость органического переваривания захваченных и присоединенных земель.

Поэтому — российское пространство — постоянно осваиваемое, вновь и вновь открываемое... И — «закрываемое» вновь и вновь.

Не от Пространства ли у нас и Время особое, вернее — движение к тому искомому «единому» Времени, какое становится поприщем и власти и культуры? А поскольку та и другая притязают на всю необъятную безразмерность судеб и человеческих душ, поприще это — оно же и ристалище. Тяжкий конфликт, но и диалог, выводящий обе стороны за пределы Руси-России. Уже автор «Повести временных лет» так определял свой предмет: «откуда есть пошла» и откуда «стала есть» русская земля, что вобрала в себя и чем достигает пределов единства.

Еще масштабнее определение Времени в идеограмме «Третьего Рима». Проходящее и вечное,rudименты традиции и мессианизм веков (XV-XVI), делавших всю Землю Миром, спрессованым в категоричности утверждения-обета самодержавности: «а Четвертому (Риму) не быти». Заявка на Рим-Мир, которая с тех пор — при всех, даже самых радикальных — превращениях, отстаива-

лась как нечто в основе неизменное, имела и отчетливый внутренне российский адресат. Власть — по крайне мере от Ивана IV с Николаем I посередине — зачисляла Память в свою собственность и оттого самое Время становилось лишь «знаком», оторванным равно и от повседневной бытийности, и от событийной истории. Циклы выравнивания — вместе с тем и циклы отстаивания памятью верховенства «пограничного» времени — Всемирно-российского...

Но память заводит эти часы так, что стрелки их идут в сугубо разном ритме: от плавной текучести народных поверий до бешено аритмии революционных скачков. Патриархальное сознание сближало землю — небесный Мир с микрокосмом общины (именуемой МИР) и с ближним родовым краем, хотя за ним предполагалось «тридевятое царство». Самые дерзкие и неуемные совершали «хождения за три моря», осваивали глазами и руками новые земли.

Живая память крестьянина хранила подробности жизни двух-трех поколений, но через века проносила полные торжества сказания о чудо-богатырях, сверхъестественных силах, которым подвластны просторы без предела. Не случайно и одно из простонародных значений слова «время» — земное благоденствие («Доля во времени живет, бездолье в безвременьи»; «Время красит, безвременье старит, чернит»). С отношением ко Времени и Пространству связывалась также и человеческая натура: непостоянный именовался «временчивым», медлительный — «временительным»; тот, кто достигал высокого положения без достаточных на то оснований — «временщиком», а царь-батюшка — властелин «пространнодержавный». Из народного же языка и понятие «безврёменье». Сначала — со значением: неладно сложилось, нежелательно (как в поговорках: «Было время, осталось одно безвременье»; «Не радуйся чужому безвременью, сам под Богом ходишь»).

На высоких этажах культуры первичный, неосознанный синкретизм Времени и Пространства как бы раздвоился; каждая из составляющих стремилась утвердиться за счет другой, не имея возможности

существовать врэзь. Тревожное отношение к потоку времени, несопоставимому с краткостью человеческого существования и жажда охватить взором российские просторы, таящие в себе угрозу человеку, рождали общую тональность — и не только поэтического слова, но образности вообще, столь характерной для русского самосознания со времен Пушкина. Как часты сетования его на ужас безвременья, на заклятость всепоглощающего пространства!

Богом забытое захолустье, отдаленная провинция Хроноса. В фантастическом видении Николаю Гоголю Русь представлялась пустынной дорогой, занесенной вы沟ой, с единственной почтовой станцией, где один-единственный смотритель путнику черство отрежет: «Нет лошадей!» Нет движения и омертвело время. Но вызовом судьбе — другой образ — Руси-тройки: «Русь! Чего же ты хочешь от меня?.. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца?»

Маргинальная Россия, ищущая свой вход в человечество, творилась маргиналами: «странными», «лишними», вечность воспринимавшими как наказание. В недрах XIX века складывался тип мысленного действия, обращенного как к отдельному человеку, так и ко всей России — собиральному человеку, человеку в пути, человеку-отвоевывателю Времени. Формула Чаадаева: «Время Бог уступил людям», развитая и переведенная на внятный язык поступка Герценом, Чернышевским, «новыми людьми» 1860-1870-х годов, придала конфликту Времени с обезлюживаемым пространством самовластья драматизм открытой схватки, в ходе которой стороны (как в finale «Гамлета») не-приметно обменивались шпагами,— и отрава неохватного Пространства, как и отрава подстегиваемого Времени, иллюзия бойкого, бодрого хода истории вошли в самое тело радикального движения, как и его разночинской, интеллигентской периферии. (Вслушайтесь в названия российских толстых журналов XIX века: «Современник», «Современные записки», «Время», «Эпоха»...)

Расплата не заставила себя ждать. Рубикон — 1917. Людей подняло с мест, закрутило, швырнуло из городов и деревень — на войны, за пределы страны, иных — в места новых поселений, либо в бараки лагерей, а то и в «распил».

Время стали взнудзывать. Одним прыжком жаждали преодолеть отсталость, под которой зачинатели понимали не только «вещество», но и дух. Теперь, однако, жизнь за пределами цивилизации стала рассматриваться как преимущество. Все перекрыло понятие вселенского «авангарда».

«Шагай, страна, быстрей моя,  
Коммуна у ворот.  
Вперед, время!  
Время, вперед!»

Это звучало и с трибун, и на демонстрациях, и в клубах.

Куда рвались? В новое царство — не менее, чем во всесветное и на все времена. Экспансия слитого воедино Времени-Пространства перемахивала границы. Жизнь во славу «Коммуны» стала новой религией, «тэмп» — новым Богом. Расчистка пространства для них оправдывала лишения, требовала жертв и ярости преодоления. Подхлестывалось даже спланированное, а планы заранее расчитывались на «встречные», укороченные сроки. Так исподволь вырастал и укоренялся «социум власти» — с родовыми чертами векового рабства, но вместе с тем отмеченный энтузиастическим конформизмом, без которого не может просуществовать ни один из тоталитарных режимов XX века. Вот почему и «демонтаж» этих режимов столь сложен, а их переживания упорны в своих перелицовках. Забыть ли хрущевское «великое десятилетие» со стоящими в одном ряду XX съездом и «Новочеркасской бойней», распашкой казахстанской целины и окончательным распадом деревни, пионерскими полетами в космос, надвигавшимися экологическими катастрофами — и все это в счет грядущего, до которого, как утверждали лозунги, призывы и заклинания — рукой подать, ибо провозглашалось в семидесятые годы XX века: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Однако Время из последних сил сопротивлялась насилию над ним. Вопреки тиражированной идеологии, несмотря на бесконечные «промывания мозгов», в человеке уцелела тяга к независимому, личностному Хроносу. Чаще всего эта тяга — в предельном заострении бездорожья и безвременя, распространяемых на весь Мир. Врабатываясь в Котлован — нарицательный образ и название одного из романов Андрея Платонова — люди теряли вместе с линией горизонта и самих себя. Теряя — обретали в Слове, медленно, тяжко проникающем в бытие. Первом Твардовского Никита Моргунок, подобно предкам, путешествовал в поисках земли обетованной... И им же предвещалось появление свободного человека из толщи, свободного на исторический миг — Василия Теркина,— который в годину страшнейшей из войн вступил в прямой, минующий режиссера-идеолога разговор со смертью, переоткрывающей смысл жизни. А интеллигент — лирический герой Осипа Мандельштама — не терял до конца веру в то, что неведомое и желанное «небохранилище» — прижизненный дом.

В российском Хронотопе, что переживает ныне агонию, открываются, однако, заинтересованному взгляду приметы возрождения. Пространство, наконец, обретет жизнепоказанную эволюционную меру, тем самым снимая оковы и вериги со Времени. Что впереди? Если не гибель, то Мир равноразных миров. Достойное место в нем.

# КОРНИ

А.Твардовский

М.Гефтер

Родная картина	<b>27</b>
Перевозчик	<b>28</b>
Матери	<b>29</b>
Лес осенью	
	<b>30</b> Словом строится начало
Братья	<b>33</b>
Есть обрыв	<b>34</b>
Размолвка	<b>35</b>
Дождь надвигается внезапный	<b>36</b>
В поселке	<b>37</b>
На хуторе Загорье	<b>38</b>
СТРАНА МУРАВИЯ	<b>47</b>
	<b>40</b> Непоправимые 30-е
	<b>87</b> Кромешный поиск



А.Твардовский

### Родная картина

Куда ни глянь — открытые для взора,  
Бегут поля в полосках межевых...  
Серебряными блюдами — озера  
Расставлены в прогалинах сырых...  
Ничуть не подрастающий сосонник  
Засыпал редко луговую даль...  
Здесь, словно резвые и молодые кони,  
Промчались детские мои года...  
У кладбища, сгущаясь синим бором,  
Сосонник говорлив и жутко тих...  
Болота...  
И болотные озера  
Серебряными блюдами на них.

1927

## Перевозчик

Стада неторопливых волн  
Скрываются за поворотом...  
Незнамо сколько здесь живет он  
И кто его сюда привел.

Как пена сед. Какой же прок?  
Когда придет успокоенье?  
Всю жизнь он правил поперек  
Неустающего теченья.

К другим с сединами покой  
Приходит верною походкой.  
А тут зовут паром и лодку  
И днем, и в тишине ночной.

На крик послушно торопись  
Для пешеходов и обозов...  
А кто-то скажет:  
— То-то жизнь.  
Малина — жизнь у перевоза...

Ни внуков, ни своей избы,  
Сиди в землянке, как в колодце.  
И — старость... Скоро, может быть,  
Его никто не дозовется.

Тогда помянут ли добром,  
Не говоря о лучшей славе:  
Следа он в жизни не оставил,  
Как по руслу реки паром.

1927

## Матери

И первый шум листвы еще неполной,  
И след зеленый по росе зернистой.  
И одинокий стук валька на речке.  
И грустный запах молодого сена,  
И отголосок поздней бабьей песни.  
И просто небо, голубое небо —  
Мне всякий раз тебя напоминают.

1937

## Лес осенью

Меж редеющих верхушек  
Показалась синева.  
Зашумела у опушки  
Ярко-желтая листва.

Птиц не слышно. Треснет мелкий  
Обломившийся сучок,  
И, хвостом мелькая, белка  
Легкий делает прыжок.

Стала ель в лесу заметней —  
Бережет густую тень.  
Подосиновик последний  
Сдвинул шляпу набекрень.

1927

М. Гефтер

Словом строится  
начало

**<Из блокнотов>**

Что в Твардовском «смоленское»

как почва и стимул, растущие в Слово и в жизненный принцип?

Чтоб понять и ответить, впору отступление — в Элладу, в Древний мир.

А от этого — в русскую историю...

Есть в нем глубинное и особая отпечатанность общерусского прошлого —  
нашествий, междуусобий, «смут» —

и воспоминание о XIX-м веке не менее сильное...

Но важнее всего личное,

по-своему соединяющее старое:

отцовское и дедовское

с новым,

как бы устраниющее их антагонизм, если он вообще был...

Деревня — через революцию врастающая в Мир живых,

беспокойных, творящих людей. Вот она — эстетика жизни,

рожденная Александром Твардовским...

Не им одним,

но им доказанная до эпоса и трагедии,

без надрыва и плача, но со своей занозой в сердце.

---

Не то у Есенина — и различие только ли в «эпохах»?

---

Укорененность

Твардовского в российскую почву не требует доказательств.

Ему не нужна для этого ни кормилица, от которой по версиям оным

произошла и пошла набирать силу народность Лермонтова.

И без Арины Родионовны прошло его детство.

С азов начинал.

но не застрял, не отстал. Книжность свободно уместилась,

не потеснив и не убавив свежесть непосредственного восприятия.

несозерцательное всматривание в то, что городской человек именует природой.

а для выходца из деревни составляет часть бытия —

отделимую (умом и талантом), но не устранимую, заново входящую в бытие же.

А. Т.

Еще о корнях.

В сравнении с московскими молодыми (Симонов, Алигер, Долматовский и др...)

У тех отчетливое желание (само-задание) отсчитаться от новых «гражданских войн».

Оттого и Испания в фокусе.

Смоленский выкорьмыш кажется сугубо периферийным.

Но — нет.

Тут свой, от себя, отсчет — путь к Миру, в Мир.

Это — не упустить!!

Твардовский — с чего начал?

Без мук вхождения (в сравнении с Б. Пастернаком 30-х) —

с тайным ощущением рядом ходящей смерти.

Не телесной даже. А це-бытия.

Сдвиг пластов, затрагивающий и живых отцов, и мертвых предков,

историю и то, что было до нее — и сверх нее.

«Время, вперед»?!

И — время, сбивающее с ног.

Вышибающее ВРЕМЯ.

Там, где «красный карлик», там — и «черная дыра».

Слава — и ощущение — циклами, повторами НЕ-СВОЕГО в СВОЕМ, поэтического НЕ-СВОЕГО в СВОЕМ — идеином, социальном, духовном.

Теркиным — нашел.

Теркин со всеми и ОДИН.

Оттого и близкий всем, что сам по себе.

Народная жизнь. Его сверх-тема...

Сквозь все — сформированное и замысливаемое.

А что ЭТО у НАС?

Особое, которое больше целого. Особое — ибо заведомо не ВСЕ, только ТЕ,

кто «внизу» =

(а ЧЕГО внизу тоже вопрос, когда-то очевидный будто,

затем эту очевидность истрачивающий...)

А больше вопросом оттого, что нет у этой «народной жизни» — если не этнография,

не бытописание, не слюни подделанные или даже неподдельные,—

если не это, то нет у этой самой жизни (!) ясного предмета

и четкой границы, а чувствуется, что граница

проходит через НЕБЫТИЕ и предметом имеет нечто,

чему еще БЫТЬ,

а раз БЫТЬ, то не только БЫТЬ тех людей, что тут «народ».

а для ЧЕЛОВЕКА «в целом»...

И эта неясность жаждет пояснения Словом,

какое также — ЧЕРЕЗ СВОЕ НЕБЫТИЕ К СВОЕМУ

неиспробованному БЫТЬ пробивается...

В его УХОДЕ судьба Слова все ближе к телесной развязке.

Твардовский — КАКОГО ВЕКА поэт?

Нелепый вопрос — смотри даты жизни, смерти.

Но это — с одной стороны.

А с другой?

Как Пушкин открывал российский XIX-й век «возвратом» к XVIII-му,

так он — из XIX-го: пушкинского, некрасовского, в странном сочетании

«дворянского» с «разночинным», народного без натуги и усилия познать и понять,

без особенного — неоплатного — долга перед «народом»

и народного же во втором, специально русском, особом

интеллигентском смысле...

«В начале Слово»

Перевертыш: Словом строится НАЧАЛО.

## А. Твардовский

### Братья

Лет семнадцать тому назад  
Были малые мы ребятишки.  
Мы любили свой хутор.  
Свой сад.  
Свой колодец.  
Свой ельник и шишки.

Нас отец, за ухватку любя,  
Называл не детьми, а сынами.  
Он сажал нас обапол себя  
И о жизни беседовал с нами.

— Ну, сыны?  
Что, сыны?  
Как сыны? —  
И сидели мы, выпятив груди. —  
Я с одной стороны,  
Брат с другой стороны,  
Как большие, женатые люди.

Но в сарае своем по ночам  
Мы вдвоем засыпали несмело.  
Одинокий кузнецик сверчал,  
И горячее сено шумело...

Мы, бывало, корзинки грибов.  
От дождя побелевших, носили.  
Ели желуди с наших дубов —  
В детстве вкусные желуди были!..

Лет семнадцать тому назад  
Мы друг друга любили и знали.  
Что ж ты, брат?  
Где ж ты, брат?  
На каком Беломорском канале?..

1933

Есть обрыв, где я, играя,  
Обсыпал себя песком.  
Есть лужайка у сарая —  
Там я бегал босиком.

Есть речушка — там я плавал.  
Как бывало, не дыша.  
Там я рвал зеленый явор.  
Плетки плел из камыша.

Есть береза вполобхвата,  
Та береза на дворе,  
Где я вырезал когда-то  
Буквы САША на коре...

Но во всей отчизне славной  
Нет такого уголка,  
Нет такой земли, чтоб равно  
Мне была не дорога.

**1936**

## Размолвка

На кругу, в старинном парке —  
Каблуков веселый бой.  
И гудит, как улей жаркий.  
Ранний полдень над землей.

Ранний полдень, летний праздник,  
В синем небе — самолет.  
Девки, ленты подбирая,  
Переходят речку вброд...

Я скитаюсь сиротливо.  
Я один. Куда идти?..  
Без охоты кружку пива  
Выпиваю по пути.

Все знакомые навстречу.  
Не видать тебя одной.  
Что ж ты думаешь такое?  
Что ж ты делаешь со мной?..

Праздник в сборе. В самом деле.  
Полон парк людьми, как дом.  
Все дороги опустели  
На пятнадцать верст кругом.

В отдаленье пыль клубится.  
Слышен смех, пугливый крик.  
Детвору везет на праздник  
Запоздалый грузовик.

Ты не едешь, не прощаешь,  
Чтоб самой жалеть потом.  
Книжку скучную читаешь  
В школьном садике пустом.

Вижу я твою головку  
В беглых тенях от ветвей,  
И холстиновое платье,  
И загар твой до локтей.

И лежишь ты там, девчонка,  
С детской хмуростью в бровях.  
И в траве твоя гребенка,—  
Та, что я искал в потьмах.

Не хотите, как хотите.  
Оставайтесь там в саду.  
Убегает в рожь дорога.  
Я по ней один пойду.

Я пойду зеленою кромкой  
Вдоль дороги. Рожь по грудь.  
Ничего. Перехвораю.  
Позабуду как-нибудь.

Широко в полях и пусто.  
Вот по ржи волна прошла...  
Так мне славно, так мне грустно...  
И до слез мне жизнь мила.

1936

Дождь надвигается внезалный,  
Ты выбегаешь на дорожку.  
Чтоб воротиться с первой каплей,  
Зажатой в смуглую ладошку.

В игре, в забавах хлопотливых,  
Моя веселая, родная.  
Растешь ты шумно и счастливо,  
О том не думая, не зная.

Ты по траве гоняешь мячик,  
На плечи мне влезаешь ловко.  
И пахнет солнышком горячим  
Светловолосая головка.

О детстве горьком, захолустном  
Я вспоминаю потихоньку  
И чуть завистливо, чуть грустно  
Смотрю на милую девчонку.

Целую русую без счета,  
Запорошенную песочком.  
И все хочу тебе я что-то  
Сказать, но не умею, дочка.

## В поселке

Косые тени от столбов  
Ложатся край дороги.  
Повеет запахом хлебов —  
И вечер на пороге.

И близок, будто на воде.  
В полях негромкий говор.  
И радио, не видно где,  
Поет в тиши садовой.

А под горой течет река.  
Чуть шевеля осокой.  
Издалека-издалека  
В другой конец далекий.

По окнам вспыхивает свет.  
Час мирный. Славный вечер.  
Но многих нынче дома нет.  
Они живут далече.

Кто вышел в море с кораблем,  
Кто реет в небе птицей.  
Кто инженер, кто агроном,  
Кто воин на границе.

По всем путям своей страны,  
Вдоль городов и пашен,  
Идут крестьянские сыны,  
Идут ребята наши.

А в их родном поселке — тишь  
И ровный свет из окон.  
И ты одна в саду сидишь.  
Задумалась глубоко.

Быть может, не привез письма  
Грузовичок почтовый.  
А может, ты уже сама  
В далекий путь готова.

И смотришь ты на дом, на свет,  
На тени у колодца,—  
На все, что может: много лет  
Видать во сне придется...

**1937**

## На хуторе Загорье

На хуторе Загорье  
Росли мы у отца,  
Зеленое подворье  
У самого крыльца.  
По грядкам — мак махровый,  
Подсолнух, лук, морковь.  
На полдень сад плодовый:  
Пять яблонь — пять сортов.

На хуторе Загорье  
В былые времена  
Леса, поля и взгорья  
Имели имена.

На Белой горке солнце  
Вставало поутру.  
На Желтой горке — елки  
Темнели ввечеру.  
А поле, что за баней  
Легло правей гумна.  
Мы Полем под дубами  
Назвали издавна.

Свой клин, своя держава  
Лежала у крыльца.  
Налево и направо —  
До первого копца.  
На том большом просторе,  
Все как один с лица.  
На хуторе Загорье  
Росли мы у отца.

На хуторе корову  
Пасли мы впятером.  
Сад стерегли плодовый,  
Смотрели за двором.  
В овине хлеб сушили,  
Брели за бороной.  
Ходили, как большие,  
С руками за спиной

Мы были хуторяне  
Отец нам не мешал.  
Мы хутор свой заране  
Делили по душам.  
В избе и в поле часто  
Вели мы жаркий спор  
Кому какой участок,  
Кому где ставить двор.

Согласно поговорке,  
Старались так решить,  
Чтоб не тебе задворки.  
А мне одни оборки.  
А чтоб на Белой горке  
И чтоб на Желтой горке  
Всем братьям ровно жить.

Дворов, дворов — деревня,  
Все батькины сыны.  
На пятерых деревья  
В саду разделены.  
На пятерых коровка,  
И лошадь, и хомут,  
На пятерых веревка  
И наши ременный кнут.  
На пятерых, по силе,  
Лопата, плуг, коса,  
На пятерых — четыре  
Тележных колеса...

О детство! Смех и горе!  
Десятою травой  
На хуторе Загорье  
Порос участок мой.  
Ни знака, ни приметы  
Бывалой не найдешь.  
Ни Белой горки нету.  
Ни Желтой горки — рожь.  
Высоко, гордо вскинув  
Свой колос молодой.

Границы хуторские  
Укрыла под собой.

На хутор свой Загорье —  
Второй у батьки сын —  
На старое подворье  
Приехал я одни.

А где ж вы, братья, братцы,  
Моя родная кровь?  
Вам съехаться б, собраться  
На старом месте вновь.

Как в песне либо в сказке.  
Слететься б вам, друзья,  
Слететься б вам, подпаски  
Загорьевской закваски.—  
Да нет! Как раз нельзя.

Как в песне либо в сказке —  
Забот моей родне:  
Великие участки  
У всех в родной стране.

Налево и направо  
Лежит во все концы  
Свой край, своя держава,—  
Служите, молодцы!

По долгу и по праву,  
Когда настанет час,  
На смерть, на бой, на славу  
За родину-державу  
Идите, не страшась!

На хутор свой Загорье —  
Второй у батьки сын —  
На старое подворье  
Пришел, стою один.  
Стою во ржи молочной.

И так далек, далек  
Глухой, чудной, нарочный  
Наш хутор-хуторок.

Сошло, прошло, забыто.  
Давно, как пыль дождем,  
К земле сырой прибито.  
Пластом земли покрыто,  
И дымным цветом жито  
Цветет на месте том.

1939

М. Гефтер

Непоправимые 30-е

Вспомните финал «8 с половиной» Феллини. Неживые тени, мертвые призраки, а посередине — мальчик, играющий на флейте. А вы замените его мальчиком, играющим на пионерском горне. Мальчиком, который у своей мудрой бабушки просит отдать ему большую еврейскую молитвенную книгу,— они в пионерском отряде решили сделать костер из библей, религиозных книг. И бабушка, любящая внука, отдает, только снимает старинный переплет, оставляя его себе на память. Вот вы и встретились со мною, тем, того времени, соприкоснулись с далеким мальчиком с пионерским горном...

Ужаснуться? Пожалеть его? Сказать следующим — помните, что они БЫЛИ и что их, таких — К СЧАСТЬЮ — уже НЕТ и, верно, не будет?

---

Когда началась гражданская война?

В самой распространенной и непосредственной форме — в деревне.

По Марксу революция = гражданская война.

Но мы привыкли мерить ее меркой 1918-го — 20-го, меркой крови, смерти, раздела, гибели дворянских гнезд, уравнительности, возведений в быт и бытие...

Выигрывала ли культура от разгрома?

(«Декреты Советской власти»).

Военный коммунизм не есть нечто однородное, чистое.

Равенство в сочетании с неравенством. Натуральность неизбежная и возводимая в абсолют.

Куда отступит?

---

Сложным образом шли доводка, освоение, перевод в быт сдвигов.

совокупность которых и составляла революцию.

И тут же — иной процесс = преодолению самой коллизии революции. (Инъекции псевдопафоса?)

Равенство и тут, и там.

Власть до поры, до времени связана с обоими процессами.

Сшибкой двух равенств.

Сражены оба.

Победило же «ТРЕТЬЕ»: предельное «вертикальное» неравенство, почвой которого является атомизация.

Но когда победило???

И — чем???

---

Прошлое «экологично» по отношению к Человеку.

А может — у Гомо нет в прямом смысле экологической ниши.

Его «ниша» — будущее прошлого.

Только это и именовать ПРОШЛЫМ: прошло, но не ушло.

Или: ушло и пришло...

---

Прекрасно у Голосовкера об эллинизме (Александрия — Рим):

«Агонистика осталась, так как грандиозное тщеславие эллинов не уменьшалось, но у преддверия эпохи вселенства

это тщеславие ищет победоносного идола,

единого, столь же грандиозного, как деспотизм Востока:

оно ищет героя, который мог бы полновластно повелевать числом.

получающим отныне все обнаженнее и обнаженнее смысл количества тел

вместо смысла «количественных отношений...» (s.91)

Бьет в глаза параллель, сопоставимость (= «ключ»).

И не НАШИ ли 20/30-е

открыли глаза мудрому рабби на обожаемое им эллинизмом,

изнутри себя готовящее себе и не прямую погибель,

а переворачивание в иное?!

---

NB

Либо страна-держава, либо страна-Мир

Чаще всего — смотрим на себя годов 1930-х глазами Мира после войны...

А «сталинизм» ведь еще только шел к СЕБЕ —  
не был СОБОЮ: до 28 года («умственно» и внутрипартийно даже),  
до 30-го — действием, отвечающим его смыслу (абсурду-смыслу).

Белогвардец перемещался вовне, чтобы внутри облегчить превращение  
только ЛОЯЛЬНОГО во вредителя...

Еще только входили в обиход присказки:

«Нет таких крепостей...»

«Догнать — значит победить. перегнать — это значит уничтожить»

«Либо мы их... — либо нас сомнут».

Сталин тогда еще не дотянулся до своих СЛОВ.

до собою конструируемого ДЛЯ СЕБЯ — ВРАГА («вредитель» вместо  
«белогвардейца...»,

«планируемая» интервенция как суммарное обозначение тех, кто за кордоном,  
«социал-фашизм» как главный враг...)

Он еще не трансформировал счастливо подсказанный

Николаем Бухариным символ «социализма в одной стране» в максиму могущества,  
требующую больше, чем усердия, — жертв по собственному почину.

Он еще не ПЕРЕВЕРНУЛ — догадкою больше, чем выкладкой и расчетом,

МИР уходящего Ленина,

асимметричный Мир разнонаправленных движений к социализму —

в симметрию прикладного, черно-белого Мира,

с обязательной силой ориентирующего всех,

кто (на Западе) слева, на СССР как единственность, как отечество всех...

Стализм рос из провинции,

из только пробудившейся человеческой толщи,

из провинциальных комиссаров и партийных функционеров, женделегаток,

из «баз курносых», деревенских избачей, «воинствующих безбожников»

и «ворошиловских стрелков»...

Людям, выигравшим гражданскую войну вкупе с нашествием Антанты, нужен был «победоносный идол» и аргумент к выравнивающему единству, к функциональному (а не просто номенклатурному) единобразию страны-державы. Сталин дал его сначала «генеральной линией», а затем второй гражданской войной (сочлененной с призраком Нашествия). (К тайне 41-го. Не то ли еще вело к катастрофе, что Сталин многими годами знал, что Нашествие — призрак, слушающийся его команд?)

Сравним 1921-й с 1934-м.

В 21-м — крутой поворот в политике,

тайший в себе перемену всего пост-октябрьского курса,

что равно новой версии «мировой революции», новому образу социализма, своему неопробованному, непредусмотренному само-Термидору...

Поворот исподволь — и сразу.

Вызревал (от «противного») внутри него и был навязан обстоятельствами.

Кронштадт — в соавторах (или наоборот?). Поворот, заявленный публично, волей съезда и закона, принятый большинством, породивший и открытое, хотя несильное, сопротивление.

Еще не сложился «базис», еще в лесах «надстройка».

Еще эйфория гражданской войны — и «нечистое» (от нее!) еще — не вытеснило, а только потеснило «чистое».

Еще оборотни не знают, что они такое — «сталинизм» еще настроенис, повадка, персональный оттенок, тяга к простому, зависть и ненависть...

Но и шовинизм новый...

---

Пропускаем развилки 23-го и 28-го.

Поражение ЛДТ ((Троцкого)) и поражение НИБ ((Бухарина))

(Зиновьев с Каменевым не в счет, тут больше политканства, тут провал, а не поражение).

ЛДТ погубила его собственная рефлексия на его «необольшевизм».

Он шел к альтернативе с опозданием,

в принципиально неполном виде, не осознавая, к чему идет,—

в решающей схватке пытался взять верх «цитатным» Лениным, не развернув (себя) в концепцию развития, способную воодушевить толщу (дома и вне).

Мог ли оставаясь честным?

У НИБ же больше чем поражение. Тут капитуляция.

А в 34-м?

Был также налицо поворот в политике и достаточно крутой —  
во все, казалось, стороны (от земли до культуры).

с ПЕРЕМЕНОЙ К ЛУЧШЕМУ всех составляющих, всех слоев...

Но — «базис» УЖЕ сложился (безвозвратно, необратимо)

и именно «базис», то есть однородное и всеобъемлющее  
хозяйственное и социальное основание.

И «надстройка» ВЧЕРНЕ готова («надстройка» второй гражданской войны,  
впитавшая в себя самое существенное от первой...)

Вся коллизия из этого УЖЕ и из этого ВЧЕРНЕ.

Оказалась обреченной возможность ввести жизнь в рамки права, законности,  
ограниченной, но устойчивой суверенности,  
включая суверенность слова и мысли,  
в рамки «гражданского мира» как СМЫСЛА и бытия всех.

Не случилось, хотя к этому ШЛО.

Это было ВОЗМОЖНО, если бы дозрела (в головах и действиях)

НЕВОЗМОЖНОСТЬ «антиреставрационной» политической системы (и идеологии),  
если бы могли разные на этой почве соединиться, имея мужество пересмотра  
первоистоков (включая события Октября, действия партийной верхушки...)  
и возвращения к оборванной попытке отказа от деяний пагубных,  
грозящих самопотерей при страстном стремлении удержания власти.

Но где там.

«...Нет отваги на постоянство — из «Мертвых душ», второго тома их, —  
своего рода эпиграф к году 1934-му.

Коалиции умиротворителей даже в зчине не было (как коалиции).

Идея «демонтажа» откуда бы взяться?

А призрак реставрации преследовал по пятам.

«Съезд победителей» — отходная альтернативы.

Инерция перемен, однако, еще сильна. Разрозненна, но сильна.

Стихийно могла дорасти до пред-ЦЕЛОГО.

И антифашизм к этому подстрекал извне (но тоже только стихийно).

Сталинская паранойя опередила.

Соединила в себе — зовом к уничтожению всех возможных и невозможных умиротворителей.

Из Карла Сагана («Драконы Эдема»).

«Память... локализована во многих различных частях мозга» (с. 33).

Я уверен: так же и общая память.

Сталин полусознательно (инстинктом абсолюта) понял, что вычеркивание, обезпамятливание не может ограничиться лишь «бывшими», лишь старыми функционерами и идеологами. Нужно вычеркнуть МНОГИХ РАЗНЫХ (XVII-й съезд намеренно и избирательно забывал, XVIII-й уже не помнил).

Сталин на свой лад повторил развидку 21-го (22-го),

довершив «чисткой» самотермидоризацию

после второй гражданской войны.

А в подспуде скрытая проблемная немочь, капитуляция перед не дававшимся развитием в пределах нэпа, требовавшим (развитие именно и требовало!) раздвижения этих пределов и достраивания — раздвинутых — вверх, в политику и культуру...

В этой второй гражданской войне 30-х не было очерченных станов.

Тут прошлое под знаменем будущего воевало с настоящим,

у которого не было (еще?) своей «программы», своего знамени,

символики своего будущего.

Если в той — первой — войне тяжко было оставаться лояльным, то в этой, второй, лояльные (только!) зачислялись загодя во враги — не сегодня, так завтра (в резерв врагов).

И столь же непредусмотренно-новым был итог:

разорение как прелюдия к могуществу,

гибели как почва бурного роста новой иерархии,

сталинской номенклатуры, максима обобществления,

которая разрушила многочисленные «горизонтальные» общности, связи (и различия!), атомизируя социум и нивелируя страну,

из прото-мира превращавшуюся в державу, в новый imperium (новый, хотя и вспоминавший о старой России-империи).

Объектом нападения были персоны, но и самый многочисленный деятельный слой: вышедший из аграрной революции СЕРЕДНЯК.

Из Сагана:

«Пациентов, у которых были удалены переднелобные доли, описывают как людей, потерявших «опущение себя» — чувство, что Я есть определенная индивидуальность, контролирующая свою жизнь и ее обстоятельства...» (с. 103)

Наш диагноз!

То, что ПОЧТИ удалось Сталину.

Минус война. 41-й, 42-й — теркинские.

Накануне агонии Stalin был близок к цели.

Те, у кого он успел это сделать (конец 40-х — 50-е) это нынешние пятидесятилетние и старше — венчающие и поучающие.

К 34-му даже самый близкий забыл это.

«Травматическая амнезия».

Это в наследстве.

Каждая из развилок как звено в цепи.

Не сплюсовывались, а, скорее, напластовывались друг на друга.

Незавершенность на незавершенность!

И это бы еще ничего, если бы не вытравленная память,

оскапленная, вся в несвязанных обрывках.

Как нужно (и именно сейчас!) — восстановить историю развилок.

А. Твардовский  
СТРАНА МУРАВИЯ

*Глава I*

С утра на полдень едет он,  
Дорога далека.  
Свет белый с четырех сторон  
И сверху — облака.

Тоскуя о родном тепле,  
Цепочкою вдали  
Летят.— а что тут на земле,  
Не знают журавли...

У перевоза стук колес.  
Сбой, гомон, топот ног.  
Идет народ, ползет обоз,  
Старик паромщик взмок.

Паром скрипит, канат трещит.  
Народ стоит бочком.  
Уполномоченный спешит,  
И баба с сундучком.

Паром идет, как карусель,  
Кружась от быстрины.  
Гармошку плотничья артель  
Везет на край страны...

Гудят над полем провода.  
Столбы вперед бегут.  
Гремят по рельсам поезда,  
И воды вдаль текут.



А. ТВАРДОВСКИЙ, 1930-е годы.

И шапки пены снеговой  
Белеют у кустов.  
И пахнет смолкой молодой  
Березовый листок.

И в мире — тысячи путей  
И тысячи дорог.  
И едет, едет по своей  
Никита Моргунок.

Бредет в оглоблях серый конь  
Под расписной дугой.  
И крепко стянута супонь  
Хозайскою рукой.

Дегтярку сзади привязал,  
Засунул кнут у ног.  
Как будто в город, на базар,  
Собрался Моргунок.

Умытый в бане, наряжен  
В пиджак и сапоги.  
Как будто в гости едет он,  
К родне на пироги.

И двор — далеко за спиной.  
Бегут вперед столбы.  
Ни хаты не видать родной.  
Ни крыши, ни трубы...

По ветру тянется дымок  
С ольхового куста.  
— Прощайте, — машет Моргунок, —  
Отцовские места!..

## Глава 2

Из-за горы навстречу шло  
Золотоглавое село.

Здесь проходил, как говорят,  
В Москву Наполеон.

Здесь тридцать восемь лет назад  
Никита был крецен.

Здесь бухали колокола  
На двадцать деревень,  
Престол и ярмарка была  
В зеленый духов день.

И первым был из всех дворов  
Двор — к большаку лицом,  
И вывеска «Илья Бутров»  
Синела над крыльцом...

Никита ехал прямиком.  
И вдруг — среди села —  
Не то базар, не то погром, —  
Веселые дела!

Народ гуляет под гармонь,  
Оглобель — лес густой.  
Коней завидя, сбился конь...  
Выходят люди:  
— Стой!..

— Стой, нет пощады никому.  
И честь для всех одна:  
Гуляй на свадьбе, потому —  
Последняя она...

Кто за рукав,  
Кто за полу, —  
Ведут Никиту  
В дом, к столу.

Ввели и — чарку — стук ему!  
И не дыши — до dna!  
— Гуляй на свадьбе, потому —  
Последняя она...

И лез хозяин через стол:  
— Моя хата —  
Мой простор.  
Становись, сынок, на лавку.

Пей, гуляй,  
Справляй престол!..

Веселитесь, пейте, люди,  
Все одно:  
Что в бутылке,  
Что на блюде —  
Чье оно?

Чья скотинка?  
Чей амбар?  
Чей на полке  
Самовар?..

За столом, как в бане, тесно.  
Моргунок стирает пот.  
Где жених тут, где невеста,  
Где тут свадьба? — Не поймет.

А хозяин без заминки  
Наливает по другой.  
— Тут и свадьба и поминки —  
Все на свете, дорогой.

С неохотой, еле-еле  
Выпил чарку Моргунок.  
Гости ели, пили, пели,  
Говорили, кто что мог...

— Что за помин?  
— Помин общий.  
— Кто гуляет?  
— Кулаки!  
Поминаем душ усопших,  
Что пошли на Соловки.

— Их не били, не вязали.  
Не пытали пытками,  
Их везли, везли возами  
С детьми и пожитками.  
А кто сам не шел из хаты,  
Кто кидался в обмороки.—  
Милицейские ребята  
Выводили под руки...

— Будет нам пить,  
Будет дурить...

— Иисус Христос  
Чудеса творил...

— А кто платил,  
Когда я да не платил?..

— Отчего ты, божья птичка,  
Хлебных зерен не клюешь?  
Отчего ты, невеличка,  
Звонких песен не поешь?

Отвечает эта птичка:

— Жить я в клетке не хочу.  
Отворите мне темницу,  
Я на волю полечу...

— Будет нам пить,  
Будет дурить.  
Пора бы нам одуматься,  
Пойти домой, задуматься:  
Что завтра пропить?

— Иисус Христос  
По воде ходил...

— А кто платил.  
Когда я не платил?  
За каждый стог,  
Что в поле метал,  
За каждый рог,  
Что в хлеву держал,  
За каждый воз,  
Что с поля привез,  
За собачий хвост,  
За кошачий хвост,  
За тень от избы,  
За дым от трубы,  
За свет и за мрак,  
И за просто, и за так...

— Знаем! Сам ты не дурак,  
Хлеб-то в воду ночью свез:  
Мол, ни мне, ни псу под хвост.  
Знаем! Сами не глупей.  
Пей да ешь, ешь да пей!

— Сорок лет тому назад  
Жил да был один солдат.  
Тут как раз холера шла,  
В день катала полсела.  
Изо всех один солдат  
Жив остался, говорят.  
Пил да ел, как богатырь,  
И по всем читал псалтырь.  
Водку в миску наливал,  
Делал тюрьку и хлебал.  
Все погибли, а солдат  
Тем и спасся, говорят.

— Трулля-трулля-трулля-ши!..  
Пропил батька лемеши.  
А сынок —  
Топорок.  
А дочушка —  
Гребенек.  
А матушка,  
Того роду.  
Пропила  
Сковороду.  
Па-алезла под печь:  
«Сынок, блинов нечем печь...»

— Все кричат, а я молчу:  
Все одно — безделье.  
А Илье-то Кузьмичу —  
Слезки, не веселье...

— Подноси, вытаскивай..  
Угощенье ставь!

— До чего он ласковый,  
Добродушный стал.

Дескать, мы ж друзья-дружки.  
Старые соседи.  
Мол, со мной на Соловки  
Все село поедет...

— Слыши, хозяин, не жалей  
Божью птичку в клетке.  
Заливай, пои гостей,  
Дыхай напоследки!..

Загудели гости смутно.  
Встал, шатаясь, Моргунок.  
Будто пьян, на воздух будто.  
Потихоньку — за порог.

Над дорогой пыль висела.  
Не стихал собачий лай.  
Ругань, песни...

— Трогай, Серый.  
Где-нибудь да будет край...

### Глава 3

Далеко стихнуло село,  
И кнут остыл в руке,  
И синевой заволокло,  
Замглилось вдалеке.

И раскидало конский хвост  
Внезапным ветерком,  
И глухо, как огромный мост,  
Простукнул где-то гром.

И дождь поспешный, молодой  
Закапал невпопад.  
Запахло летнею водой,  
Землей, как год назад...

И по-ребяччи Моргунок  
Вдруг протянул ладонь.

И, голову склонивши вбок,  
Был строг и грустен конь.

То конь был — нет таких коней!  
Не конь, а человек.  
Бывало, свадьбу за пять дней  
Почует, роет снег.

Земля, семья, изба и печь.  
И каждый гвоздь в стене,  
Портянки с ног, рубаха с плеч —  
Держались на коне.

Как руку правую, коня.  
Как глаз во лбу, берег  
От вора, мора и огня  
Никита Моргунок.

И в ночь, как съехать со двора.  
С конем был разговор,  
Что все равно не ждать добра,  
Что без коня — не двор;  
Что вместе жили столько лет,  
Что восемь бед — один ответ.

А конь дорогою одной  
Везет себе вперед.  
Над потемневшою спиной  
Белесый пар идет.

Дождь перешел. Следы копыт  
Наполнены водой.  
Кривая радуга висит  
Над самою дугой...

День на исходе. Моргунку  
Заехать нужно к своим:  
Остановиться на ночлег,  
Проститься как-никак.  
Душевной жизни человек  
Был Моргунков своим.  
Дружили смолоду, с тех пор,  
Как взяли замуж двух сестер.

Дружили двадцать лет они,  
До первых до седин,  
И песни нравились одни,  
И разговор один...

Хозяин грустный гостю рад,  
Встречает у ворот:  
— Спасибо, брат! Уважил, брат! —  
И на крыльце ведет:

— Перед тобой душой открыт,  
Друг первый и свой:  
Весна идет, земля горит.—  
Решаться или как?..

А Моргунок ему в ответ:  
— Друг первый и свой!  
Не весь в окошке белый свет,  
Я полагаю так...»

Но тот Никите говорит:  
— А как же быть, свой?  
Весна идет, земля горит,  
Бросать нельзя никак.

Сидят, как прежде, за столом.  
И смолкли. Каждый о своем.

Забились дети по углам.  
Хозяйка подает  
С пчелиным «хлебом» пополам  
В помятых сотах мед.

По чарке выпили. Сидят,  
Как год, и два, и три назад.

Сидят невесело вдвоем,  
Не поднимают глаз.  
— Ну что ж, споем?..  
— Давай споем  
В полдний, может, раз...

Дружили двадцать лет они,  
До первых до седин.  
И песни нравились одни,  
И разговор один.

Посоловелые слегка,  
На стол облокотясь.  
Сидят, поют два мужика  
В последний, значит, раз...

О чем поют? — рука к щеке,  
Забылись глубоко.  
О Волге ль матушке-реке,  
Что где-то далеко?..

О той ли доле бедняка,  
Что в рудники вела?..  
О той ли жизни, что горька,  
А все-таки мила?..

О чем поют, ведя рукой  
И не скрывая слез?  
О той ли девице, какой  
Любить не довелось?..

А может, просто за столом  
У свояка в избе  
Поет Никита о своем  
И плачет о себе.

У батьки, у матери  
Родился Никита.  
В церковной сторожке  
Крестился Никита.

Семнадцати лет  
Оженился Никита.  
На хутор пошел,  
Отделился Никита.

— В колхоз не желаю.—  
Бодрился Никита.  
До синего дыму  
Напился Никита.

Семейство покинуть  
Решился Никита...  
Куда ж ты поехал,  
Никита, Никита?

## Глава 4

От деда слышал Моргунок —  
Назначен срок всему:  
Здоровью — срок, удаче — срок.  
Богатству и уму.

Бывало, скажет в рифму дед,  
Руками разведи:

— Как в двадцать лет  
Силенки нет,—  
Не будет, и не жди.  
— Как в тридцать лет  
Рассудка нет,—  
Не будет, так ходи.  
— Как в сорок лет  
Зажитка нет,—  
Так дальше не гляди...

Сам Моргунок, как все, сперва  
Не верил в дедовы слова.

Хватился — где там двадцать лет! —  
А богатырской силы нет.  
И, может быть, была б она,  
Когда б харчи да не война.

Плядит, проходят тридцать лет; —  
Ума большого тоже нет.  
А был бы ум, так по уму —  
Богатство было бы ему.

Плядит, и скоро — сорок лет; —  
Богатства нет, зажитка нет;  
Чтоб хлебу на год вволю быть.  
За сало салу заходить:

Чтоб быть с Бугровым запросто,  
Всего того оприч:  
«Здоров, Никита Федорыч!..» —  
«Здоров, Илья Кузьмич!..»

А угостить,— так дым трубой,  
Что хочешь ешь и пей!  
Чтоб рядом он сидел с тобой  
На лавке на твоей;

Чтоб толковать о том о сем.  
Зажмурясь песни петь.  
Под ручку чтоб, да с ним вдвоем  
Пойти хлеба смотреть...

И предсказанью скоро срок,  
А жил негромко Моргунок.

Был Моргунок не так умен.  
Не так хитер и смел.  
Но полагал, что крепко он  
Знал то, чего хотел...

Ведет дорога длинная  
Туда, где быть должна  
Муравия, старинная  
Муравская страна.

И в стороне далекой той —  
Знал точно Моргунок —  
Стоит на горочке кругой,  
Как кустик, хуторок.

Земля в длину и в ширину —  
Кругом своя.  
Посеешь бубочку одну.  
И та — твоя.

И никого не спрашивай,  
Себя лишь уважай.  
Косить пошел — покашивай,  
Поехал — поезжай.

И все твое перед тобой.  
Ходи себе, поглазывай.  
Колодец твой, и ельник твой.  
И шишки все еловые.

Весь год — и летом и зимой.  
Ныряют утки в озере.  
И никакой, ни боже мой,—  
Коммунизм, колхозии!..

И всем крестьянским правилам  
Муравия верна.  
Муравия, Муравия!  
Хорошая страна!..

И едет, едет, едет он,  
Дорога далека.  
Свет белый с четырех сторон  
И сверху — облака.

По склонам шубою взялись  
Пустые зеленя.  
И у березы полный лист  
Раскрылся за два дня.

И розоватой пеной сок  
Течет со свежих пней.  
Чем дальше едет Моргунок,  
Тем поле зеленей.

И день по-летнему горяч.  
Конь звякает уздой.  
Вдали взлетает грузный грач  
Над первой бороздой.

Пласты ложатся поперек  
Затравеневших меж.  
Земля крошится, как пирог,—  
Хоть подбирай и ешь.

И над полями голубой  
Весенний пар встает.  
И трактор водит за собой  
Толпу, как хоровод.

Белеют на поле мешки  
С подвезенным зерном.  
И старики посевщики  
Становятся рядком.

Молитву, речь ли говорят  
У поднятой земли.  
И вот, откинувшись назад,  
Пошли, пошли...

За плугом плуг проходит вслед,  
Вдоль — из конца в конец.  
— Тпру, конь!..  
Колхозники ай нет?..  
— Колхозники, отец...

Чуть веет вешний ветерок,  
Листвою шевеля.  
Чем дальше едет Моргунок.  
Тем радостней земля.

Земля!..  
От влаги снеговой  
Она еще свежа.  
Она бродит сама собой  
И дышит, как дежа.

Земля!..  
Она бежит, бежит  
На тыщи верст вперед.  
Над нею жаворонок дрожит  
И про нее поет.

Земля!  
Все краше и видней  
Она вокруг лежит.  
И лучше счастья нет,— на ней  
До самой смерти жить.

Земля!  
На запад, на восток.  
На север и на юг...  
Припал бы, обнял Моргунок,  
Да не хватает рук...

В пути проходит новый день.  
Конь перепал и взмок.  
Уже ни сел, ни деревень  
Не знает Моргунок.

## Глава 5

Большаком, по правой бровке,  
Направляясь на восход,  
Подпоясанный бечевкой  
Шел занятный пешеход.

Добела забиты пылью  
Сапожонки на плечах,  
И лопатки, точно крылья,  
Под подрясником торчат.

Из сапог глядят онучки,  
За спиной гремит ларец...  
— А, видать, тебя до ручки  
Раскулачили, отец?..

Слово за слово. О бого  
Речь заводит Моргунок.  
Отпрягают у дороги,  
Забираются в тенек.

— Эх, да по такой погоде  
Зря ты ходишь-бродишь, поп.  
Собирал бы дань в приходе,  
Пчел глядел бы, сено греб...

— Где ж приход? Приходов нету.  
Нету службы, нету треб.  
Расползлись попы по свету,  
На другой осели хлеб.

Тот на должности на писчей,  
Тот иной нашел приют.  
Ничего, довольны пищей.  
Стихи, сникли и живут.

Ну, а я... Иду дорогой.  
Не тяжел привычный труд:  
Есть кой-где, что верят в бога.—  
Нет попа,

А я и тут.

Там жених с невестой ждут.—  
Нет попа,  
А я и тут.

Там младенца берегут.—  
Нет попа,  
А я и тут.

Нет купели,  
Есть камья,  
Нет попа,  
А вот он я!..

Что калужского портного,  
За неделю ждут меня.  
Мне бы только, право слово,  
Заиметь теперь коня...

Хорошо в тени, прохладно.  
Поп кошелку шевелит.  
Развязал — и этак складно  
Припевает-говорит:

— Тут селедочка  
Была, была, была.  
Что молодочка  
Дала, дала, дала...

Тут и соточка  
Лежит — не убежит...  
Эх ты, сукин сын  
Камаринский мужик!..

Моргунок, уставясь косо,  
Ладно, думает, молчи.  
Ничего, что батя босый.—  
Подходящие харчи...

Не святой и не угодник,  
Не подвижник, не монах,—  
Был он просто поп-отходник,  
Яко наг и яко благ.

— На гумне служу обедню.  
Постным маслом мажу лоб.  
Николай был царь последний.  
Митрофан — последний поп.

Занимаю под приходом  
Всю епархию кругом.

Хочешь так: твоя — подвода.  
Мой — инструмент?..  
Проживем!..

Моргунок утерся строго:  
— Не гляди, что выпил я...  
У тебя своя дорога.  
У меня, отец, — своя.

На своем коне с дугой  
Ехать подходяще:  
Всякий видит, кто такой.—  
Житель настоящий.

На своем коне с дугой  
Ехать знаменито.  
Остановят: — Кто такой?  
— Моргунов Никита.

В чужедальней стороне  
Едешь, смотришь смело:  
Раз ты едешь на коне.  
Значит, едешь делом.

Самому себе с конем  
Позабыться впору.  
Будто в гости едешь — днем,  
Ночью — будто в город.

Не охотник яйца я  
Собирать на бога.  
У меня, отец, своя  
Дальняя дорога...

## Глава 6

От ночлега до ночлега  
Едет ровно Моргунок.  
У дороги, под телегой,  
Своя хата-потолок.

На огне трещит валежник  
Робко, будто под ногой.  
Двое возчиков проезжих  
Сонно смотрят на огонь.

С неизвестным разным людом  
Сводит ночью огонек.  
Кто такие и откуда —  
Знать не знает Моргунок.

Спит не спит, лежит Никита,  
Слышен скрип и хруст травы.  
Глухо ткуают копыта  
Возле самой головы.

Поправляет головешки  
Освещенная рука.  
Голос тянетесь неспешный,  
Как шаги издалека:

— Окна — в землю,  
Крыша — набок,  
Гнезда галочки в трубе.  
Как бы в сказке, дед да баба  
Жили век в своей избе.

Баба прыла у окошка,  
Дед с утра на рыбу шел,  
И была в хозяйстве кошка,  
Курочка да петушок.

Жили старые помалу  
На отлете от села.  
А весною небывало  
Высока вода была.

Шла весна в могучей силе,  
По ночам крошила снег.  
Разлились по всей России  
Воды всех морей и рек... —

Спит не спит, лежит Никита,  
Дрема поверху идет.  
Голос ровный, домовитый  
Сказку бережно ведет:

— Все — в колхозы.  
Дед — ни с места  
На тринадцатом году:  
«Из своей избы, известно,  
Никуда я не пойду».  
Что, мол, жить мне на народе,  
И какой мне в этом прок?..

А вода к крыльцу подходит,  
Бьет волною о порог.  
Поплыли плетни, солома,  
Огородов — будто нет.

День за днем проводит дома,  
Очищает лыки дед.

И случилась эта сказка  
Возле нашего села:  
Подняла вода избушку,  
Как кораблик, понесла.  
Поднимает выше, выше,  
Гонит окнами вперед.  
Петушок кричит на крыше,  
Из трубы дымок идет.  
И качаются, как в зыбке,  
Дед и баба за стеной.

Принесло избу под липки —  
К нам в усадьбу —  
Тут и стой...

Спали воды. Стало сухо.  
Смотрит дед — на солнце дверь:  
«Ну, тому бывать, старуха,  
Жить нам заново теперь...»

Спит не спит Никита, дремлет  
С картузом под головой.  
Теплым телом греет землю  
Под примятою травой.

На армяк роса осела.  
Гаснут звезды в вышине.  
И тепло вздыхает Серый  
За кустами в стороне.

Тянет свежестью рассвета.  
Спит дорога. Тишина.  
Далеко-далеко где-то  
Спит Муравская страна...

## Глава 7

Как с юга к северу трава  
В кипучий срок весны,  
От моря к морю шла молва  
По всем краям страны.

Молва растет, что ночь, что день,  
Катится в даль и глушь,  
И ждут сто тысяч деревень.  
Сто миллионов душ.

Нет, никогда, как в этот год.  
В тревоге и борьбе,  
Не ждал, не думал так народ  
О жизни, о себе...

Росла, невнятная сперва.  
Неслась, как радио, молва,  
Как отголосок по лесам,  
Бежала по стране.  
Что едет Сталин, едет сам  
На вороном коне.

Вдоль синих вод, холмов, полей,  
Проселком, большаком.  
В шинели, с трубочкой своей,  
Он едет прямиком.

В одном kraю.  
В другом kraю  
Глядит, с людьми беседует  
И пишет в книжечку свою  
Подробно все, что следует.  
И будто он невдалеке  
Коня того поил в реке.

А то еще у старика  
Спросил он ночью огонька.  
А этот сторож-старичок  
Увидел — кто, а сам молчок:  
Порасспросить его хотел  
Насчет войны и прочих дел...

За гатью — мост,  
За взгорьем — склон,  
Дымок по ветерку...  
И, может, прямо едет он  
Навстречу Моргунку.

И все, что на душе берег,  
С чем в этот год заснуть не мог,  
С чем утром встал и на ночь лег,  
С чем ел не впрок  
И пил не впрок.—  
Все вновь обдумал Моргунок...

— Товарищ Сталин!  
Дай ответ,  
Чтоб люди зря не спорили:  
Конец предвидится ай нет  
Всей этой суетории?..

И жизнь — на слом,  
И все на слом —  
Под корень, подчистую.  
А что к хорошему идем,  
Так я не протестую.

Ты слушай, выслушай меня.  
Коснемся, например, коня.

И склад хорош, и стать легка,  
В монету весь одет.  
Под Ворошиловым конька  
Такого, может, нет.

На конной в Ельне куплен был.  
С дороги перепал,  
Стоит — и шею опустил,—  
Ну, думаю, попал!..

Блестит в корытечке вода,  
Свищу, свищу — не пьет.  
Не ест. И вижу я тогда,  
Что дело не поет...

А как я вышел поутру.  
С постели — босиком,  
Иду, а он впотьмах: хруп-хруп...  
Стой, думаю, живем!..

Теперь мне тридцать восемь лет,  
Два года впереди.  
А в сорок лет — зажитка нет.  
Так дальше не гляди.

И при хозяйстве, как сейчас.  
Да при коне —  
Своим двором пожить хоть раз  
Хотелось мне.

Земля в длину и в ширину —  
Кругом своя.  
Посеешь бубочку одну,  
И та — твоя.

Пожить бы так чуть-чуть...  
А там —  
В колхоз приду.  
Подпиську дам!

И с тем согласен я сполна.  
Что будет жизнь отличная.  
И у меня к тебе одна  
Имелась просьба личная.

Вот я, Никита Моргунок,  
Прошу, товарищ Сталин,  
Чтоб и меня и хуторок  
Покамест что... оставить.

И объявить: мол, так и так.—  
Чтоб зря не обижали.—  
Оставлен, мол, такой чудак  
Один во всей державе... —

В пути, в незнаемом краю,  
Забыв про все, Никита  
Слагал, как песню, речь свою  
Душевно и открыто...

Страна родная велика.  
Весна! Великий год!..  
И надо всей страной — рука,  
Зовущая вперед.

## Глава 8

И деревням и верстам счет  
Оставил человек,  
И конь покорно воду пьет  
Из неизвестных рек.

Дорога тянется вдали.  
И грусть теснит в груди:  
Как много неба и земли  
Осталось позади.

И весь в пыли, как хлеб в золе,  
Никита Моргунок.  
На всей планете, на Земле.  
Один такой ездок.

И порыжел на нем пиджак.—  
Дорога далека.  
Днем едет, терпит кое-как.  
А к вечеру — тоска.

Сквозь тишину и холодок  
Повеет ночь жильем.  
И куст — он дома, и пенек  
На месте на своем.

А ты скитайся, разъезжай,  
Сам при себе, один...  
Вдруг слышит: — Добрый гражданин,  
А, добрый гражданин!..

И видит: нищий, чуть прикрыт,  
Почти что босиком.  
— Подвез бы, что ли,— говорит  
Обиженным баском.

И мальчик, точно со слепым,  
Идет по праву руку с ним.

И нищий злобно смотрит вслед:  
— Забогател, сосед?..  
Глядит — и обмер Моргунок:  
— Илья Кузьмич? Ай нет?..

— Годов полсотни был Илья.  
Да нынче стал не я.  
Что видишь, только малец мой.  
А шапка не моя.  
Вот, брат. Такая, брат, пора.  
Кромешный год такой...

— Тпру!.. Правду говорят, гора  
Не сходится с горой...

Коня стреножил Моргунок.  
Прибрал хомут, дуту.  
Оглобли — кверху. Огонек  
Заговорил в кругу.

— Эх, холодна небось земля,  
Погреться будет впрок.—  
И достает из кошеля  
Литровку Моргунок.

— Ну что ж, Илья Кузьмич, начнем?  
Что есть. Прошу простить.  
Тебя когда-то за столом  
Мечтал я угостить.

Пей, грейся, гость. Как другу верь.—  
Соседи были все ж...  
А вот откуда ж ты теперь,  
Илья Кузьмич, бредешь?..

— Бреду оттуда  
— Что ж там? Как?  
— Да так. Хороший край.  
В лесу, в снегу, стоит барак,  
Ложись и помирай.

— Так, так. Илья Кузьмич...  
А все ж —  
Тут злость своя нужна:  
Что скажут — делай, — дескать, врешь  
Работа не страшна.

— Нет, брат, спасибо за совет.  
Не страшен был бы труд.  
Да смысла нет:  
— А ты начни!  
— Да мочи нет...  
— А ты тяни!  
— Да руки не берут.

Никита слушал и коня  
Из вида не терял.  
Мальчишка, млея у огня,  
Тихонько засыпал.

Куда он, малец, гол и бос.  
Шел по свету с отцом.  
Суму на перевязи нес  
С жестяным котелком?—

— А что, — пожал отец плечом.—  
Не страшно до зимы.  
Где так попросим, где споем.—  
Петь научились мы.

Эх, брат! — вздохнул, ложась, Бутров.—  
В последний этот год  
Еще б таких наделать дров.—  
Земли переворот!..

На колокольни встать бы, брат,  
И сверху б — в добрый час —  
На всю Россию бить набат!  
— Да не во что как раз...

Спал Моргунок и знал во сне,  
Что рядом спит сосед.  
И, как сквозь воду, в стороне  
Конь будто ржал под свет...

Вскочил, закоченелый весь,  
Глядит — пропал сосед.  
Телега здесь, и мальчик здесь.  
А конь?.. Коня — и нет...

Никита бросился в кусты,  
Высматривая след.  
Туда-сюда. И след простили.  
Коня и вправду нет.

И место видно у огня,  
Где ночью спал сосед.  
В траве окурки. А коня  
И нет. И вовсе нет.

И заняла дыханье боль,  
И точно высох рот.  
Позвать попробовал:  
— Псель-псель... —  
И губ не соберет.

— Псель-псель... —  
И тишина кругом.  
Туман. Глухой рассвет...  
Вот бросил он семью и дом.  
Уехал в белый свет.

Вот все, что думал, — все не в счет.  
Вот прожил столько лет...

Туман встаёт.  
Роса ползёт.  
День. А коня-то нет...  
Коня-то нет...  
— Вставай, пострел!  
Замерз небось, беглец.  
Пока ты спал да сны смотрел.  
Сменял тебя отец.

Сменял — и серого коня  
С уздечкой получил.  
Тебя обидел, а меня  
Навеки научил.  
Я угощал его, любя,  
Считал — в беде сосед...  
А ты не бойся: бить тебя  
Теперь мне пользы нет...

Короток день, а путь далек.  
А солнце — где уже!..  
Переобулся Моргунок,  
И легче на душе.  
Собрал шлею, кошель и кнут.  
Переменил чеку:  
Колеса смазал, подоткнул  
Поклажу к передку.

Короток день, а путь далек.  
Хоть воз не так тяжел.  
И влез в оглобли Моргунок.  
А мальчик вслед пошел...

## Глава 9

Под уклон, гремя с разбега,  
Едет — просто чудеса! —  
Без коня сама телега,  
Все четыре колеса.

И, кого ни встретит: всякий  
Долго-долго смотрит вслед.

А увяжутся собаки —  
Три версты отбою нет.

Моргунок гремит с телегой  
В неизвестной стороне:  
— Не видали ль человека  
На копейчатом коне?

Моргунок волочит ноги  
Тяжело, и, как назло.  
Растянулось вдоль дороги  
Бесконечное село.

Никуда от глаз не скрыться,  
На виду мужик у всех.  
По окошкам липнут лица.  
Лай собачий,— смех и грех.

Моргунок везет понуро,  
Не ворочаться ж назад.  
Шум, смятенье, даже куры  
Растревоженно кричат.

Дальше — к мосту — скат крутой.  
Поскорей бы с глаз долой!  
И пошел, пошел с разбега,  
Только грохот поднялся.  
Пропадай, моя телега,  
Все четыре колеса.

За мостом дорога в гору.  
Позади, в пыли густой:  
— Стой! — кричат, как будто вору.—  
Стой! Стой!..

Подбегают:  
— Стой-ка, дед!  
Заворачивай в Совет.

И народ кругом посыпал,  
Рассуждая горячо:  
— Мало, что ли, всяких типов,  
Поглядишь, а тут еще...

— На поселке нищий в бане  
Двое суток ночевал:  
С золотыми был зубами —  
Вроде бывший генерал...

И, упервшись в грядки, миром  
Помогают Моргунку.  
— Только ты не бегай, милый...  
— Да куда я побегу?..

В сельсовете председатель  
Предложил на лавку сесть  
И сказал учтиво:  
— Дайте  
Документы, если есть.

Из-за ворота рубахи  
Ташит целый узелок.  
Достает свои бумаги  
Никита Моргунок.

Бумаги пожелтевые,  
Как деньги — еле целые.  
Зацапанные, мазаные,  
Крест-накрест перевязанные.

— Вот при одной коровке  
Семья моя — семь душ.  
И хлебозаготовки.  
И лесозаготовки.  
И страх,  
И труд.  
И гуж.  
И двор со всей скотиной.  
И хата в три окна.  
Единый —  
Семь с полтиной.—  
Уплаченный сполна.

Деревня Васильково,  
Касплянский сельсовет.  
И карточка конева.  
А вот коня — и нет...

— Ну что ж, понятно в целом.  
Одно неясно мне:  
Без никакого дела  
Ты езишь по стране.

Вот, брат! —  
И председатель  
Потер в раздумье нос:  
— Ну, был бы ты писатель,  
Тогда другой вопрос.  
Езжай! И в самом деле,  
Чего с тебя возьмешь?  
— А что ж, у вас — артели?  
— Кругом артели. Сплошь.

И гремит телега снова.  
Застилая пылью след...

— Не видали ль верхового?... —  
Отвечают:  
— Что-то нет...

Моргунок телегу тянет.  
Плечи стертые горят...  
— Братцы! Где тут есть цыгане?  
— Вон, в колхозе, — говорят.

## Глава 10

Знал Никита Моргунок  
Правило простое.  
Что медведь блинов не пек,  
Волк двора не строил.

Удивился Моргунок,  
Видит: на поляне  
Ходят вдоль и поперек  
С косами цыгане.

Косят, словно мужики,  
Ряд за рядом ходят.

Только носят оселки  
Не по форме вроде.

Пахнет медом и росой.  
Добрая работа!  
Самому пройти с косой  
Моргунку охота.

Хороша, густа трава.  
Самый срок и время,  
Да забита голова  
Думами не теми.

Так и так. Иду полдня.  
Карточка в кармане...  
— Воротите мне коня,  
Граждане цыгане.

— Так и быть, — сказал один, —  
Ты — мужик хороший.  
Заявляю — отдадим,  
Как признаешь лошадь.

Сено свежее пока  
На покосе вянет.  
На конюшню Моргунка  
Привели цыгане.

Попросили Моргунка  
Чуть посторониться.—  
Конь выходит из станка,  
Гладкий, точно птица.

Конь невиданной красы,  
Уши ходят, как часы.

Конь хороший, и, что хорош,  
Сам об этом знает.  
— Ну, хозяин, признаешь?  
Признавай, хозяин!

Попросили Моргунка  
Постоять снаружи.

И выходит из станка  
Конь второй — не хуже.

На спине играет дрожь,  
Шея — вырезная.  
— Ну, хозяин, признаешь?  
Признавай, хозяин!

Попросили Моргунка  
Отойти немногого.  
И выводят из станка  
Жеребца, как бога.

Корпус, ноги — все отдашь,  
Шерсть блестит сквозная.  
— Ну, хозяин, признашь,  
Признавай, хозяин!

— Извиняюсь, не могу.—  
Вратъ, мол, нет расчета.  
— То-то,— пальцем Моргунку  
Погрозили,— то-то...

Он оглобли подвязал  
Кверху, для ночлега:  
— Завтра, малец, на базар  
За конем. С телегой.

— Дядь, зовут нас. Слышишь, дядь?  
Дескать, места хватит.  
— Не желаю ночевать  
Я в цыганской хате.

Ночь. Затих в загоне скот.  
Пахнет пыль золою.  
И цыганское встает  
Солнце над землею.

И звенит во тьме комар  
Тоненько, знакомо.  
Как остывший самовар  
После бани, дома.

И, вздохнув, на правый бок  
Повернулся Моргунок.

Но не спится Моргунку  
И на правом на боку.

Комариный звон в тиши,  
Замирая, тонет...  
«До чего же хороши,  
Боже ты мой, кони!»

И, вздохнув, на левый бок  
Повернулся Моргунок.

Но не спится Моргунку  
И на левом на боку.

И, подумав, Моргунок  
Борою к звездам лег.

Кони рядом. И спроста  
Ненадежно спрятаны:  
Из соломы ворота  
Лыком запечатаны.

Моргунок лежит, сопя.  
Рассуждает про себя:  
— Лошадей цыгане крали?  
— Крали.  
— Испокон веков у всех?  
— У всех.  
— А у них теперь нельзя ли?  
У цыган? Не грех?  
— Не грех...

Не лежится на спине,  
Точно спит на бороне.  
Встал и бережно пошел  
За сарай. До ветру, мол...

Слышит — близко за спиной  
Осторожный шорох.  
— Что за люди? Кто такой? —  
Спрашивает сторож.

— Я до ветру,— как урок.  
Отвечал Никита.  
И для виду все, что мог,  
Справил деловито.

— Значит, ходишь по часам?  
— Надо, милый, надо...

— Эхе-хе-хе-хе!.. — А сам —  
Задом,  
задом,  
задом...

Сапоги надел скорей,  
Хоть на босу ногу.  
И с телегою своей  
Тронулся в дорогу...

## Глава 11

Большаком три ночи и три дня  
Ехала телега без коня.

И шутил невесело мужик,  
Что к коневой должности привык.

— Подучусь, как день еще пройду.  
Все, что надо, делать на ходу.

А овсом питаться — не беда:  
Попадала в хлеб и лебеда.

Стоя спать — уменья мало здесь.  
Приходилось спать — и лапти плести!

В неизвестный город большаком  
Шла телега вслед за мужиком...

От куста идут и до куста,  
От моста до нового моста.

От пятьсот девятого столба  
До пятьсот десятого столба.

Далека родная сторона!  
Что там баба делает одна?..

Ждет она хозяина с конем,  
Знать она не знает ни о чем.  
Как идет с телегой Моргунок  
По одной из тысячи дорог...

Вышел в поле тракторный отряд.  
По путям грохочет скорый поезд.  
Самолеты по небу летят,  
Ледоколы огибают полюс...

И, по-конски терпелив и строг,  
Волокет телегу Моргунок.

Мальчик — ни на шаг от мужика...  
Пусть идет — дорога широка.

Так идут, идут и слышат вдруг  
Впереди, вдали копытный стук.  
Будто в ступе коноплю толкнут,  
Будто бабы где-то кросна бьют.

Отолосок стороной идет,  
И ездок покажется вот-вот...

Гоп-та-такс!.. — И перед Моргунком  
На коне,  
На сером,  
Поп верхом!..

Поп назад откинулся, сдержал,  
Конь узнал хозяина, заржал.

Но в одну минуту Моргунок  
Из оглобель выскочить не мог.  
Он ремни распутывал, а поп —  
Повернул коня и дал в галоп.

То ли поп коня того купил.  
То ли вор у вора уташил...

— Стой!.. — бежит Никита за конем.  
Сапоги, пиджак горят на нем.

Сбилась шапка мокрая на лоб.  
Вверх и вниз в глазах ныряет поп.

— Стой!.. — кричит бежит Никита вслед.  
Голосу в груди и духу нет.

Он бежит, и замирает «сто-й!»  
На дороге пыльной и пустой.

И, как рану, зажимая бок,  
Падает на землю Моргунок.

Он лежит, как мертвый, недвижим,  
Но земля сама бежит под ним.

Обернулись реки и мосты.  
Вверх ногами — травы и кусты.

Но уже далече скакет поп,  
Пропадает за холмами топ.

Тише,тише движется земля.  
По местам становятся поля...

И лежит Никита Моргунок  
На одной из тысячи дорог...

Пыль по-над дорогой незаметнее,  
Вечер начинается вдали.  
И березы старые, столетние  
Опустили ветви до земли.  
Тишина хорошая кругом...

— Дядь, вставай.  
А, дядь?..  
Вставай. Пойдем...

## Глава 12

Деловито, не сердито  
Меж палаток, меж подвод  
Пробирается Никита:  
— Дайте, граждане, проход.

И, встречая, обступая,  
Любопытствует народ:  
То ль коня он покупает,  
То ль телегу продает?

— Погодите, не толкуйте,  
Братцы, горе у меня:  
На базар служитель культа  
Моего утнал коня...

К конной привязи, в тенек  
Заезжает Моргунок.

И пошел бродить на счастье  
По базару взад-вперед.  
Что ни лошадь серой масти,—  
Сердце дрогнет и замрет.

Много серых и красивых.  
Только равных нет коней:  
То подсеченная грива,  
То монета покрупней...

На лотках блестят селедки.  
Солнце жарит пирожки.  
Старичок с лихой бородкой  
Кнутовьем звонит в горшки:

— Николаевская глина.  
Отдаю за просто так:  
С одноличницы — полтина.  
С коммунарки — четвертак!..

Площадь залита народом.  
Площадь ходит хороводом,

Площадь до краев полна,  
Площадь пляшет, как волна.

— Расступись, давай проход.—  
Жеребца артель ведет.  
Как на выставке — проводят.  
Уходи, живые, прочь!  
Двое виснут на поводьях,  
Троє ладятся помочь.

Мундштуки в горячем мыле.  
Благородный карий глаз...

— Кто купил?  
— Мы купили.  
— Сколько дали?  
— Хватит с нас.

Гомонит, гудит базар.  
Девки, бабы — по возам.

Подбирают кони сено,  
Шевелят сухой овес;  
И шумит парная пена,  
Остывая у колес.

В сюртуке старик усатый  
За рога ведет козу.  
Жарко дышат пороссята  
В тесной клетке на возу.

И идет от воза к возу,  
Не смолкает говор, гам.  
Пахнет сеном и навозом,  
С «центроспиртом» пополам.

От жары укрыт, от пыли,  
У ограды нищий ряд.  
Тут остатние слепые  
И убогие сидят.

Песня слышится сквозь гомон.  
Оборвется — и опять...  
Голос будто бы знакомый.  
Только слов не разобрать.

Подошел, с другими рядом  
Стал и видит Моргунок:  
Грузный нищий — у ограды.  
Шапка с медью — между ног.

Поводырь с восковым лицом  
Сидит плечо к плечу:  
...Отвечает эта птичка:  
«Жить я в клетке не хочу.  
Отворите мне темницу.  
Я на волю полечу...»

У певца глаза закрыты,  
Голос набожно-суров.  
Ахнул, чуть не сел Никита:  
— Сукин сын! Илья Бугров!

И, точно сами, две руки  
Вперед рванулись:  
— Стой!.. —  
И раскатились пятаки,  
Гремя по мостовой.

И Моргунок, как мех сопя,  
Подмял слепого под себя.  
Народ бежит со всех сторон:  
— Слепого бьют... Разбой!..  
— Да как же, братцы, — зрячий он.  
— Ей-богу, был слепой.

Бугров, карабкаясь, хрипит:  
— Пусти!.. Пусти меня.  
Пусти, сосед. Скажу, Никит,  
Чего-то про коня...

— Скажи, — нагнулся Мергунок,  
— Скажи, пока не бью.  
— Пусти. Никит... Скорей...  
Свисток!..  
Обоих — в Гёлею.

— Скажи — пущу.  
— Скажу потом.

— Давай сейчас, злодей!  
— Скажу. В сторонку отойдем.  
Чтоб без чужих людей.

Не дома в праздничный денек  
На хуторе своем.  
Идет под ручку Моргунок  
С Ильею Кузьмичом.

Ведет Бугрова Моргунок:  
— Дорогу дай, народ.—  
Ведет, и шапку, как залог,  
Слепецкую несет.

Идут, шатаясь, вразнобой.  
Пьяны средь бела дня.  
Грозит им пальцем постовой:  
— Глядите у меня!..

И говорит Илья Бугров  
Тихонько Моргунку:  
— Чудак ты, конь твой жив-здоров,  
Покляться в том могу.

И вдруг, не ахнул Моргунок.  
— Стой! — закричал Бугров  
И сквозь толпу рванулся вбок:  
— Стой! Стой! Держи воров!..

— Стой!  
— Братцы, братцы! — вскрикнул вслед  
И всхлипнул Моргунок.  
И ни коня, ни вора нет,—  
В руках один залог.

Туда-сюда. Базар кругом.  
Колышется народ.  
Уже о чем-то о другом  
Толкует и орет.

— Ну что ж... Спасибо, сукин сын:  
Последний дал урок.—  
И шмякнул шапку что есть сил  
Никита Моргунок.

## Глава 13

Вдоль дороги рожь бежала.  
Над дорогой пыль дрожала,  
Плыл дымок...  
Ехал парень моложавый.  
Кучерявый паренек.

Кучерявый паренек,  
На затылке козырек.

Ехал парень хватом,  
Девкам песни вез.  
В елку след печатал  
Шпорами колес.

Получил на курсах трактор  
Кучерявый паренек.  
Изучил ЧЕТЫРЕ ТАКТА.  
Заводить и править мог.

И смешно, да не до смеха.  
Хорошо, да сам не рад.  
Посадили — и поехал: —  
Крой до места, трогай, брат.  
Бога нету, говорят.

Не ломай деревья,  
Не ворочай пни,  
По пути в деревне  
Угол не сверни.

Все в порядке. Едет парень.  
За верстой идет верста.  
Проезжает без аварий  
Две деревни, три моста.

Руль одной рукой  
Держит, как шофер.  
Едет — что такое?  
Смотрит — что за черт!

На припеке у дороги  
Под телегой спит мужик.  
Рядом мальчик босоногий  
Кверху пятками лежит.

Слева, справа — нелюдимо,  
Луговеет рыжий пар...  
Проезжает парень мимо:  
— Эй ты, дед, коня проспал!..

Спохватился Моргунок:  
— А?.. Давно проспал, сынок.

И лежит он под телегой.  
Как лежал.  
Дескать, крой, а нам не к спеху.  
Не пожар.

— Извиняюсь, бога нет.  
Кто такой, откуда, дед?..

— Так и так. Длинна дорога.  
Вот как выбился из сил...

— Ладно, дед. Нету бога.  
Прицепляйся на буксир.

— Я не прочь, пожалуй.  
Но одна статья:  
За телегу, малый,  
Опасаюсь я...

— Отговариваться нечем.  
Делай, дед. Решен вопрос...  
За телегу сам отвечу.—  
Своя кузня, свой колхоз.

Прицепились, едут.  
Хороши дела.  
И телега следом  
Здорово пошла.

Едут, едут, едут.  
Дым да стук кругом.  
Едет парень с дедом,  
Правит прямиком.

Руль одной рукою  
Держит, как шофер.  
Едет — что такое?  
Слышишт — что за черт?..

Слышишт перебои,  
Непохожий стук.  
Трактор сам собою  
Тормозится вдруг.

Парню до смерти неловко.  
Эх ты, черт ее дерি!  
— Извиняюсь, остановка!  
— Зайчик выскочил внутри...

Пот на лбу открытом  
Выступил. Беда!  
— Та-ак, — сказал Никита.—  
Добрая езда...

Достает инструмент парень,  
Сам заходит стороной.  
Боязливо приступает,  
Точно к лошади дурной.

Лезет парень под машину,  
Об дорогу чешет спину.  
Рукавом стирает пот,  
В кепку болтики кладет.

Глубоко синеет небо.  
Золотой стоит денек.  
Двадцать лет монтером не был  
Кучерявый паренек.

Не был батька, не был дед.  
Не был прадед, бога нет!..

Бога нету.— несомненно:  
Лет пяток —  
Недолгий срок.  
Будет летчиком отменным  
Этот самый паренек.

Головным в могучей стае  
Будет править на восток.  
Высоко летать он станет.  
Кучеряный паренек!

Кучеряный паренек,  
Желтой кожи козырек!..

Ты забудешь ли, товарищ,  
Наш любимец и герой.  
Как лежал ты на дороге.  
На дороге под горой.

Как кругом, шумя хлебами.  
Длился день страды большой.  
И кряхтел мужик тоскливо.  
Ожидая над душой.

Мужику — оно не к спеху.  
Он бы плонул и повез  
На себе свою телегу  
И тащил бы тыщу верст.

Он бы вез ее дорогой.  
Проклиная белый свет... .

— Ну-ка, дед. Крутни немного.  
Ну-ка, разом, бога нет!..

— Дай-ка,— плонул в руку.  
Взялся Моргунок.  
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка.  
Ну, еще разок!..

Отскочил Никита.—  
Задрожал мотор.  
Нехотя, сердито  
Тронулся, попер.

По мостам грохочет.  
Правит паренек.  
Придержать не хочет.  
Сбавить хоть чуток.

Кроет по увалам.  
Только пыль хвостом...  
— Малый, эй ты, малый.  
Придержи, постой!

— Три версты осталось, дед.  
— Дальше ехать мочи нет.  
За провоз тебе спасибо.  
Посоветуй лучше мне.  
Где б конька какого-либо  
Взять по сходственной цене?

Повернувшись на сиденье,  
Смотрит тот на Моргунка:  
— Нет, в колхозе и за деньги  
Не купить тебе конька.

То ли делом, то ли смехом  
Рассуждает паренек:  
— Ну, прощай. Пора, брат, ехать.  
Кто куда, а я — на ток...

Лошадь, не иначе,  
В Островах найдешь.  
Правда, кони — клячи.  
Ну, да кони все ж...

Край по межам, это близко.  
Дуй пешком, тебе видней.  
Сдай телегу под расписку —  
Довезу. И мальца с ней.

Ну, пока! Не опоздать бы...  
Погоди, постой ты, дед:  
Жду тебя к себе на свадьбу.  
Приглашаю, бога нет!..

**Глава 14**

Вразброс под солнцем, как дрова,  
Лежит селенье Острова.

Ни крыши целой, ни избы,  
Что угол — то дыра.  
И ровным счетом — три трубы  
На тридцать три двора.

Встает, медлителен и глух,  
Нерадостный рассвет.  
На все село один петух —  
И тот преклонных лет.

Поет, как вздумает певень,—  
Ослабла голова.  
Который час, который день,  
Не знают Острова.

Который век, который год  
Течет речушка Царь!  
На колокольне в косу бьет  
К обедне пономарь.

Кругом шумят моря хлебов,  
Поля большой страны.  
Худые крыши Островов  
За ними чуть видны.

Солома преет у ворот.  
Повалены плетни.  
И курит попусту народ  
На бревнышках в тени.

Строгает что-то ножиком,  
Как бубен, лысый дед.  
Скоблит...  
— Бог помошь, граждане.  
Колхозники ай нет?..

И отвечают медленно,  
Недружно мужики.  
Один:  
— Мы — люди темные...  
Другой:  
— Мы индюки...

И подхватила женщина,  
Припав к щеке рукой:  
— Индусы называемся,  
Индусы, дорогой...

— Выходит, бесколхозные.—  
Вздохнул с усмешкой дед.—  
Сошлись жуки навозные.  
Гудят, а кучи нет...  
Косить еще успеется.  
На все у бога дни...

— Ты что строгаешь?  
— Дудочки.  
— А для чего они?..

— А дам по дудке каждому.  
И дело как-никак.  
— А не кулак ты, дедушка?  
— А как же не кулак!

Богатством я, брат, славился  
В деревне испокон:  
Скота голов четыреста  
И кнут пяти сажен.

Я гостем в каждой был избе.—  
Где ужин — там ночлег.  
Коня?.. Чего?.. Коня тебе?  
Чудак ты, человек!..

Вот все хозяева сидят.  
Продай коня, сосед...

— Продать,— оно не штука, брат,  
Да вот коня-то нет.

— А хоть и есть,— вздохнул другой,—  
Да конь-то больно дорогой,—  
За грудь, за складку вдоль спины,  
За вороную масть  
Полжизни плачено. Цены  
Такой никто не даст.

— А я как раз продать бы мог.  
Да баба встанет поперек.  
Что со слезами, что без слез  
Толкует об одном:  
Идти по крайности в колхоз,  
Так со своим конем.

— Слыхал? — толкает Моргунка  
Старик тихонько в бок.—  
Эх, уступлю уж я конька.  
Тому и быть, сынок.  
Идем...

Старик заторопил  
И Моргунка провел  
В худой, без сошек и стропил,  
С собачью будку, двор.

Там конь, не вскинув головы,  
Стоял, как на мели.  
И был он бел до синевы  
И слеп, хоть глаз коли.

Толкает дед его рукой.  
Глядит со стороны:  
— Эх, конь! Царевой масти конь!  
Ему, брат, нет цены.

И сам носился петушком:  
— А? Что? Плохой конек?..  
— Нет, лучше век ходить пешком.  
— Ну, сам гляди, сынок.  
Таков и конь, каков купец.  
Соседи, чем не конь?

— Понятно, конь. Не жеребец.  
— Ну, что там! Конь — огонь!..  
Как побежит — земля дрожит;  
Как упадет — три дня лежит,  
И ни вожжа тогда, ни кнут  
Ему не вставят ног...

— Да, вот как люди здесь живут.—  
Причмокнул Моргунок.

— Сынок! Ты вот чего скажи,—  
Опять пустился дед.—  
А чем плохая наша жизнь?  
По-моему — лучше нет.

Земля в длину и в ширину —  
Кругом своя.  
Посеешь бубочку одну.  
И та — твоя.

И никого не спрашивай,  
Себя лишь уважай.  
Косить пошел — покашивай.  
Поехал — поезжай...

— Живете не богато вы,—  
Смутился Моргунок.  
— А счастье не в богачестве.  
Зачем оно, сынок?

Нам бы хлебушка кусок,  
Да водицы голоток.  
Да изба с потолком,  
Да старуха под боком.

— Верно.  
— Правильно.  
— Привычка...  
Вот прохожий баал тож:  
Отчего ты, дескать, птичка.  
Хлебных зерен не клюешь?

В том как раз и заковычка —  
От природы людям зло.  
Отвечает будто птичка:  
Жить, мол, в клетке тяжело.

— Кабы больше было воли,  
Хочешь — здесь ты, хочешь — там...  
— Кабы жалованье, что ли,  
Положили мужикам.

— Кабы нам душа одна бы...  
— Кабы жить нам не вразлад...  
— Кабы если бы не бабы,  
Бабы слушать не хотят!..

— Ты про баб молчи, пустыня.  
Сами скажем про свое.  
Вот кожу с грудьми пустыми  
За хорошее житье.

У людей, людей — пшеничка  
Наклонилась по ветру.  
А у нёлюдей солома  
Раскидалась по двору.

У людей, людей — ребятки  
День гуляют на площадке.  
За столом за общим в ряд.  
Как горлачики, сидят.

А мои живут на свете  
Хуже сивых поросят.  
Невиновны мои дети —  
Ихний батька виноват!

Погляжу на ту картину,  
Как сидишь ты день-деньской,  
Плюну, кину-запокину,  
Убегу — и черт с тобой!..

Пглядит, растерян и смущен,  
Никита Моргунок.  
Что скажет он?  
Что понял он  
За долгий путь и срок?..

— Ну вот,— снял шапку Моргунок.—  
Понятно — жесткий год.  
Все, братцы, вдоль и поперек.  
Крест-накрест все идет.

И ваша жизнь — не жизнь, друзья.  
Одна тоска и боль.  
Пляжу на вас: так жить нельзя.  
Решаться надо, что ль...

А что касается меня,  
Возьмите то в расчет:  
Поскольку я лишен коня,—  
Ни взад мне, ни вперед.

Осиротил меня злодей,  
Под самый корень ссек.  
А конь был — нет таких коней!  
Не конь, а человек.

Бывало, корочку из рук,  
Как со стола, возьмет.  
В ночном — чуть что — затихнет вдруг  
Как спросит: кто идет?

Прилечь на землю не могу.  
Ни сна, ни дремы мне.  
Вот будто ходит по лугу,  
Ступает в стороне.

Как будто слышу стук копыт.  
Вздыхает конь живой.  
Трава росяная скрипит.  
И пахнет той травой...

И стихли все... И Моргунок  
Вдруг смолк понуро сам,  
И смятой шапкой проволок  
Неспешно по глазам...

Молчит на бревнышках народ.  
Все сказаны слова.  
Берет старик две дудки в рот.  
Чуть набок голова.

Поймали пальцы нужный лад.  
И тонкий звук потек:  
«Пойду, пойду в зеленый сад,  
Сорву я орешок».

Поет старик об орешке.  
Играет оберучь.  
Висит на ветхом пояске  
Мужицкий медный ключ.

Ползет рубаха с плеч долой,  
На ней заплатки сплошь.  
А в песне — «парень удалой,  
Куда меня ведешь!..»

Ту песню про зеленый сад.  
Про желтый орешок  
Слыхал лет двадцать пять назад  
От деда Моргунок.

— Ну, что ж, пора. Сижу я тут  
Без барышей полдня.  
А там телега и хомут  
И сбруя у меня.

## Глава 15

Из всех излюбленных работ  
Любил Никита обмолот.  
И где и кто молотит,— мог  
Узнать по стуку Моргунок.

У богачей да у попов  
Ходили в дюжину цепов.  
И все цепы колотят в лад  
И соблюдают счет.  
И на току — что полк солдат  
Под музыку пройдет.

А сам Никита Моргунок  
Вдвоем с женой ходил на ток.

До ночи хлеб свой выбивал  
Не раагибая рук.  
И, как калека, колдыбал  
Хромой унылый стук.

Но любо было Моргунку,  
Повесив теплый цеп,  
Сидеть и веять на току  
Набитый за день хлеб.

Кидай по горсточке одной  
Навстречу ветерку,  
И полумесяц золотой  
Ложится на току.

Кидал бы так за возом воз  
До нового утра.  
И полумесяц все бы рос  
И рос бы, как гора...

По стуку трактора на ток  
Пришел Никита Моргунок.

Дрожит под пятками земля,  
Стук, ветер, вой и свист,  
И наклонился у руля  
Тот самый тракторист.

А пыль, а дым несет в глаза,  
И все зашлось в ушах.  
Ни поздороваться нельзя,  
Ни подойти на шаг.

Легка солома, колос чист,  
Зерно шумит, как град.

— Снимай пиджак да становись,  
Чего стесняться, брат!..

— А, дай! — Разделся Моргунок,  
Рогатки в руки взял,  
Покрылся ношей, поволок.  
Знай наших! — доказал.

— Да я ж!.. Да господи спаси,  
Да боже сохрани!..  
Скажи — коси, скажи — носи,  
Скажи — ворочай пни!..  
Да я ж не лодырь, не злодей,  
Да я ж не хуже всех людей.

Как хватит, хватит Моргунок,  
Как навернет рогатками...  
Сопит, хрюпит, до нитки взмок,  
Колотье под лопатками.

Солома — валом. Спасу нет.  
Но вскоре из ворот  
Мужчина Моргунковых лет  
На выручку идет.

Тверд на ногах, что в землю врыт,  
По голосу — добряк.  
«А ты вот этак, говорит,  
Ты, говорит, вот так!..»

И, ношу взяв с бобыльский воз,  
Оп! — смотрит Моргунок —  
Подсел, не крякнул и понес.  
Раз! — и взмахнул на стог.

И, отряхнув с накидки ость,  
Радушно говорит:  
— Пойдем-ка мы отсюда, гость,  
Охота покурить.

— А председатель как у вас.  
Позволит он уйти?..  
— А председатель я как раз,  
Со мной, брат, не шути.

Держи табак. Бери, бери,  
Верти своей рукой.  
Устал, брат?.. Ну-ка, говори,  
Откуда, кто такой?..  
Издалека?  
— Издалека.  
От Ельни...  
— В добрый час.

Сидят в тени два мужика,  
Толкуют в первый раз.

Развеял ветер и унес  
Махорочный дымок...  
— Ну что ж, взгляни на наш колхоз,  
Товарищ Моргунок.

Все разом показать готов.  
Усадьба велика.  
Ведет Андрей Ильич Фролов  
Под ручку Моргунка.

Ведет, ведет на новый двор,—  
Он светел и смолист:  
И бревна старые в забор  
Меж новых улеглись.

В загон к скоту идет Фролов  
С Никитою вдвоем  
И гладит, хвалит всех коров,  
Как на дворе своем.

Любую ногу подает  
Ему в конюшне конь.  
Теленок зеркальце сует  
В хозяйствскую ладонь.

Идут вперед, идут назад,  
И видит Моргунок:  
Взбегает малолетний сад.  
Рядами на припек.

Вдоль по усадьбе до ворот  
Проходит гость, глядит.  
Кол вбит,— попробует, качнет:  
Всерьез ли в землю вбит.

Но все — не в шутку. все — всерьез.  
Для жизни — в самый прок.  
Один-единственный вопрос  
Имеет Моргунок:

— Я полагаю, спору нет,  
Вам все ж видней, партейному:  
Скажите мне, на сколько лет  
Такая жизнь затеяна?..

— А вот, товарищ Моргунок.  
Ударят на обед.  
Прикину, подведу итог —  
И дам тебе ответ.

А заодно теперь позволь  
Позвать тебя на хлеб да соль.

### Глава 16

— Мой дед родной — Мирон Фролов  
— Нас, молодых, бодрой.  
Шестнадцать пережил попов  
И четырех царей.

Мы, как подлесок, все под ним  
Росли един перед другим.

И, приподнявшись от земли,  
Все кланялись ему.  
И шли в заводы, в шахты шли,  
В солдаты и в тюрьму.

Шли, заполняли белый свет —  
Жить не при чем в семье.  
Бреди, — и где нас только нет,  
Фроловых, на земле!

Живут в Москве, и под Москвой,  
В Сибири от годов;  
Есть машинист, есть летчик свой.  
Профessor есть Фролов.

Есть агроном, есть командир,  
Писатель даже есть один.

И все — один перед другим.—  
Хоть на меня смотри.  
Росли под дедом под своим,  
В него — богатыри.

Шесть ран принес с гражданской я.,  
Шесть дырок, друг родной.  
Когда б силенка не моя,—  
Хватило бы одной.

По всем законам — инвалид,  
Не плуг бы мне — костыль...  
А после здесь уж был ябит.  
Добро, что богатырь.

Делил луга, взимал налог  
И землю нарезал.  
И свято линию берег,  
Что Ленин указал.

Записки мне тогда под дверь  
Подсовывал Грачев:  
«Земли себе сажень отмерь  
И доски заготовь».

Фроловы были силачи,  
Грачевы были богачи.

Грачевы — в лавку торговать,  
Фроловы — сваи загонять.

Грачевы — сало под замок.  
Фроловы — зубы на полок.

Мой враг до гроба и палач,  
Вот в этот день и час.  
Где ты на свете, Степка Грач.  
И весь твой подлый класс?!

И в смертный срок мой вспомню я.,  
Как к милости твоей  
Просить ходила мать моя  
Картошек для детей:

Как побиушкой робко шла  
По дворне по твоей,  
Полкан Иванычем звала  
Собаку у дверей...

Да я и не про то теперь...  
За землю мстил Грачев.  
Земли, так и писал, отмерь  
И доски заготовь.

Подстерегли меня они  
В ночь под успен'ев день —  
Грачевы, целый взвод родни  
Из разных деревень.

Жилье далеко в стороне,  
Ночь, ветки — по глазам.  
И только палочка при мне.—  
Для сына вырезал.

И первый крикнул Степка Грач:  
— Стой тут. И — руки вверх!  
Не лезь в карман, не будь горяч.—  
Засох твой револьвер.

Сдавай бумаги, говорят.  
Давай, отчитывайся, брат!

Стою. А все они с дублем.  
Я против банды слаб.  
Ну, шли б втроем, ну, вчетвером.  
Ну, впятером хотя б...

Лощинка, лес стоит немой.  
Тишина-тишина вокруг.  
Кричать? — Кричать характер мой  
Не позволяет, друг.

А тени сходятся тесней.  
Минута настает.  
И тех, которые пьяней.  
Пускают наперед.

Троих я сбил. А сзади — раз!  
И полетел картуз...  
И только помню, как сейчас,  
За голову держусь.

Лежу лицом в сырой траве.  
И звон далекий в голове.

И Грач толкает сыновей:  
— Скорей! Грех, господи... Скорей!..

Да помню, точно сквозь туман.  
Прощался я: «Сынок!..  
Прости, что палочку сломал,  
Подарок не сберег.

Прощай, сынок. Расти большой.  
Живи, сынок, учись,  
И стой, родной, как батька твой.  
За нашу власть и жизнь!..»

Потом с полночи до утра  
Я полз домой, как мог.  
От той лощинки до двора  
Кровавый след волок.

К крыльцу отцовскому приполз,  
И не забуду я.  
Как старый наш фроловский пес  
Залаял на меня!

Хочу позвать: «Валет! Валет!..»  
Не слушается рот.  
... Ты говоришь, на сколько лет  
Такая жизнь пойдет?..

Так вот даю тебе ответ  
Открытый и сердечный:  
Сначала только на пять лет.  
— А там?..  
— А там — на десять лет.  
— А там?..  
— А там — на двадцать лет.  
— А там?..  
— А там — навечно.  
— И это твердо, значит?  
— Да.  
— Навечно, значит?  
— Навсегда!..

Эх, друг родной, сказать любя,  
Без толку носит черт тебя!..

Да я б на месте на твоем,  
Товарищ Моргунок,—  
Да отпусти меня райком —  
Я б целый свет прошел пешком,  
По всей Европе прямиком.  
Прополз бы я, проник тайком,  
Без тропок и дорог.  
И правду всю рабочий класс  
С моих узнал бы слов:

Какая жизнь теперь у нас,  
Как я живу, Фролов.  
И где б не мог сказать речей,  
Я стал бы песню петь:  
«Душите, братья, палачей,  
Довольно вам терпеть!»

И шел бы я, и делал я  
Великие дела.  
И эта проповедь моя  
Людей бы в бой вела.

И если будет суждено  
На баррикадах пасть.  
В какой земле — мне все равно,—  
За нашу б только власть.

И где б я, мертвый, ни лежал.  
Товарищ Моргунок.  
Родному сыну завещал:  
Иди вперед, сынок.

Иди, сынок. Расти большой.  
Живи, сынок, учись.  
И стой, родной, как батька твой,  
За нашу власть и жизни!

## Глава 17

Ходит сторож, носит грозно  
Дулом книзу ружьецо.  
Ночью на земле колхозной  
Сторож — главное лицо.

Осторожно, однотонно  
У столба отбил часы.  
Ночь давно. Армяк суконный  
Тяжелеет от росы.

И по звездам знает сторож,—  
По приметам, как всегда,—  
Тень двойная станет скоро  
Проходить туда-сюда.

Молодым — любовь да счастье,  
На поре невеста дочь.  
По двору Васек и Настя  
Провожаются всю ночь.

Проведет он до порога:  
— Ну, прощай, стучись домой.  
— Нет, и я тебя немножко  
Провожу, хороший мой.

И доводит до окошка:  
— Ну, прощай, хороший мой.  
— Дай же я тебя немножко  
Провожу теперь домой.

Дело близится к рассвету.  
Ночь свежеет — не беда!  
— Дай же я тебя за это...  
— Дай же я тебя тогда...

Под мостом курлычет речка,  
Днем неслышная совсем.  
На остывшее крылечко  
Отдохнуть старик присел.

Свесил голову, как птица.  
Ружьецо стоит у ног.

— Что-то, брат, и мне не спится.—  
Смотрит сторож — Моргунок.  
— Ну, садись. А мне привычно.  
Тем и должность хороша.—  
Обо всем на белом свете  
Можно думать не спеша:

О земле, о бывшем боге,  
О скитаниях людей.  
О твоей хотя б дороге,  
О Муравии твоей.

Люди, люди, люди, люди,  
Сколько с вами маяты!  
Вот и в нашей был деревне  
Дед один, такой, как ты.

Посок вырезал дубовый,  
Сто рублей в пиджак зашил.  
В лавру, в Киев снарядился:  
— Поклонюсь, покамест жив.

И стыдили, и грозили...  
«Все стерплю, терпел Иисус.  
Может, я один в России  
Верен Богу остаюсь».

— Ладно. Шествуй-путешествуй.—  
Говорят ему Фролов.—  
А вернешься жив-здоров,  
Все как есть расскажешь честно  
Про святых и про попов\*.

И пошел паломник в лавру.  
Пешим верстам долог счет.  
Мы вот здесь сидим с тобою,  
Говорим, а он идет...

А дорог на свете много,  
Пролегли и впрямь и вкось.  
Много ходит по дорогам —  
И один другому рознь.

По весне в газете было,—  
Может, сам слыхал о том,—  
Как идет к границе нашей  
Человек один пешком.

Он идет: работы нету,  
Без куска его семья.  
На войне он окалечен.  
Оконтужен, как вот я.

По лесам идет, по тропам,  
По долинам древних рек.  
Через всю идет Европу.  
Как из плена человек.

Он идет. Поля пустые.  
Редко где дымит завод.  
Мы вот здесь сидим с тобою,  
Говорим, а он идет...

Слухам верить не пристало.  
Но и слух не всякий зряц.  
Говорят, домой с канала  
Волокется Степка Грач.

Он идет и тешит злобу,  
Знает, с кем свести расчет.  
Днями спит, идет ночами.  
Вот сидим, а он идет...

А смотри-ка, друг прохожий!..  
— Вижу.— вздрогнул Моргунок.  
На звезду меж звезд похожий.  
Плыл на запад огонек.

С ровным рокотом над ними.  
Забирая, ввысь, вперед.  
Над дорогами земными  
Правил в небе самолет.

— Высоко идет, красиво.  
Хорошо, хоть песню пой!  
Это тоже, братец, сила.  
Тоже сторож наш ночной.

Он встает: Светло и строго  
Утомленное лицо.  
Где-то близко у калитки  
Тихо звякнуло кольцо.

И бредет гармонь куда-то.  
Только слышится едва:  
• В саду мята,  
Да не примята,  
Да неподкошенная  
Трава...»

**Глава 18**

Стоят столы кленовые.  
Хозяйка, нагружай!  
Поспела свадьба новая  
Под новый урожай.

Поспела свадьба новая  
Под пироги подовые,  
Под свежую баранину,  
Под пиво на меду,  
Под золотую, раннюю  
Антоновку в саду.

И над крыльцом невестиным.  
Как первомайский знак,  
Тревожно и торжественно  
Похлопывает флаг.

Притихшая, усталая.  
Заголосила старая.  
Заголосила, вспомнила  
Девичество бездомное.  
Колечко обручальное.  
Замужество печальное.

— Лети, лети, ластынька.  
Лети за моря.  
Прости-прощай, Настенька.  
Дочушка моя.

Лети, сиротливая.  
В чужие края.  
Живи, будь счастливая.  
Кровинка моя.

Надень бело платьице.  
Пройдись по избе.  
А что же да не плачется.  
Не горько тебе?

Поплачь, поплачь, Настенька.  
Дочушка моя.  
Лети, лети, ластынька.  
Лети за моря.

Гармонь, гармонь, бубенчики.  
— Тишу, кони! Стой, постой!..  
Идет жених застенчивый  
Через девичий строй.

— Эх, Настя, нас обидела.  
Кого взяла — не видела:  
Общипанного малого,  
Кривого, куцепалого.

А что ж тебя заставило  
Выйти замуж за старого,  
За старого, отсталого,  
Худого, полинялого?

У твоего миленочка  
Худая кобыленочка.  
Он не доехал до горы,  
Ее заели комары.

Дверь — настежь. Гости — на порог.  
Гармонь. И кто-то враз  
В сенях рассыпал, как горох.  
Поспешный, дробный пляс.

И вот за стол кленовый  
Идут, идут Фроловы.

Идут, идут — брат в брата,  
Грудь в грудь, плечо в плечо.

Седьмой, восьмой, девятый,  
А там еще! Еще!..  
Стоят середь избы —  
Богатыри.  
Дубы!

И — даром, что ли, славятся —  
Идут, красой грозя,  
Ударницы-красавицы —  
Жестокие глаза.

А впереди — затейная  
Аксюта Тимофеевна:  
— Где стала я, где села я —  
Со мной бригада целая.

Три раза премированный,  
Идет Фролов Иван —  
Лошадник патентованный,  
До свадьбы чутку пьян.

Идет, торжествен и суров.  
Как в светлый день одет,  
Ста восемнадцати годов,  
Мирон Васильевич Фролов —  
Белоголовый дед.

На свадьбу гостем приглашен,  
Где правнуки сидят.  
Сам в первый раз женился он  
Сто лет тому назад.

И вот встает Андрей Фролов:  
— Деды, позвольте пару слов.

Деды! В своей усадьбе  
И на своей земле.  
Когда, на чьей мы свадьбе  
Гуляли здесь в селе?

Не в сытости, не в холе мы  
Росли, и, как везде,  
Шли замуж поневоле мы,  
Женились — по нужде.

Деды! Свою властью  
Мы здесь, семьюм всей,  
Справляем наше счастье  
На свадьбе на своей.

За пару новобрачную.  
За их любовь удачную.  
За радость нашу пьем.  
За то, что по-хорошему.  
По-новому живем!

И свадьба дружно встала,  
Сам сторож речь ведет:

— За молодых и старых,  
За весь честной народ!  
За дочь мою, за Настю.  
И за дружка ее!  
За их совет, за счастье,  
За доброе житье!

А также выпить следует  
За нас, за стариков.  
И пусть вином заведует  
Андрей Ильич Фролов.

Пускай проводит линию  
Он с толком и душой:  
Партийным льет по маленькой,  
А нам уж — по большой.

И, видно, в меру каждому  
Та линия была, —  
Заговорили граждане  
Про всякие дела.

— С тобой, Василий Федорыч.  
Кому косить пришлось, —  
Одно, Василий Федорыч:  
Дух вон и лапти врozy.

С тобой, Василий Федорыч,  
Запросит пить любой.  
А я, Василий Федорыч,  
Я ж рядом шел с тобой.

— Чистов, Прокофий Павлович,  
Бобыльский бывший сын,  
Не жук тебе на палочке,  
А честный гражданин!

— А я стою на страже  
Колхозного житья.  
Кто скажет, кто докажет,  
Что слабый сторож я?

А сын, читали сами,  
На той границе он.  
Оружьем и часами  
За подвиг награжден.

Живу, горжусь сынами.  
Тобой горжусь, зятек...  
Постойте, пьет ли с нами  
Товарищ Моргунок?..

Встает Никита над столом  
И утирает бороду.  
Один поклон.  
Другой поклон —  
На ту, на эту сторону.

— Раз надо, не стою:  
Пью. Откровенно пью!..

— Пей, друг, и ешь досыта.  
С людьми гуляй и пей!

— Да я ж,— кричит Никита,  
Не хуже всех людей!

— Гуляй с душой открытой.  
Как гость среди гостей.

— Но конь,— кричит Никита.—  
Эх, нет таких коней!

— Забудь, живи счастливо.  
Не хуже кони есть!..

— Горек хлеб! Горько пиво!  
Нельзя пить, нельзя есть.

— Горек мед! — кричат вокруг.  
— Горько все! — деды решили.

Гармонист ударил вдруг...  
— Дайте круг!  
— Шире круг!  
— Расступитесь!  
— Шире!

Шире!

— Эх, дай на свободе  
Разойтись сгоряча!..

Гармонист гармонь разводит  
От плеча и до плеча.

Паренек чечетку точит,  
Ходит задом наперед.  
То присядет,  
То подскочит,  
То ладонью, между прочим,  
По подметке  
Попадет.  
И поднесет ладонь к груди:  
— Ходи, ходи!  
Ходи, ходи!  
Не скрывайся в хороводе.  
Выходи —  
И я с тобой!..

Гармонист ведет-выводит.  
Помогает головой.

Выходит девочка бедовая.  
Раздайся, хоровод!  
Платье беленькое, новое  
В два пальчика берет.

— Меня высватать хотели,  
Не сумели убедить.  
Не охота из артели  
Даже замуж выходить.

А ты кто такой, молодчик? —  
Я спрошу молодчика.—  
Ты молодчик, да не летчик.  
А мне надо летчика.

У колодца  
Вода льется.  
Подается по трубе.  
Хорошо тебе живется.  
Мне не хуже, чем тебе.

— Раздайся, хоровод:  
Тимофеевна идет.

— Кому девки надоели,  
Тот старуху подберет.

— Ничего про вас худого,  
Девочки, не думала.  
Отбить парня молодого  
Одного надумала.

Эх, думала,  
Подумала.  
Веселые дела.  
Дунула,  
Плюнула.  
Другого завела.

Бабий век —  
Сорок лет.  
Шестьдесят  
Износу нет.  
Если смерти не случится,  
Проживу еще сто лет.

Эх, кума,  
кума,  
кума.  
Я сама себе — сама.  
Я сама себе обновку  
Праздничную спрavила.  
Я за двадцать лет коровку  
На дворе поставила.

Дед стар,  
стар,  
стар.—  
Заплетаться стал.  
Никуда он не годится:  
Целоваться перестал.

Проведу его, злодея,  
Накажу кудлатого:  
Восьмерых сынов имею.  
Закажу девятого.

— Раздайся, хоровод:  
Моргунок плясать идет.  
Он сам идти не хочет,  
Бабка за полу ведет.

Бабка задом отступает,  
Заводило знак дает.  
Батька сына вызывает.  
Выступает наперед.

Вышли биться  
Насовсем.  
Батьке — тридцать.  
Сыну — семь.

Батька — щелком,  
Батька дробью,  
Батька с вывертом пошел.  
Сын за батькой исподлобья  
Наблюдает, как большой.

Батька кругом.  
Сын волчком.  
Не уступает ни почем.

А батька — рядом,  
Сын вокруг.  
И не дается на испуг.

А батька — этак,  
Сын вот так.  
И не отходит ни на шаг.

**Глава 19**

И оба пляшут от души,  
И оба вместе хороши,  
И оба — в шутку и всерьез.  
И оба дороги до слез.

И расстаются, как друзья...  
Ах, надо б лучше, да нельзя!..

И вот еще не стихнул пол  
Под крепкой дробью ног,—  
То ль нищий, то ли гость взошел  
Тихонько на порог.

На нем поповский балахон  
Подрезан и подшит.  
Зовет хозяйку в сени он.  
Хлопочет и спешит.

Толкуют гости: кто такой?  
Портной ли, коновал?..

У палисада серый конь  
На привязи стоял.

Идет к гостям старуха мать.  
Не поднимает глаз:

— Проезжий батюшка. Венчать  
Согласен хоть сейчас.

Подсела робко к старику:  
— Рутать повремени.  
На яйца, говорит, могу.  
Могу — на трудодни.

И вдруг без шапки на порог  
Метнулся Моргунок.

С крыльца на двор простукал вниз.  
Бегом, как из огня...  
И, повод оборвав, повис  
На шее у коня.

От стороны, что всех родней,  
За тридевять земель.  
Знакомым скрипом вдруг о ней  
Напомнит журавель.

Листвой и яблоками сад  
Повеет на заре,  
И петухи проголосят,  
Как дома на дворе.

И свет такой, и дым такой,  
И запахи родны.  
Лишь солнце будто бы с другой  
Восходит стороны...

И едет, едет, едет он.  
Дорога далека.  
Свет белый с четырех сторон,  
И сверху — облака.

Поют над полем провода,  
И впереди — вдали —  
Встают большие города.  
Как в море корабли.

Поют над полем провода,  
Понуро конь идет.  
Растут хлеба. Бредут стада.  
В степи дымит завод.

— Что, конь, не малый мы с тобой  
По свету дали крюк?..  
По той, а может, не по той  
Дороге, едем, друг?..

Не видно — близко ль, далеко ль,  
Куда держать, чудак?  
Не знаю, конь. Гадаю, конь.  
Кидаю так и так...

Посмотришь там, посмотришь тут.  
Что хочешь — выбирай:  
Где люди веселей живут,  
Тот вроде лучше край...

Кладет Никита на ладонь  
Всю жизнь, тоску и боль...

— Не знаю, конь. Гадаю, конь.  
И нам решаться, что ль?..  
За днем — в пути — проходит ночь.  
Проходит день второй...

И вот на третий день точь-в-точЬ  
В лощинке под горой

Глядит и видит в стороне  
Никита Моргунок:  
Сидит стариk на белом пне  
С котомкоу у ног.

У старика суровый вид.  
Почтенные лета,  
Дубовый посох шляпкой сбит.  
Как ручка долата.

Сидит стариk, глядит молчком...  
Занятно Моргунку:  
— На лавру, что ли, прямиком  
Стучишь по холодку?

И дед неспешно отвечал,  
На разговор тяжел:  
— Как раз на лавру путь держал.  
Однако не дошел.

— Тпру, коны!.. Да как случилось, дед,  
Что ты бредешь назад? —  
А пеший конному в ответ:  
— Не то бывает, брат.

Сквозь города, сквозь села шел,  
Упрям, дебел и стар,  
Один, остатний богомол,  
Ходок к святым местам.

И вот в пути, в дороге дед  
Был помыслом смущен:  
— Что ж бог! Его не то чтоб нет,  
Да не у власти он.

— А не слыхал ли, старина,  
Скажи ты к слову мне,  
Скажи, Муравская страна  
В которой стороне?..

И отвечает богомол:  
— Ишь, ты шутить мастак.  
Страны Муравской нету, мол.  
— Как так?  
— А просто так.

Была Муравская страна,  
И нету таковой.  
Пропала, заросла она  
Травою-муравой.

В один конец,  
В другой конец  
Открытый путь пролег...

— Так, говоришь, в колхоз, отец? —  
Вдруг молвил Моргунок.

— По мне — верней;  
Тебе — видней:  
По воле действуй по своей...

— Нет, что уж думать,— говорит  
Печально Моргунок.—  
Все сроки вышли. Конь подбит...  
Не пустят на порог.

Объехал, скажут, полстраны.  
К готовому пришел...  
— Для интересу взять должны,—  
Толкует богомол.  
— А что ты думаешь, родной! —  
Повесел ездок.—  
Ну, посмеются надо мной.  
А смех — он людям впрок.

Зато мне все теперь видней  
На тыщи верст кругом.  
Одно вот — уйму трудней  
Проездил я с конем...

— Прощай пока! — поднялся дед.—  
Спешу и я, сынок...

И долго, долго смотрит вслед  
Никита Моргунок.

**1934-1936**

М. Гефтер

Кромешный поиск

«Страна Муравия» — внешне традиционна по форме: путешествия  
(подобно «Кому на Руси жить хорошо»), странствия, паломничества, хождения...  
Но что главное?

Герой ищет Мира не в своем углу, сознавая (пред-осознавая чувством),  
что Мир и шире, и несводимей к знакомому-известному.  
Есть, стало быть, нужда прикоснуться к нему, узнать-дотянуться...  
Вышло сказание о путешествии на край света.

Моргунок — «конкретный» человек,  
вставленный в рамку мифа, былины, предания.  
Он всюду встречаем. Мир открывается ему, поелику он сам открыт Миру.  
Привязанный к «будочке» своей, он не узок,  
не догматик своего (та страшная фигура, которую позже откроет Шукшин).  
Его Конь = символ «своего» в той же мере, как символ движения,  
не имеющего предела (...Лишь «тысячи путей  
И тысячи дорог»)

Далеко ли отъехал герой? По топографическим метам — рукой подать.  
По законам мифа — полсвета (по меньшей мере) уже позади:

«И конь покорно воду пьёт  
Из неизвестных рек...»  
«...Как много неба и земли осталось позади»

Впрочем, тут не один миф,  
но и сама **«суетория»** размером в Россию.

Где кончается «рамка» и начинается идиллия?

(Сюжетная наивность не воспринимается как наив):

ключевая — 17 глава!!

Рубеж, отделяющий поколения.— суть характер восприятия Мира:

«Моя хата — мой простор». — Таков Илья Кузьмич Бугров.

А Никита?

Он легко снимается, легко расстается (подобно Одиссею).

«Кладет Никита на ладонь

Всю жизнь, тоску и боль...»

«А жил негромко Моргунок»

«Прощайте,— машет Моргунок,—

Отцовские места!..»

Какому из великих устремлений человечества

ближе всего Никита Моргунок?

К неискореняемому собратству искателей справедливости и равенства.

Равенство — вот Сизифов камень.

Человек не был бы человеком, если бы

он не жаждал равенства (равенством «исправляя» эволюцию  
не меньше, чем трудом...)

И человек не был бы человеком, если бы

не терпел поражений на этом пути,

начиная ими же (= себя!!) вновь и сызнова.

Итог на ВРЕМЯ — выше к равенству,

обновляя циклы неравенств.

В каких отношениях равенство и справедливость?

Если равенство = равенству возможностей, то оно не антипод,

не враг справедливости.

А если оно жаждет абсолютного тождества

в условиях и обстоятельствах жизни,

то справедливее начинает казаться былое неравенство.

А Моргунок?

«На всей планете, на Земле

**Один такой езок».**

Твардовский это о своем герое, но подспудно — и о себе.

Может быть и не думая так,— о себе.

Предчувствуя масштаб — и — одинокость.

В самом широком — всяя Руси — смысле и в самом буквальном.

---

Разве можно жить в завершенном Мире?

И вместе с тем — Утопия ли «Муравия»?

Стихия замысла в том, чтобы ОТКРЫТЬ — то, чего не было. с подозрением (неявным, от себя скрытым) — то, чему не быть.

Соединить Мир перемен вхождением в этот Мир —

со своим малым, полным,

от века завершенным домом-миром.

Незавершенный БЕЗ-предельный — с завершенным навсегда.

Соединить открытость (поприще!) с равновесием,

движением в пределе (семя — плод...)

Никите не чужой ни хозяин Бугров, ни споспешник

мировой революции Андрей Ильич Фролов.

Он с ними — и отдельно.

Сам по себе в поисках Мира.

Не нашел.

Не нашел себя.

«Кромешный год» — год утраты себя.

---

В чем же, собственно, убедился Никита Моргунок?

В том, что колхоз лучше?

Может быть, благополучней отдельной жизни,

к тому же взятой в шоры всесветной, всяя Руси, — СУЕТОРИЕЙ.

Но лучше ли?

То есть: справедливее ли и открытей ли Миру?

Конец чересчур сказочен, чтобы выглядеть happy end'ом.

Это — обрыв.

Это — возврат в Дом ценой отказа от Дороги.

У Твардовского — природа надежд и устремленности —  
личная только или в ней заключено  
нечто существенное для всех?  
Для ВСЕХ — не в прошедшем времени,  
а проясняющее и облегчающее (!!)  
ту нашу сегодняшнюю жизнь.  
главной тревожной особенностью которой остается неясность  
превращения ее в «будущее»?

Из Муравии прямо не вышел (= не мог выйти) Теркин.

Ибо из нее не было ВЫХОДА.

Муравию возобновил Дом

Вот он, ВЫХОД: Дом как Мир.

М. Гефтер

Метапоколение

**<Аудиозапись>**

Каким было то давнее поколение людей, родившихся в годы, до или чуть позже революции? Ровесники страны, обитатели нового мира, на долю которых выпали все испытания века ХХ-го?

Поколение — слово расхожее. Но ясное ли?

Только ли биологически отмеренный отрезок времени объединяет — от рождения до 25-летнего возраста? Или — иное и с поиском поколенческих признаков все не так просто...

Да и всегда ли есть они, поколения? Ведь оказывается — одно дольше задержалось, а другому времени оказалось отпущено меньше.

Пульсация... Краткость одних, долгота других.

И вообще поколение — это когда все на одно лицо? Просто похожи — манерами одеваться, говорить, пристрастиями-интересами? Или какие-то еще добавки сродства?

От чего отсчитывается поколение? Когда-то, в веке 19-м, люди увидели себя в зеркале романа Тургенева «Отцы и дети». А Федор Михайлович Достоевский записывал: «Надо бы назвать “Детей отцы”». Отсчет ведь впрямь был от детей — ведь только так отцы оказываются предшествующим поколением. Дети их предшествующими и делают (в ожидании того, вероятно, что и их дети потом поступят также).

И проявляется важный признак отсчета поколений: конфликт.

И вновь вопрос: а он, конфликт, — непременен, — всегда в наличии явном или подспудном? Скажем, в 19-м веке, примерно в 50 — 60-е годы Базарова конфликт, вызов-схватка очевидна. А люди

80-х годов, яростные непререкаемые и идущие к своей цели народовольцы — они дети благополучных родителей. Конфликта детей и отцов нет. И — тишина примерно до послеоктябрьских 20-х. Состоятельные дети шли в революцию. Разрывы. Переворачивания судеб. А затем, пожалуй, лишь в 50-60-е годы, в послесталинское время вновь вспыхнул конфликт между детьми и отцами. А сейчас есть он? Или — если и есть, то неявный? А если нет, может, и поколения нет?

Впору задуматься: между 1920-ми-началом 30-х — конфликт детей и отцов и в 50-60-е годы... А что — между? Одно поколение?

Думаю, не одно, несколько нераздельных, какие я бы назвал

**МЕТАПОКОЛЕНИЕМ.** Все вместе — не на одно лицо, не на одну судьбу, но с множеством могил, роднящих даже далеких и разных, с переизбытком смертей, сближающих людей.

Метапоколение: пост-октябрьское по хронологии, пост-революционное — по образу действия, социалистическое — по цели, надежде и иллюзии, которая многими двигала, — особенно активным меньшинством, что всегда образует лицо поколения (не все в ряд, но именно оно, активное меньшинство, среди первых...)

То — мое — метапоколение между двумя конфликтами детей и отцов.

И мета общая: оказалось погубленным, сплошь или почти сплошь.

...Из разговора моего с замечательным человеком — Михаилом Михайловичем Герасимовым. Он — антрополог и скульптор. Как выглядел неандертальец, кроманьонец, Иван Грозный, знаем благодаря ему. Мой вопрос: скрывается ли нечто реальное за тем, что в обиходе именуют неуловимым сходством? Сын и отец, внук, дед, внучка и бабушка — даже когда черты разные, а глубже всмотришься — родственны. Галлюцинация?

Ответ ученого: нет, не видимость. Все лица человеческие — асимметричны. Но есть и гамма асимметрии, исконность неуловимого сходства. Ответ ученого воспроизвожу не дословно. Вероятно, Герасимов изъяснялся профессиональнее. Меня же восхитило само словосочетание — гамма асимметрии. Образ осел в памя-

ти, а много позже всплыл в иной связи. Рамки его раздвинулись, впустив в себя жизнь, встречи с былым, длящийся диалог со сверстниками, которых давно уже нет.

Вместе — поколение. Одно из многих и — особенное. Удачливое поколение, благополучное и вскорости настигнутое гибелями.

Сызмальства входило в сознание, в речь, в обиход: мы все симметричны. Уравнены движением к будущему, которое суть каждый проживаемый день. Человек этим-то и однозначится человеку, семья — семье, народ — народу. А все мы, чохом, симметричны остальному миру, но только не тому, какой есть, расколотый, обреченный на противоборство, — а грядущему, берущему нас, будущих в сегодня, за точку отсчета.

Вот оно в чем наше общее сходство, родовой признак метапоколения: ощущение не простого со участия в истории, но — особого присутствия в ней. Утром встаете — вы в истории, спать ложитесь — вы в ней же. Все, что вас окружает, густой эфир жизни — это и есть история: вы в ней, она — в вас. Сильное чувство, но и страшное. Ведь при таком растворении, то, что ВНЕ-истории — обычное повседневное человеческое существование — и не исключается, но как бы не замечается... Не в почете оно... Ценно лишь то, что — история и то, что называется ею. Как не вспомнить лозунги, призывы, словесные штампы-идиотизмы: каждый пленум загодя исторический, каждый съезд — заведомо исторический, каждая «речь» — конечно, историческая, а уж каждое слово одного — не подлежит сомнению, что историческим окажется. И вождь произносил свои слова так, программируя безотчетность их особого восприятия...

Когда все измеряется историей — это привод двигателя. Очень мощного. И это же — яма провальная.

Расхожим было довольно пошлое выражение: война все спишет...

Сходное: история списывает всё. Она и жертвы — едина суть. Раз она зиждется на избирательности жертв, раз утверждает этим свою непрерывность, свою вездесущность, свою всегдашнюю правильность, то принимай возможную участь стать жертвой самому.

К этому привыкаешь, равно и к тому, что любому другому уготована та же роль...

Раздумывать, отчего так — некогда — время насыщено. Оно зовет и осуждает, требуя превращения каждого в «новую тварь», подобно тому, как было когда зарождалось еще катакомбное христианство... Вот он единый ряд — Судный день, революция, новый человек...

А если старый — куда такого? А если устаревающие из новых, то как с ними быть? Просто — в распыл, в вычерк! И нужно смириться-согласиться с этим...

Недавно в альманахе «Источники» напечатана речь Сталина — довольно страшная — после уничтожения Тухачевского и других полководцев. На военном совете он произнес замечательнейшую по откровенности и точности фразу: «Вот где наша сила — люди без имени!». Пришла пора Маугли, новых людей — их множество — на них опора... И они из моего метапоколения.

...Солженицын Иван Денисович из «Одного дня ...» — в лагере.

А представьте себе, что он у себя, в деревне. И соседский мальчишка растет рядом. А дальше — Иван Денисович — в барак, а парень-сосед — уже начальник лагеря... Невозможно? Как бы не так. Вполне! Лотерея — просто Сталинская рулетка! Или — пост-октябрьская? Как ни называй — своего рода селекция. Отбор по признаку убывающей человечности...

Такая селекция не очень замечалась нашим поколением. Убыванию этому мы исподволь сопротивлялись, но оказывались по отношению к нему почти беззащитными... Это также черта поколения, приводящая к важному вопросу, какой я не вправе обойти: поколение-метапоколение наше было все же совестливым или нравственным?

Но быть может, резон ввести еще одно понятие — из лексикона умного и благородного Георгия Федотова: имморализм.

Вы вправе парировать: не проще ли — «безнравственность», не прямее ли? Но нет. Имморализм — не безнравственность по расчету или из карьеристских соображений. Он ближе в первичном

своем смысле — к освобождению от вериг, стопоривших действие. Так — изначально и так в революционном обиходе. Но имморализм в нашем случае — еще и падающий до почти нулевой величины иммунитет против дурной безнравственности. Отчего же сопротивляемость — ноль?

Если все — история, что всегда действие, всегда в спешке, то ЧТО может быть ей оценкой вне ее самой? Мыслим ли, допустим ли нравственный эталон, базирующийся на том, что за пределами неумолимого всеобщего «действия», за гранью все сметающей стихии? Когда история правит бал, а «действие» вербует людей, когда эти люди рвутся вперед в бой и вместе с тем готовы соглашаться со всем, что при этом уничтожается, убывает, уходит из жизни, то если и мыслимо этому совестливое разрешение, то быть ли ему вне действия, вне истории? Не работает то, что ВНЕ. А работает то, что внутри, но работает на потребу истории самой. Молох... Мы — поколение, отождествившее себя с историей, сотворившее многое благодаря этому и главное: в 41-м, 42-м смертями своих друзей остановили Гитлера... И все же это поколение не может считать себя не в ответе. Не может. И об имморализме в полный голос пристало сказать нам, именно нам. А другим, кто после нас, услышавши это от нас, хорошо бы подумать о себе. Вот такое разделение труда, такая встреча, такой разговор был бы полезен.

И еще. Сколько людей пытаются ныне реконструировать время — пред-военное. Каким оно было? И публицисты пишут, и генералы разъясняют, иные без мундиров вспоминают, художники ли толкуют, — что общего? То время у них зачастую предстает одинаковым, однотонным, монохромным, одним и тем же каждый день. А между тем все иначе! Это неправда, что Сталин владел нами со всеми нашими потрохами с первого момента появления своего у власти. К этому вело, шло, пришло, но не до конца. Но даже шло-то не в одном строю. Есть такая штука, как асинхронность процесса. К началу 30-х в этой страшной заварухе, в человеческой перетасовке, именующейся сплошной коллективизацией, к началу 30-х искусство, литература, человеческий талант, поэтический

гений только достигли своих вершин в освоении свершившегося с людьми и в людских судьбах после революции. Так что же они попросту рядом-вместе — коллективизация и Эйзенштейн? И воронежский Мандельштам? И Пастернак? И Бабель? И множество иных...

А как забыть взлет-расцвет советского кино того времени, сопоставимые со взрывом итальянского неореализма, а в литературе, скажем, с пришествием в мир латиноамериканского романа? Асинхронный процесс.

Это особый разговор. И не в том дело только, что Сталин не сразу смог захватить все души, ему тоже надо было выучиться этому, как и тонкому умению нивелировать сопротивление.

Если отучиться видеть лишь единый черный сплошняк, то различимы в судьбах, в людях словно бок о бок два процесса — нарастающей индивидуализации и агрессивного усреднения. Да, агрессивное усреднение нарастало, именно этот процесс связываем с именем Сталина: уничтожение различий, культивирование тождества реакций, оценок, эмоций, вытаптывание цивилизационных своеобразий на гигантском пространстве Евразии — Советского Союза, «усреднение» человека в толще-массе. И все же рядом, исподволь, по инерции, уже наработав в этом смысле свое, проложив особые тропы, пробиваясь новая неискоренимая индивидуализация. И как интересны примеры... Приезжает Эйзенштейн, автор грандиозного, всех потрясшего «Броненосца», возвращается из-за границы. И с удивлением смотрит он новое советское кино, где не человеческая масса-толпа выступает в виде творящего себя героя, а вдруг появляются одиночки, индивидуальности, как «Подруги» Арнштрама, как «Чапаев» Васильевых... И я захватил — если иметь в виду мои университетские годы (1936–1941) как раз то счастливое время студенческой жизни, когда мы были очень родственными, очень близкими (все — выходцы из средних школ, все в большинстве с аттестатами отличников) и все очень разные. Это нам не мешало, это нам помогало. И мы, несходные, яркие, талантливые будущие историки как один, в считан-

ные дни полегли, когда ополченческая дивизия попала на острие танкового клина...

Но, может, это лишь судьба молодых интеллигентов?

А вот замечательный, любимый мною рассказ Шукшина. Больше — притча. Лето, колхоз, страда уборочная... Председатель колхоза — пожилой человек — не спит, неймется ему, а кругом горланит песни, молодежь гуляет. Второй час ночи, третий... А завтра на работу и уснуть не может. Выходит он на улицу, чтобы урезонить молодых, отослать домой, а потом приходит, ложится и вдруг — ни с того ни с сего — видение-воспоминание. Он — мальчиком... (В те годы как раз, о которых ведем речь.) Отец взял его с младшим братом в собой в ночное пасти лошадей. Звезды, лошади, тиши. Брат вдруг заболевает: то ли скарлатина, то ли круп — хрипит, синеет, задыхается. И отец наказывает скакать за помощью, за врачами.

Брат умирает. А в памяти остается — та ночь, опасность и он, скачущий на коне. И внезапно признается сам себе: а ведь ничего больше в моей жизни, кроме этого-то, и не было. Ничего! Там я был вольный, свободный — птица, мчащаяся на коне. А потом всю жизнь делал, как требовалось, как надо. Надо жениться, — женился. Нужно служить в армии, защищать родину — служил и защищал. Потребовалось — пришел восстанавливать колхоз. И вся жизнь — из одних надо и должно. И в итоге в памяти — лишь та одна вольная ночь.

Вот и он из тех, которых все окружающее с нарастающей силой уплотняло, но не смогло, оказалось неспособным усреднить до конца. Так что в рамках тоталитаризма и нарастающего усреднения всегда мерцал недовытаптываемый остаток индивидуализации, который не давался — несмотря на обильные жертвы смертей и расправ — противился сведению всех к одному образу-штампу. И все же просится вопрос: та цена, уплаченная моими друзьями, нашим поколением, разными людьми, и теми, кто воевал еще в финскую войну, кто ушел добровольцем в 41-м и кого на войну позвала повестка из военкомата — эта цена — избыточная? Или она недостаточна для прозрения следующих поколений?

Не надо думать, что она бессмысленна! Ибо нет привилегированных могил. Нет такого гроба, какой мог бы сказать, что он ближе к небу. Тут — равенство. Равенство поколений, равенство миров — МИРА, которого УЖЕ НЕТ, и МИРА, которого ЕЩЕ НЕТ. Мы ныне — посередине. Поэтому и стоит вслушаться в то время.

И последнее, как бы на полях...

Я пытался докопаться до корней моего, нашего метапоколения. Нам казалось, мы в поводырях истории, а оказалось — это она распорядилась нами. И где-то в конце горькой тяжбы, где могилы, кровь, война, — возникает то, что Герцен когда-то замечательно назвал «простором отсутствия»... Максимальная уплотненность времени вдруг развертывается в безвременье, причем в такое, что не в силах перейти в междувременье. Застряли! Она, история, ведь состояла из обрывков, из безвремений, гамлетовских безвремений, которые ставили как бы на острие ножа проблему перевода безвременья в междувременье.

А когда оказывается, что это не вполне удается, то вместо плотного, густо насыщенного, пульсирующего поля истории вдруг разверзается пустота, обнажая — простор отсутствия. Где все может стать целью и где на авансцену выходят люди, способные любое превратить в цель.

Что ж остается?

Многое. И прежде — человеческое бытие. Великое обыкновенное. И великие малые дела. И остается еще — память. Памяти! Собственно человеческая. Память, состоящая не в том, что человек всё помнит, не в том, что всё единым комом в его черепном компьютере, но особое свойство — воспоминание.

Когда думаю об этой работе вспоминания, на ум приходит удивительный рассказ Рэя Бредбери «Август 2002: ночная встреча». Землянин на Марсе, один из многих, кто возводит новые поселки рядом с останками разрушенных городов, скорбными метами былой изощренной, себя сгубившей цивилизации. И однажды на ночной дорогой, когда в «воздухе пахло Временем» — «пылью, часами, человеком» — он вдруг повстречал марсианина. На вопрос землянина, как произошла и отчего

трагедия, сотканный из мерцающей тени встречный непонимающе ответил: гибель? Какая несуща разница. Я еду в город на праздник, вон туда,— и указал не близлежащие руины. Землянин возразил: куда едешь, ведь город мертв, как сущеная ящерица, в нем нет ничего, кроме пыли, каналы высохли, одни развалины и разбитые колонны... А марсианин засмеялся: ошибаетесь! Вон карнавальные огни, чудесные челны, люди с цветами... Я вижу огни, слышу переливы музыки, улицы полны веселых людей... И настойчиво, указывая на то место, где пришлый с другой планеты не различал ничего, кроме мертвых останков: «Да как же вы не видите, они же светятся!»

Считайте, что и я — марсианин.



А. ТВАРДОВСКИЙ с дочерью, 1936 г.

# ПРЕДВЕСТИЕ

А.Твардовский

М.Гефтер

Две строчки	<b>103</b>
	<b>104</b> 39-40-й: долгий год
Зашел я в дом, где жил герой	<b>106</b>
С Карельского перешейка	<b>107</b>
Из фронтовой тетради	
Не дым домашний над поселком	<b>119</b>
Жеребенок	<b>120</b>
Григорий Пулькин	<b>123</b>
Велика страна родная	<b>126</b>
Зима под небом неожитым	<b>127</b>
	<b>128</b> Симптомы
	<b>132</b> 1940: эпизод в контексте развилки



А.Твардовский

Две строчки

Из записной потертой книжки  
Две строчки о бойце-парнишке,  
Что был в сороковом году  
Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело  
По-детски маленькое тело.  
Шинель ко льду мороз прижал,  
Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,  
А все еще бегом бежал  
Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой.  
С чего — ума не приложу.—  
Мне жалко той судьбы далекой,  
Как будто мертвый, одинокий,  
Как будто это я лежу,  
Примерзший, маленький, убитый  
На той войне незнаменитой,  
Забытый, маленький, лежу.

Меня издавна влечет к себе 1940-й. Сколько раз возвращался я к теме рубежа-развилки — в убеждении, что в том долгом году (от августа 39-го и до июня 41-го) произошло нечто, своей неумолимостью и непредсказуемостью заставившее Человека заново переопределить жизнь через смерть.

---

Трехърусность фашизма:  
возмещение организованной безропотности — властью  
над телом и душою других, мнимо-чужих,  
обреченных быть париями и трупами (нет одного без другого).

Три составляющих ВЕКА:  
технология, захватывающая повседневность;  
политика, обессмысливаемая средствами (диктат самостоятельных средств...);  
исчерпанное пространство возобновления — теснота, взывающая к убийству.

---

Слово опережает гибнущую,  
затоптанную мысль.  
Антрапология опережает Время.  
Она (антрапология Слова) одинока.

Тайна: вход в альтернативу не у проклявших,  
не у поклявшихся отомстить, не у «сменовеховцев»,  
не у «правых», у — веривших, у преданных...

---

Мы — в 40-м, историки последнего курса МГУ — могли бы повторить блоковское (1910): «Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа».

1939

4 мая М.М. Литвинов снят с поста наркома иностранных дел СССР.

19 августа После длительных переговоров в Берлине подписано Торгово-Кредитное Соглашение между СССР и Германией.

23 августа В Москве заключен договор о ненападении между Германией и Советским Союзом

1 сентября Германские войска напали на Польшу.

#### **Начало II мировой войны.**

3 сентября Официальное сообщение о ратификации договора о ненападении между Советским Союзом и Германией.

3 сентября Германской подводной лодкой потоплен английский пассажирский лайнер «Атения», жертвы — 112 человек.

3 сентября Великобритания объявляет войну Германии.

4 сентября Началась высадка передовых частей английских экспедиционных войск во Франции.

27 сентября Гитлер приказал немедленно приступить к подготовке наступления на Западе: «Цель войны: поставить Англию на колени, разгромить Францию».

14 октября Немецкой подводной лодкой потоплен английский линкор «Ройял Оук».

30 ноября В 8 часов утра войска Ленинградского военного округа во взаимодействии с Балтийским и Северным флотами перешли государственную границу Финляндии.

#### **Начало советско-финской войны.**

13 декабря Морское сражение в южной части Атлантического океана между немецким карманном линкором «Адмирал граф Шпее» и тремя английскими крейсерами.

18 декабря Линкор «Адмирал граф Шпее» потоплен.

Зашел я в дом, где жил герой.  
А нынче мать его осталась  
Да с ней парнишка — сын второй,  
Что стал опорою под старость.

Большому горю скоро год,  
А мать по-прежнему украдкой —  
Нет-нет и снова перечтет  
Все те слова бумаги краткой.

Знать, с каждым разом в том письме  
Дороже буква ей любая.  
Сидит: забывшись, как во сне,  
Из рук платок не выпуская.

С пеленок сына никому  
Не уступали эти руки,  
Кроили курточки ему.  
Обнять спешили в день разлуки.

И вот молва гремит о нем,  
Все почести ему отдали.  
А здесь его, в селе родном.  
Еще по отчеству не звали —

Так молод был. Кому бы знать,  
Что многих славою богаче  
Он станет вдруг. А мать? А мать  
И думать не могла иначе.

Что в самый кинется огонь,  
Не струсит, знала без проверки...  
Стоит в углу его гармонь  
И стопка книг па этажерке.

И на меньшего смотрит мать:  
Ничем тут, видно, не поможешь.  
Ему играть, ему читать  
И быть на старшего похожим.

А.Твардовский

## С Карельского перешейка

Из фронтовой тетради

### «Фрагменты»

Заметки эти в большей части — «расшифровка» и перебелка карандашных записей со страниц записной книжки в «Рабочую тетрадь» 1939–1940 годов. Занился я этим тотчас по окончании боев в Финляндии из опасения, что по прошествии времени сам не смогу разобраться в тех записях, сделанных по выработавшейся журналистской манере с сокращениями и условными обозначениями, где иногда одна фраза и даже одно памятное словечко содержало для меня целый эпизод, биографию, картинку. На память я никогда не жаловался и чаще всего беседовал с людьми, не вынимая из полевой сумки своей толстой записной книжки не только потому, что иногда это было просто неудобно: замерзали руки, было темно или беседа проходила в пути. По опыту корреспондентских поездок в 30-х годах я знал, что люди в большинстве хуже рассказывают «под карандаш», то и дело косясь на твой блокнот, сдерживаются, настороженно выбирают слова. Только по окончании беседы, будь она даже в тепле и при свете, за столом, я, улучив минутку, переспрашивал имена, уточнял даты, названия местности и записывал их в книжку. Только из документов (боевые донесения, письма и т. п.) я делал, если представлялось возможным, точные дословные выписки.

Так и лежала у меня эта тетрадь с перебеленными пером заметками почти тридцать лет среди других тетрадей, пока по встретившейся, как говорится, надобности я не стал ее перелистывать и не напал на эти страницы. И мне показалось решительно невозможным делать в них теперь какие-либо исправления или дополнения, кроме необходимых подстрочных примечаний. Если эти заметки имеют какую-либо ценность, то лишь как занесенные в тетрадь для себя тогда, по свежей памяти.

Естественно, что разнообразные и глубочайшие впечатления Великой Отечественной войны отстрили и заслонили собой и для

писателей и для читателей память трехмесячной зимней кампании в Финляндии. Но и «на той войне незнаменитой», при всей несознательности ее масштабов и исторического значения с Великой войной, были наши люди. И память их не может подлежать забвению. Воину не дано выбирать ни времени, ни места, где ему придется пролить свою кровь или сложить голову за родину — под Сталинградом или где-нибудь под Киркой-Муолой.

Мне уже приходилось говорить, что в моей газетной работе в первый год войны, до того как у меня пошел «Василий Теркин», мне больше удовлетворения, чем стихи, доставляла проза — очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Мы все знали, как ценили сами герои эти очерки, заносившие их имена как бы в некую летопись войны. И если описывался подвиг, или, как тогда говорили, боевой эпизод, где герой погибал, то и тут было важно хоть лишний раз упомянуть его имя в печатной строке. Такие очерки — «портреты героев» — мне приходилось писать и в период боевых действий на Карельском перешейке, когда я вместе с писателями Н. С. Тихоновым, В. М. Саяновым, С. И. Ващенцевым и другими работал в газете ЛВО «На страже Родины». Жанр этот в существенных признаках не менялся и в практике фронтовой печати в годы Отечественной войны.

Но в публикуемых записках больше имен и боевых эпизодов, которые так и не были в свое время перенесены из записной книжки на печатную страницу или же нашли там место с известными ограничениями, без непосредственных, живых, хотя бы и беглых, наблюдений и впечатлений автора.

Заранее прошу извинения перед всеми, с кем встречался в пору боев на Карельском перешейке и кого упоминаю здесь со слов других товарищей, за возможные неточности и упущения, неизбежные в такого рода записях.

**Ленинград. 30.XI.39.** — На этот раз сильно не повезло. В самый момент, когда нужно было быть на месте, захворал глупой детской хворью. Ветряная оспа! А. Ващенцев (сейчас звонил) уже был «там». Сижу, как Иов праведный, щупаю свои лишай, пытаюсь сочинить какие-то стишкы, но мне уже не звонят, меня нет, информируюсь у коридорных да официантов — что на белом свете.

Только всего и имею покамест, что вывез из первой поездки в часть. Лес, землянки (домовитые, пахучие — сосна), люди из 68-го полка и 2-й батареи. «Праздный мост». Ожидание, настроение близящегося дела. Но все это уже позади. В свое время не записал, а теперь и записывать не хочется.

А знаешь, друг мой, как тяжело хворать одному в пустынной гостинице, в незнакомом городе и в такое время, когда об отдельном человеке забывают!.. <...>

15.XII.39.— Завтра в 3 часа утра едем под Выборг, где должно быть решающее.

Я здесь с 18-го прошлого месяца. Так много пишу и так тяжело и беспорядочно проходит жизнь, что почти ничего не записывал. То есть для себя. А очень хотелось и очень нужно было записать все три состоявшиеся до сих пор поездки: Майнила (у границы), Перк-Ярви (50 км от границы, 68-й полк), Кронштадт («Марат»).

Жуткая ночь. Жажда. Утро на опушке леса. Как я пил воду из неизвестного колодца. Как вкусен был суп из красноармейского котелка в артополку. Дальше. Опять лес, лес. Как мы вышли на поляну и остались одни с трупами. Марш. Грузовик, куда мы забрались. Как я жалостно просил хлеба. Перк-Ярви. Выстрел. Ужин. Утро. Обратный путь (не могли выехать из города). Гати, переезды, объездки, таскание машин.

1.I.40. 12 часов.— «Интернационал». Прошли первые сутки 40-х годов. Собирался зачистить конец 39-го года, в смысле записей. Подытожить все и начать вести регулярные записи. Ни черта, кажется, не получается! Пишу медленно, не успеваю то написать, что в газету идет. Много рассеивается времени, пока сидишь в Ленинграде. Обидно за себя. Но, может быть, причина все же в общей обстановке и условиях. Вот закончится война, засяду на месяц-другой в доме отдыха и шаг за шагом буду восстанавливать виденное и пережитое. А кроме того, время не совсем даром уходит. Дороже записей то, что незаметно и как будто беспорядочно откладывается в голове из всех впечатлений, встреч и т. п. Правда, записи помогли бы и самому этому откладыванию.

19.I.40. 2 часа ночи.— Возвратился из очередной поездки. Поездка на редкость удачная. Герои-артиллеристы (Лаптев, Пулькин и другие). Полковник Бакаев. Вечера в штабной комнатке.

Когда-то у меня была хорошая привычка, беспокойная, но полезная потребность — после каждой поездки в колхозы записывать кратко: что нового по сравнению с тем, что я знал раньше, получил от этой поездки, с каким добытком внутреннего знания, окрепшей убежденности возвратился...

Здесь также каждая поездка, если следить и внутренне не распускаться, дает обязательно новое что-нибудь, и это новое довольно легко (для себя, покамест) выделяется из того, что является уже повторением виденного раньше. Так, собственно, и складывается, накапливается всякое знание жизни — когда сидишь и отмечашь. Правда, есть еще какой-то внутренний процесс, за которым не уследить, но он — пусть себе совершается.

Первая поездка — самое сильное впечатление от «подземной» жизни белого зимнего леса. Дымки над сугробами, узкие ходы в землянки, орудия на расчищенных от снега площадках. Брусника, раздавленная сапогами на снегу.

Запомнился концерт плохонькой бригады эстрадников, лезших из кожи. Концерт шел в комнате, набитой до отказа бойцами (сменой одной). Ни сцены — ничего. И лица, лица, лица красноармейцев. Иные с таким отпечатком простоватости, наивного ребяческого восхищения и какой-то подавленной грусти, что сердце сжималось. Скольким из этих милых ребят, беспрекословно, с горячей готовностью ожидающих того часа, когда идти в бой, скольким из них не возвратиться домой, ничего не рассказать. Так тогда думалось. И, помню, впервые испытывал чувство прямо-таки нежности ко всем этим людям. Впервые ощутил их как родных, дорогих мне лично людей.

Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое положение «писателя с двумя шпалами» — оно не выслужено (не то слово). Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца. Правда, все реже. В том походе (в Западную Белоруссию) я не мог еще забыть, что я призванный в ряды РККА рядовой и что только командирская шинель на мне и пр.

Вторая поездка. Вторая встреча с людьми 68-го полка. Главное впечатление — люди, проведшие уже несколько дней труднейшего похода, покривевшие, осунувшиеся. Оживление улеглось, но усталость еще не пошатнула основного настроения и веры, что в ближайшие дни...

Третья поездка — в 43-ю дивизию. Ощущение великой трудности войны. Комиссар и начподив уже втолковывают людям задачи, разрешение которых — не день и не два...

Четвертая. Наступление и его печальные последствия. Раненые. Глухая неясность: как же все-таки быть дальше?.. Медсанбат.

Пятая — неудачная. Впервые «под обстрелом».

Последняя — замечательная. Внутренний вывод, убеждение: ни хрена, жить можно.

Надо спать — уже только конспектирую, что не имеет смысла. <...>

**19.1.40.** — Вчера произошло событие, которое будет переломным в моей работе и самочувствии. Написал в один присест стихотворение «Мать героя». Оно было хорошо встречено в редакции, хотя я опасался, что оно испугает редактора и других лиричностью, непривычным решением темы. Писалось оно необычно. Я задумал написать что-то такое о переживаниях родных и близких, жен и матерей наших героев. Но что, как — ничего не было. Было только перед глазами место на первой полосе газеты, где должны были

быть стихи. А перед этим я правил очерк Вашенцева, обрамленный двумя замечательными документами: письмом матери Лаптева в часть (что с ним, почему не пишет и т. д.) и ответом комиссара, где сообщалось, что он представлен к званию Героя. А еще раньше я вместе с Вашенцевым читал в полку эти документы в оригинал. И там уже плакал. Но так как о Лаптеве должен был писать Вашенцев, он и переписал себе эти документы в тетрадку. Вот они:

«Начальнику штаба от гр-ки Лаптевой Олени. Товарищ начальник, я к вам обращаюсь со своим наболевшим вопросом. Я мать красноармейца, мой сын достоин служить в нашей радостной непобедимой Красной Армии. Мой сын был взят в РККА в 1937 г. и служил хорошо и всю свою службу имел со мной переписку и писал — «все хорошо, служу, мама, хорошо и весело» — и я жила спокойно. Живу одна. Он меня все уверял — «мама, духом не падай». Но в настоящее время я просто погибаю, не знаю, мой сын жив или не жив. Тов. начальник, я вас прошу о большой милости, чтобы вы успокоили мое сердце — жив мой сын или нет. Мой сын — Лаптев Григорий Михайлович — Челябинская обл., ст. Бакал, село Рудничное, ул. Ленина, 15.

Остаюсь Лаптева Олена».

Ответ комиссара Дядюшина, показанный им при нас на батарее Лаптеву:

«Многоуважаемая Елена Ивановна!

Ваш сын, Григорий Михайлович, — отважный, смелый и находчивый воин. Во время боя он, находясь под сильным ружейно-пулеметным огнем противника, прямой наводкой расстреливал врага метким огнем из орудия. За проявленный героизм и отвагу командование представило вашего сына на присвоение ему звания Героя Сов. Союза.

Мы гордимся вашим сыном, патриотом великого советского народа, и от всего сердца благодарим вас за то, что вы сумели воспитать такого героя нашей социалистической родины.

С почтением и уважением к вам».

Сейчас переписывая, я опять чуть не заплакал над этими строчками и искренне подумал, что эти документы так и остались более сильными, чем мои стихи, написанные по ним (по памяти). Но когда я писал, мои стихи казались мне (наверно, по сравнению с тем всем, что я делал до сих пор в газете) очень хорошими. И я был снова растроган. Слабость эта, возможно, объясняется еще чем-нибудь, но и стихи при этом писались удивительно легко. Это совершенно не мой черновик. В нем не вычеркнуто ни одной

строфы целиком. Для меня, страшного марателя, это столь необычное дело, что я решаю дать место в моей тетрадке «творческой истории» этого стихотворения. С него, может быть, и начинается настоящая моя работа в газете.

**8.III.40.—** После поездки на о. Койвисто — восьмой день в Ленинграде.

<...>

Единственным моим дневником являются стихи, которых пишу много. Некоторые из них, правда, не содержат в себе никаких следов пережитого или увиденного мною. А те, в которых хоть что-нибудь есть, начинаются с «На привале».

Кончится кампания, отдохнувшись от писания «в номер», засяду основательно. Струйка за струйкой пропущу все через сито. Все это должно и можно разработать, отделать, завершить. Штука за штукой буду отрабатывать и переписывать в тетрадку. А до того и в журналы давать не стоит. Буду жив и здоров — будет книжка, какой я сам вообразить раньше не мог.

Как-то пошел в умывальную, «гор.» — «хол.» и проч. — и вдруг приходит мне простая такая мысль: а ведь я вижу войну, настоящую войну, суровую и ожесточенную. Я же столько уже видел и слышал! Живем, пишем, болтаем, ездим, замерзаем, пьем, едим и т. д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось.

Сознание постарело. <...>

**13.III.40.—** В пятом часу позвонил Березин (Редактор газеты «На страже Родины»). — Прим. А.Т.) из редакции: «Война — вся, мир...» Сейчас 7 утра. У нас Саянов. Должны поехать в типографию читать договор и пр. А затем сразу же по Выборгскому. Первая поездка, когда совсем другое чувство.

**3.IV.40.—** Вот и снова — Могильцевский. С. Маршак не без оснований говорил, что после войны все может показаться очень пресным, малозначительным и т. д.

У меня есть чувство (я уже знаю, что оно неверное), схожее трудно сказать с чем. Я как бы обижен за фронт и его людей. Как это все могут жить, как жили, интересоваться, чем интересовались, когда они должны же знать, какая это была война, сколько тысяч людей (теперь-то хоть это общеизвестно) заглянули в ее жуткие глаза, пережили ни с чем не сравнимое и никогда об этом не расскажут! Это чувство — вроде какой-то ревности. Оно неверное. Жизнь больше войны, хотя когда война, то кажется — на первый взгляд, по крайней мере, — что ничего больше ее нет. Это мне понятно. Но я только тогда смогу вновь в полную меру сердца волноваться всем тем, чем волновался прежде (ведь вот ехал «стрелой» из Ленинграда, смотрю на проталинки по откосам между елок и ничего не чувствую, что, бывало, обязательно чувствовал при этом признаке весны: что-то — может быть, на время — отошло далеко и живет, как в книге, которую читал когда-то, а теперь только помнишь смутно) — деревней, природой, землей, людьми и книгами. — когда выпишусь, выскажусь как следует на темы финлянд-

ского похода. Тем самым, может быть, преодолею окончательно и это свое неверное чувство.

4.IV.40.— Это целая большая зима — от осеннего бездорожья до почти уже бездорожья весеннего. От первого неглубокого снега, на котором, раздавленные сапогом, краснели, как капли крови, ягоды крупной брусники, до серого, опавшего мартовского снега, из которого стали вытаивать — то черная, скрюченная, сморщенная кисть руки, то клочья одежды, то пустая пулеметная лента и т. п. От суровыхочных метелей, от морозных страшно красных закатов на темном и белом фоне хвойных лесов, от первых дымков землянок — до свежих, легкоморозных утр, почтевших дорог, чистых, точно умытых, елей и сосен... От первого выстрела в 8 часов 30 ноября 1939 года — до последнего выстрела в 12 часов 13 марта.

Весь этот срок по своим характерным признакам делится на три части, на три периода.

Первый период — с перехода реки Сестры, первых столкновений с противником и стремительного продвижения вперед — до первых крупных неудач у оборонительной полосы в декабре (около 17-го). Это один период, одно настроение, когда еще казалось, что победа — дело ближайших дней. Еще 27-28 декабря 90-я дивизия пыталась на своем направлении прорвать укрепрайон, понесла большие потери и остановилась «у проволоки». Тут уже было тяжелое чувство недоумения, непонимания — в чем дело?

Второй период — когда было решено, что нужно хорошо подготовиться, что не обязательно завтра, можно и послезавтра одолеть врага, но сделать это уже наверняка. Это период перегруппировки, подготовки, отдыха и устройства многих тысяч людей в лесах, в редких уцелевших строениях, в землянках. Длится он до 11 февраля.

С одиннадцатого — дня всеобщего наступления — третий, последний период, период решительного, убыстренного натиска, прорыва полосы дотов, продвижения на Выборг и жесточайших боев под Выборгом — до заключения мирного договора.

Когда-нибудь, на большом расстоянии, вся зима эта будет представляться более цельно и неразличимо в смысле ее этапов. Но покамест в ней для меня довольно отчетливо существуют более ранние ее дни, подернутые уже какой-то дымкой, как давно прошедшее. Когда мы ехали последний раз с перешейка и проезжали, как обычно. Териоки — дело было вечером, — было очень странно видеть эти домики, уже обжитые, в которых виднелись огни. По дороге шел какой-то военный с женщиной под руку. Это уже был обыкновенный быт. Это уже не вызывало ничьего интереса. Это все уже было далеко. Не умею передать, почему все так казалось грустно.

А когда вообще едешь этими лесами и видишь брошенные хвойные шалаши, видишь землянки, черные пятна от костров — вспоминается самый суровый период зимы. Здесь сидели люди. Чтобы обогреться, был единственный способ, которому тысячи лет — закопаться в землю, разрыть снег, раздолбать мерзлую землю, вырыть яму, накрыть ее накатом неокоренных бревен, хвоей, присыпать землей и развести в одном углу огонь в какой-нибудь жестянной печке, а то и просто так. Вспоминаются клубы пара и дыма над снегом в лесу, визг танковых и тракторных гусениц, сухая жесткая стрельба из орудий, движение, движение. Люди в обгорелых шинелях, с опухшими от холода лицами, немытые, небритые.

\* \* \*

Буду записывать, что вспомнится по записной книжке, в приближительном хронологическом порядке — по поездкам.

\* \* \*

Первое время писал исключительно плохие стихи, хотя впечатления первой же (до 30 ноября) поездки уже подсказывали какие-то детали, мотивы.

По серому шоссе гремели танки.  
 Орудия, броневики, грузовики.  
 А по лесу дымились молчаливые землянки  
 И вспыхивали осторожно огоньки.  
 В лесу сосновом разбрелися роты —  
 Шел стук и гром:  
 Кипела плотничья веселая работа.  
 Промерзшее крошилось дерево под топором.

\* \* \*

У границы все было наготове и шла подготовка к переходу р. Сестры. Когда мы приехали в 68-й полк, там нас встретил хороший парень, старший лейтенант из редакции, Федя Крашенинников. Был он так заботлив и нежен с нами, что становилось неловко. Каким-то образом занял он свежесрубленную из сухих бревен какой-то старой постройки небольшую избушку. До нас там жили артиллеристы. Стояла она рядом с домиком кулацкого типа (крылечко, мезонин, тесовая крыша) и глядела прямо на лес, синевший вдалеке за рекой Сестрой, не видной отсюда. Федя — «Чуть-что» — затапливал печку, кипятил чай и пр. Там я жарил ветчину в кастрюле. Спать было первую половину ночи страшно жарко и душно, вторую дико холодно.

Сколько раз за недолгие дни пребывания на границе всматривался я оттуда на «ихний» лес, думал, старался угадать, чувствовать, что здесь будет. Допускал, между прочим, мысль, что на месте нашего домика ни черта не останется. Население отсюда было все вывезено.

Пошли в батальон капитана Макарова, «испанца», награжденного Красным Знаменем. Он был не очень здоров на вид, человек очень хороший. Из тех, что приобщившись в какой-то степени к культуре, дорожат этим. Он картавил немного и довольно мило, но стеснялся этого, как и своего маленького роста. Поэтому он говорил очень осторожно, медленно, выбирая слова, всячески стараясь избежать слов, на которых спотыкался. Впрочем, может быть, это было еще оттого, что он старался говорить совершенно правильно. И — нет-нет — высказывало словечко, сразу напоминавшее, что он из крестьян, пастушонок, просто деревенский парень. Рассказывал, как он с товарищами ходил в Париже (по пути в Испанию) в театр (надевали взятые напрокат фраки).

Утром мы лазали по опушке леса вдоль изгибов р. Сестры. Хотелось увидеть финнов. В лесу вовсю шла работа. Валили сосны, связывали переносные мостки, заготовляли накаты для больших мостов.

Заметили двух финнов-пограничников. Шли они от леса к своей «стражнице» в каких-то тулуках, с винтовками за плечом — вроде охотников. Заметили нас, хоть мы и прятались за редкими елочками на опушке. Один показал в нашу сторону рукой, поговорили, постояли, пошли.

Подошли мы с группой саперов к мосту через р. Сестру. Мост настоящий, на бетонных быках; когда-то по нему ездили. Граница перерезала его пополам. Часть моста была много лет назад подпилена и обрушена вниз. На накате, заваленном землей, выросла сосенка толщиной в оглоблю и высокая, верхушкой выше уцелевшей половины моста, отделенной от нас колючей проволокой. Особое впечатление производил этот «праздный мост», как я его тогда назвал для себя. Он здесь стоял искони, он был нужен, он теперь не служил, но и не был снесен до основания — и это заставляло воображать и представлять себе, что придет срок и он будет исправлен и вновь будет служить. Так, видимо, обе стороны и смотрели на него. А сосенка росла, вытягивалась и была признаком странного запустения.

Наши подошли к мосту, стали, размахивая руками, рассуждать на счет исправления моста — так что финны стоявшие за елками на том берегу, не могли иметь сомнений, что речь идет именно о мосте, и в известных целях. Сразу за мостом у них был окоп. На елке, в темноте ее верхушки, стоял финн-дозорный. За рекой слышался стук и треск — валили деревья. Это финны устраивали завалы.

&lt;...&gt;

Впервые увидел я Териоки, пожарища, двухэтажные печи, торчащие на пожарищах. В Териоках, помню, у дороги валялись убитые и еще живые лошади, подорвавшиеся на минах. Очень хотелось пристрелить их, но мы не решились это сделать. Выстрелы могли вызвать тревогу и даже панику.

Впервые мы видели завалы. Огромные парковые ели и сосны были повалены таким образом, что ствол не отделялся от высокого пня, без подруба (в обычное время валить так деревья — величайшее безобразие). Кроме того, на стволе на месте надреза финны наматывали из колючей проволоки петлю восьмеркой, так что, когда дерево валялось, оно еще оказывалось привязанным к своему пню, что очень должно было затруднить растаскивание завалов — и топором не вдруг возьмешь. Но во всех этих завалах, рвах, эскарпах и даже надолбах очень много бессмысленного. Огромный труд, а препятствие несерьезное. Сделан один проход — и все. Правда, в дальнейшем, у дотов, эти проходы (в надолбах) доставались большой ценой.

Впервые я узнал, что такое «пробки» на дорогах. Из-за них мы заночевали в лесу. Пробивались по какой-то совершенно невероятной дороге, она была только что проложена. Свежие пни и горбы корней страшно затрудняли проезд для машин. И еще — все расквасилось. Артиллерия, прошедшая впереди, разворотила колеи, в них хрустел лед, перемешанный с водой и грязью. Много раз таскали машину. Ночью, отдыхая в машине, заснули — все и шофер. Колонна впереди рассосалась и прошла. Сзади никого не было. Оставалось продвигаться одним. В одном месте основательно засели, пришлось буквально умолять догнавших нас обозников, чтобы помогли. И опять остались одни. А тогда все полно было разговорами о нападениях, обстрелах, бандах в тылу. Где-то среди леса мы наткнулись на грузовик, брошенный своей колонной. Один, как перст, часовой с винтовкой сидел в нем, страшно рад был поговорить с нами, с робкой надеждой предложил: «Оставайтесь, переноочуем вместе. Дальше там — еще хуже дорога».

Но мы не остались. Ко всему добавить, что шла какая-то стрельба, правда редкая, и мучила жажда: еще о «спецтайке» и речи не было. Я ел, ел снег, ни черта не помогает. Вспоминал всю воду, какую видел в жизни. К раннему рассвету выбрались из лесу, которому, казалось, нет и нет конца. Увидели костры — ночевала какая-то часть. У колодца стоял часовой. «Брали здесь воду?» — «Не знаю». — «А что колодец — отравлен?» — «Не знаю». Привязали к шесту котелок, достали. Шофер смотрит на меня. Я приложился к котелку. Обыкновенная болотная, довольно скверная вода. Попил и шофер. Подъехали к кострам, кому-то представились. Первый раз ел из чужого котелка чьей-то только что облизанной ложкой чудесный, горячий, жидккий суп с макаронами. Тут мы ожили. Я обошел весь бивуак, раздал газеты, которые у меня буквально вырывали из рук. Тронулись дальше. <...>

\* \* \*

Обходя обоз, прошли километра два-три по лесу. Дорога была разминирована, но кое-где неизолированные мины были примечены вешками, каким-нибудь едва заметным прутиком. На одну такую мину я чуть не наступил. <...>

У мызы была какая-то остановка, задержка. Мы с Бриченком и группой командиров прошли далеко, оторвавшись от колонны. Потом Бриченок предложил своим сесть на коней, и все они ускакали, а мы втроем пошли дальше. Шли, шли узкой прямой просекой, которая видна была далеко-далеко. Наконец вышли на поляну, большую, открытую, и здесь увидели первых убитых. Лежали они, видно, уже дня два. Налево, головой к лесу, лежал молоденький розовощекий офицер-мальчик. Сапоги с ног были сняты, розовые байковые портняночки раскрутились. Направо лежал перееханный танком, сплющенный, размеченный на равные части труп. Потом — еще и еще. Свои и финны. У всех очень маленькими казались руки (окоченевшие). Каждый труп застыл, имея в своей позе какое-то напоминание, похожесть на что-то. Один лежал на спине, вытянув ровно ноги, как пловец, отдыхающий на воде. Другой замерз, в странной напряженности выгнувшись, как будто он хотел подняться с земли без помощи рук. Третий лежал рядом с убитым конем, и в том, как он лежал, чувствовалось, какой страшной и внезапной силой снесло его с коня — он не сделал ни одного, ни малейшего движения после того, как упал. Как упал, так и окаменел. Жутко было видеть, например, туловище без головы. Там, где должна быть голова, — что-то розоватое, припорошенное снегом. Особенно жутко и неприятно, физически невыносимо, что все, что раздроблено или рассечено, выглядит совершенно как мясо, немного светлей, розоватей, но мясо и мясо.

После я уже не рассматривал так подробно трупы и не находил в них столько жуткого.

Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все. Нужно еще удивляться, как удерживается какое-нибудь имя в списках награжденных. Все, все подчинено главной задаче — успеху, продвижению вперед. А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы. <...>

Из этой поездки у меня, помимо газетного материала, было еще стихотворение «На привале» — первое сносное стихотворение мое в «На страже Родины»:

Дельный, что и говорить,  
Был старик тот самый,  
Что придумал суп варить  
На колесах прямо.

В середине месяца ездили в Кронштадт. Затея эта называлась «обмен опытом». Описывать почему-то не хочется. Впечатления слишком поверхностны и наивны. И потом это дело случайное.

Следующая поездка на фронт была в 43-ю дивизию, стоявшую под Киркой-Муолой. Вечером мы были на совещании у комиссара дивизии, куда нас не очень охотно пустили. Нас очень звал к себе ночевать командир 181-го полка, а ночью, между прочим, там была заварушка, финны попытались окружить штаб, но были отбиты.

В эту поездку мы начали понимать, что на подступах к укрепрайону наши несут большие потери. <...>

Кроме газетной заметки на основе этого дневника и «Бориса Иофе», из этой поездки я привез еще «Рассказ танкиста». Из этого стихотворения еще что-то может получиться.\*

<...>

На командном пункте дивизии мы были в момент наступления. Дела шли явно плохо. Это было последнее наступление на укрепленный район в декабре. Командир дивизии грозил командирам полков, командир корпуса, присутствовавший в землянке, вмешивался в каждый телефонный разговор, добавлял жару:

— Вперед. Немедленно вперед...

Вскоре же картина целиком выяснилась. Наши лежали на снегу у проволоки, продвинувшись на несколько десятков метров. Они не могли ни продвинуться вперед из-за исключительно точного огня из укреплений, ни уже отойти назад. Они лежали, и противник их расстреливал постепенно. Танки помочь не могли. Они сразу же выводились из строя.

По телефону доложили, что один танк возвращается пробитый, командир не то ранен, не то убит. Через несколько минут в землянку спустился человек и как диковинку протянул в ладони блестящий, маслянистый от крови 37-миллиметровый снаряд противотанковой пушки. Снаряд только что извлекли из тела танкиста, который, между прочим, был жив, в сознании и чувствовал себя сносно. Снаряд пробил броню танка, вонзился в плечо танкиста, но не разорвался.

\*Среди полученных мною поздравлений к Новому 1968 году было следующее письмо:

«Многоуважаемый Т. Твардовский!  
Вам будет странно и трудно вспомнить, от кого это поздравление.  
Но я часто вспоминаю Вас, когда вспоминаю годы войны, это было 28 лет назад, во время войны с белофиннами. Мы, танкисты, шли в наступление, подходя к заминированному лесному захвату, в это время Вы подъехали к нам. Я был комиссаром 161-го отдельного танкового батальона, 40-й танковой бригады. Проверив, кто Вы такой, передал с Вами политдонесение. И потом Вы написали о «Казбеке», когда под Кирка-Муола в моем танке механик-водитель старшина Дегтяренко был убит, а заряжающий Лебедев попросил у меня закурить, я ему отказал во избежание опасности курить в танке. Вы об этом писали, правда! Т. Лебедеву не сужено было жить, в другом бою он повис на танке, сожжённый пулём врага. Вот кратко я напоминаю Вам, кто я такой.

А эту, большую войну после прорыва блокады Ленинграда прошел с боями до Берлина. Сейчас в отставке. Вот пока и все.

С ком. приветом  
М. И. Ламнусов»

— Унеси эту штуку отсюда,— приказал кто-то из начальства.

Помнится, чаще всего говорили с комполка Бондаревым.

— Мелкими группами вперед! Не лежать...

Вскоре стало известно, что комиссар Лаврухин, пошедший поднимать людей, убит. Вечером я писал дивизионной редакции стихи, посвященные его памяти.

К вечеру мы были на командном пункте полка. Когда стали близко рваться снаряды — ушли. В лесу разрыв тяжелого снаряда — жуткое и вместе исключительно красивое зрелище (конечно, это можно отметить, только находясь на порядочном расстоянии от места данного разрыва). Кажется, что снаряд вырывается из глубины земли, раздвигая, разваливая в стороны сосны.

Между прочим, когда мы еще шли на КП, я сказал, что вижу наши снаряды в полете. Я четко видел некоторые из них в полном соответствии со звуком. Летит, вертаясь, как кажется, вроде волчка черный комочек с камень, который можно запустить на небольшое расстояние, и, совершая траекторию, скрывается за лесом. Надо мной стали смеяться. Мол, как же вы можете видеть снаряд, когда он летит со скоростью, скажем, семисот с чем-то метров в секунду. Однако нашелся добрый человек, артиллерист, который подтвердил, что снаряд действительно можно видеть в полете, если смотреть ему прямо в затылок, то есть находиться как раз на линии полета. <...>

28-Й КАП.— До записей, связанных с поездкой в этот полк, надо не упустить кое-что из того, что в записной книжке перечислено реестриком.

**Пейзажи.**— Сильная и суровая красота этих мест порой просто наполняла душу какой-то торжественностью и грустью. Леса в снегах; валуны огромные, как дома, как копны сена, как...

Что-то древнее, могучее, северное, печальное.

И в этих лесах, снегах уцелевшие кое-где дома свидетельствовали об особой культуре жилья, теплого и уютного, о традиционной строгой домовитости. Чудесные финские печи вроде наших «бураков», но меньшие, изящней

Не дым домашний над поселком,  
Не скрип веселого крыльца,  
Не запах утренний сенца  
На молодом морозце колком,—

А дым костра, землянки тьма,  
А день, ползущий в лес по лыжням,  
Звон пули в воздухе недвижном.  
Остекленевшем — вот зима...

1940

и во много раз продуктивней. Два полена — и печка тепла и способна держать тепло хоть всю ночь.

Потолки в домах-печах, домах вообще зажиточных жителей, подшипные вагонкой. Окна большие, но не итальянские, которые как-то лишают комнату, жилье вообще уюта и уменьшают вместительность его.

Как вообще выглядели эти места, полностью представить себе невозможно. Жилье дополняет пейзаж, прямо-таки меняет его, а по Выборгскому направлению уцелевшие дома — редкость. Трубы, трубы с печами на огнищах, правда, потом занесенных снегом. Стоит печка. Она уцелела. Вот загнетка, над ней кожух, какой над очагами когда-то делался. И этот символ уюта и домашности обвевается вышками, запорошен метелями. А мимо несутся машины, гремят и повизгивают гусеницы танков и тракторов, скрипят сани на буксире у грузовиков. <...>

Закаты — не верилось, что тут всегда и до нас были, и после нас будут такие закаты. Казалось, что в них краски пожаров и крови — так ярки, красноогненны они были на фоне снегов, синеватых, голубых, затененных темно-зелеными елями. Осенью, видя рождественские финские открытки, я думал, что это только на открытках такие подкрашенные снега и такие закаты. Но и в действительности они такие. Только на открытках пропадает величие и суровость пейзажа, остаются обезжизненные краски.

Тишина здесь тоже особая. Вдали от линии фронта иногда наступала такая тишина (может быть, это по контрасту, после канонад и пр.), что в соединении с однообразным видом снегов, камней и хвойных лесов создавалось впечатление, как будто Земля уже остыла или все это где-нибудь на Луне.

Днем же бывала еще дикая голубизна неба, что можно ее, пожалуй, сравнить только с южной голубизной. Только та гуще, а эта прозрачней. И тени днем были голубые и еще какие-то — не могу назвать. <...>

**Животные.** — Что не успевали финны забрать с собой, старались уничтожить на месте. Скот часто резали. Но все же оставались коровы, бесприютно бродившие по снегу, пока их не прибирали к рукам.

В редакции дивизионной газеты (90-я) жил курчавый пес Белофинн. Котов нескольких я видел в землянках у бойцов. Одного я 14.III взял у пустого и холодного дома на окраине Выборга. Отогрел его под полой полуушубка, он и замурлыкал. Большой старый кот — шерсть с проседью. Отогревшись, начал куда-то стремиться. Отпустил. <..>

## Жеребенок

Гнедой, со звездочкой-приметой,  
Неровно вышедшей на лбу,  
Он от своих отился где-то,  
Заслышав первую стрельбу.

И суток пять в снегу по брюхо  
Он пробирался по тылам.  
И чуть живой на дым от кухонь,  
Как перебежчик, вышел к нам.

Под фронтовым суровым небом  
Прижился он, привык у нас,  
Где для него остатки хлеба  
Бойцы носили про запас.

**20.IV.40.**— Переписывая в тетрадь карандашные записи для порядка, я все время думал о том, что же я буду писать о походе всерьез. Мне уже представился в каких-то моментах путь героя моей поэмы. Переход границы, ранение, госпиталь, следование за частью, которая ушла далеко уже. Участие в решительных боях. Какое-то знакомство с девушкой — лекпомом или сестрой. Но ни имени, ни характера в конкретности еще не было.

Вчера вечером или сегодня утром герой нашелся, и сейчас я вижу, что только он мне и нужен, именно он, Вася Теркин! Он подобен фольклорному образу. Он — дело проверенное. Необходимо только поднять его, поднять незаметно, по существу, а по форме почти то же, что он был на страницах «На страже Родины». Нет, и по форме, вероятно, будет не то.

А как необходимы его веселость, удачливость, энергия и неунывающая душа для преодоления сурового материала этой войны! И как много он может вобрать в себя из того, чего нужно коснуться! Это будет веселая армейская шутка, но вместе с тем в ней будет и лиризм. Вот когда Вася ползет, раненный, на пункт и дела его плохи, а он не поддается — это все должно быть поистине трогательно.

Благодаря тому, что в первый раз он ранен в начале кампании и что, отославшись в госпитале, он, где пешком, где с оказией, пробирается через весь Карельский перешеек, ему удается видеть очень много — тылы, дороги и т. п. Тут столько может быть занятых моментов. Нет, это просто счастье — вспомнить о Васе. И в голову никому не придет из тех, что подписывали картинки про Вася Теркина, что к нему можно обратиться и всерьез. Моральное же мое право на Теркина в том, что я его начинал, в том, что я правил чужие подписи к картинкам Брискина и Фомичева, и, главное, в том, что никто за это дело не возьмется, а если возьмется, то не сделает так, как это сделаю я, если все пойдет по-хорошему.

Вася Теркин из деревни, но уже работал где-то в городе или на новостройке. Весельчик, остролов и балагур вроде того шофера, что вез меня с М. Голодным из Феодосии в Коктебель.\*

\* В тетради, которая по времени предшествует этой, запись: «1.IX.39. феодосийский

Бойцы ему попонку сшили —  
Живи, рasti, гуляй пока.  
И наши лошади большие  
Не обижали стригунка.

И он поправился отменно,  
Он ласку знал от стольких рук,  
Когда один из финских пленных  
Его у нас увидел вдруг...

Худой, озябший, косоротый,  
Он жеребенка обнимал,  
Как будто вечером в ворота  
Его шутливо загонял.

А тот стоит и вбок куда-то  
Косит смущенно карий глаз.  
Его, хозяина, солдатом  
Он здесь увидел в первый раз.

1940

Теркин — участник освободительного похода в Западную Белоруссию, про который он к месту вспоминает и хорошо рассказывает. Холост. Очень умелый и находчивый человек. Играет на чем придется — балалайка так балалайка, гармонь так гармонь.

Хоть в бою, хоть где невесть —  
Но уж это точно —  
Перво-наперво поесть  
Вася любит прочно.

Он умеет и кашеварить. На походе случается ему и блины печь, и курицу жарить, и корову доить.

В нем сочетается самая простодушная уставная дидактика с вольностью и ухарством. В мирное время у него, может быть, и не обходилось без взысканий, хотя он и тут ловок и подкупавше находчив. В нем — патфос пехоты, войска, самого близкого к земле, к холоду, к огню и смерти.

Соврать он может, но не только не преувеличит своих подвигов, а наоборот — неизменно представляет их в смешном, случайном, нестоящем виде.

При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее любимец, нарицательное имя. Для молодежи это должно быть книжкой, которая делает любовь к армии более земной, конкретной.

Даже в нравах армии это может сделать свое дело — разрядить немного то, что в ней есть сухого, безулыбочного и т. п., не подрывая ничуть священных основ дисциплины. Одним словом, дай бог сил!\*<...>

Поездка в 28-й КАП.— Из этой поездки было написано длинное, подчиненное чисто газетной задаче написать «портрет в стихах» стихотворение «Григорий Пулькин». Из Пулькина еще, может быть, у меня что-нибудь получится, поэтому нeliшне будет восстановить все, что он мне рассказывал, по порядку. Пулькин Григорий Степанович. 1916 года рождения. Из Башкирии. Кузнец из взвода управления 1-го дивизиона. Третий год срочной службы.

В 12 часов 23.XII вышел он со своим товарищем Лаврентием Жудро проверить лошадей в дивизионе. Проверили и стали перековывать кобылицу Каплю на все четыре («кругом»). Пуль-

шофер. Это тот герой, которого как раз недостает в нашей литературе — весельчик, болагур, остряк в любую минуту жизни и т. п. Я попытался бы сделать что-нибудь из него в стихах, но для этого нужно бы от него больше послушаться\*.

\*Первоначальный замысел «Книги про бойца», самый момент находки образа «Теркина» и все тогдашние предположения насчет будущего его развития — все это для меня самого было как бы новость, когда я напал на эти записи почти тридцатилетней давности, до которых почему-то не добрался во время работы над статьей «Как был написан «Василий Теркин».

кин, как и все, знал уже, что банды «просочились», бродят где-то. Поэтому на работу вышел с винтовкой и семьюдесятью пятью патронами при себе. Только принялся за вторую ногу Капли — выстрел. Поднял голову, сколько мог поднять, согнувшись и не выпуская конской ноги.— белые холсты на опушке. Послышалась команда Маргулиса:

— Ложись! Огонь!

Финны уже успели обойти кругом батарею Маргулиса два с половиной раза.

— Огневикам открыть огонь прямой наводкой.

Огневики были сбиты финнами сразу же.

Пулькин с винтовкой расположился у первого орудия батареи Маргулиса. Потом переполз ко второму, где находился один Лаптев. Со станины его орудия уложил офицера, пробравшегося меж березок к самой почти батарее. (Большая почтовая сумка-планшет этого офицера висела в штабе.)

У Лаптева между тем был перебит весь расчет. Один он, сутулый, рыжий, заросший бородой, управлялся, как медведь, у пушки.

— Давай буду помогать.

Помогать, не будучи обученным, трудно. Однако Лаптев предложил:

— Ладно! Будешь дергать за шнур. Заряды подносить.

У них, как и у всех оставшихся в живых на батарее, не было и уже не могло быть иного ощущения, как то, что они окружены, отрезаны и минуты их сочтены. Ну что ж, тут что ни успеешь сделать, чем ни причинишь еще ущерб противнику — и то дело. Но в это время из-за леса раздался громкий голос капитана Хоменко:

— Держись, Маргулис, я иду.

Маргулис, можно предполагать по всему, растерялся... Но это дело прошлое. А факт тот, что ребята эти — Лаптев, Пулькин, там еще Соцкий и другие — спасли положение. Они били из тяжелых орудий по противнику, залегавшему в ста восьмидесяти — пятистах шагах. Убивало

## Григорий Пулькин

Когда кузнец — кузнец хороший.  
В искусстве ковочном горазд.  
Любой крови любая лошадь  
Ему с охотой ногу даст.

Когда рука его набита,  
Он лишь прищурится слегка —  
И посыпает гвоздь в копыто  
Одним ударом молотка.

И у него в дивизионе.—  
Проверь на самый строгий глаз,—  
В порядке все — обуты кони  
По мерке, точно, в самый раз.

И на крутом подъеме тяжком.  
Когда орудье вниз рванет,  
Артиллерийская упряжка  
Не будет зубы бить об лед.

...Мороз. В лесу звенят сосульки.  
Подкова рубит лед сухой,  
Твоей она. Григорий Пулькин.  
Умелой пригнана рукой.

Но сам он это в счет не ставил.  
Случился день, когда в бою  
И сверх того еще прославил  
Кузнец фамилию свою.

Кругом земля стонала стоном,  
И осыпь дымная с ветвей  
Ложилась белою попоной  
На спины потные коней.

Глотали люди снег с устатку.  
Любой работал за троих.  
Но приходилось по десятку  
Врагов на каждого из них.

не столько снарядом, сколько воздушной волной. Снаряды разрывались так близко, что собственными осколками был пробит щит у орудия.

Пулькин, помогая Лаптеву, в свободные промежутки бил из винтовки. Финская пуля попала в магазинную коробку. Подавался в канал ствола только один патрон. Пришлось бросить эту винтовку и взять другую, у ближайшего убитого. В момент переползания за винтовкой Пулькина ранило — оцарапало осколочным бедро возле кармана.

«Тут я, правда, рассерчал. Когда Хоменко стал поджимать финнов сбоку, они зашли за шалаши из хвои, под которыми стояли лошади. Тут шла битва «через лошадей». Капля была убита. Наркоз ранен в ногу».

Все это длилось часа два с половиной. Темнеет в это время там очень быстро. Уже еле видно было, когда финны стали отходить, оставив много трупов на месте.

Человек пять Пулькин убил — видел кого, — не считая офицера и не считая работы у орудия.

Царапина на бедре, растираемая штанами, беспокоили. Но это ему только придавало злости. А тут еще — стоны раненых товарищей, гибель Жудро (пал в первые минуты боя), с которым два года вместе были, дружили, в землянке рядом спали.

По окончании боя младший лейтенант Ко зарев приказал не сходить с поста — не вернутся ли финны.

Потом в землянке ветфельдшер Пиняев жег спички, смотрел у Пулькина его рану. Чем-то прижег, чего-то поковырял — до свадьбы заживет, говорит.

Был очень усталый — ведь в снегу покатался. Ночь опять пришлось стоять в усиленном карауле.

На другой день пошел туда, где с Жудро кобылицу подковывали, подобрал на снегу инструмент.

В заключение спрашиваю: как, мол, твоё настроение?

У ног живых в снегу лежали  
Убитые. Редел народ.  
Носилок раненые ждали, —  
Не доходил до них черед.

В разгаре боя у опушки  
Вдруг увидел кузнец в дыму,  
Что остается возле пушки  
Один наводчик. И к нему —  
Помочь. Ну что ж, не гнать обратно.  
— Гляди — шнурок. Вперед не лезь.  
Как крикну — дергай.  
— Есть! Понятно.  
— Да сам пригнись.  
— Понятно. Есть.

И хоть впервые с пушкой рядом  
Стоял кузнец, однако смог  
Таскать наводчику снаряды,  
По знаку дергать за шнурок.

Казалось так: покуда живы,  
Решили разом тот и тот.  
Уговорились молчаливо  
Стоять вдвоем за весь расчет.

И знали оба, что, быть может,  
Они уже окружены,  
Что только жизни подороже  
Свои отдать они должны.

А вражья цепь все ближе, ближе  
Ползла, росла из-за кустов.  
Штыки, халаты, каски, лыжи,  
Дыханья пар из сотен ртов —  
Уже вблизи. Но двое грудью  
Атаку встретили.

— Огонь! —  
Прямой наводкой из орудья  
Внезапно дали раз, другой...

Угрюмо вниз глядело дуло.  
Кого осколок не сразил,  
Того волной воздушной сдуло —  
С тех пор он хлеба не просил.

Столбами черными в пожаре  
Валетала мерзлая земля.  
Вдвоем атаку отражали  
Они, как два богатыря.

И так в бою кузнец старался.  
Так управлялся в свой черед.  
Что мельком даже улыбался  
Наводчик, утирая пот.

Когда ж от наших пулеметов  
Пошла в лесу трещать кора  
И понесла вперед пехота  
Свое родимое «ура!».  
Когда бойцы вздохнули вместе  
И стихнул пуль последний свист.—  
Он охвалил его по чести.  
Толкнул в плечо:  
— Артиллерист!..

Тот к пушке подошел устало.  
Металл был тепел под рукой.  
И пахло, точно в кузне старой.  
Огнем, окалиной сухой,  
Землей натоптанной. Работа  
Была похожая вполне.  
На сером ватнике от пота  
Пробился иней по спине.

Ломила устал в пояснице.  
Дрожмя дрожали пальцы рук.  
И снегу чистого — помыться —  
Ни горсти не было вокруг...

Уже у всех кузнец в помине  
Уже с людьми какими в ряд!  
Уже родители о сыне,  
Наверно, речи говорят.

— Да что ж настроение — ребят наших тоже  
много убито. Вот. Можно идти, товарищ писатель?»  
<...>

**8. XII. 40.** — Прошло время, когда все определялось  
тем, как армия, часть, боец воюет, какие у них ус-  
пехи. Это было единственной меркой и оценкой  
всего. Недисциплинированный боец? Да, но он пер-  
вым добрался до дота, взорвал его и т. п. Он — герой.  
Отстающая по боевой и политической подготовке  
дивизия? Она прорывает линию Маннергейма,  
она награждается орденом Ленина (123-я). Сейчас  
все по-иному. Все подводится к некоей общей норме,  
которая отказывается от случая, удачи и т. п.,  
идет к организованности, предусмотренности,  
обобщению. А романтика — в сторону. Орденонос-  
ная дивизия может стать одной из отстающих. Бо-  
ец, награжденный орденом, совершает проступок,  
за который его приходится судить, и т. д.

Об уроках этой войны говорят много, гово-  
рят критически и беспощадно к самим себе,  
к привычным понятиям и т. п. Потери и неуспехи  
на первых порах объясняются тремя причинами.

Первая из них — неподготовленность нашего  
запасного состава.

Вторая — то, что все это — снега, доты, харак-  
тер сопротивления — было впервые. Меру труднос-  
тей никто не мог предугадать.

Третье — успех предшествовавшей кампании  
в Западной Украине и Западной Белоруссии, сни-  
зивший боеспособность некоторых частей, при-  
учивший их к легкости.

Все это нужно выразить и по-иному, но это  
все так. <...>

**21. III. 41.** — Вчера читал Маршаку главки «Теркина». Он был просто взволнован, но необходимо по-  
мнить что это с ним бывает, а потом он ничего мо-  
его, кроме «Муравии», не помнит. Одно важное его  
замечание: стихи свободные, без стремления  
к эффектам на каждой строчке. Помнить о деле,  
о том главном, что хочешь сказать, а строчки сами  
собой будут хороши.

Что-то в этом роде я сам не то придумал, не то во сне видел — что-то чрезвычайно ясное, правильное насчет формы и содержания. А вспомнить не могу. Какое-то смутное, но очень радостное воспоминание, что-то очень новое для меня и в то же время не противоречащее резко моей прежней работе и пристрастиям.

1939 — 1941

А он у дела, как обычно,  
На службе срочной. И порой  
Ему в героях непривычно  
Но как бы ни было — герой.

И у него в дивизионе,—  
Проверь на самый строгий глаз.—  
В порядке все — обуты кони  
По мерке, точно, в самый раз.

1940

Велика страна родная,  
Так раскинулась она,  
Что и впрямь — война иная  
Для нее как не война.

Но в любой глухой краине,  
Но в любой душе родной  
Столько связано отныне  
С этой, может, не войной.

Пусть прибитый той зимою  
След ее травой порос,  
И прибой залива мает  
Корни сосен и берез.

Пусть в тот край вернулись птицы,  
И пришло зверье в леса,  
И за старою границей  
День обычный начался,—  
Там...

Там, в боях полубезвестных,  
В сосновке болот глухих,  
Смертью храбрых, смертью честных  
Пали многие из них.

1941

Зима под небом необжитым  
Застала тысячи людей.  
И от зимы была защита  
Земля. Что глубже, то теплей.

Две-три ступеньки для порядка,  
Пригнись пониже всякий раз.  
Заиндевелою палаткой  
Завешен в землю темный лаз.

А там внизу, под тем накатом.  
Под потолком из кругляшей.  
Там, как вползешь,— родная хата,  
Махорки дым и запах щей.

Там рай земной. И в самом деле,  
Зима любая не страшна.  
И на разостланной шинели  
Считает сахар старшина.

И, шевеля в губах окурок,  
Сонливо глядя на огонь.  
Боец, парнишка белокурый,  
Тихонько трогает гармонь.

И все пришедшие погреться  
Сидят говорчивым кружком,  
Сидят на корточках, как в детстве,  
Как в поле где-нибудь, в ночном...

40-й: всё, из пред-стоящего могло бы быть иным.

Даже после мая?

Даже, ибо стала — один на один — почти безоружная Англия.

Но иному нужно было совсем малое, сведенное всего лишь к одному человеку.

Иному потребен был иной Сталин.

К сентябрю — убийством Троцкого — исчерпавший свою сверхзадачу.

Отныне — единственный, вершащий судьбы.

А обстоятельства?

Мнилось (ему, нам), что и они — его. И действительно были его.

Правда, разор после 37-го. Правда, финский урок — симптомом неготовности.

Правда, страх, сковывавший волю ответственных и тех, кто под ними.

Но — на подходе то новое (в технике и оружии), что затем принесло победу.

И новым, тем, кто затем (и поныне) на пьедестале Победы.

не так уж много времени нужно было, чтобы стать собою.

И ещё, сверх, вовне, в Мире — залогом иного — Америка Рузельта,

вновь избранного президентом и близкого к тому,

чтобы превозмочь домашний барьер неучастия.

Сошлось бы, сошлось — и тогда без июня, без июля, всего того, что дальше и ближе к Москве, к страшному, к рубежному...

---

Знаем: без июня, без Москвы ИНОЕ не вступило бы.

Иному нужна была большая кровь. Расплатой за единственность одного.

И — освобождение от этой единственности: на время, сотворившее перелом.

Остановимся. Ещё раз зададим себе вопрос — об одном.

ставшем единственным, о Сталине.

Спросим: разве не мог он, оставаясь собою, разгадать Гитлера.

принять меры, избрав «активную оборону» — на время.

нужное для подготовки сокрушения?

Знаем — не мог. Ибо единственный не мог представить себя иначе.

Исполнивши сверхзадачу, он утратил всякую, какая не была бы «сверх»:

способность перевести «сверх» в обычную, простую, своевременную

и исполнимую...

1940

- 12 марта Подписан мирный договор между Советским Союзом и Финляндией.
- 9 апреля Германские войска нападают на Норвегию и Данию.
- 10 мая Отставка британского премьер-министра Невилла Чемберлена.  
Уинстон Черчилль формирует «кабинет национальной коалиции».
- 13 мая Черчилль выступает в Палате общин: «Я не могу предложить вам ничего, кроме крови, труда, слез и пота... Вы спрашиваете, какова наша политика? Я отвечу: вести войну на море, сущее и в воздухе со всей нашей мощью и со всей той силой, которую Бог может даровать нам; вести войну против чудовищной тирании, равной которой никогда не было в мрачном и скорбном перечне человеческих преступлений. <...>  
Какова наша цель, <...> — победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы; победа, независимо от того, насколько долг и тернист может оказаться к ней путь; без победы мы не выживем».
- май Отступление британских и французских сил на севере Франции, их отход с боями к порту Дюнкерк.
- 23 мая Директива Гитлера №13 («стоп-приказ») об остановке немецких танковых соединений перед Дюнкерком.
- 27 мая-  
4 июня Эвакуация английских и французских войск из-под Дюнкерка. Через пролив Па-де-Кале переправлено более 338 тысяч человек, в том числе 215 тысяч англичан.
- 1940 Первые депортации евреев из Эльзаса.
- 4 июня В выступлении в Палате общин Черчилль предупреждает о реальной опасности германского вторжения на Британские острова: «Мы будем оборонять наш остров, чего бы это ни стоило <...> мы не сдадимся никогда».

Оттого не мог (не в силах был) разгадать Гитлера,  
который тоже искал задачу, какая бы соответствовала  
его единственности — и ни одну из близлежащих также  
не мог принять за свою.

В выигрыше оказался более готовый к нападению...

Рок 40-го — беспомощность всех, живших задачами: по наследству, по инерции,  
в силу слепоты и — человечности.

Та, 40-го, беспомощность — в наследство от 30-х, от 39-го.

В генезисе её многое, неоднородное.

Тут и Версаль,

и «преданная революция» немцев.

Тут и опустошённость переживших «бойню»  
(не знали, что ещё впереди).

и уверенность народившихся, что их версальский Запад  
устроен навсегда.

Тут и тектоника внезапного кризиса.

и мировая развилка — нью-дил и фашизм.

Тут и слабость левых, и слабость — наша собственная —  
прикованных к «отечеству всех трудящихся»...

Сталин и Гитлер — наследники неудавшегося единства.

получившие от поражения сдвинутую с места человеческую массу...

К 40-му уже брезжило воскрешение Запада.

Поступок не-отчаявшихся будил мысль.

Открывалась единственность демократии.

Её возродить — сильною и справедливой!

Не забыть:

Марк Блок, сочиняющий «Апологию истории», дневник Корчака и многое.  
многое иное, вчерашнее — завтрашнее...

Но тогда, в 40-м, им — беспомощным —  
ещё предстояло найти своё сверх — против тех двух:  
против одного прямо, против другого окольно.  
Им также (для этого!) нужна была большая кровь.  
И Жукову, и Тёркину,  
и тем, кто был во французском Сопротивлении.

- 14 июня Падение Парижа.
- 22 июня Капитуляция Франции.
- 10 июля Начало воздушных сражений в британском небе («Битва за Англию»). Чтобы, как заявлял Геринг, «вывбомбить Англию из войны», немцы сосредоточили силы двух воздушных флотов (1480 бомбардировщиков, 980 истребителей, 140 разведывательных самолетов).
- 16 июля Подписана германская директива №16 о десантной операции против Англии «Морской лев» силами 40 дивизий.
- 2 августа В «Правде» речь Молотова. О поражении Франции: «Ясно, что дело здесь не только в плохой военной подготовке... Не малую роль здесь сыграло также то обстоятельство, что французские руководящие круги — не в пример Германии — слишком легкомысленно отнеслись к вопросу о роли и удельном весе Советского Союза в Европе».
- 18 августа В «Правде» сообщается о том, что Германия объявляет полную блокаду Англии.
- 22 августа «Правда» сообщает о покушении на Л.Д.Троцкого.
- 23 августа Широко отмечается годовщина заключения советско-германского пакта. Из передовой «Правды»: «Различие политических систем и идеологии не могло и не должно было служить непреодолимым препятствием к установлению мирных и подлинно добрососедских отношений между двумя государствами».
- 24 августа «Правда»: «В Мексике в больнице умер Троцкий от пролома черепа, полученного во время покушения на него одним из лиц его ближайшего окружения». Справа на той же странице большая, в 2 колонки, статья об этом же — «Смерть международного шпиона».
- 7 сентября Германия начала бомбардировки Лондона. В ночь на 15 сентября в результате налета 449 бомбардировщиков сметен с лица земли промышленный город Ковентри. Германское радио объявило, что все английские города будут «ковентированы».

М. Гефтер

## 1940: эпизод в контексте развилки

С Новым годом! С новым горем!  
Вот он пляшет, озорник.  
Над Балтийским дымным морем  
Кривоног, горбат и дик.  
И какой он жребий вынул  
Тем, кого застенок минул?  
Вышли в поле умирать...

Анна Ахматова. Январь 1940

Еще в разгаре советско-финляндской войны, когда из сердца поэта вырвались строки — предвестие нового горя. Оно пока безадресно и оттого страшнее — способностью вломиться в любой дом. «Кривоног, горбат и дик» этот год, раздвигающий пределы убийства, неотъемного от перекрошки карты Европы и планов расчленения Мира. На расстоянии более чем в полвека планы эти видятся заведомо обреченными, как и их авторы, те двое, каждый из которых притязал на безраздельное владение планетой. Правда. Сталин, переживший Гитлера, не дотянул до момента, когда единственным шансом удержаться в истории остается лишь собственный суицидный финал. А все коллизии послевоенной эпохи опрокинули (окончательно?) самый помысел: превратить в чью-либо собственность многоязычную Землю, среду разных человеческих способов бытия. Но из этого postfactum отнюдь не следует, что та сдвоенная попытка не могла из бреда стать явью — выравниванием оставшихся людей через отнятие у них возможности всякого Выбора и памяти о прошлом.

...И какой он жребий вынул тем, кого застенок минул? Я — из этого числа, из поколения, которое **вышло в поле умирать...**

Сознание человеческое оттого и именуется историческим, что существует и действует, опираясь на рубежи: события, после которых люди уже

не способны жить, как до них. Вспоминая это, человек обращается к неведомому по имени будущее, прежними «рубежностями» как бы подготавливая себя к тем, что еще впереди. По ошибке это можно назвать поисками аналогий. Сказав «по ошибке», я вовсе не исключаю того, что сплошь и рядом люди (притом как раз ощущающие себя причастными к истории и тем паче — призванными ее направлять, именно они прежде всего) склонны мыслить совпадениями, повторениями, которые благоприятствуют их планам и намерениям, либо предупреждают об опасностях и помехах. Ошибка от этого, однако, не перестает быть ошибкой. Напротив, она тем самым возводится в степень. Аналогии успокаивают некстати или подстрекают к неоправданным действиям. Другое дело — мышление ассоциациями, включающими в себя не только господствующий, восторжествовавший ход вещей, но и отброшенные им, уничтоженные либо отодвинутые, «уттраченные» возможности — на тех равных познавательных началах, которые позволяют увидеть, хотя бы в грубом приближении, целое (событие, полное внезапностей, в споре с глубинными процессами, вспышку истории, переиначивающую повседневность в столкновении с традицией, с укорененной нормой поведения). В этом «идеальном», то есть трудно достижимом, до конца недостижимом случае и рубеж предстает перед нами как развилика, беспокоящая сознание вне зависимости от давности. Не будет преувеличением сказать, что на исходе XX века это беспокойство достигло предельной остроты. Ибо вся Земля сейчас — **«сплошная развилика**, в свете которой все прежние развилики смотрятся как своего рода парад планет.

Но тот 1940-й притягивает особо. На то есть причины и чисто биографического, и более общего свойства. Смею сказать, что в том году ко мне постучался Рок. Это было странное предчувствие — разлуки и гибели, вскорости сбывшееся. Это была также трещинка в моей юношеской ортодоксии: впервые колебнулся взгляд, согласно которому Мир суть совокупность, движущаяся в единственно-должном направлении (этим вектором и соединяемая воедино, этим движением исчерпывающаяся «в конечном счете»...) Позже, во время обороны Москвы, в селе Семеновском, что теперь съедено расползающимся городом, я стал делать записи о «смысле года», отсчитывая его от двух августов — 39-го и 40-го, будто с того первого из этих августов и до летнего солнцестояния 41-го прошел всего лишь год — год, полный внезапностей, крушений, с запинками и развиликами, наиболее существенная из которых падает на осень 40-го. Спустя еще ряд лет близость к покойному Аркадию Самсоновичу Ерусалимскому ввела меня за кулисы роковых решений, датируемых уже

не месяцами, а неделями и днями: но было ли это — роковое — решениями либо, напротив, видимостью их в одном случае (Гитлер), а в другом (Сталин) судорогой отталкивания от себя необходимости решать и решиться: загнанной вглубь схваткой между неконтролируемым вожделением всевластия и страхом в одно нежданное мгновение впасть в ничтожество? Вопрос возник и стал жить своей жизнью, но сохранилась заключенная в нем смутная тревога, адресуемая не одному лишь прошлому. Наконец, в конце Семидесятых, когда уход из официальной исторической науки высвободил время для обдумывания сокровенного, я вернулся к теме **рубежа-развилки**...

Множающиеся заметки на названную тему не превратились в готовую рукопись. Мешала ли мне боязнь показаться чересчур «личным» в прикосновении к судьбам миллионов или процесс внутренних пересмотров не дорос еще до ясности в самом сомнении? Вероятно, сыграло роль и то, и другое. Я не жалею об этом, поскольку невыговоренное тогда помогло мне в дальнейшем — как историку и человеку, полагающему, что его профессия обизывает к поступку. Во всяком случае я имею основание считать, что в моих работах, когда они вновь стали публиковаться после почти двухдесятилетнего отлучения от печати, ощущается и прямое, и косвенное присутствие «1940-го». О косвенном — в другой раз, когда будет место подвести себе итог. Сейчас же хочу вернуться к одному лишь **эпизоду в контексте развилки**: выходу в свет русского перевода мемуаров князя Отто фон Бисмарка. Действующие лица этого эпизода — Сталин и историк, оказавшийся посредником между ним и Бисмарком. Незримо же присутствовал Адольф Гитлер. Он — и другие, еще менее зримые.

...Спустя почти четверть века (дело было в середине 1960-х — М.Г.) я держу в руках книгу «Бисмарк. Мысли и воспоминания». Год издания тот самый, 1940-й. Сигнальный экземпляр. Единственный, принадлежавший Аркадию Самсоновичу Ерусалимскому — автору вводной статьи. В тексте ее и на полях пометки и замечания Сталина. Да, это его рука. Его почерк — человека, привыкшего много писать, беглый, но ясный, легко читаемый. Писал, вероятно, не в один присест — цвет карандаша разный. Я всматриваюсь, подобно археологу, открывшему древнюю надпись, старающемуся разгадать смысл и судьбу, заключенную в буквах...

Сталина уже нет. Страшное о нем мы не боимся говорить вслух, правда, это еще вновь, еще не стало расхожим. Я ищу в книге страшное. Нахожу же разумную редакторскую правку, свидетельства недурного вкуса и понимания истории. Рассказ А.С. Ерусалимского о встрече в Кремле дополняет

зрительную реакцию. Мы задерживаемся на самом крупном из исправлений. В статье, которую поручил написать профессору-историку нарком иностранных дел, финальные абзацы прозрачно доносили главную мысль. Бисмарк, не раз высказывавшийся против войны с Россией, боявшийся ее пространства и повторения участия, постигшей некогда шведского короля и французского императора, призывался в советчики настоящему, в наставники Гитлеру. Казалось бы, и Сталину финал должен был прийтись по вкусу (статья ему вообще понравилась). Но как раз концовку Stalin решил изменить. Он снял патриотические курсивы, сократил размер предупреждений и весь русский сюжет согласился оставить под условием переноса его куда-то в середину (заключительным же аккордом избрал текст о старом юнкере, отставном канцлере, который незадолго до смерти посетил Гамбург и, с удивлением взирая на гавани, верфи, океанские корабли, промолвил: «Другой мир, новый мир»). «Что это было, — спрашивал я А.С., — каприз, хитрость или инстинкт человека, мерившего политику "эпохами"? И автор (Ерусалимский), и заказчик — Молотов были тогда обескуражены. Последний не произнес ни слова (как и присутствовавший на встрече Жданов). Аркадий Самсонович же робко возразил, упирая на актуальность. Stalin — в ответ: «А зачем вы их пугаете? Пусть попробуют...»

Слова эти врезались в память. Их, не раз возвращаясь к эпизоду-событию, повторял Ерусалимский. Не раз пересказывал и я. Первоначальное запиравшее действие сгладили годы, да и многое узналось с тех пор. Stalin «нынешний» уже не столь загадочен: в его расчетах без особого труда прочитывается мицдержавие, в его просчетах — оно же: не контролируемое тем меняющимся соотношением сил, для учета которого мало самых сногсшибательных данных самой проницательной разведки. И даже интуиция не выручит, когда держит в плену (замещая реальность суррогатом ее) неподвижная власть ради самой власти... Но разве неподвижность эта не тайна своего рода, разве так уж очевидна она, когда перед глазами мозаика фактов, каждый из которых уводит в хитросплетения политики и кажется поддающимся классическому «причинно-следственному» объяснению?

Я не притязаю и сейчас на попытку исчерпать тему. Это всего лишь некоторые дополнения к тому тексту.

«Мысли и воспоминания» Бисмарка появились на прилавках книжных магазинов в середине октября 1940-го. Первые газетные отклики датируются 11-15 октября («Правда», «Комсомольская правда»). Номер журнала «Большевик», в котором воспроизведена вводная статья Ерусалимского,

сдан в набор также 15 октября. Спустя два дня немецкий посол фон Шуленбург подробно извещает об этом свое берлинское начальство, отмечая, что необычно высокий тираж книги, как и тон комментариев, делают публикацию «ярко выраженным политическим событием» («macht zu einem ausgesprochenen politischen Ereignis»). Согласимся с Шуленбургом. Это, действительно, было событие — в ряду иных, и тоже не обособленных, а сопряженных друг с другом при всем различии в масштабах и направленности.

Таково уж свойство истории — образовывать в своем движении событийные пучки. И такова природа аритмичного «исторического времени», которое то переходит с тихого шага на рысь и галоп, а то способно и замереть — на затяжном ли выходе или на чем-то, вовсе напоминающем клиническую смерть. У предсмертии этой свое особенное пространство: это, по сути, всегда Мир, если даже умирание и отпор ему (последними остатками сущего либо, вернее, сверх силами его) съеживаются до пятака и уменьшаются в отдельном человеке, который восстает против собственной беспомощности, отказывается стать на колени перед идолом Результата.

Что характернее в этом отношении, чем 1940-й? Приметы предсмертия налицо. У них уже свой календарь. Поверженный запад Европы, скоропостижное крушение Франции, саморазоружившаяся в Дюнкерке английская армия, явные признаки готовящегося вторжения вермахта на Британские острова, а на пороге — «тройственный пакт»: германо-японо-итальянский военный союз, нацеленный на овладение Миром. Дальнейшие расчеты подкреплялись близкими успехами, планетарная экспансия — вовлечением в орбиту ее новых вассалов и союзников — прежде всего Финляндии, Румынии, Венгрии, Болгарии. Если же прибавить к этому множащиеся поросли конформизма и предательства при незаметно быстрым переходе от одного к другому, — то как не поникнуть было новоевропейскому разуму. Вот одно из скорбных признаний: «13 июня, в самый день разгрома, я встретил старого профессора истории: на мой вопрос о причинах столь быстрой катастрофы он ответил: «О, нечего искать их слишком близко, в недалеком прошлом. Это развязка трагедии, назревающей более ста лет. Вот к чему привел нас совет господина Лизо: «Обогащайтесь». Напрасно вы улыбаетесь. Буржуазный дух в конечном счете убил демократию. Он отравил все, зараза перекинулась от буржуа к крестьянам, к рабочим [...] Нет больше народов, нет больше людей, есть только масса».

Я привожу эти слова из дневниковых записей Жана (Мартина) Гээнно, преподавателя лицея, публициста и писателя, будущего члена Французской

академии (из его книги «В тюрьме», изданной антифашистским подпольем в 1944 году), не ради самой по себе переклички с сегодняшним днем. В некотором смысле они и старомодны, и забегают в будущее. Может показаться, что, вменяя буржуазному строю в вину поражение своей страны и всей Европы, французский интеллигент обессиливал себя перед лицом «революционного нацизма». Биографии людей Сопротивления доказывают обратное. Они проливают свет на идеальные побудительные мотивы, которые, если и не оказались достаточными, чтобы сломить материальную силу агрессий, то во всяком случае ослабили изнутри страшный и дерзкий помысел — спровоцировать род человеческий на самоубийство.

Прежде чем продолжить и развить эту мысль, представляющую мне главной («в контексте развилики»), я позволю себе сопоставить с приведенной выше июньской записью Геэнно его ноябрьскую того же года.

«К чему теперь писать? Сомневаться в смехотворности столь интимного занятия уже почти не приходится [...] Несчастный род человеческий! Потрясенный собственными открытиями, заблудившийся на преображенной им земле, одураченный своими творениями. По сути, мы все те же большие обезьяны, алчные и сластолюбивые, которые, почувствовав угрозу смерти, застигнутые врасплох ледниковым периодом, изловчившись, превратились в людей и потому выжили. Что станется с нами на этот раз? [...]»

Вся Франция, вся Европа — тюрьма. Повсюду в сельских местностях, на порогах школ, мэрий, у мостов, перекинутых через реки, на перекрестках дорог стоят часовые в зеленых мундирах, расставив ноги и тупо уставившись в одну точку. Время от времени слышно сухое щелканье: сапог ударяет о сапог: один из часовых, подобно заводной фигурке, вдруг задвигает руками и ногами, щелкнет каблуками, возьмет на караул и затем снова впадает в отупение, фантастическим образом застывает в еще большей неподвижности, чем прежде [...] Эта шутовская комедия разыгрывается по тысяче раз на день во всей Западной Европе, и мы, говорят, обязаны взирать на нее с должным почтением. Будет просто скандал, если и сама природа не вытянется по стойке «смирно» перед проезжающим генералом. Но ласковый ветерок по-прежнему веет над полями, которые пребудутечно, птицы все так же

распеваю, листва трепещет. И мы тоже не должны поддаваться этому механизированному кошмару. Мы не встанем по стойке «смирно».

Поэтому надо разрисовать стены этой тюрьмы. Не знаю, что я нарисую на стенах своей тюрьмы, но уверен, что там найдут приют все мои прежние мечты, те образы, которые неизменно поддерживали мою веру. Теперь не время отрекаться от идеалов прошлого, напротив, следует хранить им верность, даже если это опасно. Пусть по-прежнему парит в моем небе гений свободы. Боюсь, что ворота тюрьмы распахнутся нескоро [...] Всякая связь с живыми прервана. Развеяна в прах надежда вот сейчас, сию минуту соединиться с ними, а вместе с ней и тщетное притязание повлиять на них, которое даже самых искренних заставляет возвышать голос и лгать. Писать так, будто ты уже умер и ждешь только Страшного суда,— если вдуматься, это неплохие условия для работы. Я свободен и в своих мыслях и на бумаге. [...] Итак, за работу».

Итак, за работу — вот что росло из пессимизма тогдашних демократов, поставивших под сомнение самих себя. Эта «работа» могла быть только рукописью, названной автором, Марком Блоком, «Апология истории». Могла быть всего лишь спасением еврея, приговоренного к изгойству и смерти самим фактом своего существования. Она могла быть (и стала!) отпором, который одинокая Англия оказала натиску могущественной армии, упоенной превосходством. Слова Невилля Чемберлена (сказанные им в ареопаге консерваторов 4 апреля 1940 года): «Гитлер прозевал свой автобус», звучат злой насмешкой, если принимать их в буквальном постмюнхенском духе. Однако они воспринимаются парадоксально справедливыми, когда переносишься мыслью в ночи и дни устрашающих бомбажек, за которыми скрывались страх и упование — традиционный страх, который германский милитаризм испытывал перед войной на два фронта, и не менее традиционная надежда замирить Англию сделкой, главный предмет коей — дележка колоний, источников мирового богатства. Один ли Гитлер обманулся в своих расчетах? Одного ли его застигла врасплох консолидация Англии, волею судеб превратившейся «только» в остров и благодаря этому ставшей на время «только»нацией? Я прибегаю к кавычкам не потому, что знаю, что человек, воплотивший английское **нет капитуляции**, не мыслил ни себя, ни свою страну без империи. И в знаменитом выступлении по радио в разгар воздушного

сражения над Лондоном («Все по местам!», 11 сентября 1940) Черчилль, разумеется, не риторики ради напомнил соотечественникам о тех днях, когда испанская Армада приближалась к Ла-Маншу. Но так произошло, что воинственнейший тори старого закала делом всей своей жизни полагал уничтожение маньяка, оказавшегося в XX веке способным приступить к тщательному уничтожению целых народов. Личный помысел антагониста фюрера нашел опору в **только нации** оттого, что это «только» выразило как упрямство, надежду и спасительную самоиронию СРЕДНЕГО человека, так и вызов, брошенный всякому врозь взятому существованию со стороны Мира, не предусмотренного ни одним из доселе бытовавших человеческих «миров».

...Отдельный человек в поверженной Франции, «только» нация в, казалось, распятой на веки веков Европе — их достало ли, чтобы перевесить машинерию убийства? Ответ последовал из-за океана. Все тот же листопад 1940-го: обмен 50 эсминцев на островные владения Великобритании в Атлантике, начало переговоров штабов, пролог знаменитого лендлиза. Правда, эсминцы были старыми, времен первой мировой войны, так что вроде бы и сделка представлялась сугубо выгодной для штабов. А имея в алчущих врагах Японию, союзную с Германией, позволено ли было президенту США не озабочиться (заблаговременно) обороной и лучше всего вдали от собственных берегов? Франклин Рузвельт умел добиваться своего, не очень щепетильничая в средствах. Теперь ему предстояла схватка с сильным многоголовым противником — американским изоляционизмом. Сдаться ему на милость в предвкушении очередных президентских выборов так же исключено было для Рузвельта, как и открыто объявить своей программой участие в войне против нацистов. Доверимся показаниям людей, близких к нему: не из чистого честолюбия решил Рузвельт добиваться избрания на третий срок. По соображениям, прямо противоположным тем, какие диктовали Гитлеру в 39-м союз со Сталиным и нападение на Польшу. Рузвельт не допускал самой мысли о повторном Мюнхене: «Насколько мне известно, никто из нас, кроме президента, не сознавал, что нам придется бороться против Германии и Японии во всем мире», — свидетельствовал Дональд Нельсон (будущий глава управлением военного производства США), имея в виду как раз критические месяцы 1940-го. Рузвельтовский «новый курс» искал себе продолжения в новой мировой политике, а обстоятельства поощряли и нравственно оправдывали эти поиски. Еще не сочинена была Атлантическая хартия, еще не родился замысел «Объединенных наций», но в лице одиночки, сознававшей, что он бессилен вне власти, пределы

которой он искусно раздвигал, демократия избирала своей ставкой в борьбе за выживание — Мир без изъятий, Мир, открытый всем, кто сделал выбор в пользу равенства в свободе.

Задержусь здесь. Спрошу себя: не «пережимаю» ли, делая акцент на одиночек и возводя вынужденные шаги в ранг открытий, чье календарное место, скорее, в 1990-х, чем в тех скученных во времени событиях, о которых речь? Не исключено, что так. И все же урок 1940-го и в этом. В этом, кроме всего другого...

М. Гефтер

Капкан

История — не лавка древностей, она всегда «пред-стоит» и лучший синоним для ее определения — «будущее прошлое».

Исторические личностями со временем становятся все более загадочными жителями Атлантиды, которую еще только предстоит разговорить и восстановить по фрагментам. Сталин — из той Атлантиды XX века, постижение мира и языка которой не облегчает даже то, что ты сам жил в ней...

Вопросы не уходят, умножаясь и втягивая новые пласти реалий и фактов.

Исходное: мы сегодня уже не можем говорить о Сталине, как вчера.

Потому что больше знаем? Свободнее в высказываниях? Смелее, открытее?

Или же иное — мы захлебываемся узнаванием. Тайна, один из двух столпов «сталинской» единственности бытия (не менее опорный, чем страх) отступает: с боем, но отступает. «Момент истины»? Едва ли. Ещё нет. Рядом, вместе — справедливое возмездие и реанимация призраков. С ними легче, они как домовые — твои, домашние, тебя отличающие от других.

...Решись Хрущев на обнародование сохраненных временем обстоятельств убийства С.М.Кирова, может, и ходы назад были бы если не вовсе закрыты, то неизмеримо труднее. Не исключаю. Но останется затруднение — узнали ли бы мы (тогда!) в «до конца» разоблаченном Сталине самих себя? Дошли бы сообща до второго шага? Сюжет не уходит, а поколения меняются. Молодой человек конца 50-х — начала 60-х годов ощущал себя сильным и в пределах

существующего. «Дети XX съезда» — это, разумеется, не пустая метафора. «Дети», переставшие быть детьми,— по крайней мере с рубежа 1968 года... Нынешние же юные как будто изначально не обольщаются ничем, но властны ли они определить свою (и не свою!) участь?

До сих пор люди старшего поколения и юные совсем спрашивают: что же там произошло, в эти роковые Тридцатые, в преддверии и в начале Сороковых веке Двадцатого и сколь необратимо прошедшее — не просто в буквальном календарном смысле? Если необратимо, то и непоправимо — не так ли? Но что-то мешает поставить знак равенства, что-то держит. Капкан. Попадешь в него и не вырвешься... Стоит ли повторять, но как не повторить: Сталин и кровь нерасторжимы. И не просто кровь человеческая, на которой история (вся!) зиждется. Нет, со столь избыточной кровью он весь, во всех своих действиях связан, что это крушит всякое рациональное объяснение — и его самого, и нас, и истории как таковой. Сознаем ли, что именно этот шаг, это раздвижение вопроса до пределов истории нам как раз и более всего не даются? Почти бессознательное табу останавливает на полпути. И даже когда обнаруживаешь в себе этот запрет и силишься высвободиться из него, остается неясным — чего боишься: того ли только, что вместе с другими подошел к краю истории своего отечества, или та пропасть, что открылась, готова всех на свете принять без возврата?

...Сталин беспрецедентен! Это легко видеть, идя от обратного,— от современных интеллигентских банальностей. Можем ли мы после Сталина вернуться к истории до Сталина, к облагороженной, европеизированной, смягченной модели всего того, что он вывернул наизнанку? Не только мы стали другими — мир стал другим. Можем ли мы сегодня идти вперед сквозь циклы спазмов и катастроф с тем героическим энтузиазмом, как в 1941-м?.. Но разве не тогда впервые человек, покинутый на произвол судьбы, внезапно, на кромке смерти, обрел свободу распорядиться со-

бою. Именно свободу! Как очевидец и как историк свидетельствую: 1941–42 годы множеством ситуаций и человеческих решений являли собой стихийную «десталинизацию», по сей день не оцененную в этом качестве. Да, это наше, русское, российское, советское, но это еще и мир, человечество, вошедшие в нас тогда. Теряя же после то, что мы приобрели в эти два великих и страшных года, мы вновь теряли и себя, и мир. Сперва неприметно, а затем с беспощадной очевидностью...

Далеко не сразу — много позже мы стали прозревать, просматривая линию от «пакта о ненападении» с Гитлером 1939 года до начала военной трагедии и роли Сталина в ней. Но конец войны и победу связывали с его именем.

А что сам я чувствовал 9 мая 1945 года? Кроме радости, горечь: именно в этот день я понял, что мои близкие не вернутся... И было еще одно, странное чувство разрастающейся пустоты. Кончилась война, в которой мы привыкли жить, и к довоенной жизни нет возврата. Вот что не в шутку соединило нас со Сталиным — необходимость все начинать и устраивать заново! Но если нами владела неуверенность вместе с жаждой жизни, то Stalin в этом увидел какую-то угрозу себе. Кто знает его мысли? Видел ли он в нас, молодых людях в шинелях без погон, будущих декабристов, овладел ли им прежний страх оказаться ненужным, подстрекавший его придумывать и создавать чрезвычайные ситуации, — так или иначе снова им был приведен в действие механизм «перманентной гражданской войны», этот личный вклад его в то, что именуют «сталинизмом». Так начала развертываться не описанная еще по-настоящему послевоенная трагедия — разлом поколения Победы. После такой веры друг в друга снова брат вставал на брата, снова страна кишила «изменниками». Карьера становилась жизненной программой молодежи, всюду проникало лицемерие... Но самое страшное — однозначность распоряжения человеческой судьбой, введение всякого в колею, где «шаг влево, шаг вправо» — запрет. Предопределенность, которую не всегда замечали те, кто не уклонялся от «правильного» пути.

Одно из самых страшных нововведений Сталина — уничтожение альтернативы. Альтернатива ведь это еще и выбор. Выбор как норма, как быт, который по определению своему противен любой монополии. Поворот 1917 года был единственным решением, противостоящим неизмеримо большей кровавой перетасовке, развалу без всякого смысла. Выбор начался вслед за тем. Выбор — это Ленин и его оппоненты на послеоктябрьской почве. Выбор — это кронштадтские мятежники либо Х съезд. Выбор — это продналог и не более, — либо «нэповская Россия»... Мы еще не вдумались как следует в значение таких дат, как 1923-й, 1928-й и даже 1934-й. В каждой из них прощупывается выбор, и в каждой — нарастающее сужение поля выбора. Сужение, шаг за шагом делающее Сталина из «случайного» — необходимым и единственным.

...Самый общий смысл и «дерзость» ленинского введения нэпа — переход от гражданской войны к гражданскому миру. И не на какое-то время! Запрет на кровавую междуусобицу, требующий разработки путей принципиально иного разрешения всех социальных драм. «Кулак не Колчак!» — говорил Сталину Бухарин. Сейчас много пишут о нэпе — разумеется, во славу. Но разве не время всмотреться в конец нэпа, в его обрыв на восходящем витке? Мог ли бы один «злодей», кто бы он ни был, содеять такое? Катастрофа нэпа — итог коллективной слабости. Замысел разбрелись о боязнь выйти за пределы, очерченные первым шагом; за первым выбором не последовали другие. Замысел Ленина дробился на куски, каждый из которых легко было скомпрометировать расхождением с тем или иным «железным законом»... Национальное согласие, коллективный фермер, автономия культуры — разве это не «частности»? Но отказ от этих частностей выходил целое.

Победе Сталина предшествует поражение зачинателей, ортодоксов и эпигонов. Сталин, что и говорить, был мастер утилизации поражений: он вовремя упрощал их причину! В самом деле, легко ли соединить в политике цивилизаторскую программу Ленина, рассчитанную на десятилетия просачивания в деревенскую и го-

родскую толщу, с горячкой сооружения мощностей, измеряемых тоннами и киловатт-часами? Вы имеете дело с мириадами социальных и иных драм, разногласий, с целым спектром любопытства, сочувствия и враждебности, да и «капиталистическое окружение» — не бред маньяка... Но вот вы вминаете все это в два патроля: «Реставрация» и «Интервенция» — и вся картина меняется! Меняется соотношение задач, меняется инструментарий политики, меняются нравы. Простое берет верх над сложным, тем более что сложное боялось собственных выводов. А тем временем энергичная однозначность с «рукой, зовущей вперед», набирала силу, формировала язык, привлекала и увлекала. В моем родном городе был популярный оратор, — и на каждом митинге он восклицал: «Догнать — значит победить! Перегнать — значит уничтожить!» Это формировало сознание целой эпохи, разбудите меня ночью, и я бы сказал то же... Когда Хрущев от избытка чувств крикнул: «Мы вас закопаем!», он не грубил — просто из него выскоцила выводная часть того уравнения, которое заполняло нас целиком. Заполняло, не оставляя места мысли о выборе. Все, что таило хотя бы зародыш альтернативы, было неприемлемо для нашедшего себя Сталина. Его вычерк революции по самой сути своей должен был быть однозначным. Мало того — истребительным по отношению к любой альтернативе.

Если не видеть этого, то легко окажетесь в пленах мифов об «инфернальной личности», «всемогуществе аппарата», «тоталитаризме» и т.п. Нет, чтобы понять ту однозначность, надо одолеть собственную привычку к простым причинам. Надо вернуть в круг света тех, кого нет в силу их физического исчезновения, и сделать усилие, чтобы их понять. Встреча с потерпевшими поражение — на равных, без оскорбительной снисходительности, без исключения фигур — вплоть до «рандеву со Сталиным».

Вопрос жизни для нас — принять его в свой круг, проникнуть в тайну близости к нему миллионов людей — высокообразованных и полуграмотных. Может быть, он и есть для нашего ищущего духа предмет мысли, — несмотря на то, что именно эту способность к независимости мысли, к сомнению, без которого нет истины,

он сам вытравлял и выбивал из нас. Да, отрекаясь от Сталина, мы обретаем легкость, но это легкость незнания себя. Это свобода от всего, чем мучалась наша культура, от проблем спасения и очищения, от проблемы другой жизни. Разве от того, что мы окрестим Сталина «агентом охранки», мы поймем, что влекло к нему Платонова, Булгакова, даже убитого им Мандельштама? Stalin — наследник поражения наших великих. Вне этого о нем незачем болтать. Для нас сегодня нет ничего опасней, как оставаться при журналистских банальностях.

Мы не можем осознать самих себя, не разговаривая на равных со Сталиным. Только поэтому я позволю себе не ограничиваться исчислением жертв и их мучений. Та утрата и упразднение альтернативности, которая совершилась в Stalinе, к нему и вернулась — к нему и к нам. Перед нами задача объяснить, как, принося нас в жертву, Stalin сам оказался собственной жертвой! Человек, уничтоживший последнего оппонента и торжествующий полную победу 1940 года, вдруг оказывается на самом краю гибели. Всеобщей гибели и личной. А сегодня даже не злодей, а так, средних качеств человек, может при определенных обстоятельствах уничтожить мир! Вот непременность темы Сталина...

...Порой слышу: а без Сталина разве мы не имели бы тот же мир и то же место в мире за менее страшную цену?

Так думать проще, но я не верю в эту гипотезу. Как историк, я вижу в прошлом не магистраль с отклонениями в тупики, а равноправную с нашей реальность. Историки — посредники погибших, всех без исключения. Я думаю сегодня про тех, кто в начале и в середине Тридцатых годов пропустил последнюю возможность предотвратить войну; кто искал — и проиграл шанс антифашистского очеловечивания системы Stalinina в ее первом наброске. Мы их переводчики, без историка никто не узнает их предсмертного опыта. Скажете — не актуально? Но разве мы не проявляем ту же слабость, что некогда оппоненты Stalinina: пытаемся измениться, не переходя на язык альтернатив? Так и будет, пока

историческому сознанию в его полном объеме закрыт вход в политику. Политик ведь тот же человек, который учил историю по нашим учебникам, узнавал её из фильмов и пьес... Не отваживаясь говорить о перестройке оснований, он попадает в тот же капкан, что люди 1936 года, когда их спрашивали: «Вы за социализм или против?». Как будто социализм не общественный строй, для которого допустим и необходим выбор самого себя — и не раз, не дво.

Выбор — основная свобода конца XX столетия. Лишенный выбора не свободен. Но и лишающий других, теряет ее сам. Некогда за нас выбирал один Сталин. Другие же соучастовали в его выборе, отсюда кровавый потоп Тридцатых — Сороковых и возникший из него ядерный мир. Число и способ принесения жизней в жертву здесь так же непременны, как расщепление атома в основании современного мирового порядка. Тут не просто чрезмерная плата людьми — здесь то, без чего нынешний мир не возможен бы, и нас, таких, не было. Смерть вышла из берегов истории и, дабы ее обуздить, люди прибегли к аргументу страха перед тотальной катастрофой. Потому и сегодняшний шанс выхода человечества на новые основания жизни сдвоен с близостью гибели всего и всех; впору сказать, это один и тот же альтернативный шанс!

Можно ли иначе было обрести эту силу последней надежды? Я прокручиваю ленту назад, восстанавливаю в памяти лица, события и вынужден отклонить вариант легкого ответа с любым однозначным «да» либо — «нет»...



М.Я. ГЕФТЕР, 1941 г.

# ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЛОМНАЯ

А. Твардовский

М. Гефтер

Я знаю, никакой моей вины	151	На зыбкой грани
Война, война. Любой из нас	154	
Память первого дня		
Сидели старики под липой старой	157	
	158	22 июня 41-го
6.VII. 1941	161	
<i>Из дневников и писем</i>		
О героях	162	
<i>Газета «Красная армия».</i>	163	
Командир батареи Рагозян		
Рассказ бойдмана Щербины		
<i>Дневники. Письма. 1941-1945</i>	167	
<i>Газета «Красная армия».</i>	168	
Николай Буслов и Владимир Соломасов		
Майор Василий Архипов		
Рассказ танкиста	172	
<i>Газета «Красная армия».</i>	174	
Батальонный комиссар Петр Мозговой		
Сержант Павел Задорожный		
Сайд Ибрагимов		
Под вражьим тяжким колесом	181	
<i>28.II. 1942</i>	182	
<i>Из дневников и писем</i>		

Дом бойца	<b>183</b>	
Зачем рассказывать о том	<b>184</b>	
На родных пепелищах	<b>185</b>	
	<b>188</b>	Живые мертвые
Я убит подо Ржевом	<b>189</b>	
О стихотворении «Я убит подо Ржевом»	<b>192</b>	
«Гитлер-газен-ваген»	<b>194</b>	
В Витебске	<b>195</b>	
Когда пройдешь путем колонн	<b>197</b>	
В поле, ручьями изрытом	<b>198</b>	
Кенигсбергское утро		
У моря	<b>200</b>	
В тот день, когда окончилась война	<b>204</b>	
3.V. 1945	<b>207</b>	
<i>Из дневников и писем</i>		
	<b>208</b>	Перекличка

М. Гефтер

На зыбкой грани...

Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли с войны.  
В том, что они — кто старше, кто моложе —  
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь.—  
Речь не о том, но все же, все же, все же...

А. Твардовский

Среди признаний о войне, слов скорби и торжества — в память и во славу павших — эти слова Александра Твардовского особенные, словно заключившие в себе все сказанное и все неизреченное:

Я знаю, никакой моей вины.  
В том, что другие не пришли с войны...

Так начинаются — и вроде не опровергаются последующими с той точки зрения, какую можно назвать личной и исторической воедино.

...И не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь.

В самом деле — да разве кто-то, будь он семи пядей во лбу, смог бы уберечь «непришедших» — ВСЕХ? И разве сама эта мысль — не вызов необратимому ходу событий, их страшной и обязывающей непременности — неизбежности спасительного усилия, какое не вправе останавливаться перед жертвой жизнью?

Выходит, нет вопроса — нет здесь ему места.

Но так ли?

Идут годы, выкликавшие следующие поколения, множатся новые беды и новые заботы, вместо прежних пророков и кумиров воздвигаются и опадают другие, а поэт спрашивает себя — еще и еще — все о том же. И прежним — МОГ, НО НЕ СУМЕЛ — пытает память, тревожит свою и нашу душу.

Речь не о том, но все же, все же, все же...

При всей краткости — реквием. Взгляд не самодовольного моралиста, в лекционе которого либо анафема, либо славься, а нравственника, чье воображение и совесть исполнены (равно!) верностью людям — и неверием в себя, в собственное право менять жизнь и учить жить. Да и какой иной взгляд мог быть у него, прошедшего дорогой Тысяча девятьсот сорок первого и Тысяча девятьсот сорок второго, испившего страдания и горечь, забыть о которых значило бы обездуховить не только себя, но и из истории, из летописи, соединяющей и удерживающей миллионы судеб, вычесть дух и разум, изъять нечто, заставляющее усомниться во всех прописях добра и зла. Но не в добре как таковом. И не во зле, остающемся таковым вопреки всем его непредсказуемым превращениям и просачиваниям в добро.

Не оттого ли так опасно беспамятство, что оно мешает людям постигать вновь и вновь добро — через познание зла (иначе не выйдет!)?

Еще живы многие из тех, кто встретил 22 июня в разгаре или в начале своей сознательной жизни. Они, выжившие и живущие, кажется, помнят все. Но о чем-то самом важном ведают лишь павшие. Кое-что целиком в их власти — и не одни только остановленные мгновения битвы, сотканной из превеликого множества раздробленных и безвестных схваток. Они хранят еще и главную тайну тех лет — неравного противоборства человека с самим собой, таинство принятия решения о собственной части, когда она на зыбкой грани жизни и смерти.

Как совершался выбор отдельным, и в силе своей слабым человеком? Только они знают. Но то, что это — тайна, чувствуем и мы. И чем дальше отступаем от того времени, тем сложнее и мучительней их выбор для нас. Ибо он — не точка, в коей пересеклись время и пространство. Выбор — это человек, оказавшийся в этой «точке». Он может случиться в ней по собственному почину, а может и в силу обстоятельств, над которыми не властен; различие большое, громадное даже, но все-таки не самое существенное. Ведь человек тем и Человек, что способен превозмочь обстоятельства — сначала в себе, с себя начиная.

И собою кончая? Что ж, может статься, этим выбор и ограничится. Прошлые столетия добавили бы: именно потому и тогда он — Выбор! Двадцатый век подтвердил сие примерами, превосходящими всё известное и даже, мнимся, всё доступное людям.

Подтвердил — и усомнился. Усомнился в смерти во благо людей. Заново открыли истину — человек призван ЖИТЬ! Вновь, как в исходе истории, БЫТЬ уравнялось с ЖИТЬ. И легче стало выбирать жизнь, свободнее этот выбор? Или же напротив — труднее во сто крат?

Признание из самых трудных: зло выучилось овладевать выбором, переиначивая его смыслово, третируя едва ли не в каждом. Но и добро также не стоит на месте. Оно умнеет на свой лад. И «вседядность» его выдержала, кажется, страшнейшие из измен, а его же простодушие путало уже не раз карты тех, кто «именем и по поручению» истории пытается распорядиться всеми и всем, раз и навсегда.

...Это все-таки заблуждение, что будущее всегда впереди. На самом деле люди, народы, цивилизации издавна двигались вперед спиной, лицом же к тому, что без возврата и без забвения. И ныне, особенно теперь, у грядущего в демиургах — память. И это оно, БУДУЩЕЕ ПРОШЛОГО, говорит устами Александра Твардовского, себе вменяя в вину, что «другие не пришли с войны».

Принимая на себя ответ за все до одной досрочные смерти, за всех, насилием выброшенных из существования, за всех несостоявшихся детей, за всё, несговоренное ими. Вменяя в вину живущим, и тем возвращая павших. А ими продлевая жизнь.

Жизнь памяти — жизнь памятью.

## А. Твардовский

Война, война. Любой из нас,  
Еще живых людей.  
Покуда жив, запомнил час  
Когда узнал о ней.

И как бы ни была она  
В тот первый час мала,  
Пускай не ты — твоя жена  
Все сразу поняла.

Ей по наследству мать ее  
Успела передать  
Войны великое чутье,  
А той — другая мать...

1942

## Память первого дня

Война в том периоде, когда уже столько раз каждым вспомянут и при случае рассказал до подробностей ее первый день,— как и где он застал каждого. Он — как заглавие всему тому, что началось с него и длится уже вторую половину года. И все, что связано с этим днем,— скажем, предшествующий ему день, последний день мирной жизни,— приобретает теперь все большую ценность личного воспоминания и как будто все большую знаменательность.

На днях в «Известиях» был помещен фотоснимок, подписанный так: «Деревня Грязи. Звенигородского района, после освобождения от немцев». Это та самая деревня, откуда я 22 июня ушел на станцию и в переполненном поезде Звенигородской ветки поехал в Москву — являться по начальству.

Семья моя еще оставалась на даче, но через несколько дней, уже без меня, переехала в Москву и была эвакуирована. На снимке ничего узнать нельзя: какие-то пожарища, торчаки обгорелых и полуобувалившихся печных труб — то есть то, что сливается с тысячами подобных картин, виденных в натуре и на таких же фотографиях.

На даче у нас не было радио, и дом, занятый нами, стоял на отлете от усадьбы колхоза. «Новость» принесла с улицы наша девочка, игравшая там с детьми. Было что-то тревожное и несуразное в ее по-детски сбивчивом изложении, и я строго прервал ее, как бы вынуждая ребенка отказаться от тех слов, что уже были так или иначе сказаны: «Было по радио... звонили из сельсовета...» Но девочка с раздражением, обидой и уже близкими слезами в голосе упрямо повторяла:

— Не болтаю! Я сама слышала, все говорили.

Я выбежал на улицу и направился к колхозному скотному двору, где на-капывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег, а мужчины и женщины сидели на груде прошлогодней соломы и молчали. И когда я увидел, как они сидели и молчали, я уже мог ни о чем их не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скромно и строго, как будто тут был покойник. Властью суровой, тяжкой думы о непоправимой и ясной с самого начала беде, касающейся всех и каждого, — этой властью они были повержены в немоту или какой-то смутный и трудный полусон. И даже не оживились, видя человека, который ничего еще толком не знает; не нашлось желающих горячиться с изложением «новости». Но и эти люди в самом глубоком своем унаследованном от предков, глубоко личном осознании начавшейся беды не могли, конечно, в тот день довести ее мысленно до занятия немцами их деревни Грязи.

Не мог и я даже помыслить об этом. Я только что устроился там, с надеждой на доброе, работящее лето, только что разложился на столике со своими бумагами и тетрадками. Место мне очень нравилось: тихое, деревенское, немного даже печальное: жизнь когда-то была там гуще и многолюднее — проходил тракт. Прямо перед моим окном была старая щеповая крыша погреба. В уровень с ее гребнем, подальше, приходился нижний край такой же щеповой крыши соседнего домика. Слева, не видный из окна, протягивал по утрам свои длинные тени уцелевший к одному краю запущенный парк бывшего когда-то здесь барского дома. Направо, над зеленью лужайки в огороде, — небольшая редковатая полевая елочка, какая могла быть и в моем Загорье, на Смоленщине. И, помню, эта елочка как-то сразу расположила и, так сказать, природила меня к новому месту. За водой ходить было далеко, но очень красивое было местечко — зеленый ровок, весь в криничных окнах. Воду брали из-под деревянного долблена-

желобка, выведенного из откоса, откуда был ключ. Русло ручья, питавшегося ключами, было красновато от ржавчины. Местечко осеняли несколько ив, между ними две белые березки, и в этом сочетании было что-то очень приветливое и милое. На другой берег овражка поднималась ступенчатая тропинка, мимо старой и ветхой баньки с одним только козырьком крыши вместо предбанника. Кажется, я ни разу не встретился ни с кем у ключа — так мало было вблизи дворов. Все эти мелочи и подробности, записанные для чего-то тогда еще, в Грязях, я со сладким волнением вспоминал теперь, когда в первую за войну поездку в Москву нашел свою тетрадку, с которой собирался провести минувшее лето. В той же тетрадке я прочел последнюю мою запись мирного времени, датированную 20 июня. Вот она:

«Ходил после обеда в Звенигород, на почту. Туда взял лесом, прошел слабой тропой через овраг, поросший настоящим, темным еловым лесом, а на выходе к опушке — черемухой. — там все было, как будто в овраге снег залежался. На дне оврага — светлый лесной ручей. Думал, как обычно в таких случаях, о сельских и столичных местах, о Смоленщине и Подмосковье, о том, что всего не увидишь и везде дач не настроишь.

А на выходе из города, у самой дороги — белого бульжникового шоссе, — в узкой полоске тени от какого-то деревянного амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилепившимися прядками желтовато-серых волос освежалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу — спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.

Это «поднесу» было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И великолужно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...»

И мне таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от много-много, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым.

\* Сидели мужики под липой старой,  
Ронявшей лепестки.  
На бревнах, у колхозного амбара  
Сидели мужики.  
Печально, и задумчиво, и строго,  
Как в день большой тоски.  
Как будто бы собравшиеся в дорогу,  
Сидели мужики.

Кто три войны прошел, кто все четыре,  
Не мальчики, седые старики,  
Ответчики за все, что было в мире,  
Сидели мужики.

Земля еще дышала паром, пашней,  
День был, как добрый день.  
И на дорогу от силосной башни  
Ложилась тень.

Вдали-вдали гудел, гремел невнятно  
Бой самый тот.  
Сидели мужики. Им было все понятно,  
Что будет через год.

Сидели мужики. Еще в газете  
Писалось так в тот день,  
Как будто праздник был на белом свете  
Для сел и деревень.

Сидели мужики. Стемнело, свечерело,  
Тянуло от реки.  
Сидели мужики, забыв про дело.  
Сидели мужики...

<sup>“</sup>Первая книжная  
публикация

М. Гефтер

22 июня 41-го

Чем явилось то, давностью в более полстолетия, 22 июня 1941 года? Чем для России, чем для Германии? Чем для разнолико-единой планеты, именуемой Земля?

Одни уверенно давили гусеницами танков пограничные столбы, рвались вглубь, убивали, брали в плен. Другие в растерянности отступали, огрызались яростными и бессильными контратаками, на бегу учась убивать. Глумливое торжество — и отчаяние, гогот — и слезы: все, что отделило тогда человека от человека. Надолго. Думалось — навсегда.

Накануне же... «Немцы, — записывает в своем дневнике доктор Геббельс, — беззаботно гуляют под дождем».

Русский поэт (также в дневнике) о том дне, взглянув на прошлое:

«На выходе из города у самой дороги, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги... Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я по здоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу, — спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазами. Это «поднесу» было исполнено приветлиости и достоинства. Старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая на место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...»

Спустя годы Александр Твардовский прибавит к этой записи: «И мне таки жаль теперь..., что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от много-многочего, что кажется теперь дорогим и невозвратимым».

А как прожили канун и самый тот день люди — старые и юные, кто верил, что «если гром великий грянет над своей псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей»?..

Уже множились трупы, уже не раз отирал пот со лба человек, вышедший поутру с древней косой в руках, когда в полупустынной воскресной Москве мы с моим неразлучным другом торопились занять место в читальне университетской библиотеки. Завтра — последний госэкзамен. Напряжение спало, брали верх усталость вместе со счастливым и обманчивым чувством перемены «эпохи» в нам принадлежащей жизни. Читальный зал был тесным, поэтому опоздавшие часто прибегали к нехитрому, но безотказному приему: громким шепотом они звали на улицу к радиорупорам, столь часто извещавшим тогда об очередных триумфах сталинской внешней политики, о новых приращениях к советской земле. И на сей раз весть — от стола к столу. Мы не поддавались искушению, но когда нас осталось четверо, что-то екнуло в груди. Выбежали на залившую солнцем Манежную площадь, увидели толпу, скорее догадались, чем осознали — ВОЙНА.

Знакомый поставленный голос: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Узнай мы, что считанные часы назад тот же нарком иностранных дел сказал послу Германии: «Мы этого не заслужили», — не придали бы, скорее всего, значения этим словам, а то и не поверили бы. Не потому, что были недоверчивы. Как раз наоборот: презумпцию доверия к тем, кто олицетворяет «Кремль», не могли поколебать ни внезапно исчезавшие, ни безжалостные вторжения в судьбы тех, кого манивал ненасытный Лагерь. И не столь уж простодушные мы были. Не наивные, но пораженные особой глухослепотой. В нашем сознании «просто» не было клеточек, в которых могло угнездиться предположение, что союз с изначально проклятым режимом несет в себе большее, чем тактику, пусть ошибочную (об этом спорили до хрипоты, до разрыва отношений), но все же тактику, не дальше. Для таких, как мой покойный друг (годы рождения и гибели: 1919-1942), немецкое вторжение было, если угодно, заслуженным, хотя, само собой, не в смысле банальной вины. Оно, это «заслуженное», даже запаздывало. Наш антифашистский внутренний голос рвался наружу, «разумная действительность», отправным пунктом которой служил на этот раз августовский договор 1939 года. становилась все более мучительной, сопротивление вермахту со стороны одинокой Англии вызывало восхищение и воспринималось как загадка

и как укор. Я еще опишу наши чувства и мысли порога войны. Здесь же отмечу лишь одну характерную черту. То, что надвигалось и разразилось 22 июня, мы заранее воспринимали вселенским событием — и своими масштабами, и, казалось, единственным возможным итогом: неумолимым возмездием и освобождением всех узников, всех гонимых, всех патриотов Закордонья.

В масштабах почти не ошиблись, несмотря на то, что природа их оказалась неизмеримо сложнее и неожиданней, чем подсказывал наш бело-черный интернационализм. Что же касается результатов, то в образ даже ближних из них жизнь внесла даже более суровые поправки. Кто мог хотя бы отдаленно представить число покинувших нас, не сказавши своего слова, как и число неродившихся — в совокупности же генетические потери целых поколений, и поныне присутствующие в наших напастях? Кому виделся вычерк из истории российского крестьянина, еще не оправившегося к 22 июня от бед и утрат «сплошной коллективизации»? И если мыслилось в худшие дни, что нашествие и отпор по-новому сблизят нас дома (сверху донизу — «братья и сестры!»), то лишь дурной сон способен был предсказать будущий раскол победителей нацизма, когда Вождь напомнит им о привилегиях, ограничениях и унижениях, проис текающих из различия родословных...<...>

## А.Твардовский

*Дневники. Письма.  
1941-1945*

- 6.VII-1941** Первое выступление фронтового корреспондента А.Т. во фронтовой газете Юго-Западного фронта «Красная Армия» со стихами «Бей фашистские танки».

*А.Т.—Марии Илларионовне (жене).  
Киев — Москва*

... Мы все время в движении. Здесь все совсем по-другому. это не Финляндия. Работать я еще толком не работал. т.к. редакция требует в первую очередь не стихов, а материала фактического, который дороже всего и труднее его добывать...

Из трудностей жизни самая главная — «недосып», то есть почти без сна. Но переношу все это довольно легко. Часок вздремнул, и свеж, как огурец... Очень радует одно: наши не боятся немца, презирают его и при малейших условиях необходимой организованности бьют его, как сидорову козу. Не унывай, раздумывая о нашем отходе. Он будет, может быть, даже большим, чем ты представляешь, но это путь к победе. Родине нашей случалось и без Москвы оставаться на время, а не то что...

*Рабочие тетради.  
Из утраченных записей*

...Еще впечатление природной красоты Украины, от самого своего западного края уходившей у нас из-под ног и колес в отступлениях. Я ее впервые увидел, Украину, если не считать двух-четырех концов пути в поездах Москва-Севастополь, Москва-Сочи. И увидел в такую медоцветущую пору — в последние дни июня.

Как поразил меня запах в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, густой медовый запах, исподволь сдобренный еще чем-то вроде мяты. Я спросил у товарища украинца, чем это так пахнет. оказалось — пшеницей...

Какие хлеба поднялись от границы  
Как колосом к колосу встали они.  
Как пахнут поля этой ржи и пшеницы  
На утреннем солнце. Всей грудью вздохни...

...Как будто я сам в Украине родился  
И белую пыль эту с детства топтал.  
И речи родимой, и песням учился,  
И ласку любимой впервые узнал...

<...>

## О героях

В корреспонденции о взятии Витебска я упоминал об одном нашем бойце, спасшем большой витебский мост, перестрелявшем в последнюю минуту немецких подрывников. Фамилия его потом как-то еще раз называлась в нашей газете. Теперь говорят, что это не тот боец спас мост, а другой, представленный уже к званию Героя Советского Союза. А тот будто бы тоже награжден за иные заслуги. Но говорят, что и этот, представленный к Герою, опять же не тот, о котором шла речь, как о спасителе моста. Не тот! А где он, тот? И знает ли, понимает ли он, что совершил? И жив ли он, здоров или похоронен уже далеко позади своей части, ушедшей за сотни километров от Витебска? А может, и сейчас сидит себе где-нибудь здесь, в ямочке, называемой ячейкой одиночного бойца? Или отлеживается в госпитале далеко-далеко в тылу — скажем, в Смоленске?

Прочел на днях в «Огоньке» статью недавно погибшего П. Лидова «Первый день войны». Это рассказ летчика Данилова, слышанный нами с Лидовым с год назад на КП полка истребителей, которым командовал подполковник Голубов, ныне Герой Советского Союза. Рассказ передан во многом верно, жаль только, что в нем нет той непосредственной живости, которая была в изустном изложении.

Человек в первое утро войны вылетел по тревоге, сгоряча сбил шесть самолетов противника, затем был сам сбит. Раненый, с помощью добрых людей поправился и вышел из окружения. Самое сильное его пережива-

ние в этих боях первого утра был страх, что это не война, а какое-нибудь недоразумение и он, Данилов, сбив шесть немецких бомбардировщиков, наделал, может быть, непоправимых бед. Но когда его подбили и пытались добить на земле два «мессера» из пулеметов, когда он ползал во ржи, преследуемый ими, он таки уверился, что это война, и на душе у него отлегло: все в порядке, не виноват, а, наоборот, молодец. И когда мы слушали его, верилось, что именно так он и «переживал» это первое утро войны. Казалось, что он до сих пор еще сам радуется, что все обошлось так благополучно.

### Командир батареи Рагозян\*

Командир батареи Рагозян поднялся по узкой скрипучей лесенке на последнюю площадку колокольни. Балки, на которых когда-то висел колокол, были над самой головой. Площадка — только-только повернуться, но зато на все четыре стороны можно просматривать местность на 15-20 километров.

— Ну, как там, товарищ младший лейтенант? — донеслось снизу.

— Превосходно.

Рагозян установил наблюдательный пункт батареи на колокольне. Можно было усомниться в разумности этого: слишком приметная штука колокольня. Но Рагозян учел именно это. Противнику до поры не придет в голову, что наш наблюдатель сидит на колокольне, которая видна издалека и может быть легко пристреляна.

Батарея расположилась внизу, за оградой. Огонь, который она вела в течение четырех дней, отличался исключительной меткостью. Заметив колонну противника, Рагозян позволял ей подтянуться поближе, и тотчас батарея накрывала ее уничтожающим беглым огнем. Разгадав местоположение огневой позиции немцев, он неторопливо определял ориентиры и подавал точную команду. Корректировать также было очень удобно. Он добивался того, что черные столбы разрывов вздымались именно там, где он хотел их видеть.

Противник, наконец, догадался, что с открытой всем ветрам сельской колоколенки его видят и облюбовывают лучшие мишени из скоплений войск, машин, пушек. Обстрел колокольни был исключительно злой. Днем и ночью немцы посыпали сюда снаряды разных калибров. Колоколь-

Газета «Красная Армия»,  
1941. 15 августа  
Юго-Западный фронт

\*Первая книжная  
публикация

ня вздрагивала и покачивалась от близких разрывов, но оставалась невредимой. Рагозян оставался наверху. Огневую позицию батареи пришлось сменить, но наблюдательный пункт был все тот же. Огонь батареи Рагозяна причинял врагу час от часу все больший ущерб и потери.

На третий день над колокольней закружились три немецких бомбардировщика. Но их бомбы ложились далеко за оградой. Ветхое церковное здание раскачивали мощные воздушные волны, кое-где осыпалась штукатурка — и только. Рагозян по-прежнему находился на своем пункте.

На четвертый день колокольню бомбардировали уже девять вражеских самолетов. Сброшено было множество больших и малых бомб, но наблюдательный пункт командаира замечательной батареи уцелел.

Рагозян был на колокольне. Он спустился вниз только тогда, когда пришел приказ о передвижении всей части на новые позиции. Это было в конце четвертого дня.

### Рассказ боцмана Щербины\*

В самом разгаре боя мы шли метрах в ста пятидесяти от берега на выручку кораблю, который был подбит и передавал голосом с рубки:

— Потерял ход, не могу двигаться...

Понятно, что он теперь был мишенью для противника. Огонь с берега усиливался.

Мы на огонь отвечали огнем. Я находился у носового орудия, которым командовал товарищ Рогов, помогал подавать снаряды. Мне это по боевому расписанию не положено было, но в свободную минуту сам не будешь стоять сложа руки.

Не успели мы подойти к кораблю, чтобы взять его на буксир, как от сильного содрогания при стрельбе произошла отдача якоря. Попросту говоря, якорь пошел на дно, как ведро, сорвавшись в колодец. Это грозило большой опасностью. Стань мы на якорь под таким огнем противника, мы оказались бы в худшем положении, чем корабль, который ждал нашей помощи.

Якорь мне удалось быстро выбрать и поставить на стопора, но не вся беда была в якоре. Сорвалась и пошла в воду подсучина, вторая якорная цепь. Одним концом она при-

*Газета «Красная Армия»,  
1941, 28 августа  
Юго-Западный фронт*

\* Первая книжная  
публикация

креплена к палубе и служит для подъёма якоря. Подсучина теперь могла попасть под колесо, выломать плицы и тогда на одном колесе мы кружились бы на месте.

Спускаюсь за борт на только что подтянутый якорь, а он мокрый, скользкий и держаться на нем довольно трудно. Выбираю вручную подсучину, вот уже дело близко к концу, как вдруг — новый выстрел из носового орудия — и меня воздушной волной сбрасывает в воду.

Одно дело, что вода моряку не страшна и плавлю я лихо, но всё это происходит не на мирной стоянке и не на учении, а в бою. Буквально, вода кипит от разрывов снарядов и мин. Пальба с берега — бешеная. Прохор наших орудий покрывает всю эту музыку.

Как-то по счастью не выпустил я подсучину — удержался правой рукой. Подтянулся — вынырнул.

Всего только, что фуражка осталась в воде. И вот по цепи на руках взбираюсь к якорю. Силенкой я вообще не обижен, но от спешки, что ли, чувствую руки ослабевают. Чувствую — сорвусь. А подсучина-то в воде. А там наверху все воюют, все заняты, все под огнем, им некогда думать об этой новой опасности, которая угрожает кораблю. И в эту минуту — ближе всех к делу я, только я могу предотвратить аварию.

Как-то всё-таки дотянулся до лап якоря, но в мокрой одежде, точно связанный, не могубросить ноги на якорь. А корабль идёт прямо на меня. Сорвусь — значит под колеса. Конец. Нет, думаю, нельзя. Надо взобраться. Кабы об одном тебе речь шла, может быть уже разжал бы руки.

Раз! — зацепился одной ногой за якорь, сразу легче стало держаться. Другая нога — уже сама там. Цел, дергусь! Улучил минутку, кричу артиллеристам:

— Ребята, предупреждайте, когда будете стрелять. А то — сдувают.

Снова сижу верхом на якоре, выбираю подсучину. Выбрал, занёс через бугшприт и вот она уже на палубе. Дело сделано.

Не успел отдышаться, слышу с мостика голос команда-ра, старшего лейтенанта Терехина:

— Боцман, пожар на юте! —

А я дым то вижу, но думаю что это от стрельбы. Прибего на ют — там за дымом ничего не видно.

Всё это долго, когда рассказываешь, а на самом деле прошло всего несколько минут. Покамест я в воде тонул,

подсучину выбирал, пожар тушил, мы полным ходом шли к цели. Раздалась команда:

— Боцман, принять корабль на буксир!

Стал я готовить швартов, а огонь такой что не приподняться. Лежу на рулевом секторе, ноги вверх, голова вниз. Снаряд попал в кормовой шпиль. Шпиль этот для выбирания троса. Его снесло, а я был оглушен. Всё забыл. Очнулся — огонь ещё злее, пули свистят, осколки крошат нашу ветхую обшивку, вода так и кипит за бортом. Лежа я привязал к веревке бросатель, закрепил швартов, передаю командиру: «Закреплен», — и сам своего голоса не слышу...

Пошли вверх, повели за собой корабль. Я опять свободен, иду помогать к кормовому орудию. Там командовал наш комсорг Борисочкин. Как раз был ранен второй наводчик Садовский. Стрельба уже шла вручную, полуавтоматика наша была повреждена. Я помогал на подаче снарядов и выброске гильз. Находился у орудия до конца боя, только пришлось отлучиться, когда лопнул буксир на корабле и нужно было его снова подавать.

Так прошел для меня первый бой. Устал порядочно, товарищам было еще жарче. Зато весело было видеть, как от нашего огня взлетали на воздух немецкие машины с установленными на них миномётами и зенитными пулеметами, как разбегалась вражеская пехота, пряталась за штабелями дров на берегу. А с берега немцев поджимали наши бойцы-пехотинцы. Толковая была работа.

Идем выше, к пункту Ч. По пути нас предупредили, что впереди немцы заняли одно село и установили на берегу артиллерию и минометы. Вскоре на реке поднялись первые столбы от разрывов. Мы открыли ответный огонь. Били по пулеметным гнездам, по орудиям, по машинам. Били без промаха, да и трудно было промахнуться, когда мы шли в пятидесяти метрах от берега.

Народ поработал наславу, устали, проголодались. Я, как только затих огонь, вспомнил о своих прямых обязанностях дежурного по кораблю, ушел от орудия и приказал кокам готовить обед.

Когда пришвартовались, сдал дежурство и мне пришлось выносить раненых на берег и сопровождать их до госпиталя.

В госпитале устроил все честь-честью, попроцался с товарищами, слышу, говорят, что в палате лежит раненый немецкий офицер. Дай, думаю, погляжу поближе, на одного из тех, кого били сегодня. Вхожу. Лежит на койке.

белый, породистый. Как глянул на мою форму, сразу на локте приподнялся и так-сяк, по-русски, по-украински, обращается:

- Моряк?
- Моряк,— говорю.— советский. Посмотри, если не видал...
- О, моряк! Очень интересно...
- Интересно? — И прямо ему говорю: что, мол, пшенички украинской попробовал?
- Я вас не разумлю,— залепетал,— не разумлю...
- Не понимаешь? Зато я тебя отлично понимаю.

Так и закончилась наша беседа.

*Дневники. Письма. 1941-1945*

*А. Т.— М.И. (Марии Илларионовне — жене)*

**12.X. 1941**

...Сегодня бог, вняв молитвам наших конников, подбросил на мокрую украинскую землю снежку.— грязи будет еще больше. А это сущее счастье — немцы жмутся на шоссе, а наши бомбардировщики молотят их с неба, а конники рубят мотоциклистов и пехоту.

...Вкладываю тебе на всякий случай пару стихотворений, которые более других удались, хотя и слабоваты. Одно из них — рассказ танкиста — было в «Правде».

Жизнь тяжеловата, не без неприятностей и тревог, но пока-мест я бодр и крепок духом. Очень хочу, чтоб и ты не унывала...

Мы живем по обочинам войны. Мы быстренько подъезжаем к тем ямочкам и окопчикам, в которых сидят воюющие люди, быстренько расспрашиваем их, прислушиваясь к канонаде и невольно пригибая голову, когда свистит мина. А потом, провожаемые незабываемыми взглядами этих людей, убираемся восвояси...

И когда подумаешь о детищах, укрывающихся в окопчиках (один совсем маленький Микола всякий раз бежал под лавку с подушкой — укрывал голову), то и стыдно станет, что иной раз больше, чем нужно, думаешь о собственной персоне...

Последнее время я езжу мало. Меньше у нас машин, меньше формат газеты...

...Я, признаюсь, немного «переписался» и чувствую, что начинаю работать хуже. Правда, об этом знаю только я. Да и я знаю, что это от объективных причин. Когда-нибудь, когда наши

войска будут гнать немцев, мы позволим себе вслух сказать, какая страшная, угнетающая душу весть — отступление...

...Но пока что я должен находить в себе силы для ободряющего слова, которое либо заключенной в нем доброй шуткой, либо душевностью своей согревает чуть-чуть, расшевеливает то инертное, тягостное безразличие, которое незаметно уживаются в сознании усталого от боев и тягот человека. А каких слов он стоит, этот человек!

Иногда мне кажется, что если бы у меня нашлись такие слова, то было бы полностью оправдано мое пребывание здесь и я мог бы с уверенностью сказать, что я воюю. А так нет-нет и защемит стыд перед теми, с кем вижусь от времени до времени и покидаю их, спеша заключить в строчки полученное от них...

## Николай Буслов и Владимир Соломасов<sup>\*</sup>

Две зелёные фуражки лежали на подоконнике, а за столом над сковородкой с яичницей склонялись две стрижёные головы бойцов, которых угождала хозяйка. Может быть, у этой старушки были сыновья на войне, может, лица гостей чем-то особо понравились ей, а может, просто-напросто, она была добрая, приветливая женщина. Так или иначе — но угождала она двоих бойцов-пограничников, как самых родных, дорогих людей. И пока они ели, она стояла у печки, приложив левую руку к щеке, а правой поддерживая локоть этой руки, — как обычно стоят пожилые крестьянки, когда угождают кого-нибудь.

И уж таков старый обычай, что никакие просьбы и угощения гостей не заставят хозяйку присесть к столу.

— Кушайте, кушайте сами на здоровье. Я вот ещё слив вам принесу.

Бойцы Николай Буслов и Владимир Соломасов сердечно поблагодарили старушку и, вскинув на плечи первый — свой дегтяревский пулемёт-пистолет, второй — снайперскую винтовку, вышли из хаты.

Дело в том, что взвод пограничников, которому они должны были передать приказание сняться отсюда, уже ушёл. Видимо, обстановка изменилась. Конечно, лучше было бы застать взвод на месте и двигаться с ним, куда приказано. А так дело вроде сделано, вроде — нет. И впереди 15-20 километров обратного пути. Машин

*Газета «Красная Армия»,  
1941, 27 сентября  
Юго-Западный фронт*

\*Первая книжная  
публикация

по дороге что-то не видно, подъехать не с кем. Нет, одна, кажется, идёт.

— Постой Соломасов, «проголосуем».

Но машина задержалась у въезда в село, и машина какая-то странная: не то грузовая, не то легковая. Вот из неё вышли люди — и намётанный глаз пограничников сразу различил предметы, не оставлявшие сомнения, что люди это не наши.

— Немцы, брат! — едва успел сказать Буслов, как послышалась стрельба.

«Видят они нас или просто так — народ путают из автоматов? Не следует нам покамест показывать зелёные фуражки».

Бойцы должны были как можно скорей добраться в часть и ни в коем случае не обнаружить себя. Таков был приказ командира на случай, если они увидят противника. В низинке паслись два коня — мышастый и рыжий. Ребята без труда развязали замотанные кое-как поводья верёвочных недоузков и сели на коней.

Чуть поднявшись на взгорок, Буслов невольно резким движением повернул своего мышастого вправо. Немецкий мотоцикл с кареткой стоял на перекрёстке дорог. В нём отчётливо были видны две головы сидящих солдат. Офицер с биноклем в руках стоял у мотоцикла. Соломасов быстро спешился, а Буслов с коня дал очередь из своей «машины». Офицер упал навзничь, солдаты вывалились из мотоцикла и залегли. Когда один из них привстал, поднимая автомат, выстрелил Соломасов. Пуля снайпера свалила немца. Но третий ещё лежал там и неизвестно было, ранен он или нет. Как он изловчился стрелять, не приподнявшись ни на вершок над землёй? Пули просвистели над головой Буслова, он также спешился и, укрываясь за тёплым плечом коня, держал своё оружие наготове.

— Знаешь что, — сказал Соломасов возбуждённо и решительно, — знаешь, я мотоциклом могу упралять. Давай подбираться поближе... Только б он не удрал.

И вдруг послышался оглушительный стрекот мотоцикла, странно было, что такая маленькая машина производит столько шума. Нет, это не одна и даже не та, что неподвижно стояла на взгорке. Четыре новых мотоцикла неслись прямо на бойцов, в каждом было по три автоматчика. Буслов дал очередь. Немцы мгновенно повысыпались из машин и приникли к земле. Трудно разобрать, кто ранен.

кто убит, кто просто укрывается, но тем, кого бойцы уложили наверняка, они вели счет. Очереди Буслова заставляли немцев после каждой попытки подняться вновь приникать к земле. Соломасов следил за одиночными фигурами. Расстояние позволяло целиться хорошо. Он убил уже четверых. Три убитых числилось за Бусловым. Итого — семь. Но восемь еще были живы и не думали отступать. Против одного советского автомата и винтовки было восемь немецких автоматов. Буслов видел, что нужно беречь патроны, а очереди фашистских автоматчиков становились все злее и яростнее.

Почти одновременно с тем, как Буслов дал еще одну короткую экономную очередь по немцам, он вдруг почувствовал, что конь всей тяжестью своего тела качнулся к нему. Буслов едва успел податься назад, и конь упал сперва на колени, а затем медленно свалился набок, далеко закинув свою большую сухощавую голову. Он был убит наповал. Женский плачущий голос заставил ребят обернуться.

— Детки мои, голубчики! — кричала, подбегая к нам, женщина в платке, сбившись на плечи. — Убегайте вы скорей. Что вы двое, когда их там вон сколько!

— Уходи, тётя, отсюда, — отозвался Буслов, следя за противником. — А нам нельзя — пока всех не перестреляем. — Он хотел, чтоб ответ получился шутливый и бодрый, но голос его прозвучал хрипло и глухо. Во рту пересохло и губы как-то отвердели. Он лежал, укрываясь за спиной убитого коня, неподалёку лежал с винтовкой Соломасов, а конь его — наверно, задетый пулей, — огибая широкий полукруг, носился по полу, наступал на обвисшие поводья, спотыкался.

— Буслов, Буслов, — слабо позвал Соломасов, я — ранен. В правую...

Буслов кинулся к товарищу. Соломасов был ранен в руку.

— Стрелять можешь?

— Могу, могу, — крикнул Соломасов. Но стрелять, как прежде, он уже не мог. Боль в руке не позволяла хорошо прицелиться.

Буслов видел, что товарищ теряет кровь и скоро уже не сможет сам двигаться — нужно отходить. Сколько минут прошло? Десять, пятнадцать? За это время начался, разгорелся и уже подходил к концу неравный бой двух бойцов против полутора десятка немцев.

— Сажай его на телегу, — крикнул какой-то старик Буслову, кивая на лежащего с побледневшим лицом Соломасова. Увози отсюда.

Буслов прострочил очередью над головами всё еще выжидавших немцев и, бережно уложив товарища на телегу, взял в руки возки. На этой телеге они благополучно добрались до своих.

## Майор Василий Архипов\*

Зимой сорокового года он был капитаном и во главе своей танковой роты воевал на Карельском перешейке. Он один из четырнадцати Героев Советского Союза, воспитанных соединением знаменитого полковника, ныне генерал-майора танковых войск Владимира Нестеровича Кошубы.

Ему едва за тридцать. И этого человека необычайной воинской доблести, участника многих и жестоких боев, по его вдумчивому, спокойно-приветливому лицу, по мягкому и сосредоточенному взгляду, даже по голосу — легче всего вообразить сельским учителем, агрономом, молодым ученым.

В нем нет ничего нарочито «воинственного», никакой напряженности и резкости. Он скромен, но и скромность его естественна, лишена «самоприбеднения», как говорят у нас. Этот человек, уничтоживший в одном из боев шесть белофинских танков, внезапно напавших на две его машины, не говорит, что я, мол, сделал то, что на моем месте сделал бы всякий. Про «всякого» он не знает, а за себя уверен.

— Я не сразу разобрал, что это вражеские машины. Утро было морозное, мглистое. Смотрю — открывают огонь. Ну я их, конечно, уничтожил...

В этом спокойном, неподчеркнутом «конечно» — крепкое чувство достоинства и силы воина, командира, знающего себе цену.

Великая отечественная война застала бывшего пастуха и батрака, ныне майора Василия Сергеевича Архипова, в одном из юго-западных украинских городов. С первых боев до недавнего времени он командовал разведывательным батальоном. Батальон своими умелыми и дерзкими действиями причинил немцам немало серьезных неприятностей. Достаточно назвать разведчика-лейтенанта Захарова, который, пробравшись во вражеский тыл, буквально выкрад немецкого полковника, везшего на фронт чемодан с железными крестами для раздачи особо отличившимся немецким громилам.

Газета «Красная Армия»,  
1941. 13 октября

\*Первая книжная  
публикация

Другой архиповский разведчик, младший лейтенант Губа, со своим взводом мотоциклистов трое суток наводил панику в немецком тылу и возвратился в батальон, потеряв лишь шесть человек убитыми и ранеными.

Но это уже история. С того дня, как майор Архипов назначен командиром полка, ему приходится выполнять неизмеримо более сложные и ответственные задачи.

В труднейшей обстановке, которая сложилась на участке обороны города П., майору Архипову довелось драться с во много раз превосходящим численно противником.

Город горел. Танковые части Архипова сражались за каждый дом, за каждый переулок, не уступая без боя ни одной пяди. Командир взвода лейтенант Журавлев уничтожил две пушки и три танка на одной из улиц города. Бои шли «грудь на грудь». Командир батальона капитан Богачев столкнулся с немецким танком почти вплотную, так что стрелять уже было поздно. Тогда он на полном ходу рванулся вперед и раздавил гусеницами своей машины танк противника вместе с его экипажем.

Вражескую пехоту архиповцы буквально ксили. Население города с подлинной самоотверженностью помогало танкистам отбивать врага. В горячке боев не были записаны имена горожан-героев, в том числе женщин и детей, но волнующие рассказы об их подвигах передаются из уст в уста.

— Кто он, как имя того старичка, что подносил к нашим танкам воду и был по виду не то дворником, не то сторожем? Он, рискуя жизнью, пробрался к саду, где накапливалась немецкая пехота, и указал это место Архипову. Немцы были перебиты. А старичок, забрав ведра, снова пошел за водой для истомленных духотой и жаждой танкистов.

Неизвестно имя мальчика, обнаружившего в одном из укромных двориков окраины 76-миллиметровую немецкую пушку и не только сообщившего об этом красным бойцам, но и сопровождавшего танк на то место.

## Рассказ танкиста

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку. И только не могу себе простить: Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить.

Лет десяти — двенадцати. Бедовый, Из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишках прифронтовых Встречают нас как дорогих гостей.

Машину обступают на стоянках, Таскать им воду ведрами — не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку И сливы недозрелые суют...

Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед. А он гвоздит — не выглянуть из башен, — И черт его поймет: откуда бьет.

Тут угадай-ка, за каким домишкой Он примостился, — столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка: — Товарищ командир, товарищ командир!

Я знаю, где их пушка. Я разведал... Я подползл, они вон там, в саду... — Да где же, где? — А дайте я поеду На танке с вами. Прямо приведу.

Что ж, бой не ждет: — Влезай сюда, дружище! — И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка — мины, пули свищут. И только рубашонка пузырем.

Когда-нибудь фигура этого мальчика, в раздувающейся пузырем рубашонке, держащегося одной рукой за башню танка, идущего в бой, будет изваяна скульптором.

Бои шли круглые сутки. Майор Архипов находился на самых ответственных участках. У этого человека, с лицом педагога или ученого, было достаточно воли и мужества, чтобы в таком неравном бою оказывать врагу долгое и яростное сопротивление.

В чаду городских пожаров, в духоте танка вспоминал майор суровые морозные ночи и дни Карельского перешейка, невиданно трудные бои с бронированными полуподземными крепостями на «Линии Маннергейма». То была суровая школа, закалившая его для теперешних испытаний.

Майор знал, что слишком численно не равны силы и что исход боя предрешен. Но каждый лишний час сопротивления на рубежах, обеспечивал эвакуацию раненых, населения, военного имущества.

В тот момент, когда часть военных танков уже перешла на другой берег, центральный мост был взорван.

Немцы уже считали своими трофеями оставшиеся на заречной стороне советские босовые машины. Майор Архипов вместе с батальоном танков продолжал вести бой, не теряясь и ни на минуту не допуская мысли о том, чтобы оставить машины противнику.

Он приказал разведать реку, найти брод с твердым дном.

И произошло то, что не предусмотрено ни уставом, ни какими-либо техническими нормами, и во что трудно было бы поверить, если бы это не стало фактом.

Обыкновенные наземные танки форсировали реку на глубине двух-трех метров. Машина капитана Богачева, развив высшую скорость, первой вошла в реку и мощным конусом раздвигая воду, без остановок достигла другого берега. За ней как бы в ее кильватере, пошла другая, третья, четвертая... Ошеломленные немцы даже прекратило

Подъехали.— Вот здесь.— И с разворота  
Заходим в тыл, и полный газ даем.  
И эту пушку, заодно с расчетом,  
Мы вмияли в рыхлый, жирный чернозем.

Я вытер пот. Душила гарь и копоть:  
От дома к дому шел большой пожар.  
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец!—  
И руку, как товарищу, пожал...

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,  
И только не могу себе простить:  
Из тысяч лиц узнал бы я мальчишку,  
Но как зовут, забыл его спросить.

1941

огонь, и машины благополучно достигли противоположного берега.

В одном из этих танков переехал реку командир танкистов Василий Архипов.

Танки противника даже не сделали попытки форсировать таким способом водную преграду, которая теперь отделяла нас от врага.

## Батальонный комиссар Петр Мозговой\*

Старшина одной роты ехал на грузовой машине. Обогнал группу бойцов, замученных и усталых. Это были отставшие. Оказалось, что они из того же полка, откуда был старшина. Люди обрадовались. Чего еще надо: свои машины, знакомый командир, через полчаса — дома. Однако старшина проявил себя человеком честным. Видя, что бойцы не из его роты, он отказался их посадить и загремел с порожней машиной дальше.

Батальонный комиссар Мозговой уже не в первый раз рассказывал об этом случае, он хочет, чтоб все до единого поняли, почувствовали, что поступок старшины — плохой, вредный. Говорит комиссар низким, хрипловатым голосом, с виду он человек угрюмый, но в его простых и внятных словах — такое искреннее возмущение и горечь, столько любви и заботливости к бойцу, что все слушающие невольно проникаются тем же чувством.

— Вы подумайте,— говорит он,— подумайте о том, что переживает отставший боец, когда завидит на дороге свою машину, свою колонну. Ведь у него слезы на глазах от радости. Он нашел своих, он видит товарищей, с ними ему и жить и воевать. И вдруг его не берут на машину. Ты, говорят, другой роты. Какую нужно совесть иметь, чтоб так сделать?

Мозговой — человек рослый и крепкий, но в фигуре его, одетой в потертное кожаное пальто — с первого взгляда заметна какая-то связанность. И не все знают, что он уже дважды ранен в боях, что раны еще не зажили и каждое неловкое движение доставляет ему боль, хотя сам он никогда об этом не проговорился. В госпиталь отправить его не удалось.

— Это не раны,— говорит он своим угрюмым, хриплым голосом,— царапины. Но даже с одной из таких «царапин» комиссар не позволил бы никому другому остаться в строю.

**Газета «Красная Армия»,  
1941, 16 июля**

\*Первая книжная  
публикация

Это было в бою за переправу через реку, когда вдруг остановился воинский строй.

— В чем дело?

— Стреляют, товарищ комиссар, — показал один боец в сторону неприятеля.

— Стреляют? А мы что ж? Стрелять не умеем? Вперед!

Властность и решительность, прозвучавшие в голосе Мозгового, ободрили людей. Так может говорить только человек, который сам не боится. Когда осколочек мины вонзился ему в грудь — по счастью неглубоко — он собственноручно вынул его и бросил на землю. Об этом случае бойцы после рассказывали друг другу с восхищением. Людям радостно было убедиться в той простой вещи, что не всякий осколок и пуля попадает и не всякое ранение делает человека беспомощным. А еще в этом бою они практически убедились что идти вперед выгоднее, чем назад.

Второе ранение Мозгового было посередине: пуля попала в левую руку выше локтя, но кости не задела. Комиссар сам перевязал рану и остался в строю.

— Это мне за бинокль, — шутливо, но поучительно рассказывал он об этом ранении командирам и политработникам подразделений. — Бинокль у меня на ремешке. А враг такой приметы не пропускает. С биноклем, значит — командир. Командир — значит, его в первую очередь надо вывести из строя. Так что не обвешивайся разными причиндалами, когда идешь в бой. Поменьше ремней, поменьше пряжек.

Уменье из всего сделать практический вывод, использовать каждый случай и пример с воспитательной целью — живая, непосредственная черта заместителя командира части Петра Григорьевича Мозгового. Похоже даже, что он не всякий раз думает о поучительной стороне дела, а просто переживает все то, с чем сталкивается в дни боев и в промежутках между боями, как хороший, разумный работник, человек большой и чуткой душой. Поэтому и поучительность его замечаний, указаний и советов — живая и убедительная.

Комиссар отдыхал под деревом, когда с машины, замаскированной зелеными ветками, до его слуха дошли обрывки, отдельные слова какого-то спора двух бойцов.

— Я не понимаю, — сказал один из них, — не понимаю — человек ты или милиционер тут. — Выражение подвернулось неудачное, нелепое, и комиссар не пропустил его мимо ушей.

— Кто такой милиционер, товарищ боец? Объясните мне. Не можете? Милиционер.— приподнимается Мозговой, опираясь на правую, здоровую руку, и строго, прочувствованно произносит.— милиционер — слуга народа, такой же боец как и мы с вами, он выполняет свою государственную задачу, а сейчас — в особенности, когда у нас созданы испретительные батальоны милиции по борьбе с диверсантами в тылу. А выходит, вы милиционера и за человека не считаете.

— Больше таких слов не будет, товарищ батальонный комиссар.

Колонна проезжала селом. Это была волнующая, по-разительная картина. Пожилые женщины, девушки, дети, старики кидали ветки с ягодами. От женщин была брошена еще маленькая сложенная пакетиком записка:

«Здрастуйте, дорогі бійці і командири! Бажаю вам знищите такого небезпечного ворога, як Гітлера та всіх його гадів. Але я думаю, що ви не пропустите на свою батьківщину ворога. Одженете і повернетесь додому і побачитесь з своїми батьками, матерями, дітьми, жінками, а також нареченими. Досвідання, боріться мужньо, дорогі бійці і командири.

Адрес: м. Погребище, Погребищенського району, Вінницька область, сахзавод, дом №80, получить Кирилюк Марусі Федоровні».

Батальонный комиссар Мозговой не только прочел эту записку на большом собрании в полку, но предложил и написать ответ Марусе Кирилюк от бойцов и командиров. Предложение его было встречено с радостным воодушевлением. Ведь словами этой девушки или девочки — школьницы Маруси — говорила Родина. И все это дал почувствовать людям глубоко и сердечно комиссар. Недаром о Мозговом все говорят с большим уважением и любовью. А один боец просто сказал:

— С таким вместе воевать хорошо.

### Сержант Павел Задорожный\*

Ему двадцать два года. Он высок и юношески тонок, даже худощав. Ремень на нём не кажется туго затянутым. А должность у него солидная, внушительная — орудийный мастер. И мастер он отличный, делающий своё дело свободно, быстро и ловко.

• Газета «Красная Армия»,  
1941, 5 декабря,  
Юго-Западный фронт

\*Первая книжная  
публикация

Но сейчас, когда он подползал к первому орудию батареи, речь шла не об устраниении какой-либо неполадки, не о ремонте или замене детали. У орудия не было никого из расчёта...

Восемнадцать немецких танков с грохотом, лязгом и пальбой из пушек и пулемётов шли на батарею.

Фашистские автоматчики дали несколько очередей по лошадям. Животных удержать уже было нельзя. Расчёт первого орудия не успел ещё открыть огонь, как немецкий снаряд ударили прямо в щит. Двое—трое из расчёта были контужены, кто-то ранен, кто-то, поддавшись общему замешательству, кинулся к щелям в глубине огневой позиции.

Всё это произошло в три-четыре минуты, вернее, все это ещё происходило, когда сержант Задорожный подполз к первому орудию. Танки были в 500-600 метрах. Разрывы снарядов ложились всё гуще у самого орудия и дальше у щелей, где укрылись оробевшие люди. Павел Задорожный понимал одно, что сейчас самое выгодное быть у орудий и на огонь отвечать огнём. Но объяснить это людям было труднее, чем показать. Он приподнялся между станинами орудия и, воспользовавшись мгновенным промежутком от последнего до нового разрыва, выстрелил.

Он наводил на танк, выдвинувшийся на несколько метров впереди других. И увидел, как одновременно с выстрелом, танк словно бы подпрыгнул вверх и десяток солдат, сидевших на нём, кульками посыпались на землю.

Ответный огонь противника заставил сержанта снова на минуту залечь между станинами. Нужно было беречься. После первой удачи он испытывал прилив радостного возбуждения. Как можно убегать от своего мощного оружия и надеяться в такой момент не на меткость глаза и твёрдость руки, а на быстроту ног! Нет, он остаётся здесь даже не за тем, чтобы погибнуть смертью, достойной храброго человека,— он может ещё огрызнуться раз — другой так, что и врагу будет памятно. Но укрываться с его ростом ему было трудно. Как он ни пригибался, то плечо, то рука, то спина высывались из-за узкой станины.

Потная гимнастёрка прилипала к телу. Под ремнём саднило. «Когда же это меня чиркнуло,— подумал Задорожный,— наверно при переползании. Или здесь? Но я же могу подняться, разогнуться. Значит пустяки».

Второй выстрел — промах. Танки — всё ближе. Осколок немецкого снаряда разбил прицельный механизм орудия.

Оно теперь стало слепым. Третий выстрел,— ни один из шедших прямо на батарею танков не подпрыгнул, не содрогнулся. Промах. Огонь противника становился страшным. Два почти одновременных попадания в щит орудия оглушили сержанта.

Любому рядовому бойцу показалось бы нелепым и безнадёжным стрелять без прицельного механизма. Но орудийный мастер мог позволить себе такую вольность. Он запросто обращался с этой сложной и грозной машиной — орудием. Он стал прицеливаться через ствол. Расстояние позволяло наводить прямо в лоб немецкой машине. Второй танк подпрыгнул и остановился. Задорожный навёл ещё тщательнее — третья машина сделала рывок вверх, опять немцы, сидевшие за башней, свалились на землю. Шедшие следом машины заметно помедлили, некоторые из них стали разворачиваться.

Сержант знал, что времени у него немного. Но может быть ещё один танк он успеет свалить, прежде чем вместе со своим ослепшим орудием взлетит на воздух. О том, что это страшно или обидно мысли не было. Он успел кое-что сделать. Это совсем не то, что получить осколок в спину, когда лежишь в щели и сдаёшься на милость случая.

Новый, девятый по счёту выстрел,— танк, шедший по прямой на орудие — не подбросило вверх, но вдруг закружился на одной гусенице, сделал почти полный разворот и остановился,— явно не по своей воле.

Задорожный посмотрел вправо и схватился за гранату, привязанную к поясу. Граната была привязана к поясному ремню шпагатной бечёвкой. Потные, дрожащие пальцы смертельно усталого человека не находили узелка. Рванул — бечёвка оказалась слишком прочной. Автоматчики уже привстали, держа свои чёрные металлические «машинки» наготове — ложем к животу. Рука сержанта скользнула к пряжке поясного ремня, он быстро расстегнул ремень и вместе с ним бросил гранату в автоматчиков.

Танки, развернувшись, уходили. Напоследок, они дали несколько выстрелов. Один из них оглушил сержанта.

Когда наши подоспели к орудию, они увидели далеко на горизонте уходящие на полном газу немецкие танки. Четыре машины остались на подступах к батарее. Вправо от первого орудия лежали три трупа автоматчиков. У орудия враспояску лежал без сознания сержант Задорожный. Вскоре он пришёл в себя. Оба ранения были незначительные, сержант остался в строю.

## Саид Ибрагимов\*

В один из первых дней войны боец Саид Ага Файзулаевич Ибрагимов понес большую утрату. Пал в бою его друг и земляк из далекого Дербента Борис Меликов. Они вместе росли, учились, вместе были призваны в Красную Армию. И вместе пошли воевать.

*Газета «Красная Армия».  
1941 год*

\*Первая книжная публикация

Много родных краев, много республик, а родина одна. И лесгин Саид Ибрагимов понимал, что, защищая украинскую землю, по которой впервые ступали его ноги, он защищает и свой далекий Дербент, где живут его родные и друзья, его жена и маленький сын Сабир.

Также, наверно, думал и Меликов, земляк Ибрагимова. Но Меликов убит, а Ибрагимов жив, и когда он будет писать домой письмо, он должен сообщить о смерти своего товарища. Как ни тяжело быть вестником горя, умолчать об этом нельзя. И Саид не может добавить в письме, что он отомстил за Бориса Меликова. Еще не выпало такого случая, чтобы поквитаться с врагом самому, отдельно.

Случай сам не придумаешь. Кто его знает, когда он выпадет. Нужно, пока, просто воевать, выполнять в точности любую задачу, а там видно будет. Свою сегодняшнюю задачу Саид знает от и до. Он должен произвести разведку села, лежащего на пути следования части. Он проберется через реку, войдет задами в село,— там как будто никого, но нужно проверить, прислушаться, присмотреться. Так приказал, посыпая Ибрагимова в разведку, младший лейтенант Бакало.

А он человек строгий, к нему не придешь без ничего. Ему доложи точно: есть в селе хоть один немецкий солдат или нет ни одного солдата. И за свои слова отвечай. Нужно смотреть, слушать, угадывать, оставив все другие мысли — о себе, о Меликове, о жене и о сыне. Ты сейчас идешь один, но вслед за тобой должны пройти много людей, твоих товарищей, и если ты чего-нибудь не доглядел — ты подведешь всех.

Саид перешел реку ниже полуразрушенного моста. Вода была в самом глубоком месте по грудь. Саид бережно нес над водой свой пистолет-пулемет. Оружие это он хорошо знал, владел им свободно и привычно, но сохранил к нему чувство особого благоговейного уважения. «Машинка — лучше нет», — говорил он обычно и тихо прищелкивал языком.

В селе было тихо, безлюдно. В теплой мягкой пыли копалась одинокая курица. Двери и окна многих домов были

открыты. Похоже было, что жители ушли куда-то неподалеку и каждую минуту могут вернуться. Печки еще сохранили остаток тепла. Только беспорядок, брошенные на полу вещи, стекло от разбитой посуды и многие другие признаки говорили о том, что жителей сняли с насиженных мест большие и грозные события.

Саид услыхал какой-то негромкий ноющий звук, но звук этот так подходил ко всей обстановке покинутого села, что Саид не стал долго прислушиваться. Скрипела где-нибудь ставня или качался, свесившись, лист кровельного железа, или так что-нибудь.

Подбористый, гибкий и сильный. Саид легко и бесшумно перелезал через плетни, пригибаясь у палисадников, полз по канавам. Одежда на нем успела обсохнуть. Движенья его были свободны и расчетливы. Если нужно было притаиться, он при своем довольно высоком росте без труда помещался в какой-нибудь ямке, умел так приникнуть к стволу дерева, к стене, к углу строения, что был совершенно невидим. Страха он не испытывал. Он знал, что сейчас, в разведке, не ему пугаться кого-то, а он, Саид Ибрагимов, невидимый и зоркий, он — самое страшное для врага, которого окружают чужие поля и укрывают чужие стены.

Ноющий звук послышался ближе. Теперь он что-то смутно напомнил Саиду. Боец насторожился и вскоре понял, что звук доносится из небольшого сарайчика, что стоял за одним из домов, в саду. Вот еще явственнее и ближе... Саид невольно улыбнулся, лежа в картофельной борозде. Это было сонное, однообразное нытье свиньи. Повидимому жители оставили свинью в сарайчике, она хочет сном заглушить голод, но совсем утихнуть не может. То умолкнет, то вдруг снова затянет свое: и-и-и...

Похоже было, как будто кто-то успокаивает ее, почесывая спину... И это заставило Саида приблизиться к сарайчику. Запор снаружи был откинут. Саид Ибрагимов оглянулся вокруг, взял свою «машину» в правую руку и левой быстро рванул дверь...

Может быть тем и хорошо получилось, что у Саида не было времени раздумывать и соизмерять силы. В сарае на соломе тесно сидели и лежали человек двадцать немецких солдат. Саид мог их всех перестрелять до единого, но увидел, что они и так в его руках. Они, онемев, в ужасе глядели на дуло его «машины». Он встал у двери поудобней и приказал:

— Выходи по одному. Становись тут...

По движению его головы они поняли, чего он требует и, поднимая руки, стали выходить наружу. Подняться и выйти без посторонней помощи смогли почти все. Сосчитал их Саид Ибрагимов только по дороге в штаб. Всего было двадцать солдат и два офицера. Восьмерых Саид ранил с первой очереди, остальные сдались без единой царапины. Не успели они сложить в кучу оружие, как подоспели наши бойцы, должно быть услышавшие стрельбу, и группа пленных под надежным конвоем направились к штабу.

Саид Ибрагимов не очень четко доложил все, что полагается, но командир ободряюще кивнул ему головой.

— Задержал? Один? Двадцать два человека? Спасибо. Молодец!

Затем он подробно записал имя бойца в свою книжечку: Саид Ага Файзулаевич Ибрагимов.

Когда Ибрагимов вышел из штаба, кажется первая мысль, пришедшая ему в голову, была о том, что теперь легче будет сообщить в письме о гибели земляка Меликова.

### Под вражьим тяжким колесом

Стонала мать-земля.  
И бомбы, вспучив чернозем,  
Дырявили поля...

И были той земли сырой  
Края обожжены.  
И кто-то первый был герой  
И мученик войны.

В крови, в пыли шептал без сил.  
Уже стонать не мог.  
Уже не жить — попить просил.  
Воды один глоток.

А где вода? И так умрет.  
К тому и привыкать...  
И это знала наперед  
Его старуха мать.

28. II. 1942

&lt;...&gt;

## Баллада о товарище

(Набросок осенний, под живым впечатлением  
«окружеченских» рассказов\*)

Вдоль развороченных дорог  
И разоренных сел  
Мы шли по звездам на восток,—  
Товарища я вел...

Мы шли полями, шли стерней.  
В канаве где-нибудь  
Ловили воду пятерней,  
Чтоб горло обмакнуть.

О пишет что же говорить —  
Не главная беда,  
Но как хотелось там курить,  
Курить! — вот это да.

Быть может, кто-нибудь иной  
Расскажет лучше нас.  
Как горько по земле родной  
Идти, в ночи таясь...

\* Здесь записан вариант  
«Баллады о товарище».

...Стих неполноценный и все не удавалось взять хорошенъко. Но стихотворение должно уцелеть и округлиться.

Хорошая тема была записана про бойца Воробья (Воробьева), который идет из окружения через свою деревню. Уже верст за двадцать от нее он стал обгонять товарищей, посвистывал, пел. Уже его узнавали земляки: «Воробей, Воробей идет»... В деревне он посеребрел, не заходя домой, стал устраивать всю группу на ночлег и питание, а потом уже пошел к жене и детям. Переночевал, бог знает что передумал за эту ночь, а утром отбил бабе косу, еще что-то сделал и со всеми — в путь. Только шел уже позади, молчаливый, грустный. Баба долго шла (следом), потом он обнял ее и стал догонять товарищей, а она еще долго стояла одна на широкой степной дороге, плакала, смотрела вслед.\*\*

\*\* Здесь А. Т. восстанавливает записи из утраченной тетради 1941 г. Запись о Воробье легла в основу стихотворения «Дом бойца». (Примеч. В. и О. Твардовских)

## Дом бойца

Столько было за спиною  
Городов, местечек, сел,  
Что в село свое родное  
Не заметил, как вошел.

Не один вошел — со взводом,  
Не по улице прямой —  
Под огнем, по огородам  
Добирается домой...

Кто подумал бы когда-то,  
Что достанется бойцу  
С заряженной гранатой  
К своему ползти крыльцу?

А мечтал он, может статься,  
Подойти путем другим,  
У окошка постучаться  
Жданым гостем, дорогим.

На крылечке том с усмешкой  
Притаиться, замереть.  
Вот жена впопыхах от спешки  
Дверь не может отпереть.

Видно, знает, знает, знает.  
Кто тут ждет за косяком...  
«Что ж ты, милая, родная,  
Выбегаешь босиком?...»

И слова, и смех, и слезы —  
Все в одно сольются тут.  
И к губам, сухим с мороза,  
Губы теплые прильнут.

Дети кинутся, обнимут...  
Младший здорово подрос...  
Нет, не так тебе, родимый.  
Заявиться довелось.

Повернулись по-иному  
Все надежды, все дела.

На войну ушел из дому,  
А война и в дом пришла.

Смерть свистит над головами.  
Снег снарядами изрыт:  
И жена в холодной яме  
Где-нибудь с детьми сидит.

И твоя родная хата,  
Где ты жил не первый год,  
Под огнем из автоматов  
В борозденках держит взвод.

— До какого ж это срока, —  
Говорят боец друзьям, —  
Поворачиваться боком.  
Да лежать, да мерзнуть нам?

Это я здесь виноватый.  
Хата все-таки моя.  
А поэтому, ребята, —  
Говорят он, — дайте я...

И к своей избе хозяин,  
По-хозяйски строг, суров,  
За сугробом подползает  
Вдоль плетня и клетки дров.

И лежат, следят ребята:  
Вот он снег отгреб рукой,  
Вот привстал. В окно — граната.  
И гремит разрыв глухой...

И неспешно, деловито  
Встал хозяин, вытер пот...  
Сизый дым в окне разбитом.  
И свободен путь вперед.

Затянул ремень потуже,  
Отряхнулся над стеной,  
Заглянул в окно снаружи —  
И к своим: — Давай за мной..

А когда селенье взяли,  
К командиру поскорей:  
— Так и так. Теперь нельзя ли  
Повидать жену, детей?..

Лейтенант, его ровесник,  
Воду пьет из котелка.  
— Что ж, поскольку житель местный.  
И мигнул ему слегка.—

Но гляди, справляйся срочно.  
Тут походу не конец.—  
И с улыбкой: — Это точно.—  
Отвечал ему боец...

1942

Зачем рассказывать о том  
Солдату на войне,  
Какой был сад, какой был дом  
В родимой стороне?  
Зачем? Иные говорят,  
Что нынче, завойной.  
Он позабыл, давно, солдат,  
Семью и дом родной:  
Он ко всему давно привык.  
Войною научен;  
Он и тому, что он в живых,  
Не верит ни почем.  
Не знает он, иной боец,  
Второй и третий год.—  
Женатый он или вдовец,  
И писем зря не ждет...  
Так о солдате говорят.  
И сам порой он врет:  
Мол, для чего смотреть назад,  
Когда идешь вперед?  
Зачем рассказывать о том,  
Зачем бередить нас.  
Какой был сад, какой был дом,  
Зачем?  
Затем как раз,  
Что человеку на войне,  
Как будто назло ей,  
Тот дом и сад вдвойне, втройне  
Дороже и милей.  
И чем бездомней на земле  
Солдата тяжкий быт.  
Тем крепче память о семье  
И доме он хранит.  
Забудь отца, забудь он мать,  
Жену свою, детей.  
Ему тогда и воевать  
И умирать трудней.  
Живем, не по миру идем.  
Есть что хранить, любить.  
Есть где-то, есть иль был наш дом,  
А нет — так должен быть!

1943

## На родных пепелищах

Это была та самая дорога, по которой я в детстве ездил с отцом в Смоленск,— ельинский большак с березами по обочинам. Березы эти, сколько я их помню, всегда были стары, дуплисты, многие с высохшими ветвями нижних сучьев. От войны их уцелело мало — изредка сухой, безобразный пень сраженного снарядом дерева либо огромный выворот рядом с воронкой, ствол, гниющий на земле...

Обезображеня, изуродована вся моя родная местность. Нет сил и действительно нет слов, чтобы рассказать об этом по живому впечатлению. Каждый километр пути, каждая деревушка, перелесок, речка — все это для человека, здесь родившегося и проведшего первые годы юности, святоoso-боя, кровной святыней. Все это часть его собственной жизни, что-то глубоко внутреннее и бесконечно дорогое. И видеть все это таким, каким оно выглядит после немцев, — это почти физическая боль. А рассказывать о виденном в оборотах литературного письма кажется кощунством, хоть и не избежать этих оборотов.

Село Язвино на пути от Ельни к Смоленску. В моей метрической справке означено, что она выдана на основании записи о крещении в книге Язвинской церкви. Здесь, за речкой, в старом парке, у самого большака, стояло здание больницы. В Язвине мы проводили кустовые, как они тогда назывались, комсомольские собрания окрестных организаций, и столько там было молодости, волнения и песен, из которых многие уже не поются, но и сейчас тронули бы душу напоминанием о юности. Язвино сожжено. Нет церкви, нет школы. А в порубленном больничном парке я с недоумением увидел белеющее свежими, еще не потемневшими бревнами какое-то новое здание под старой, совсем прохудившейся железной крышей. Это была та самая больница, куда меня маленьким мать носила к доктору. Здание было попросту ободрано немцами. Они в нем жили и топили тесовой обшивкой, чтобы не ходить далеко за дровами. В одной из палат на полу женщина, раненная в ногу. Возле нее тихие мальчик и девочка лет по девяти-девяности.

Ляхово, памятное мне тремя годами обучения в начальной школе и ярмарками на Духов день, полностью сожжено немцами летом 1942 года. Сожжено с людьми. В огне погибло около двухсот жителей, главным образом женщин и детей. Это была расправа карателей за помощь партизанам, для которых ляховские женщины выпекали хлеб и шили белье. Ляхово — село старинное, известное в истории Отечественной войны 1812 года как один из важных пунктов тогдашних партизанских действий. О нем, в частности, говорит Денис Давыдов в своих записках. Само название села позволяет отнести его возникновение к еще более давним

временам. Но не эти соображения занимали душу, когда я видел ляховские пепелища.— другое...

Родное Загорье. Только немногим жителям здесь удалось избежать расстрела или сожжения. Местность так одичала и так непривычно выглядит, что я не узнал даже пепелище отцовского дома. Ни деревца, ни сада, ни кирпичика или столбика от построек — все занесено дурной, высокой, как конопля, травой, что обычно растет на заброшенных пепелищах. Никаких родных мест, никаких впечатлений, примет узнавания. Только война с ее характерными приметами и чертами, присущими ей всюду, где я ее видел.

Когда-то приехал человек в город, где год назад сам похоронил ребенка-сына, и, к стыду, горю и страшному для себя еще какому-то чувству, не нашел на кладбище его могилки. На кладбище, где он столько гулял, бывал, выпивал, — словом, знал его, как садик при доме.

Что-то подобное испытал я, когда не смог «на местности», как говорят военные люди, на местности, поросшей всякой дрянью запустения, найти место, где был наш двор и сад, где росли деревья, посаженные отцом и мною самим. Не нашел вообще ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, могу представить себе весь до пятнышка и с которым связано все лучшее, что есть во мне. Более того — это сам я как личность. Эта связь всегда была дорога для меня и даже томительна.

Если так стерто и уничтожено все то, что отмечало и означало мое пребывание на земле, что как-то выражало меня, то я становлюсь вдруг свободен от чего-то и ненужен. Но потом подумаешь и так: именно поэтому я должен жить и делать свое дело. Никто, кроме меня, не воспроизведет того неповторимого и сошедшего с лица земли малого мира, мирка, который был и теперь есть для меня, когда ничего от него не осталось.

\* \* \*

Войска идут в осенней пронизывающей мгле дождей, которые застают людей не под крышей — в шалаших или землянках, — а на марше, в бою, в непрерывном движении, тяжком, но радостном и даже спасительном при такой промозглой погоде. Солдат сушит одежду на себе, на ходу разминает тело, не дает закоченеть ногам в ботинках, в вязкой, подзолистой грязи смоленских дорог, и все дымится на нем... Кажется, вся беспримерная сила, бодрость и выносливость русского воина на походе и в бою явились нынче в людях, неустанно преследующих врага на путях, отмеченных древней славой побед над захватчиками-иноzemцами.

Нынешняя слава не уступает прежней. Части войск, с которыми я шел несколько дней, уже повернули влево с большака, перерезали железную дорогу Рославль — Смоленск, перерезали шоссе того же направления и вышли к другому большаку, отрезая Смоленск.

А сегодня рано утром меня позвали к генералу. Он вышел ко мне на встречу, протягивая обе руки, и сказал:

— Поздравляю вас с освобождением вашего родного города...

\* \* \*

Уголок деревенского огорода с молодой вербочкой у изгороди, с опрятными грядками, густо заросшими ботвой бурачков и моркови, с желтыми осенними цветами на затравневших клумбах под окошком избы. Я никогда не испытывал такой тоскливой боли при виде разорения и уродства, как при виде этой сохранности, этого милого уголка. Потому что это такая редкость, такая случайность среди повсеместного разорения и уродства.

\* \* \*

Бой шел на огородах уже сожженной деревни... Жители в ямах. Обстрел. С десяток наших бойцов отбивали контратаки, уже многие ранены, положение почти безнадежное. Бабы и дети в голос ревут, прощаясь с жизнью. И молоденький лейтенант, весь в поту, в саже и в крови, без пилотки, то и дело повторял с предупредительностью человека, который отвечает за наведение порядка:

— Минуточку, мамаша, сейчас освободим, одну минуточку, сейчас будет полный порядок. Минуточку...

\* \* \*

Печка с железной трубой, выведенной куда-то в стену комнаты с заржавевшей батареей центрального отопления, печка, которую топил две зимы какой-то немец. Топлю ее непрерывно весь день. Привык, что, покуда она воркует, у меня идет работа, а чуть дрогнет — стоп...

Как закурить новую папироску, кидаешься вновь ее растоплять, и опять она воркует. И порой такое сладкое ощущение обретенного ненадолго рабочего уюта, что боязно слишком любоваться этим: вдруг все и пропадет...

Двенадцатый час ночи, поет печка. За наружной стеной этого одиночного среди холодных развалин дома с утра не утихает дикая, древняя, донетровская русская выюга. За внутренней стеной спят старики, мыча, стена и что-то жалостно бормоча от своих деревенских, беженских, трудных, как сама жизнь, снов.

М. Гефтер

Живые мертвые

Память — одно из самых удивительных свойств человека. Не идиллическое, скорее — арена сражения, где схватываются забытье и воспоминание. Можно бы сказать, что память — она же совесть, если только вслед мудрому Альберту Швейцеру признать, что «чистая совесть — худшая выдумка дьявола». Ибо совесть утрызает (по самому смыслу и назначению своему) — даже тогда и больше всего тогда, когда к этому, кажется, нет никаких поводов, но есть глубочайшая причина: невосполнимые утраты, досрочно оборванные жизни.

Смею предположить: нам было бы хуже и мы сами были бы много хуже (и для себя, и для тех, кто после), когда бы не руки, протянутые оттуда. **Нас выручили наши мертвые.** Это верно по сей день.

Память все чаще возвращает Ржев август 42-го, канун очередной обреченной атаки, ничейная полоса, яма, из которой я досрочно выполз наружу. Еще не заря была, а предчувствие ее. Небо, оставаясь ночным, переходило в упреждающую день серость, и хотя не могло быть двух мнений по поводу того, что день вскорости вступит в свои права, внутренний голос нашептывал сомнение в этом, как бы силясь отсрочить смертельную развязку. Считанные минуты — и она придвигнулась вплотную, чтобы отступить затем, подчинившись милосердию безвестного санитара. Однако я не о том, что произошло тогда, вернее, о нем — о спасении, но в смысле, простирающемся много дальше отдельной биографии. Я о случайности и о неумолимости грани, какая отделяет ночь, настигающую человека, от его — человека — с у м е р е к.

Сумерки, поясняет Даль, «на востоке до восхода солнца, а на западе на закате». Восток и запад здесь, само собой, буквальные, подчиненные астрономической непреложности. Но в их сродстве заключена также вразумляющая метафора. Она отклоняет — равно — избранничество ЗАКАТА и ВОСХОДА, настаивая на всечеловечности сумерек, которые вступают в ум и душу как потребность Выбора: неизвестного будущего в еще подлежащем открытию прошлом. Наши павшие и погубленные сверстники осуществили свой «сумеречный» въ б о р. И он запомнится таковым на всегда — невзирая на то, что в него вторглась при жизни их и посмертно, его переиначивая и оскверняя, чуждая им «верховная» воля <...>

## Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом.  
В безымянном болоте,  
В пятой роте, на левом,  
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,  
Я не видел той вспышки,—  
Точно в пропасть с обрыва —  
И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,  
До конца его дней,  
Ни петлички, ни лычки  
С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые  
Ищут корма во тьме:  
Я — где с облачком пыли  
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный  
На заре по росе:  
Я — где ваши машины  
Воздух рвут на шоссе:

Где травинку к травинке  
Речка травы прядет,—  
Там, куда на поминки  
Даже мать не придет.

Подсчитайте, живые.  
Сколько сроку назад  
Был на фронте впервые  
Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,  
Как на теле рубец.  
Я убит и не знаю,  
Наш ли Ржев наконец?

Удержанались ли наши  
Там, на Среднем Дону?..  
Этот месяц был страшен.  
Было все на кону.

Неужели до осени  
Был за ним уже Дон.  
И хотя бы колесами  
К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи  
Той не выиграл враг!  
Нет же, нет! А иначе  
Даже мертвому — как?

И у мертвых, безгласных,  
Есть отрада одна:  
Мы за родину пали,  
Но она — спасена.

Наши очи померкли.  
Пламень сердца погас.  
На земле на поверхке  
Выкликают не нас.

Нам свои боевые  
Не носить ордена.  
Вам — все это, живые.  
Нам — отрада одна:

Что недаром боролись  
Мы за родину-мать.  
Пусть не слышен наш голос,  
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,  
Устоять, как стена,  
Ибо мертвых про克莱тье —  
Эта кара страшна.

Это грозное право  
Нам навеки дано.  
И за нами оно —  
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,  
Я зарыт без могилы.  
Всем, что было потом,  
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно  
Вам привычно и ясно,  
Но да будет оно  
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы  
И не Дон потеряли,  
И в тылу у Москвы  
За нее умирали.

И в заволжской дали  
Спешно рыли окопы,  
И с боями дошли  
До предела Европы.

Нам достаточно знать,  
Что была, несомненно,  
Та последняя пядь  
На дороге военной.

Та последняя пядь,  
Что уж если оставить,  
То шагнувшую вспять  
Ногу некуда ставить.

Та черта глубины.  
За которой вставало  
Из-за вашей спины  
Пламя кузниц Урала.

И врага обратили  
Вы на запад, назад.  
Может быть, побратимы,  
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите  
На ином рубеже.  
Может быть, вы к границе  
Подступили уже!

Может быть... Да исполнится  
Слово клятвы святой! —  
Ведь Берлин, если помните,  
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие  
Крепость вражьей земли.  
Если б мертвые, павшие  
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные  
Нас, немых и глухих,  
Нас, что вечности преданы,  
Воскрешали на миг.—

О, товарищи верные,  
Лишь тогда б на войне  
Ваше счастье безмерное  
Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная  
Наша кровная часть,  
Наша, смертью оборванная,  
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не скакавили  
Мы в суровой борьбе.  
Все отдав, не оставили  
Ничего при себе.

Все на вас перечислено  
Навсегда, не на срок.  
И живым не в упрек  
Этот голос наш мыслимый.

Братья, в этой войне  
Мы различья не знали:  
Те, что живы, что пали,—  
Были мы наравне.

И никто перед нами  
Из живых не в долгу.  
Кто из рук наших знамя  
Подхватил на бегу.

Чтоб за дело святое,  
За Советскую власть  
Так же, может быть, точно  
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом.  
Тот еще под Москвой.  
Где-то, воины, где вы,  
Кто остался живой?

В городах миллионных.  
В салах, дома в семье?  
В боевых гарнизонах  
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,  
Вся в цветах иль в снегу...  
Я вам жить завещаю.—  
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни  
Вам счастливыми быть  
И родимой отчизне  
С честью дальше служить.

Преврат — горделиво.  
Не клонясь головой,  
Ликоват — не хвастливо  
В час победы самой.

И беречь ее свято.  
Братья, счастье свое —  
В память воина-брата,  
Что погиб за нее.

1945-1946

**О стихотворении  
«Я убит подо Ржевом»**

Стихотворение «Я убит подо Ржевом» написано после войны, в конце 1945 и в самом начале 1946 года. В основе его была уже неблизкая память поездки под Ржев осенью 1942 года на участок фронта, где сражалась дивизия полковника Кириллова Иосифа Константиновича.

Добрались мы туда с корреспондентом «Известий» К. Тарандкиным, покинув машину в армейском «хозяйстве», сперва верхом по болотному бездорожью, потом пешком, где уже иначе было нельзя. Пришлось и полежать под артналетом вне какого-либо укрытия.

Впечатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез — их подвозили выночными лошадьми.

Вернувшись в редакцию своей фронтовой «Красноармейской правды», которая располагалась тогда в Москве, в помещении редакции «Гудка», я ничего не смог дать для газетной страницы, заполнив лишь несколько страничек дневника невеселыми записями.

Еще мне навсегда запомнился один случай мгновенно возникшей и погасшей перебранки в московском трамвае. Я помнил о нем, даже забыв о том, что он у меня записан в тетрадке, и только теперь, спустя столько лет, перелистывая ее, напал на эту запись.

«На передней площадке трамвая — теснота.

— Граждане, зайдите в вагон, нельзя здесь всем.

Какой-то лейтенант, прижатый к боковой решетке, парень с измученным, нервным загорелым лицом, поворачивает голову к одному «штатскому», который едва виден, по грудь.

— Ну, вот вы, например, почему вы на передней? Кто вы такой?

— Я? — И как привычное звание: — инвалид Великой Отечественной войны.

— Инвалид? И я тоже ранен. Но мы сражаемся, а ты тут на передней площадке...

— Ах ты, дурак, дурак!

— Я дурак? — вскрикнул нервный лейтенант и сделал страшное движение — не то за пистолет ухватиться, не то освободить руку для удара.

Вмешиваюсь:

— Товарищ лейтенант, спокойнее...

— Товарищ подполковник... — В голосе такая боль и решимость, из глаз готовы брызнуть слезы, их только нет.— весь он такой выкрученный, перемятый, как его потемневшая от многих потов гимнастерка.

— Вы в форме, с вас больше спрашивается.

— Ах!... Он застонал, отвернулся к бульвару и с невыразимой, какой-то детской горечью и злостью сказал куда-то: — Никогда, никогда я не приеду в эту Москву...

Когда я стал сходить, он протиснулся ко мне:

— Товарищ подполковник, я из-подо Ржева. Я приехал на сутки — хоронить жену. Я завтра должен быть в двенадцать ноль-ноль в батальоне. Извините меня...

Я его должен извинить: хоть бы он меня простили как-нибудь...

Однако не могу сказать, что стихи «Я убит подо Ржевом» целиком обязаны своим появлением на свет впечатлениям этой поездки или слушаю на передней площадке трамвая. Я был бы рад знать, что этот лейтенант из-под Ржева ныне здравствует, потому что его слова о том, что он «никогда, никогда не приедет в эту Москву», врезались мне в память совсем в другом смысле.

Стихи эти продиктованы мыслью и чувством, которые на протяжении всей войны и в послевоенные годы более всего заполняли душу. Навечное обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвенья, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе,— так приблизительно можно определить эту мысль и чувство. Они составляют, как говорится, пафос и написанного после «Я убит подо Ржевом» стихотворения «В тот день, когда окончилась война» и многих других, вплоть до совсем недавних строчек «Из записной книжки»:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны.

В том, что они — кто старше, кто моложе —

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь.—

Речь не о том, по все же, все же, все же...

Форма первого лица в «Я убит подо Ржевом» показалась мне наиболее соответственной идеи единства живых и павших «ради жизни на земле».

**«Гитлер-газен-ваген»\***

Одновесельная лодка,  
Устремленная в длину,  
Поворотливо и ходко  
Разрезавшая волну,  
Ради лихости отчасти  
С древних пор была она,  
А отчасти ради страсти  
Душегубкой названа.  
Без кормила, без ветрила,  
Под началом у весла,  
Душегубка душ сгубила  
Много меньшие, чем спасла.  
С детства знали мы такую  
У родимых мирных рек...  
Гитлер выдумал другую  
И прославился навек.  
Не рисунок на бумаге  
И не сказка — злая быль  
Этот «Гитлер-газен-ваген»,  
Грузовой автомобиль.  
Жуткий чад идет по свету,  
Всех живых мутит людей:  
В мире не было и нету  
Этой выдумки подлей.  
Кости Гитлера сожгутся,  
Разлетятся в прах и в дым,  
Только слава душегубца  
Не исчезнет вместе с ним.

1943. декабрь

## В Витебске

Витебск! У него своя, особая история возвращения в семью советских городов. Скаты и гребни холмов на подступах к нему в течение долгих месяцев несли на себе тяжкий груз того, что называется линией фронта. Воронка 1944. 27 июня воронку, издолблена и исковеркана эта земля, вдоль и поперек изрыта, изрезана траншеями, захламлена ржавым, горелым и ломанным железом.

Надписи и даты, выведенные на скромных намогильных дощечках у дорог к Витебску,— напоминание о жестоких зимних боях за город. Немцы действительно обороняли его, не щадя ничего... И как бывает, что именно то, чего сердце ждало долго, напряженно и неутомимо, приходит вдруг, и радость застает тебя как бы врасплох.

Над городом небо к западу еще густо усыпано шапками разрывов зенитных снарядов и обволочено ржаво-темными космами и ключьями дымов. Земля еще привычно подрагивает от близкой пальбы.

Навстречу, по дороге на восток, от заставы тянется длинная и слишком ровная для обычного продвижения в такой близости от войны колонна. Пленные. Конвой — трое наших ребят с бровями, серыми от пыли.

Сколько ведете?

Сто сорок пять штук,— отвечает старший сержант. Губы обведены черной от пыли, пота и копоти кромкой.

Глаза воспаленные, не спавшие, по крайней мере, сутки, счастливые.

— Кто взял?

— Я.

Это — военное «я», означающее не единоличность действия, а главенство, начальствование над силой, совершившей действие.

И, следуя за отделившейся уже колонной, оборачивается и выкрикивает в другом, простецки веселом «личном» tone гордости и торжества:

— С музыкой пошло, товарищи! Гоним, мать его...

Глубоко в улицах города наши бойцы. Отчетливое «ура», бомбажка нашими самолетами окраины города, пулеметные очереди.

На одной стене красный флаг. Укреплен он наскоро, на ходу, и невысоко, может быть именно затем, чтобы всякий мог прочесть записку, приколотую к нему: «Майор Бублик».

*Впервые в газете*

*«Красноармейская правда».* 1944. 27 июня

Это опять то самое неличное «я» военного языка. Это с волнением, гордостью, торжеством и вместе официальной, скупой точностью сказано:

«Я, майор Бублик, преследуя противника, первым прошел по этой улице, а теперь я далеко впереди». (То есть я с моими бойцами.)

И такая негромкая, даже чуть-чуть смешливая фамилия в сочетании с серьезностью и боевой значительностью обстоятельств!

Витебск, 12 часов, 26 июня.

На выезде уже идут стороной дороги связисты, сматывая провода на катушки, движутся вперед штабы, тылы, все большое хозяйство наступающей армии.

Как три года назад, пыль дорог, грохот с неба и с земли, запах вянущей маскировки с запахом бензина и пороховых газов, тревожное и тоскливое гуденье машин у переправы и праздные луга и поля,— все, как три года назад.

Только наступаем, обгоняем и окружаем — мы!

\* \* \*

Белоруссия. деревня Панская под Борисовом. У меня ни стола, ни койки, переезд за переездом, поездка за поездкой,— но на душе хорошо и свободно, может быть потому, что ничего серьезного не пишу и не могу спрашивать с себя.

Спал в сенях избы, выбегая раза два ночью на улицу смотреть, как палят зенитки, имея, впрочем, в виду глубокие, заготовленные немцами окопы на задворках. Но залезать не пришлоось.

Думал лежа, думал и не мог додуматься, отчего мне так хорошо. Вернее всего — от ощущения близкого конца войны, от успеха, который оказывается физически.

Сейчас пишу эту страничку в жаркой, гудящей мухами, но чистой белорусской хате, раззанавешенной надвое плащ-палаткой. Здесь очень красивые потолки: матицы поперек, а не вдоль, как у нас обычно, и они не широкие, как доска, а балки, опиленные ровно с четырех сторон; потолочины — доска в доску, в меру закопченные, но, видимо, мытые. Пишу за столом, покрытым льняной домашней скатертью, не сильно беленной, суровой, как называют такой цвет и степень отделки полотна. Справа, у перегородки, пианино: неизвестно, кто на нем играет и играют ли. Слева койка полковника, и полковник на ней, в нижней рубашке и с полотенцем в руках от мух. Ему надо и хочется

спать с дороги, но сои никак не идет во взаимодействие с обороной от мух. Покамест он машет полотенцем — не спит, станет дремать, перестает махать полотенцем — мухи жгут...

На улице — куры, песчаная, пухлая пыль, колодец, вода из него удивительно чистая и холодная, но не резкая, мягкая — почти как дождевая.

И так мила эта сохранность деревни, жилья, живности, всего, что вокруг. В сущности, я уже в самой ранней юности очень любил все это: всякое дерево, живое и мертвое, всякую стреху, под которой в эту пору такая благостная, уютная тень и паутинки, всякое огородное, и садовое, и полевое растение и цветение.

Когда пройдешь путем колонн  
В жару, и в дождь, и в снег,  
Тогда поймешь,  
Как сладок сон,  
Как радостен ночлег.

Когда путем войны пройдешь,  
Еще поймешь порой,  
Как хлеб хорош  
И как хорош  
Глоток воды сырой.

Когда пройдешь таким путем  
Не день, не два, солдат,  
Еще поймешь,  
Как дорог дом,  
Как отчий угол свят.

Когда — науку всех наук —  
В бою постигнешь бой.—  
Еще поймешь,  
Как дорог друг,  
Как дорог каждый свой.

И про отвагу, долг и честь  
Не будешь зря твердить.  
Они в тебе.  
Какой ты есть,  
Каким лишь можешь быть.

Таким, с которым, коль дружить  
И дружбы не терять,  
Как говорится —  
Можно жить  
И можно умирать.

1943

В поле, ручьями изрытом,  
И на чужой стороне  
Тем же родным, незабытым  
Пахнет земля по весне:

Полой водой и — нежданно —  
Самой простой, полевой  
Травкою той безымянной,  
Что и у нас под Москвой.

И, доверяясь примете.  
Можно подумать, что нет  
Ни этих немцев на свете.  
Ни расстояний, ни лет.

Можно сказать: неужели  
Правда, что где-то вдали  
Жены без нас постарели.  
Дети без нас подросли?..

1945

## Кенигсбергское утро

Дощечки с надписями: «Проезда нет» и «Дорога обстреливается» — еще не убраны, а только отвалены в сторону.

Но очевидным опровержением этих надписей, еще вчера имевших полную силу, уже стала сама дорога. Тесно забитая машинами, подводами, встречными колоннами пленных немцев и возвращающихся из немецкой неволи людей, она дышит густой, сухой пылью от необычного для нее движения.

Липовые аллеи, прореженные и иссеченные артиллерией, всевозможное полузаставленное и вовсе заваленное траншейное рытье, воронки, нагромождения развалин — привычная картина близких подступов к рубежам, за которые противник держался с особым упорством.

И на повороте свежая, не тронутая еще ни одним дождем, не обветренная дощечка указателя: «В город».

В город-крепость, в главный город Восточной Пруссии, в ее столицу — Кенигсберг.

Давно уже не в новинку эти стандартно-щеголеватые домики предместий, старинные и новейшей архитекту-

*Газета**«Красноармейская правда»*

1945. 11 апреля

ры здания немецких городов, потрясенные тяжкой стойкой войны.

Но Кенигсберг прежде всего большой город. Много из того, что на въезде могло сразу броситься в глаза — башни, шпили, заводские трубы, многоэтажные здания, — повергнуто в прах и красно-кирпичной пылью красит подошвы солдатских сапог советского образца, мутно-огненными облаками висит в воздухе.

И, однако, тяжелая громада города-крепости и в этом своем полуразмолотом виде предстает настолько внушительно, что это несравнимо со всеми другими, уже проиденными городами Восточной Пруссии.

И так же, как в зрелище развалин, закопченных огнем, в грудах щебенки, загромождающих улицы и проезды, мы не можем не видеть живого напоминания о разрушенных немцами городах нашей Родины, так же нельзя не видеть во всем этом живого подтверждения всесокрушающей ударной моши нашего оружия.

— Почище Смоленска сработано,— вроде как шутки ради говорят бойцы, вступающие в улицы города. Но в усталом, суровом и прямом взгляде их глаз спровидливое торжество и горделивое сознание собственной силы.

А сила эта во всем вокруг. И прежде всего в этом великом людском потоке, заполнившем узкие улицы чужого города своей слаженной, внутренне деловитой суетой, словами команды, своей родной речью, песнями, музыкой, привезенными невесть из какой глубины России, своим большим воинским праздником победы.

Пехота на машинах, на броне танков и самоходных орудий, шоферы, дружелюбно перебранивающиеся из дверцы в дверцу, регулировщицы в форменных белых, немножко великоватых перчатках, мотоциклисты, верховые и лещие, — смотришь и невольно думаешь в простодушном и радостном изумлении:

«А и много же, ах как много нас, русских, советских людей!»

Так много, что хватает и на то, чтоб держать в полном рабочем порядке необозримый наш тыл, пахать землю и ковать железо; и на то, чтоб поднимать к жизни столько отвоеванных у врага городов и сел; и на то, чтоб пройти столько верст, занять столько городов и земель противника; и на то, чтоб в три дня штурмом сломить его сопротивление на таком вот рубеже, на такой точке, как этот город Кенигсберг; и на то, чтоб в первый же день

по взятии города заполнить его такой массой людей и колес. На все хватает!»

Грохот боя, откатившийся уже далеко за город, не тревожит разнообразного, делового и праздничного шума и говора на марше по главной улице.

Каких только лиц солдатских здесь не увидишь! И усатые, будто бы сонливые, но полные энергичной выразительности лица пожилых, и молодых, по успевшие возмужать на войне, по-мужски загорелые и по-солдатски серьезные, а все-таки юношеские, и белокурые, с чернью копоти на висках, и чернявые, припорошенные серой и ржавой пылью, и иные...

И на всех лицах — отражение дня большой и гордой победы.

Но город, там и сям горящий, там и сям роняющий с шумом, треском и грохотом сдвинутую огнем стену, там и сям содрогающийся от взрывов, — чужой и враждебный город. Он таит еще в теснинах своих развалин и уцелевших стен, в подвалах и на чердаках злобные души, способные на все в отчаянии поражения.

Группа бойцов-автоматчиков полубегом в тесноте уличного движения пробирается к переулку, где из окошек-амбразур полуподвала в безумном упорстве, возможно не знающие о полном поражении, немцы еще ведут пулеметный и винтовочный огонь.

Угомонить их снаружи оказывается довольно трудно с помощью одного только пехотного оружия. Тогда с истинно русской щедростью на них отпускается три-четыре снаряда танковой пушки — по числу окошек.

Слышно, как гремят раздельно, твердо и жестко выстрелы в упор.

В переулке наступает, как у нас говорят, полный порядок.

### У моря

До самого берега проехать на машине было нельзя. Оставалось каких-нибудь триста — четыреста метров, где не было ни дорог, ни объездов, ни даже проторенных троп. Местность представляла собой нечто вроде огромного двора, заваленного и захламленного всевозможным горелым и догоравшим ломом, трупами людей и лошадей и вдобавок перепаханного фугасками. Черепичная скрепла битых крыш перемешалась с белой и синеватой землей, вывороченной из плас-

*Газета*

*«Красноармейская правда»,  
1945, 11 апреля*

тов, покоившихся на глубине ниже уровня моря, моря, что уже блеснуло за безобразными зубцами обрушенных стен и ломанным лесом мачт, труб и вышек пристани.

Дальше можно было пройти только пешком, как прошли здесь наши, добираясь до немцев, стрелявших, по выражению одного бойца, из воды, стоя по колено, по пояс в прибрежном мелководье. Надо было прыгать с камня на камень, с брони всаженного в землю танка на гусеницу, расстелившуюся ровной дорожкой еще на пять шагов к морю, с гусеницы на бревна засыпанного блиндажа, по лошадиной туще, хваченной пламенем и уже затоптанной сапогами.

Наконец море у самых ног, море, окаймленное чуть видным лесом знаменитой косы, замыкающей залив. Жаль, что оно не во всю свою ширь видно здесь.

Но все же море есть море. Голубое, близкое к цвету неба вдали и желтовато-серое, будто мыльное, у самого берега. оно тихо и мягко, но с присущей только морю скрытой силой и тяжестью поталкивает в каменную стену мола.

Немецкая каска, залитая наполовину, покачивается на мели, то черпая воду через край, то сплескивая ее через другой. Погромыхивают пустые гильзы орудийных снарядов, перекатываемые волной.

Журчit своим порядком весенний ручей, нечистый, как будто крашенный кирпичной пылью. Мокре тряпье, рвань и неизменная плесень серого пуха, намокшего и подсыхающего на солнце по всему берегу...

И все же море есть море, и его сырой и солоновато-мыльный, здоровый запах перебивает, если близко стоять, тяжелые запахи всяческой гари и разложения, столь знакомые всем на войне.

— А я, знаете, впервые его вижу, море.— признался с некоторым смущением офицер, чьи бойцы первыми вышли на этот берег и теперь охраняют его.— Все, знаете, как-то некогда было. То учеба, то работа, то служба, то война... Вот уже сорок лет окружается, а моря не видел, какое оно.

И очень многие, особенно молодые наши воины, с этого моря начали свое знакомство с тем, что составляет половину красы земной. У нас немало морей, но так велика страна, что можно прожить долгую жизнь, совершить не одно путешествие при современных средствах передвижения, прослыть заслуженно бывалым человеком и при всем том не успеть посмотреть моря...

Правее маленького городка с гаванью, которая была последней для немцев, припертых к воде, встретили мы на мысе Кальхольцер-Хакен троих наших бойцов, только что вышедших из боя, потому что не с кем уже было воевать на этом участке.

Невысокий, бледный от бессонья рядовой Михаил Медюк был из Белоруссии, сержант Николай Малышев, более видный, как говорится, со щеки парень, оказался волжанином, а высокий, но худощавый, под стать Медюку, Иван Шахлевич — не то из той же Белоруссии, не то с Украины.

Все трое — солдаты не первого года службы, люди, прошедшие из боя в бой от Москвы и Волги до этого Балтийского побережья, до этих болотистого вида камышей, откуда еще час назад в них стреляли немцы, — все трое видели море первый раз в жизни.

Может быть, лучше было бы увидеть его впервые не вдали от родины и не в горячке и напряжении трудного боя, а в мирное время, с террасы дома отдыха на крымском или кавказском побережье.

Но если суждено всякому человеку запомнить навсегда день и час первой встречи с морем, то добытая с бою встреча сухопутных русских, белорусских и иных советских людей с этим морем будет самой памятной и самой гордой датой их жизни.

Право, жаль, что оно в этих местах такое неказистое, болотистого вида, и не дает глазу того неоглядного простора, ограниченного только небом, какой обычно волнует душу на морском берегу.

И все же это море, какое оно есть, будет для тысяч наших людей самым памятным и прекрасным. Они дошли до него, сражаясь за свои земли, они увидели его как знамение конца одной из самых жестоких и щедрых славой битв Великой войны.

И разве не освящены эти воды тем, что мы пришли к ним, творя наше правое дело защиты Родины и возмездия за ее страдания? И разве эта земля, чуждая нам по всему, что было на ней, не полна кровью наших братьев? А о земле, что полна родной кровью, что пройдена нашими, советскими людьми в трудах и испытаниях долгих и страшных боев, — о такой земле мы долго будем вспоминать.

На взгорке, круто обрывающемся к мелководью поросшего камышом взморья, под березой, с трогательной опрятностью насыпанный и выровненный могильный холмик.

На нем еще нет того скромного знака памяти, какие сооружают на войне из белых досок, фанеры и медных снарядных стаканов. Может быть, в полуразбитом домике, что стоит на южном скате этого взгорка, сейчас составляется надпись на фанерной дощечке и заодно пишется извещение родным либо близким об одном из тех, кто уже не уедет отсюда со своим полком или батареей на другой участок продолжающейся борьбы.

Кругом праздник. В домике с осыпавшейся черепичной крышей кто-то нащупывает на оставленном немцами пианино какую-то нехитрую, но милую сердцу мелодию деревенского вальса. В далекой Москве уже написан и подписан приказ о завершении борьбы на этом побережье, на этом мысе с длинным и трудным названием Кальхольцер-Хакен. И в приказе не забыты торжественные и строгие слова о вечной памяти бойцам, павшим в боях за свободу и независимость Родины на любых рубежах, в любых землях, у любых побережий...

Пройдут годы и годы, и пусть имя воина, еще не обозначенное на белой либо красной дощечке намогильного знака, уйдет из обихода списков, упоминаний, скажем просто — забудется. Но чье-то сердце, чья-то неостывающая любовь и память — матери ли, возлюбленной или друга — долго и долго будет тянуться светлым лучом с восхода к этому безымянному взгорку над морем, к этой могиле под белой бересой — родным нашим деревом, выросшим так далеко на западе.

**В тот день,  
когда окончилась  
война**

В тот день, когда окончилась война  
И все стволы палили в счет салюта,  
В тот час на торжестве была одна  
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне.  
Под гром пальбы прощались мы впервые  
Со всеми, что погибли на войне,  
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине  
Мы не прощались так бесповоротно.  
Мы были с ними как бы наравне,  
И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войны  
В едином братстве воинском до срока,  
Суровой славой их озарены,  
От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,  
Исполненный величья и печали,  
Мы отделялись навсегда от них:  
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,  
Что нам уже не числиться в потерях.  
И, кросясь дымкой, он уходит в даль,  
Заполненный товарищами берег.

И, чуя там сквозь толщу дней и лет,  
Как нас уносят этих залпов волны,  
Они рукой махнуть не смеют вслед,  
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.

Вот так, судьбой своею смущены,  
Прощались мы на празднике с друзьями.  
И с теми, что в последний день войны  
Еще в строю стояли вместе с нами:

И с теми, что ее великий путь  
Пройти смогли едва наполовину.

И с теми, чьи могилы где-нибудь  
Еще у Волги обтекали глиной;

И с теми, что под самою Москвой  
В снегах глубоких заняли постели.  
В ее предместьях на передовой  
Зимою сорок первого; и с теми.

Что, умирая, даже не могли  
Рассчитывать на святость их покоя  
Последнего, под холмиком земли,  
Насыпанном не чуждою рукою.

Со всеми — пусть не равен их удел,—  
Кто перед смертью вышел в генералы.  
А кто в сержанты выйти не успел:  
Такой был срок ему отпущен малый.

Со всеми, отошедшими от нас,  
Причастными одной великой сени  
Знамен, склоненных, как велит приказ,—  
Со всеми, до единого со всеми.

Простились мы. И смолкнул гул пальбы,  
И время шло. И с той поры над ними  
Березы, вербы, клены и дубы  
В который раз листву свою сменили.

Но вновь и вновь появится листва,  
И наши дети вырастут и внуки.  
А гром пальбы в любые торжества  
Напомнит нам о той большой разлуке.

И не затем, что уговор храним.  
Что память полагается такая,  
И не затем, нет, не затем одним,  
Что ветры войн шумят не утихая.

И нам уроки мужества даны  
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.  
Нет, даже если б жертвы той войны  
Последними на этом свете были.—

Смогли б ли мы, оставив их вдали,  
 Прожить без них в своем отдельном счастье,  
 Глазами их не видеть их земли  
 И слухом их не слышать мир отчасти?

И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,  
 В конце концов, у смертного порога.  
 В себе самих не угадать себе  
 Их одобренья или их упрека?

Что ж, мы — трава? Что ж, и они — трава?  
 Нет, не избыть нам связи обоюдной.  
 Не мертвых власть, а власть того родства,  
 Что даже смерти стало неподсудно.

К вам, павшие в той битве мировой  
 За наше счастье на земле суровой,  
 К вам, наравне с живыми, голос свой  
 Я обращаю в каждой песне новой.

Вам не услышать их и не прочесть.  
 Страна в строку они лежат немыми.  
 Но вы — мои, вы были с нами здесь.  
 Вы слышали меня и знали имя.

В безгласный край, в глухой покой земли,  
 Откуда нет пришедших из разведки.  
 Вы часть меня с собою унесли  
 С листка армейской маленькой газетки.

Я ваш, друзья,— и я у вас в долгую.  
 Как у живых,— я так же вам обязан.  
 И если я, по слабости, соглу.  
 Вступлю в тот след, который мне заказан,

Скажу слова, что нету веры в них,  
 То, не успев их выдать повсеместно,  
 Еще не зная отклика живых,  
 Я ваш укор услышу бессловесный.

Суда живых — не меньше павших суд.  
 И пусть в душе до дней моих скончанья  
 Живет, гремит торжественный салют  
 Победы и великого прощанья.

*Дневники. Письма.  
1941-1945*

**3.V. 1945 (Рабочая тетрадь)**

<...> ...Тут от кого-то из типографии, через третью уста, нетвердо, но в полном согласии с догадкой дошло: Берлин взят, салют...

Это длилось по крайней мере минут 15-20.

Стреляло все, что могло как-то стрелять в городе, начиненном фронтовыми и прочими учреждениями. Явно не хватало ракет, которые выбрызгивались в небо кое-где, но зато трассы пуль, хоть не так стройно, опоясывали все небо, перекрещивались, одни ниже, другая выше. Охрана поезда начала из автоматов, не выдержали и все, в том числе я, стали разряжать нечищенные по году пистолеты в воздух. Необыкновенное, самозародившееся и незабываемое.

**Берлин\***

Не в самый полдень торжества  
Приходят лучшие слова...

И сердцу радостно и страшно  
Себя доверить той строке,  
В которой лозунг наш вчерашний  
Сегодня — ноша на штыке.

Отчизна, мать моя, сурово  
Не осуди, я слов ищу,  
И я лишь первые два слова  
Об этом празднике пишу

Я их сложил, как мог, в минуты  
Волненья, что лишает слов,  
Когда гремел салют салютов  
Из всех, какие есть стволов.

С твоими равными сынами  
Я плакал теми же слезами.  
Слезами радости, твой сын,  
Берлин, о Родина за нами.  
Берлин, товарищи, Берлин!

\*Впервые опубликованы как «Стихи без заглавия» в «Красноармейской правде» 3 мая 1945 г. Потом перепечатывались под названием «Берлин».

Завершая «Теркина» Александр Трифонович признавался:

Я хотел сказать иное,  
Мой читатель, друг и брат  
Как всегда, перед тобою  
Я, должно быть, виноват.

На помощь пришла проза. О ней отдельный, давно назревший разговор. Пока лишь один короткий текст, текст-раздумье, текст-покаяние: «В самой Германии». Его не пересказать.

Приведу лишь начало опубликованного и черновой набросок из рабочей тетради\*

\*Архив А.Т.Твордовского. Я признателен В.А.Твордовской за предоставленное мне право публикации.— М. Гефтер.

### I.

«Глубокая Германия, а снежные поля, вешки у дорог, колонны, обозы, солдаты — все как везде: как в воронежской степи, как под Москвой, как было в Финляндии.

Пожары, безмолвие... То, что могло лишь присниться где-нибудь у Погорелого Городища, как сладкий сон о возмездии. Помню, отъезжали на попутной машине от фронта с давно уже убитым капитаном Гроховским: горизонт в заревах, грохот канонады, а по сторонам шоссе осенняя мгла, пустые, темные хаты. Помню живую боль в сердце: «Россия, Россия-страдалица, что с тобой делают!»

Но тот сон о возмездии, явясь он тогда, был бы слаще того, что видишь теперь в натуре.

«Ломать — не строить», — все чаще вспоминаются эти невыразимо вместиительные слова солдата-дорожника».

### II.

«15.III.45. Бишдорф, в день отъезда»

«Для меня война, как мировое бедствие, страшнее всего, пожалуй <...>, личным, внутренним неучастием в ней милли-

онов людей, подчиняющихся одному богу — машине государственного подчинения.

Дрожа перед ней за свою шкуру, за свою маленькую жизнь, маленький человечек (немец ли, не немец — какая разница) идет на призывный пункт, едет на фронт и т.д. И если б хоть легко было сдаться в плен, плонув на фюрера и прочее...

Можно, конечно, страдать от того, что происходит множество безобразий, ненужной и даже вредной жестокости (теперь только вполне понятно, как вели себя немцы у нас, когда мы видим, как мы себя ведем, хотя мы не немцы). Можно быть справедливо возмущенным тем, например, что на днях здесь отселяли несколько семей от железной дороги, дав им на это три часа сроку, и разрешив «завтра» приехать с саночками за вещами, а в течение ночи разграбили, загадили, перевернули вверх дном все, и когда ревущие немки кое-что уложили на саночки — у них таскали еще что понравится прямо из-под рук. Можно. Даже нельзя не возмущаться и не страдать от того, например, что в 500 метрах отсюда на хуторе лежит брошенный немцами мальчик, раненный, когда проходили бои, в ногу (раздроблена кость) и гниющий безо всякой помощи и присмотра. И тем, что шофер мимоездом говорит тебе: вот здесь я вчера задавил немку. На-смерть? — На-смерть! — говорит он таким тоном, как будто ты хотел оскорбить, предположив, что не насмерть. И еще многим. Но как нельзя на всякого немца или немку возложить ответственность за то, что делали немцы в Польше, России и т.д., и приходится признать, что все, сопутствующее оккупации, почти неизбежно, так же нельзя. наивно думать, что наша оккупация, оправданная к тому же тем, что она п о т о м, после, в отмщение,— что она могла бы проходить иначе».

...Вот оно, где и как аукнулось 22 июня — словами нашего великого поэта, расчитанными не на потомков, однако не только не лишними для них, но пришедшими в Сегодня, как будто их ждали. Или вернее — позабыли и вновь нашли.

А ими — нам: чтите чужую боль,  
чтобы превзмочь собственную!

&lt;...&gt;

С начала 90-х длилась и не иссякала перекличка с сороковыми, с 1945-м.

Еще раз (и, надо думать, окончательно) завершилась война в Европе. Пять с лишним кровавых лет и полстолетия вслед им — больше, чем ЭПОХА.

Люди живут уже в другом Мире, однако в такой степени обременены наследием прошлого, что иной раз кажется: только вчера прогремел последний залп и были преданы земле останки последнего из погибших.

Если попытаться свести в формулу содержание той битвы, не забывая при этом ее последствий, проникших в сознание и повседневность людей, где бы они ни жили, то я думаю, не ошибусь, сказав, что этим суммарным итогом явилось спасение от страшной и дерзкой попытки спровоцировать род человеческий на САМОУНИЧТОЖЕНИЕ. Тоталитаризм — синоним этой попытки.

Она, правда, не была первой. Можно допустить, что позыв прерваться таится в роде ГОМО изначально. Можно представить и весь путь человека как обуздание в себе убийцы, а стало быть, и как превозможание в себе жертвы. Можно, наконец, увидеть в XX-м веке если не финальный «момент» этого противоборства, то преддверие КОНЦА, придающее пронзительную остроту проблеме фундаментального нового НАЧАЛА.

Мне нет нужды доказывать, что, держась сказанного, я отнюдь не собираюсь наградить мистическим nimбом банальное злодейство. Но не хочу и упрощать. Ибо за упрощение плата не менее тяжкая, чем за уклончивость изысканной рефлексии.

Мы продолжаем спрашивать себя: кто загадочнее — Гитлер или Сталин. они оба, либо то человеческое множество, которое шло за ними, повинуясь им, и не только страха ради?

На этот вопрос уже дано немало ответов, высказано много интересных суждений. Однако вопрос живет, пополняемый свежим опытом. Сегодня к нему взвывает не одно лишь прошлое. И даже не только кровь настоящего. Вопрос жив неопределенностью завтрашнего дня.

Мир выбирается, хотя еще и не освободился окончательно, из пут «холодной войны». А она, помимо всего прочего, выявила уязвимые места антинацистской Победы. Нет слов: природа недовершенности «послевоенного устройства» была не та в 1945-м, что в 1991-м. Тем не менее я полагаю,

что общность есть. Она — в атавизме средств, употребленных для осуществления цели, близкой к мечте (и к идее) в вечного мира.

Историей доказано: любая geopolитика ненадежна и раньше или позже взрывает даже благородные намерения. Выход же не в отмене границ, не в упразднении родословных, не в отчуждении суверенитетов. Выход, если он есть,— в том, чтобы совместными усилиями людей и народов одолеть рожковую связку между комплексами «превосходства» и пароксизмами социального отчаяния,— связку, которая заново даст шанс импровизированным лидерам, готовым заместить пустоту альтернативы наготовы насилия. Континент, прошедший зловещий опыт 1930-х, как будто убережен от повтора. Но стоит ли предаваться иллюзиям, держа перед глазами скованную одной судьбой планету? В последнем счете всё в человеческих делах упирается в неустранимый и возобновляемый вновь и вновь спор свободы и равенства, а также в спор между верховенством родового единства и приоритетом жизнетворящих различий. Пока есть место этому двухголовому спору, есть «почва и воздух» для спорящих, то есть — для людей.

...Я вынес эти бегло высказанные мысли в качестве урока из жизни своего поколения, следы которого на братских кладбищах Европы. Там, на этих кладбищах, люди всех языков, вер, убеждений. И больше всего тех, кто родом из Германии, и еще больше — из нашей отечественной Евразии. Мертвые сближают живых, если живые не утратили дара общения с мертвыми, великого дара по имени ПАМЯТЬ. Если никогда не лишнее, то сегодня нет ничего насущнее, чем защитить ее от кровенного забвения и от затаптывания спекуляциями любого цвета.

Ответ историка на этот зов времени — строгое исследование и открытость непознанному. Вопросам и людям.

Боже мой, как давно было то 22 июня! Сколь далеко от Мира Всеобщей декларации прав и Делийской хартии, от Мира, который трудно идет вперед, но все же движется к уяснению для себя истины Третьего тысячелетия — быть человечеству только многосоставным и многоосновным: сотрудничеством несовпадающих векторов развития.

Быть — либо не быть. Иного выбора нет. А за спиной этого — миллионы мертвых. Тех и этих. Павших в последней мировой и близко, совсем близко

к нам. Новочеркасск и Тяньаньмэнь, Персидский залив и Эфиопия, сраженный пулей Джон Кеннеди и разорванный бомбой Раджива Ганди, жертвы Кабула и Вильнюса, Тираны и Алжира... Смертию породнившиеся. От них не отстраниться памятниками. Их стоны и даже шепот — перекрывают все реквиемы. Они требуют от нас — раньше всего другого (и ради другого) — обуздать убийство.

Вчера и Завтра — глаз в глаз. Что определенное и непонятней ныне, чем смена предшествования предстоящим? Что показанней и недоступнее, чем человеческая жизнь как таковая!

...Коси, коса.

Пока роса.

Роса долой

И мы домой.

**Мы — дома.**

Теперь его надо сделать ДОМОМ.

1991

# ЖИЗНЬЮ ТЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК

А.Твардовский

М.Гефтер

А. Твардовский — Марии Илларионовне, жене.  
Москва — Чистополь (письмо второе, с окашей)

8.VII. 1942

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН  
книга про бойца

215

216 Да будет болью боль

223

301 «Потерял и уберёг»



**А. Твардовский — Марии Илларионовне, жене.  
Москва — Чистополь (письмо второе, с окацией)**  
**8.VII. 1942**

...Итак, я в Москве до 1 августа. Эта командировка «для выполнения спец. задания», иными словами — для работы над поэмой. Как и почему все это получилось, ... не знаю сам...

«Командировка» может быть вдруг прервана, меня могут «отозвать», но это только возможность, а пока что я работаю. И это для меня сейчас главное.

...Тут не поймешь, чего желать, чего не желать в личном плане. Меня прогнали с Юго-Западного, я очень мучился этим, а может быть, меня уже не было бы в живых, как нет уже многих наших товарищей. Немец рвется к Воронежу. И еще одна вещь, которая склоняет к некоему житейскому фатализму. Назначение в «Красноармейку» было для меня несчастьем. Но именно в поезде этой редакции, лежа на нижней полке писательского купе, я вдруг решил возвратиться к «Теркину», а сейчас эта работа мне представляется моим подвигом (в случае успеха) на этой войне. Мне сейчас понятно мое тяжелое настроение всех этих месяцев. Это было сознание того, что я делаю не то, не главное, не то, что должен делать именно я. А сейчас у меня именно это чувство. Я пишу, как я хочу, и знаю, что без всякой дидактики штука эта будет очень нужна и полезна. И люди, услыхавшие первые ее отрывки (по существу, прошлогодние, лишь обновленные сейчас), всечувствовали что-то и все кругом хотят этой книги. Чтоб тебе немного дать представление об этой работе — вот тебе черновик вступления, в котором ты найдешь много знакомых тебе строк, но, может быть, почувствуешь, что все это звучит по-иному, чем звучало раньше.

<...>

**Из Дневников и писем. 1941-1945**

М. Гефтер

Да будет болью боль

Твардовский — зрелый, закатный и не сводим к раннему, и трудно, едва ли выводим оттуда. ГДЕ ПЕРЕЛОМ? Их было несколько, но главный, коренной один.

«Дотеркинский» и пост-теркинский. Два Твардовских.

1942 — дата. Конечно же, масштаб народного горя и повышенная отзывчивость к нему многое объясняет, но все ли? Через ЧТО ПЕРЕШАГНУЛ в себе?

Вина!!

Не единственный ли он тогда, в гуще событий, у кого горе и вина сблизились, порождая искру... Мало этого. Дальше, вглубь. Искра — не стенание, а эпос, требующий внутренней свободы.

Теркин — тот, кто есть: чертами, кусками, бессознательным порывом, бытом. И — тот кого нет: осознанием ( заново или впервые) обретенной свободы, человеческого выбора — выбора, совершающего человеком, какого вылепила жизнь при «Советах», после и в итоге Октября, по которому прошелся зримо и незримо, извне и изнутри сталинский выравнивающий каток.

«Кузнец собственного счастья» в годину небывалого народного горя.

Без ФУНКЦИИ! Обыкновенный — и сам себе голова!!

Вполне «наш» — и человек ВООБЩЕ!!

Чего не хватает герою и что есть у автора?

Вина — вход в свободу. Стихийная десталинизация 41-го — 42-го превращается в единственное Слово. В эпос, смягченный шуткой. В исторический сангвинизм Человека, оттененный постоянным соседством со Смертью. В «почти» фольклорное ощущение аборигена, через судьбу которого пройдет и ЭТА эпоха, видоизменив, возвысив и покорежив его, но не заместив до конца собою — своею временностью.

Герой не мужик, хотя из деревни родом. Он сам по себе ЗЕМЛЯ!

И эта раздвижка его судьбы, его жизни в биографию = ЖИЗНЬ ПОЭТА.

Но смерть, смерть... Рядом, вблизи, внутри. Уяснение = открытие жизни (и смысла, и красоты, и трагичности ее) через смерть, что равно превозмоганию смерти — таков нерв высокой поэзии.

Не ради того ли — поэзия в отличие от многоименного, миллионнотиражного версификаторства?

Судьба Онегина — судьба Пушкина

Судьба Теркина — судьба Твардовского

Будто ничего общего.

Ан нет. Общее: герои обречены на смерть.

Поэты выживают Словом, близясь к гибели.

---

Твардовский сам в своей поэме сказал слова, которые я бы поставил эпиграфом ко всему в нем:

«Да будет камнем камень,

Да будет болью боль».

Он нашел себя — нашел в «Теркине», но и «Теркин» нашел себя в этой же страшной коллизии войны.

---

«Теркина» я принял сразу — и в заслугу себе это не поставишь — приятие его было всеобщим, или почти всеобщим. Но кое-что все-таки нуждается в пояснении. Почему пришелся по душе «Теркин» мне — городскому начинаяющему интеллигенту, студенту, еврейскому мальчику, далекому совершенно от всяких крестьянских радостей и горестей, быта и уклада той жизни, из недр которой вышел Теркин? Что породнило и не только тогда, но с ним породнило навсегда? Попробую произвести реставрацию, реконструкцию ощущений моих того времени и взглядов на этот образ, на поэму и на ее автора.

Во втором томе собрания сочинений Твардовского, в послесловии, о «Теркине» точно и интересно написал Юрий Григорьевич Бургин. Там есть одна мысль, которая мне кажется центральной: люди войны, миллионы разных, не вполне подчас подготовленных к битвам, вовлеченные в новое для себя дело неожиданной стихийной силой, нуждались в том, чтобы нечто их объединило. Соединило не только властью приказа, властью команды, но изнутри — как людей в едином испытании смертью. Соединило (разных ощущением жизни, принятием или неприятием чего-то в ней) отношением

к жизни, которое помогло бы преодолевать страх и ужас перед накатившейся, обступившей со всех сторон смертью. Да,— здесь угадано и мое собственно ощущение Теркина того времени. Я не говорю о другом: о силе стиха, о редком свойстве перехода от трагичного к смешному,— каким владели только гиганты слова. (Такие переходы мы находим у Шекспира, Достоевского, Пушкина...) Я не об этом сейчас — просто поясняю собственное отношение. Мне кажется, мысль Буртина могла бы быть продолжена.

К своему тогдашнему ощущению я добавляю нынешнее, соединяя их воедино... В той страшной военной рубке, в той невероятной схватке со смертью, что пришла на нашу землю, столкнув нас с нею неподготовленными (в разных смыслах и отношениях), Твардовский выразил то, что испытали по-своему, что ощутили по-разному, осознали или почувствовали неосознанно большинство живших на этой земле. В их числе миллионы людей и его — срединного, безвекторного поколения.

Ведь в конце концов кто такой Теркин? Разве в самом деле похож он на того бравого солдатика, каким изображали его привычно на обложках многостражных изданий?

Необычайно конкретен он, герой «поэмы про бойца», предметен в подробностях быта, но вместе с тем нет специальных описаний ни возраста, ни профессии. Всользь лишь пара деталей, что проливают свет на биографию. Он предстает то говорящим от своего имени, то с ним разговаривает автор, то он словно присутствует в каких-то других персонажах.

Но характер ясен, отчетлив, а в нем главное: герой Твардовского поразительно и удивительно свободный человек. Думаю, как раз это и есть его главное свойство. Поэт выявил, что неприметно и полусознательно ощущалось многими и проявлялось в поведении и чувствах гигантской массы самых разных людей. Они обрели свободу решать самый главный, коренной и изначальный человеческий вопрос: **о смерти и жизни**.

Почему Теркин воплощает в себе всех — «воюющий народ»?

Да потому именно, что он в такой степени отделен, индивидуален, что его невозможно представить себе одним из..., каждым, просто: «типичным образом в типичных обстоятельствах».

Образ, Слово раздвигают пределы человека, не делая его ни архаичным богатырем, ни суперменом современной складки.

Он лично, от себя, ведет войну, поскольку война ведется против него лично, против него как такового.

Это и древнее, и совсем новое.

Теркин — в человеческой плоти дух освобожденной тяги человека быть распорядителем собственной судьбы. Можно назвать это гигантской стихийной десталинизацией, которую вызвали роковые неудачи, катастрофы первых лет войны. Могу призвать тому в доказательство множество фактов, обстоятельств, биографий. Но опускаю сейчас, ибо уверен в правоте своего предположения. Теркин прежде всего сам себе хозяин. И у него в напарниках только одна стихийно противостоящая ему война — суммированная, сконденсировавшая человеческое бедствие и страшным образом повелевающая судьбами. Ей, её распорядительной силе он противостоит как хозяин самому себе и потому как свободный человек. В передаче ощущения этой свободы — редчайшее достижение поэтического гения Твардовского, который и сам себя в нем ощутил свободным. Это вроде исторического возмездия за 30-е годы. Мысль, которая может показаться кощунственной: неужели требовалось принести в жертву еще большие миллионы, чем было в 30-е, чтобы выровнялись весы справедливости? Страшно сказать, но так. Это даже не возмездие — тут другое слово — искушение.

Твардовский, переживший вместе со всеми 30-е, Твардовский, избавивший собственную обидную бесприютность, нашел внутреннюю свободу своему поэтическому дару в этом кромешном аде войны. Он здесь тоже искупает, как искупали мы все (вне зависимости от роли, возраста и положения) свои 30-е годы. В этом я вижу колоссальное, я бы сказал, философско-историческое значение «Теркина», нуждающееся еще, конечно, в обсуждении и анализе, подкреплении разбором движения текста и его концом — местом обрыва повествования.

«Теркин» не случайно заново начат в 42-м: возможность выбирать самостоятельно между гибелью и жизнью могла прийти лишь после страшных испытаний 41-го и 42-го годов.

У обретенной свободы оказалось, как у монеты, две стороны: опущение свободы — орел этой монеты, а решкой явилась свобода убивать.

Хороший ли человек Теркин? И не скажешь. Прекрасный в одном, но способный быть дурным в ином. То есть он — как и мы. И оттого у Твардовского вдосталь тонкости и силы вложить в отношение к Теркину не только восхищение, но и иронию. Ирония то там, то тут. И теплая ирония эта, а отчасти и горькая. Она, еще не доведенная даже им самим, Твардовским, до осознания, что только внутреннее освобождение — и автора и героя —

только это могло породить образ Теркина — двойника автора, отличающегося от него одним: словом, как Твардовский-поэт, тот не владел.

Теркин будто весь в настоящем.

Прошлое его не мучит, не тянет к себе, будущее не озабочивает всерьез.  
**НО ТАК ЛИ?**

Он — отдельно и вместе с другими.

Он — «все», но не «каждый».

Нет коллизии разлада, но есть какая-то добавка, выделяющая его из всех: добавка ЖИВУЧЕСТИ без увертывания от судьбы, добавка УМЕЛОСТИ в «войне-работе», стихийного чувства ответственности и «артельности» (все воюющие = артель, община, мир, все его...) Он из истории, но не повторением, а загадкою: не оборвется ли (вновь!) эта связь всех, заместившись ( заново!!) лестницей зависимостей, иерархий подчинения и возвышения (и возвышения — это NB, ибо речь идет о социуме власти!!!)

Не-наградной Теркин в этом смысле особый, в принципе отдельный...

«Жизнью тертый человек» — таков он прежде всего остального. Да и не мог быть другим. Другому бы не сладить с тяготами войны, другому не поддержать тех, кто рядом,— жертвы непонятной, жуткой «внезапности»... А остального, что ДО ВНЕ СВЕРХ, собственно, и нет. Только он и Война, их встреча, спор, поединок. Не сюжет и не притча эта книга, а что-то сродственное при непохожести изначальному российскому пушкинскому «роману в стихах».

Стремительный зачин, неожиданный обрыв. «Без начала, без конца» — не прием, не жанр, а принцип, взгляд на человека и на тогдашний Мир... Мы можем только догадываться, чем жизнь «терла» этого интеллигента из крестьян либо крестьянина-интеллигента (складом речи и строем поступка). «Из запаса» — значит, не юнец, значит, хлебнул вдосталь от Тридцатых. Был на финской, на «войне незнаменитой», оттуда вынес и урок выживания, и горестные зарубки памяти; как и его друг-автор, «постарел» там за считанные месяцы и недели. Нет, позади столь много, что почти пусто. Память самозащитной конвульсией вытесняет обиды и утраты.

Прошлое живет в Теркине двумя чувствами, подкрепляющими и теснящими друг друга. Это то уходящее, то вновь накатывающееся ощущение вины — и жажда возмездия: от её отступательного крещендо к ее уга-

санию на чужой земле. Эти два чувства уплотнились в пароль-присказку, поднимающую человека под огнем. Не «за Родину, за Сталина», а — «ПЕРЕТЕРПИМ. ПЕРЕТРЕМ...» Отсеченное прошлое — отлученная власть. Кроме Бога — лишь свой генерал, старший не столько чином, сколько годами («На войне — никто, как он. / Твой ЦК и твой Калинин. / Суд. Отец. Глава. Закон»...) Можно, оказывается, отсечь власть, став на время свободным. Миг свободы определяется человеком и смертью.

Смерть не загробна, она тут как тут, она в буднях, она — напарник. От великой «Переправы» к солнечному сплетению поэмы, к главе «Смерть и воин», — движение главной мысли: жизнь удастся отстоять, лишь сохранив ее Жизнью. С Карельского, с реки Сестры — ниточка. «И увиделось впервые./ Не забудется оно:/ Люди теплые, живые / Шли на дно, на дно, на дно...» Неумолимо. И этому нельзя покориться.

И «неподобранный» Теркин чуть не сдался на доводы Смерти, зовущей в свою страну обетованную. Осталось лишь одно спорным — свидание с любими.

«...Смерть, а Смерть, еще мне там  
Дашь сказать одно словечко?  
Полсловечка?  
— Нет. Не дам...»

Разрыв — на поприще Слова.

Слово отдать — предать Смерти жизнь. Но разве Слово не было уже отдано, не было предано там, где отныне пустошь отечественного «до-войны»? Как и у гениального казанского математика, у Александра Твардовского «из точки вне прямой» исходит не одна прямая, не пересекающая данной. Важно лишь иметь эту «точку» за пределами раз и навсегда затверженной прямой. В поисках этой «точки» сошлись поэт и его герой. Они не противники постоктябрьской прямой. Ничуть. Они лишь не могут исчерпаться ею. Они в пути к «Дому у дороги», к малой отчизне, которая на поверхку оказывается больше необъятно-пространственной державы.

Война Теркина и Твардовского не тщится продвигать границы. Вернуть бы захваченное из родного, освоенного поколениями, из того, что в один узел стянули освободительный порыв и новый натиск обесчеловечивания. Искупить бы вину перед брошенными на произвол судьбы. Возмездие — не клик и не кровь сама по себе, а работа, особая чудовищно-странная военная страда.

Свобода решать свою судьбу, как и смерть — мгновенна.

Продлить ли ее до стен Берлина? И как?



А.Т. ТВАРДОВСКИЙ, 1940-е годы.

А.Твардовский  
ВАСИЛИЙ ТЕРКИН  
книга про бойца

*От автора*

На войне, в пыли походной,  
В летний зной и в холода,  
Лучше нет простой, природной —  
Из колодца, из пруда.  
Из трубы водопроводной,  
Из копытного следа.  
Из реки, какой угодно,  
Из ручья, из-подо льда,—  
Лучше нет воды холодной.  
Лишь вода была б — вода.  
На войне, в быту суровом.  
В трудной жизни боевой,  
На снегу, под хвойным кровом.  
На стоянке полевой.—  
Лучше нет простой, здоровой.  
Доброй пищи фронтовой.

Важно только, чтобы повар  
Был бы повар — парень свой:  
Чтобы числился недаром.  
Чтоб подчас не спал ночей.—  
Лишь была б она с наваром  
Да была бы с пылу, с жару —  
Подобрей, погорячей:  
Чтоб идти в любую драку.  
Силу чувствуя в плечах,  
Бодрость чувствуя.  
Однако  
Дело тут не только в щах.

Жить без пищи можно сутки.  
Можно больше, но порой  
На войне одной минутки  
Не прожить без прибаутки,  
Шутки самой немудрой.

Не прожить, как без махорки.  
От бомбекки до другой  
Без хорошей поговорки  
Или присказки какой,—

Без тебя, Василий Теркин,  
Вася Теркин — мой герой.  
А всего иного пуще  
Не прожить наверняка —  
Без чего? Без правды сущей.  
Правды, прямо в душу бьющей.  
Да была б она погуще,  
Как бы ни была горька.

Что ж еще?.. И все, пожалуй.  
Словом, книга про бойца  
Без начала, без конца.

Почему так — без начала?  
Потому, что сроку мало  
Начинать ее сначала.

Почему же без конца?  
Просто жалко молодца.

С первых дней годины горькой,  
В тяжкий час земли родной  
Не шутя, Василий Теркин,  
Подружились мы с тобой.

Я забыть того не вправе.  
Чем твоей обязан славе,  
Чем и где помог ты мне.  
Делу время, час забаве.  
Дорог Теркин на войне.

Как же вдруг тебя покину?  
Старой дружбы верен счет.

Словом, книгу с середины  
И начнем. А там пойдет.

### На привале

— Дельный, что и говорить.  
Был старик тот самый,  
Что придумал суп варить  
На колесах прямо.  
Суп — во-первых. Во-вторых,  
Кашу в норме прочной.  
Нет, старик он был старик  
Чуткий — это точно.

Слыши, подкинь еще одну  
Ложечку такую,  
Я вторую, брат, войну  
На веку воюю.  
Оцени, добавь чуток.

Покосился повар:  
«Ничего себе едок —  
Парень этот новый».  
Ложку лишнюю кладет,  
Молвит несердито:  
— Вам бы, знаете, во флот  
С вашим аппетитом.

Тот: — Спасибо. Я как раз  
Не бывал во флоте.  
Мне бы лучше, вроде вас.  
Поваром в пехоте. —  
И, усевшись под сосной,  
Кашу ест, сутулясь.

«Свой?» — бойцы между собой, —  
«Свой!» — переглянулись.

И уже, пригревшись, спал  
Крепко полк усталый.  
В первом взводе сон пропал,  
Вопреки уставу.  
Привалясь к стволу сосны,  
Не щадя махорки,  
На войне насчет войны  
Вел беседу Теркин.

— Вам, ребята, с серединки  
Начинать. А я скажу:  
Я не первые ботинки  
Без починки здесь ношу.  
Вот вы прибыли на место,  
Ружья в руки — и воюй.  
А кому из вас известно,  
Что такое сабантуй?

— Сабантуй — какой-то праздник?  
Или что там — сабантуй?

— Сабантуй бывает разный,  
А не знаешь — не толкуй.  
Вот под первою бомбежкой  
Полежиши с охоты в лежку.  
Жив остался — не горюй:  
Это — малый сабантуй.

Отдышись, покушай плотно.  
Закури и в ус не дуй.  
Хуже, брат, как минометный  
Вдруг начнется сабантуй.  
Тот проймет тебя поглубже.—  
Землю-матушку целуй.  
Но имей в виду, голубчик,  
Это — средний сабантуй.

Сабантуй — тебе наука,  
Враг лютует — сам лютуй.  
Но совсем иная штука  
Это — главный сабантуй.

Парень смолкнул на минуту.  
Чтоб прочистить мундштучок.  
Словно исподволь кому-то  
Подмигнул: держись, дружок...

— Вот ты вышел спозаранку.  
Глянул — в пот тебя и в дрожь:  
Прут немецких тыща танков...  
— Тыща танков? Ну, брат, врешь.

— А с чего мне врать, дружище?  
Рассуди — какой расчет?  
— Ну зачем же сразу — тыща?  
— Хорошо. Пускай пятьсот.

— Ну, пятьсот. Скажи по чести.  
Не пугай, как старых баб.  
— Ладно. Что там триста, двести —  
Повстречай один хотя б...

— Что ж, в газетке лозунг точен:  
Не беги в кусты да в хлеб.  
Танк — он с виду грозен очень.  
А на деле глух и слеп.

— То-то слеп. Лежишь в канаве.  
А не сердце маята:  
Вдруг как сослепу задавит.—  
Ведь не видит ни черта.

Повторить согласен снова:  
Что не знаешь — не толкуй.  
Сабантуй — одно лишь слово —  
Сабантуй!.. Но сабантуй  
Может в голову ударить,  
Или попросту, в башку.  
Вот у нас один был парень...  
Дайте, что ли, табачку.

Балагуру смотрят в рот.  
Слово ловят жадно.  
Хорошо, когда кто врет  
Весело и складно.

В стороне лесной, глухой,  
При лихой погоде.  
Хорошо, как есть такой  
Парень на походе.

И несмело у него  
Просят: — Ну-ка на ночь  
Расскажи еще чего,  
Василий Иваныч...

Ночь глуха, земля сыра.  
Чуть костер дымится.

— Нет, ребята, спать пора,  
Начинай стелиться.

К рукаву припав лицом,  
На пригретом взгорке  
Меж товарищей бойцов  
Лег Василий Теркин.

Тяжела, мокра шинель,  
Дождь работал добрый.  
Крыша — небо, хата — ель,  
Корни жмут под ребра.

Но не видно, чтобы он  
Удручен был этим.  
Чтобы сон ему не в сон  
Где-нибудь на свете.

Вот он полы подтянул,  
Укрывая спину.  
Чью-то тещу помянул,  
Печку и перину.

И приник к земле сырой,  
Одолен истомой,  
И лежит он, мой герой,  
Спит себе, как дома.

Спит — хоть голоден, хоть сыт,  
Хоть один, хоть в куче.  
Спать за прежний недосып,  
Спать в запас научен.

И едва ль герою снится  
Всякой ночью тяжкий сон:  
Как от западной границы  
Отступал к востоку он:

Как прошел он, Вася Теркин,  
Из запаса рядовой.  
В просоленной гимнастерке  
Сотни верт земли родной.

До чего земля большая,  
Величайшая земля.  
И была б она чужая,  
Чья-нибудь, а то — своя.

Спит герой, хранит — и точка.  
Принимает все, как есть.  
Ну, своя — так это же точно.  
Ну, война — так я же здесь.

Спит, забыв о трудном лете.  
Сон, забота, не бунтуй.  
Может, завтра на рассвете  
Будет новый сабантуй.

Спят бойцы, как сон застал,  
Под сосной впокат.  
Часовые на постах  
Мокнут одиноко.

Зги не видно. Ночь вокруг:  
И бойцу взгрустнется.  
Только что-то вспомнит вдруг,  
Вспомнит, усмехнется.

И как будто сон пропал,  
Смех прогнал зевоту.

— Хорошо, что он попал,  
Теркин в нашу роту.

\* \* \*

Теркин — кто же он такой?  
Скажем откровенно:  
Просто парень сам собой  
Он обычновенный.

Впрочем, парень хоть куда.  
Парень в этом роде  
В каждой роте есть всегда,  
Да и в каждом взводе.

И чтоб знали, чем силен.  
Скажем откровенно:  
Красотою наделен  
Не был он отменной.

Не высок, не то чтоб мал,  
Но герой — героем.  
На Карельской воевал —  
За рекой Сестрой.

И не знаем почему.—  
Спрашивать не стали,—  
Почему тогда ему  
Не дали медали.

С этой темы повернем.  
Скажем для порядка:  
Может, в списке наградном  
Вышла опечатка.

Не гляди, что на груди.  
А гляди, что впереди!

В строй с июня, в бой с июля,  
Снова Теркин на войне.

— Видно, бомба или пуля  
Не нашлась еще по мне.

Был в бою задет осколком,  
Зажило — и столько толку.  
Трижды был я окружен.  
Трижды — вот он! — вышел вон.

И хоть было беспокойно —  
Оставался невредим  
Под огнем косым, трехслойным,  
Под навесным и прямым.

И не раз в пути привычном,  
У дорог в пыли колонн.  
Был рассеян я частично.  
А частично истреблен...

Но, однако.  
Жив вояка.  
К кухне — с места, с места — в бой.  
Курит, ест и пьет со смаком  
На позиции любой.

Как ни трудно, как ни худо —  
Не сдавай, вперед гляди.

Это присказка покуда.  
Сказка будет впереди.

### Перед боем

— Доложу хотя бы вкратце.  
Как пришлось нам в счет войны  
С тыла к фронту пробираться  
С той, с немецкой стороны.

Как с немецкой, с той заречной  
Стороны, как говорят,  
Вслед за властью за советской.  
Вслед за фронтом шел наш брат.

Шел наш брат, худой, голодный.  
Потерявший связь и часть,  
Шел поротно и повзводно,  
И компанией свободной.  
И один, как перст, подчас.

Полем шел, лесною кромкой.  
Избегая лишних глаз.  
Подходил к селу в потемках.  
И служил ему котомкой  
Боевой противогаз.

Шел он, серый, бородатый.  
И, цепляясь за порог,  
Заходил в любую хату.  
Словно чем-то виноватый  
Перед ней. А что он мог!

И по горькой той привычке,  
Как в пути велела честь,  
Он просил сперва водички,  
А потом просил поесть.

Тетка — где ж она откажет?  
Хоть какой, а все ж ты свой.  
Ничего тебе не скажет.  
Только всхлипнет над тобой.  
Только молвит, провожая:  
— Воротиться дай вам бог...

То была печаль большая,  
Как брели мы на восток.

Шли худые, шли босые  
В неизвестные края.  
Что там, где она, Россия,  
По какой рубеж своя!

Шли, однако. Шел и я...

Я дорогою постылой  
Пробирался не один.  
Человек нас десять было.  
Был у нас и командир.

Из бойцов. Мужчина дельный,  
Местность эту знал вокруг.  
Я ж, как более идейный,  
Был там как бы политрук.

Шли бойцы за нами следом,  
Покидая пленный край.  
Я одну политбеседу  
Повторял:  
— Не унывай.

Не зарвемся, так прорвемся.  
Будем живы — не помрем.  
Срок придет, назад вернемся,  
Что отдали — все вернем.

Самого б меня спросили,  
Ровно столько знал и я.  
Что там, где она, Россия,  
По какой рубеж своя?

Командир шагал угрюмо.  
Тоже, исподволь смотрю,  
Что-то он все думал, думал...  
— Брось ты думать, — говорю.

Говорю ему душевно.  
Он в ответ и молвит вдруг:  
— По пути моя деревня.  
Как ты мыслишь, политрук?

Что ответить? Как я мыслю?  
Вижу, парень прячет взгляд.  
Сам поник, усы обвисли.  
Ну, а чем он виноват,  
Что деревня по дороге,  
Что душа заныла в нем?  
Тут какой бы ни был строгий,  
А сказал бы ты: «Зайдем...»

Встрепенулся ясный сокол,  
Бросил думать, начал петь.  
Впереди идет далеко,  
Оторвался — не поспеть.

А пришли туда мы поздно,  
И задами, коноплей,  
Осторожный и серьезный,  
Вел он всех к себе домой.

Вот как было с нашим братом.  
Что попал домой с войны:  
Заходи в родную хату,  
Пробираясь вдоль стены.

Знай вперед, что толку мало  
От родного угла,  
Что война и тут ступала,  
Впереди тебя прошла,

Что тебе своей побывкой  
Не порадовать жену:  
Забежал, поспал урывком,  
Догоняй опять войну...

Вот хозяин сел, разулся,  
Руку правую — на стол.  
Будто с мельницы вернулся,  
С поля к ужину пришел.  
Будто так, а все иначе...  
— Ну, жена, топи-ка печь,  
Всем довольствием горячим  
Мне команду обеспечь.

Дети спят. Жена хлопочет,  
В горький, грустный праздник свой.  
Как ни мало этой ночи,  
А и та — не ей одной.

Расторопными руками  
Жарит, варит поскорей,  
Полотенца с петухами  
Достает, как для гостей.

Напоила, накормила,  
Уложила на покой,  
Да с такой заботой милой,  
С доброй ласкою такой.  
Словно мы иной порою  
Завернули в этот дом.  
Словно были мы героями,  
И не малые притом.

Сам хозяин, старший воин.  
Что сидел среди гостей,  
Вряд ли был когда доволен  
Так хозяйкою своей.

Вряд ли всей она ухваткой  
Хоть когда-нибудь была.  
Как при этой встрече краткой,  
Так родна и так мила.

И болел он, парень честный,  
Понимал, отец семьи,  
На кого в плену безвестном  
Покидал жену с детьми...

Кончив сборы, разговоры,  
Улеглись бойцы в дому.  
Лег хозяин. Но не скоро  
Подошла она к нему.

Тихо звякала посудой.  
Что-то шила при огне.  
А хозяин ждет оттуда,  
Из угла.

Неловко мне.

Все товарищи уснули,  
А меня не гнет ко сну.  
Дай-ка лучше в карауле  
На крылечке прикорну.

Взял шинель, да, по присловью.  
Смастерил себе постель  
Что под низ, и в изголовье,  
И наверх, — и все — шинель.

Эх, суконная, казенная.  
Военная шинель, —  
У костра в лесу прожженная,  
Отменная шинель.

Знаменитая, пробитая  
В бою огнем врага  
Да своей рукой защитея, —  
Кому не дорога!

Упадешь ли, как подкошенный.  
Пораненный наш брат.  
На шинели той поношенной  
Снесут тебя в санбат.

А убьют — так тело мертвое  
Твое с другими в ряд  
Той шинелкою потертую  
Укроют — спи, солдат!

Спи, солдат, при жизни краткой  
Ни в дороге, ни в дому  
Не пришлоось поспать порядком  
Ни с женой, ни одному...

На крыльце хозяин вышел.  
Той мне ночи не забыть.

— Ты чего?  
— А я дровишек  
Для хозяйки нарубить.

Вот не спится человеку.  
Словно дома — на войне.  
Зашагал на дровосеку.  
Рубит хворост при луне.

Тюк да тюк. До света рубит.  
Коротка солдату ночь.  
Знать, жену жалеет, любит.  
Да не знает, чем помочь.

Рубит, рубит. На рассвете  
Покидает дом боец.

А под свет проснулись дети,  
Поглядят — пришел отец.  
Поглядят — бойцы чужие.  
Ружья разные, ремни.  
И ребята, как большие,  
Словно поняли они.

И заплакали ребята.  
И подумать было тут:  
Может, нынче в эту хату  
Немцы с ружьями войдут...

И доныне плач тот детский  
В ранний час лихого дня  
С той немецкой, с той зарецкой  
Стороны зовет меня.

Я б мечтал не ради славы  
Перед утром боевым.  
Я б желал на берег правый,  
Бой пройдя, вступить живым.

И скажу я без утайки.  
Приведись мне там идти.  
Я хотел бы к той хозяйке  
Постучаться по пути.

Попросить воды напиться —  
Не затем, чтоб сесть за стол.  
А затем, чтоб поклониться  
Доброй женщине простой.

Про хозяина ли спросит.—  
«Полагаю — жив, здоров».  
Взять топор, шинельку сбросить,  
Нарубить хозяйке дров.

Потому — хозяин-барин  
Ничего нам не сказал.  
Может, нынче землю парит.  
За которую стоял...

Впрочем, что там думать, братцы.  
Надо немца бить спешить.  
Вот и все, что Теркин вкратце  
Вам имеет доложить.

### Переправа

Переправа, переправа!  
Берег левый, берег правый.  
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,  
Кому темная вода.—  
Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,  
Обломав у края лед.  
Погрузился на понтоны  
Первый взвод.  
Погрузился, оттолкнулся  
И пошел. Второй за ним.  
Приготовился, пригнулся  
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны.  
Громыхнул один, другой  
Басовым, железным тоном.  
Точно крыша под ногой.

И плывут бойцы куда-то.  
Притаив штыки в тени.  
И совсем свои ребята  
Сразу — будто не они.

Сразу будто не похожи  
На своих, на тех ребят:  
Как-то все дружней и строже.  
Как-то все тебе дороже  
И родней, чем час назад.

Поглядеть — и впрямь — ребята!  
Как, по правде, желторот.  
Холостой ли он, женатый.  
Этот стриженый народ.

Но уже идут ребята,  
На войне живут бойцы.  
Как когда-нибудь в двадцатом  
Их товарищи — отцы.

Тем путем идут суровым.  
Что и двести лет назад  
Проходил с ружьем кремневым  
Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых,  
Возле их мальчишних глаз

Смерть в бою свистела часто  
И минет ли в этот раз?

Налегли, гребут, потея,  
Управляются с шестом.  
А вода ревет правее —  
Под подорванным мостом.

Вот уже на середине  
Ихносит и кружит...

А вода ревет в теснине,  
Жухлый лед в куски крошил.  
Меж погнутых балок фермы  
Бьется в пене и в пыли...

А уж первый взвод, наверно.  
Достает шестом земли.

Позади шумит протока.  
И кругом — чужая ночь.  
И уже он так далеко,  
Что ни крикнуть, ни помочь.

И чернеет там зубчатый.  
За холодною чертой.  
Неподступный, непочатый  
Лес над черною водой.

Переправа, переправа!  
Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый  
В море вынесла волна.

Было так: из тьмы глубокой,  
Огненный взметнув клинок.  
Луч прожектора протоку  
Пересек наискосок.

И столбом поставил воду  
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.  
Густо было там народу —  
Наших стриженых ребят...

И увиделось впервые.  
Не забудется оно:  
Люди теплые, живые  
Шли на дно, на дно, на дно...

Под огнем неразбериха —  
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо.—  
Переправа сорвалась.

И покамест неизвестно,  
Кто там робкий, кто герой,  
Кто там парень расчудесный,  
А наверно, был такой.

Переправа, переправа...  
Темень, холод. Ночь как год.

Но вцепился в берег правый.  
Там остался первый взвод.

И о нем молчат ребята  
В боевом родном кругу,  
Словно чем-то виноваты,  
Кто на левом берегу.

Не видать конца ночлегу.  
За ночь грудою взялась  
Пополам со льдом и снегом  
Перемешанная грязь.

И усталая с похода,  
Что б там ни было,— жива,  
Дремлет, скрючившись, пехота,  
Сунув руки в рукава.

Дремлет, скрючившись, пехота,  
И в лесу, в ночи глухой  
Сапогами пахнет, потом,  
Мерзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот  
Вместе с теми, что на том

Под обрывом ждут рассвета,  
Греют землю животом.—  
Ждут рассвета, ждут подмоги,  
Духом падать не хотят.

Ночь проходит, нет дороги  
Ни вперед и ни назад...

А быть может, там с полночи  
Порошит снежок им в очи.  
И уже давно  
Он не тает в их глазницах  
И пыльцой лежит на лицах —  
Мертвым все равно.

Стужи, холода не слышат.  
Смерть за смертью не страшна,  
Хоть еще паек им пишет  
Первой роты старшина.

Старшина паек им пишет,  
А по почте полевой  
Не быстрей идут: нетише  
Письма старые домой,

Что еще ребята сами  
На привале при огне  
Где-нибудь в лесу писали  
Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани,  
Из Сибири, из Москвы —  
Спят бойцы.  
Свое сказали  
И уже навек правы.

И тверда, как камень, груда.  
Где застыли их следы...

Может — так, а может — чудо?  
Хоть бы знак какой оттуда,  
И беда б за полбеды.

Долги ночи, жестки зори  
В ноябре — к зиме седой.

Два бойца сидят в дозоре  
Над холодною водой.

То ли снится, то ли мнится.  
Показалось что невесть,  
То ли иней на ресницах,  
То ли вправду что-то есть?

Видят — маленькая точка  
Показалась вдалеке:  
То ли чурка, то ли бочка  
Проплыvaет по реке?

— Нет, не чурка и не бочка —  
Просто глазу маesta.  
— Не пловец ли одиночка?  
— Шутишь, брат. Вода не та!  
— Да, вода... Помыслить страшно.  
Даже рыбам холодна.  
— Не из наших ли вчерашних  
Поднялся какой со dna?..

Оба разом присмирили.  
И сказал один боец:  
— Нет, он выплыл бы в шинели,  
С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,  
Как бы ни было.— впервые.

Подошел сержант с биноклем.  
Присмотрелся: нет, живой.  
— Нет, живой. Без гимнастерки.  
— А не фриц? Не к нам ли в тыл?  
— Нет. А может, это Теркин? —  
Кто-то робко пошутил.

— Стой, ребята, не соваться.  
Толку нет спускать понтон.  
— Разрешите попытаться?  
— Что пытаешься?  
— Братцы,— он!

И, у заберегов корку  
Ледяную обломав,  
Он как он, Василий Теркин.  
Встал живой,— добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из бани,  
Встал, шатаясь тяжело.  
Ни зубами, ни губами  
Не работает — свело.

Подхватили, обвязали,  
Дали валенки с ноги.  
Пригрозили, приказали —  
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке,  
Парня тотчас на кровать  
Положили для просушки,  
Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали...  
Вдруг он молвит, как во сне:  
— Доктор, доктор, а нельзя ли  
Изнутри погреться мне,  
Чтоб не все на кожу тратить?

Дали стопку — начал жить.  
Приподнялся на кровати:  
— Разрешите доложить...  
Взвод на правом берегу  
Жив-здоров назло врагу!  
Лейтенант всего лишь просит  
Огоньку туда подбросить.  
А уж следом за огнем  
Встанем, ноги разомнем.  
Что там есть, перекалечим.  
Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно  
Тотчас плыть ему назад.

— Молодец! — сказал полковник? —  
Молодец! Спасибо, брат.

И с улыбкою неробкой  
Говорит тогда боец:  
— А еще нельзя ли стопку.  
Потому как молодец?  
  
Посмотрел полковник строго.  
Покосился на бойца.  
— Молодец, а будет много —  
Сразу две.  
— Так два ж конца...  
  
Переправа, переправа!  
Пушки бьют в кромешной мгле.  
  
Бой идет святой и правый.  
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на земле.

**О войне**

— Разрешите доложить  
Коротко и просто:  
Я большой охотник жить  
Лет до девяноста.  
  
А война — про все забудь  
И пенять не вправе.  
Собирался в дальний путь,  
Дан приказ: «Отставить!»  
  
Грянул год, пришел черед.  
Нынче мы в ответе  
За Россию, за народ  
И за все на свете.  
  
От Ивана до Фомы,  
Мертвые ль, живые.  
Все мы вместе — это мы,  
Тот народ, Россия.  
  
И поскольку это мы.  
То скажу вам, братцы,

Нам из этой кутерьмы  
Некуда податься.  
  
Тут не скажешь: я — не я,  
Ничего не знаю.  
Не докажешь, что твоя  
Нынче хата с краю.  
  
Не велик тебе расчет  
Думать в одиночку.  
Бомба — дура. Попадет  
Сдуру прямо в точку.  
  
На войне себя забудь,  
Помни честь, однако,  
Рвись до дела — грудь на грудь,  
Драка — значит, драка.  
  
И признать не премину,  
Дам свою оценку.  
Тут не то, что в старину.—  
Стенкою на стенку.  
  
Тут не то, что на кулак:  
Поглядим, чей дюже.—  
Я сказал бы даже так:  
Тут гораздо хуже...  
  
Ну, да что о том судить.—  
Ясно все до точки.  
Надо, братцы, немца бить,  
Не давать отсрочки.  
  
Раз война — про все забудь  
И пенять не вправе.  
Собирался в долгий путь,  
Дан приказ: «Отставить!»  
  
Сколько жил — на том конец.  
От хлопот свободен.  
И тогда ты — тот боец,  
Что для боя годен.

И пойдешь в огонь любой,  
Выполнишь задачу.  
И глядишь — еще живой  
Будешь сам в придачу.

А застигнет смертный час,  
Значит, номер вышел.  
В рифму что-нибудь про нас  
После нас налишут.

Пусть приврут хоть во сто крат,  
Мы к тому готовы,  
Лишь бы дети, говорят,  
Были бы здоровы...

### Теркин ранен

На могилы, рвы, канавы,  
На клубки колючки ржавой,  
На поля, холмы — дырявой,  
Изувеченной земли.  
На болотный лес корявый,  
На кусты — снега легли.

И густой поземкой белой  
Ветер поле заволок.  
Вьюга в трубах обгорелых  
Загудела у дорог.

И в снегах непроходимых  
Эти мирные края  
В эту памятную зиму  
Орудийным пахли дымом.  
Не людским дымком жилья.

И в лесах, на мерзлой груде,  
По землянкам без огней.  
Возле танков и орудий  
И простуженных коней  
На войне встречали люди  
Долгий счет ночей и дней.

И лихой, нещадной стужи  
Не бралиши, как ни зла:  
Лишь бы немцу было хуже,  
О себе ли речь там шла!

И желал наш добрый парень:  
Пусть померзнет немец-барин,  
Немец-барин не привык,  
Русский стерпит — он мужик.

Шумным хлопом рукавичным,  
Топотней по целине  
Спазаранку день обычный  
Начинался на войне.

Чуть вился дымок несмешливый.  
Оживал костер с трудом,  
В закоптелый бак гремела  
Из ведра вода со льдом.

Утомленныеnochlegom,  
Шли бойцы из всех берлог  
Греться бегом, мыться снегом,  
Снегом жестким, как песок.

А потом — гуськом по стежке,  
Соблюдая свой черед.  
Котелки забрав и ложки,  
К кухням шел за вводом взвод.

Суп досыта, чай до пота,—  
Жизнь как жизнь.  
И опять война — работа:  
— Становись!

\*\*\*

Вслед за ротой на опушку  
Теркин движется с катушкой,  
Разворачивает снасть.—  
Приказали делать связь.

Рота головы пригнула.  
Снег чернеет от огня.  
Теркин крутит: — Тула, Тула!  
Тула, слышишь ты меня?

Подмигнув бойцам украдкой:  
Мол. у нас да не пойдет;—  
Дунул в трубку для порядку.  
Командиру подает.

Командиру все в привычку.—  
Голос в горсточку, как спичку,  
Трубку книзу, лег бочком,  
Чтоб поземкой не задуло.  
Все в порядке.  
— Тула, Тула.  
Помогите огоньком...

Не расскажешь, не опишешь,  
Что за жизнь, когда в бою  
За чужим огнем рассышишь  
Артиллерию свою.

Воздух круго завивая.  
С недалекой огневой  
Ахнет, ахнет полковая.  
Залоет над головой.

А с позиций отдаленных,  
Сразу будто бы не в лад,  
Ухнет вдруг дивизионной  
Доброй матушки снаряд.

И пойдет, пойдет на славу,  
Как из горна, жаром дуть,  
С воем, с визгом шепелявым  
Расчищать пехоте путь.  
Бить, ломать и жечь в окружку.  
Деревушка? — Деревушку.  
Дом — так дом. Блиндаж — блиндаж.  
Врешь, не высидишь — отдашь!

А еще остался кто там,  
Запорошенный песком?  
Погоди, встает пехота.  
Дай достать тебя штыком.

Вслед за ротою стрелковой  
Теркин дальше тянет провод.  
Взвод — за валом огневым,  
Теркин с ходу — вслед за взводом,  
Топит провод, точно в воду.  
Жив-здоров и невредим.

Вдруг из кустиков корявых,  
Взрытых, вспаханных кругом,—  
Чох! — снаряд за вспышкой ржавой.  
Теркин тотчас в снег —ничком.

Вдался вглубь, лежит не дышит,  
Сам не знает: жив, убит?  
Всей спиной, всей кожей слышит,  
Как снаряд в снегу шипит...

Хвост овечий — сердце бьется.  
Расстается с телом дух.  
«Что ж он, черт, лежит — не рвется,  
Ждать мне больше недосуг».

Присподнялся — глянул косо.  
Он почти у самых ног —  
Гладкий, круглый, тупоносый,  
И над ним — сырой дымок.

Сколько б душ рванул на выброс  
Вот такой дурак слепой  
Неизвестного калибра —  
С поросенка на убой.

Оглянулся воровато.  
Подивился — смех и грех:  
Все кругом лежат ребята.  
Закопавшись носом в снег.

Теркин встал, такой ли ухарь,  
Отряхнулся, принял вид:  
— Хватит, хлопцы, землю нюкать,  
Не годится, — говорит.

Сам стоит с воронкой рядом  
И у хлопцев на виду.  
Обратясь к тому снаряду,  
Справил малую нужду...

Видит Теркин погребушку —  
Не оттуда ль пушка бьет?  
Передал бойцам катушку:  
— Вы — вперед. А я — в обход.

С ходу двинул в дверь гранатой.  
Спрыгнул вниз, пропал в дыму.  
— Офицеры и солдаты,  
Выходи по одному!..

Тишина. Полоска света.  
Что там дальше — поглядим.  
Никого, похоже, нету.  
Никого. И я один.

Гул разрывов, словно в бочке.  
Отдается в глубине.  
Дело дрянь: другие точки  
Бьют по занятой. По мне.

Бьют неплохо, спору нету.  
Добрыйм словом помяни  
Хоть за то, что погреб этот  
Прочно сделали **они**.

Прочно сделали, надежно —  
Тут не то что воевать.  
Тут, ребята, чай пить можно.  
Стенгазету выпускать.

Осмотрелся, точно в хате:  
Печка теплая в углу.  
Вдоль стены идут полати,  
Банки, склянки на полу.

Непривычный, непохожий  
Дух обжитого жилья:  
Табаку, одежки, кожи  
И солдатского белья.

Снова сунутся? Ну что же,  
В обороне нынче — я...  
На прицеле вход и выход,  
Две гранаты под рукой.

Смолк огонь. И стало тихо.  
И идут — один, другой...

Теркин, стой. Дыши ровнее.  
Теркин, ближе подпусти.  
Теркин, целься. Бей вернее.  
Теркин. Сердце, не части.

Рассказать бы вам, ребята,  
Хоть не верь глазам своим.  
Как немецкого солдата  
В двух шагах видал живым.

Подходил он в чем-то белом,  
Наклонившись от огня.  
И как будто дело делал:  
Шел ко мне — убить меня.

В этот ровик, точно с печки,  
Стал спускаться на заду...

Теркин, друг, не дай осечки.  
Пропадешь, — имей в виду.

За секунду до разрыва,  
Знать, хотел подать пример:  
Прямо в ровик спрыгнул живо  
В полушибке офицер.

И поднялся незадетый.  
Цельный. Ждем за косыком.  
Офицер — из пистолета.  
Теркин — в мягкое — штыком.

Сам присел, присел тихонько.  
 Повело его легонько.  
 Тронул правое плечо.  
 Ранен. Мокро. Горячо.

И рукой коснулся пола:  
 Кровь,— чужая иль своя?

Тут как даст вблизи тяжелый.  
 Аж подвинулась земля!

Вслед за ним другой удариł.  
 И темнее стало вдруг.

«Это — наши,— понял парень,—  
 Наши бьют,— теперь каюк».

Оглушенный тяжким гулом.  
 Теркин никнет головой.  
 Тула. Тула, что ж ты, Тула,  
 Тут же свой боец живой.

Он сидит за стенкой дзота,  
 Кровь течет: рукав набряк.  
 Тула. Тула, неохота  
 Помирать ему вот так.

На полу в холодной яме  
 Неохота нипочем  
 Гибнуть с мокрыми ногами,  
 Со своим больным плечом.

Жалко жизни той, приманки,  
 Малость хочется пожить,  
 Хоть погреться на лежанке,  
 Хоть портянки просушить...

Теркин сник. Тоска согнула.  
 Тула. Тула... Что ж ты, Тула?  
 Тула. Тула. Это ж я...  
 Тула... Родина моя!..

\* \* \*

А тем часом издалека,  
 Глухо, как из-под земли,  
 Ровный, дружный, тяжкий рокот  
 Надвигался, рос. С востока  
 Танки шли.

Низкогрудый, плоскодонный,  
 Отягченный сам собой,  
 С пушкой, в душу наведенной,  
 Страшен танк, идущий в бой.

А за грохотом и громом,  
 За броней стальной сидят,  
 По местам сидят, как дома.  
 Троє-четверо знакомых  
 Наших стриженых ребят.

И пускай в бою впервые,  
 Но ребята — свет пройди.  
 Ловят в щели смотровые  
 Кромку поля впереди.

Видят — вздыбился разбитый,  
 Развороченный накат.  
 Крепко бито. Цель накрыта.  
 Ну, а вдруг как там сидят!

Может быть, притих до срока  
 У орудия расчет?  
 Развернись машина боком —  
 Бронебойным припечен.

Или немец с автоматом,  
 Лесть наружу не дурак,  
 Там следит за нашим братом,  
 Выжидает. Как не так.

Двоє вслед за командиром  
 Вниз — с гранатой — вдоль стены.  
 Тишина — Углы темны...

— Хлопцы, занята квартира.—  
 Сыщут вдруг из глубины.

Не обман, не вражбы шутки,  
Голос вправдашний, родной:  
— Пособите. Вот уж сутки  
Точка данная за мной...

В темноте, в углу каморки,  
На полу боец в крови.  
Кто такой? Но смолкнул Теркин,  
Как там хочешь, так зови.

Он лежит с лицом землистым,  
Не моргнет, хоть глаз коли.  
В самый срок его танкисты  
Подобрали, повезли.

Шла машина в снежной дымке,  
Ехал Теркин без дорог.  
И держал его в обнимку  
Хлопец — башенный стрелок.

Укрывал своей одеждой,  
Грел дыханьем. Не беда,  
Что в глаза его, быть может.  
Не увидит никогда...

Свет пройди, — нигде не сыщешь,  
Не случалось видеть мне  
Дружбы той святей и чище.  
Что бывает на войне.

### **О награде**

— Нет, ребята, я не гордый.  
Не загадывая вдалъ.  
Так скажу: зачем мне орден?  
Я согласен на медаль.

На медаль. И то не к спеху.  
Вот закончили б войну.  
Вот бы в отпуск я приехал  
На родную сторону.

Буду ль жив еще? — Едва ли.  
Тут воюй, а не гадай.  
Но скажу насчет медали:  
Мне ее тогда подай.

Обеспечь, раз я достоин.  
И понять вы все должны:  
Дело самое простое —  
Человек пришел с войны.

Вот пришел я с полустанка  
В свой родимый сельсовет.  
Я пришел, а тут гулянка.  
Нет гулянки? Ладно, нет.

Я в другой колхоз и в третий —  
Вся округа на виду.  
Где-нибудь я в сельсовете  
На гулянку попаду.

И, явившись на вечерку,  
Хоть не гордый человек.  
Я б не стал курить махорку,  
А достал бы я «Казбек».

И сидел бы я, ребята,  
Там как раз, друзья мои.  
Где мальцом под лавку прятал  
Ноги босые свои.

И дымил бы папиросой,  
Угощал бы всех вокруг.  
И на всякие вопросы  
Отвечал бы я не вдруг.

— Как, мол, что? — Бывало всяко.  
— Трудно все же? — Как когда.  
— Много раз ходил в атаку?  
— Да, случалось иногда.

И девчонки на вечерке  
Позабыли б всех ребят.  
Только слушали б девчонки,  
Как ремни на мне скрипят.

И шутил бы я со всеми,  
И была б меж них одна...  
И медаль на это время  
Мне, друзья, вот так нужна!

Ждет девчонка, хоть не мучай,  
Слова, взгляда твоего...

— Но, позволь, на этот случай  
Орден тоже ничего?  
Вот сидишь ты на вечерке.  
И девчонка — самый цвет.

— Нет,— сказал Василий Теркин  
И вздохнул. И снова: — Нет.  
Нет, ребята. Что там орден.  
Не загадывая вдаль,  
Я ж сказал, что я не гордый.  
Я согласен на медаль.

\* \* \*

Теркин. Теркин, добрый малый.  
Что тут смех, а что печаль.  
Загадал ты, друг, немало.  
Загадал далеко вдаль.

Были листья, стали почки.  
Почки стали вновь листвой.  
А не носит писем почта  
В край родной смоленский твой.

Где девчонки, где вечерки?  
Где родимый сельсовет?  
Знаешь сам, Василий Теркин,  
Что туда дороги нет.

Нет дороги нету права  
Побывать в родном селе.

Страшный бой идет, кровавый.  
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на земле.

### Гармонь

По дороге прифронтовой,  
Запоясан, как в строю.  
Шел боец в шинели новой,  
Догонял свой полк стрелковый,  
Роту первую свою.

Шел легко и даже браво  
По причине по такой,  
Что махал своею правой,  
Как и левою рукой.

Отлежался. Да к тому же  
Щелкал по лесу мороз.  
Защемлял в пути все туже.  
Подгонял, под мышки нес.

Вдруг — сигнал за поворотом.  
Дверцу выбросил шофер,  
Тормозит:  
— Садись, пехота.  
Щеки снегом бы натер.

Далеко ль?  
— На фронт обратно.  
Руку вылечил.  
— Понятно.  
Не герой?  
— Покамест нет.  
— Доставай тогда кисет.

Курят, едут. Гроб — дорога.  
Меж сугробами — туннель.  
Чуть ли что, свернешь немного.  
Как свернул — снимай шинель.

— Хорошо — как есть лопата.  
— Хорошо, а то беда.  
— Хорошо — свои ребята.  
— Хорошо, да как когда.

Грузовик гремит трехтонный,  
Вдруг колонна впереди.  
Будь ты пеший или конный,  
А с машиной — стой и жди.

С толком пользуйся стоянкой.  
Разговор — не разговор.  
Наклонился над баранкой,—  
Смолк шофер.  
Заснул шофер.

Сколько суток полусонных,  
Сколько верст в пурге слепой  
На дорогах занесенных  
Он оставил за собой...

От глухой лесной опушки  
До невидимой реки —  
Встали танки, кухни, пушки,  
Тягачи, грузовики.  
Легковые — криво, косо,  
В ряд, не в ряд, вперед-назад.  
Гусеницы и колеса  
На снегу еще визжат.

На просторе ветер резок,  
Зол мороз вблизи железа,  
Дует в душу, входит в грудь —  
Не дотронься как-нибудь.

— Вот беда: во всей колонне  
Завалящей нет гармони,  
А мороз — ни стать, ни сесть...  
Снял перчатки, трет ладони,  
Слышит вдруг:  
— Гармонь-то есть.

Уминая снег зернистый,  
Впеременку — пляс не пляс —  
Возле танка два танкиста  
Греют ноги про запас.

— У кого гармонь, ребятами  
— Да она-то здесь, браток... —  
Оглянулся виновато  
На водителя стрелок.

— Так сыграть бы на дорожку?  
— Да сыграть — оно не вред.  
— В чем же дело? Чья гармошка?  
— Чья была, того, брат, нет...

И сказал уже водитель  
Вместо друга своего:  
— Командир наш был любитель...  
Схоронили мы его.

— Так... — С неловкою улыбкой  
Поглядел боец вокруг.  
Словно он кого ошибкой.  
Нехотя обидел вдруг.

Поясняет осторожно,  
Чтоб на том покончить речь:  
— Я считал, сыграть-то можно,  
Думал, что ж ее беречь.

А стрелок:  
— Вот в этой башне  
Он сидел в бою вчерашинем...  
Тroe — были мы друзья.

— Да нельзя так уж нельзя.  
Я ведь сам понять умею,  
Я вторую, брат, войну...  
И ранение имею,  
И контузию одну.

И опять же — посудите —  
Может, завтра — с места в бой...

— Знаешь что, — сказал водитель.—  
Ну, сыграй ты, шут с тобой.

Только взял боец трехрядку,  
Сразу видно — гармонист.  
Для началу, для порядку  
Кинул пальцы сверху вниз.

Позабытый деревенский  
Вдруг завел, глаза закрыв.  
Стороны родной смоленской  
Грустный памятный мотив,

И от той гармошки старой,  
Что осталась сиротой,  
Как-то вдруг теплее стало  
На дороге фронтовой.

От машин заиндевелых  
Шел народ, как на огонь.  
И кому какое дело.  
Кто играет, чья гармонь.

Только двое тех танкистов,  
Тот водитель и стрелок,  
Все глядят на гармониста —  
Словно что-то невдомек.

Что-то чудится ребятам,  
В снежной крутится пыли.  
Будто виделись когда-то,  
Словно где-то подвезли...

И, сменивши пальцы быстро,  
Он, как будто на заказ,  
Здесь повел о трех танкистах,  
Трех товарищах рассказ.

Не про них ли слово в слово.  
Не о том ли песня вся.

И потупились сурово  
В шлемах кожаных друзья.

А боец зовет куда-то.  
Далеко, легко ведет.  
— Ах, какой вы все, ребята,  
Молодой еще народ.

Я не то еще сказал бы.—  
Про себя поберегу.  
Я не так еще сыграл бы.—  
Жаль, что лучше не могу.

Я забылся на минутку,  
Заигрался на ходу.  
И давайте я на шутку  
Это все переведу.

Обогреться, потолкаться  
К гармонисту все идут.  
Обступают.

— Стойте, братцы.  
Дайте на руки подуть.

— Отморозил парень пальцы,—  
Надо помочь скорую.  
— Знаешь, брось ты эти вальсы.  
Дай-ка ту, которую...

И опять долой перчатку,  
Оглянулся молодцом  
И как будто ту трехрядку  
Повернул другим концом.

И забыто — не забыто,  
Да не время вспоминать.  
Где и кто лежит убитый  
И кому еще лежать.

И кому траву живому  
На земле топтать потом,  
До жены прийти, до дому,—  
Где жена и где тот дом?

Плясуны на пару пара  
С места кинулися вдруг:  
Задышал морозным паром.  
Разогрелся тесный круг.

— Веселей кружитесь, дамы!  
На носки не наступать!

И бежит шофер тот самый.  
Опасаясь опоздать.

Чей кормилец, чей поилец,  
Где пришелся ко двору?  
Крикнул так, что расступились:  
— Дайте мне, а то помру!..

И пошел, пошел работать,  
Наступая и грозя,  
Да как выдумает что-то,  
Что и высказать нельзя.

Словно в праздник на вечерке  
Половицы гнет в избе,  
Прибаутки, поговорки  
Сыплет под ноги себе.

Подает за штукой штуку:  
— Эх, жаль, что нету стуку.  
Эх, друг.  
Кабы стук,  
Кабы вдруг —  
Мощеный круг!  
Кабы валенки отбросить.  
Подковаться на каблук.  
Принесят так, чтоб сразу  
Каблуку тому — каюк!

А гармонь зовет куда-то,  
Далеко, легко ведет...

Нет, какой вы все, ребята,  
Удивительный народ.

Хоть бы что ребятам этим,  
С места — в воду и в огонь.  
Все, что может быть на свете,  
Хоть бы что — гудит гармонь.

Выговаривает чисто,  
До души доносит звук.  
И сказали два танкиста  
Гармонисту:  
— Знаешь, друг...  
Не знакомы ль мы с тобою?  
Не тебя ли это, брат,  
Что-то помнится, из боя  
Доставляли мы в санбат?  
Вся в крови была одежда,  
И просил ты пить да пить...

Приглушил гармонь:  
— Ну что же,  
Очень даже может быть.

— Нам теперь стоять в ремонте.  
У тебя маршрут иной.  
— Это точно...  
— А гармонь-то,  
Знаешь что, — бери с собой.

Забирай, играй в охоту,  
В этом деле ты мастак,  
Весели свою пехоту.  
— Что вы, хлопцы, как же так?..

— Ничего, — сказал водитель.—  
Так и будет. Ничего.  
Командир наш был любитель,  
Это — память про него...

И с опушки отдаленной  
Из-за тысячи колес  
Из конца в конец колонны:  
«По машинам!» — донеслось.

И опять увалы, взгорки.  
Снег да елки с двух сторон...  
Едет дальше Вася Теркин.—  
Это был, конечно, он.

**Два солдата**

В поле выюга-завиуха.  
В трех верстах гудит война.  
На печи в избе старуха.  
Дед-хозяин у окна.

Рвутся мины. Звук знакомый  
Отзывается в спине.  
Это значит — Теркин дома.  
Теркин снова на войне.

А старик как будто ухом  
По привычке не ведет.  
— Перелет! Лежи, старуха —  
Или скажет:  
— Недолет...

На печи, забившись в угол,  
Та следит исподтишка  
С уважительным испугом  
За повадкой старика.

С кем жила — не уважала.  
С кем браницась на печи.  
От кого вдали держала  
По хозяйству все ключи.

А старик, одевшись в шубу  
И в очках подсев к столу,  
Как от клюквы, кривит губы —  
Точит старую пилу.

— Вот не режет, точишь, точишь.  
Не берет, ну что ты хочешь!... —  
Теркин встал:  
— А может, дед.  
У нее развода нет?

Сам пилу берет:  
— А ну-ка...—  
И в руках его пила,  
Точно поднятая щука.  
Острой спинкой повела.

Повела, повисла кротко.  
Теркин щурится:  
— Ну, вот.  
Поищи-ка, дед, разводку.  
Мы ей сделаем развод.

Посмотреть — и то отрадно:  
Завалящая пила  
Так-то ладно, так-то складно  
У него в руках прошла.

Обернулась — и готово.  
— На-ко, дед, бери, смотри.  
Будет резать лучше новой.  
Зря инструмент не кори.

И хозяин виновато  
У бойца берет пилу.  
— Вот что значит мы, солдаты, —  
Ставит бережно в углу.

А старуха:  
— Слаб глазами.  
Стар годами мой солдат.  
Поглядел бы, что с часами.  
С той войны еще стоят...

Снял часы, глядит: машина,  
Точно мельница, в пыли.  
Паутинами пружины  
Пауки обволокли.

Их повесил в хате новой  
Дед-солдат давным-давно:  
На стене простой сосновой  
Так и светится пятно.

Осмотрев часы детально.—  
Все ж часы, а не пила,—  
Мастер тихо и печально  
Посвистел:  
— Плохи дела...

Но куда-то шильцем сунул,  
Что-то высмотрел в пыли.  
Внутрь куда-то дунул, плюнул.—  
Что ты думаешь,— пошли!

Крутит стрелку, ставит пятый.  
Час — другой, вперед — назад.  
— Вот что значит мы, солдаты —  
Прослезился дед-солдат.

Дед растроган, а старуха,  
Отслонив ладонью ухо,  
С печки слушает:  
— Идут!  
— Ну и парень, ну и шут...

Удивляется. А парень  
Услужить еще не прочь.  
— Может, сало надо жарить?  
Так опять могу помочь.

Тут старуха застонала:  
— Сало, сало! Где там сало...

Теркин:  
— Бабка, сало здесь.  
Не был немец — значит: есть!

И добавил, выжидая.  
Пялся под ноги себе:  
— Хочешь, бабка, угадаю.  
Где лежит оно в избе?

Бабка охнула тревожно,  
Завозилась на печи.  
— Бог с тобою, разве можно...  
Помолчи уж, помолчи.

А хозяин плутовато  
Гостя под локоть тишка:  
— Вот что значит мы, солдаты,  
А ведь сало под замком.

Ключ старуха долго шарит.  
Лезет с печки, сало жарит  
И, страдая до конца,  
Разбивает два яйца.

Эх, яичница! Закуски  
Нет полезней и прочней.  
Полагается по-русски  
Выпить чарку перед ней.

— Ну, хозяин, понемножку.  
По одной, как на войне.  
Это доктор на дорожку  
Для здоровья выдал мне.

Отвинтил у фляги крышку:  
— Пей, отец, не будет лишку.

Поперхнулся дед-солдат.  
Подтянулся:  
— Виноват!..

Крошку хлебушка понюхал.  
Пожевал — и сразу сыт.

А боец, тряхнув над ухом  
Тою флягой, говорит:  
— Рассуждая так ли, сяк ли,  
Все равно такою каплей  
Не согреть бойца в бою.  
Будьте живы!  
— Пейте.  
— Пью...

И сидят они по-братски  
За столом, плечо в плечо.  
Разговор ведут солдатский,  
Дружно спорят, горячо.

Дед кипит:

— Позволь, товарищ.

Что ты валенки мне хвалишь?

Разреши-ка доложить

Хороши? А где сушить?

Не просушишь их в землянке,

Нет, ты дай-ка мне сапог,

Да суконные портнянки

Дай ты мне — тогда я бог!

Снова где-то на задворках  
Мерзлый грунт боднул снаряд.  
Как ни в чем — Василий Теркин.  
Как ни в чем — старик солдат.

— Эти штуки в жизни нашей.—  
Дед расхвастался, — пустяк!  
Нам осколки даже в каше  
Попадались. Точно так.  
Попадет, откинешь ложкой.  
А в тебя — так и мертвец.

— Но не знали вы бомбежки,  
Я скажу тебе, отец.

— Это верно, тут наука.  
Тут напротив не попрешь.  
А скажи, простая штука  
Есть у вас?

— Какая?

— Вошь.

И, макая в сало коркой,  
Продолжая ровно есть,  
Улыбнулся вроде Теркин  
И сказал:

— Частично есть...

— Значит, есть? Тогда ты — воин.  
Рассуждать со мной достоин.  
Ты — солдат, хотя и млад.  
А солдат солдату — брат.

И скажи мне откровенно,

Да не в шутку, а всерьез.

С точки зрения военной

Отвечай на мой вопрос.

Отвечай: побьем мы немца

Или, может, не побьем?

— Погоди, отец, наемся,

Закушу, скажу потом.

Ел он много, но не жадно,

Отдавал закуске честь,

Так-то ладно, так-то складно,

Поглядишь — захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,  
Встал, как будто вдруг подрос,  
И платочек к подбородку.  
Ровно сложенный, поднес.  
Отряхнул опрятно руки  
И, как долг велит в дому,  
Поклонился и старухе  
И солдату самому.  
Молча в путь запоясался,  
Осмотрелся — все ли тут?  
Честь по чести распрощался.  
На часы взглянул: идут!  
Все припомнил, все проверил,  
Подогнал и под конец  
Он вздохнул у самой двери  
И сказал:  
— Побьем, отец...

В поле выюга-завириха.  
В трех верстах гремит война.  
На печи в избе — старуха.  
Дед-хозяин у окна.

В глубине родной России,  
Против ветра, грудь вперед.  
По снегам идет Василий  
Теркин. Немца бить идет.

### **О потере**

Потерял боец кисет,  
Заискался,— нет и нет.

Говорит боец:  
— Досадно.  
Столько вдруг свалилось бед:  
Потерял семью. Ну, ладно.  
Нет, так на тебе — кисет!

Запропастился куда-то,  
Хвать-похвать, пропал и след.  
Потерял и двор и хату.  
Хорошо. И вот — кисет.

Кабы годы молодые,  
А не целых сорок лет...  
Потерял края родные,  
Все на свете и кисет.

Посмотрел с тоской вокруг:  
— Без кисета, как без рук.

В неприятном школьном доме —  
Мужики, не детвора.  
Не за партой — на соломе,  
Перетертой, как костра.

Спят бойцы, кому досуг.  
Бородач горюет вслух:  
— Без кисета у махорки  
Вкус не тот уже. Слаба!  
Вот судьба, товарищ Теркин —  
Теркин:  
— Что там за судьба!  
Так случиться может с каждым.—  
Возразил бородачу,—  
Не такой со мной однажды  
Случай был. И то молчу.

И молчит, сопит сурово.  
Кое-где привстал народ.  
Из мешка из вещевого  
Теркин шапку достает.

Просто шапку меховую.  
Той подругу боевую.  
Что сидит на голове.  
Есть одна. Откуда две?

— Привезли меня на танке.—  
Начал Теркин,— сдали с рук.  
Только нет моей ушанки,  
Непорядок чую вдруг.

И не то чтоб очень зябкий,—  
Просто гордость у меня.  
Потому, боец без шапки —  
Не боец. Как без ремня.

А девчонка перевязку  
Нежно делает, с опаской,  
И, видать, сама она  
В этом деле зелена.

— Шапку, шапку мне, иначе  
Не поеду! — Вот дела.  
Так кричу, почти что плачу.  
Рана трудная была.

А она, девчонка эта,  
Словно «баюшки-баю»:  
— Шапки вашей,— молвят,— нету.  
Я вам шапку дам свою.

Наклонилась и надела.  
— Не волнуйтесь, — говорит  
И своей ручонкой белой  
Обкололась: был небрит.

Сколько в жизни всяких шапок  
Я носил уже — не счастье,  
Но у этой даже запах  
Не такой какой-то есть...

— Ишь ты, выдумал примету.  
— Слышал звон издалека.  
— А зачем ты шапку эту  
Сохраняешь?  
— Дорога.

Дорога бойцу, как память.  
А еще сказать могу  
По секрету, между нами.—  
Шапку с целью берегу.

И в один прекрасный вечер  
Вдруг случится разговор:  
«Разрешите вам при встрече  
Головной вручить убор...»

Сам привстал Василий с места  
И под смех бойцов густой,  
Как на сцене, с важным жестом  
Обратился будто к той,  
Что пять слов ему сказала.  
Что таких ребят, как он,  
За войну перевязала.  
Может, целый батальон.

— Ишь, какие знает речи.  
Из каких политбесед:  
«Разрешите вам при встрече...»  
Вон тут что. А ты — кисет.

— Что ж, понятно, холостому  
Много лучше на войне:  
Нет тоски такой по дому,  
По детишкам, по жене.

— Холостому? Это точно.  
Это ты как угадал.  
Но поверь, что я нарочно  
Не женился. Я, брат, знал!

— Что ты знал! Кому другому  
Знать бы лучше наперед.  
Что уйдет солдат из дома.  
А война домой придет.

Что пройдет она потопом  
По лицу земли живой  
И заставит рыть окопы  
Перед самою Москвой.  
Что ты знал!..

— А ты постой-ка,  
Не гляди, что с виду мал.  
Я не столько,  
Не полстолько.—  
Четверть столько! —  
Только знал.

— Ничего, что я в колхозе,  
Не в столице курс прошел.  
Жаль, гармонь моя в обозе.  
Я бы лекцию прочел.

Разреши одно отметить,  
Мой товарищ и сосед:  
Сколько лет живем на свете?  
Двадцать пять! А ты — кисет.

Бородач под смех и гомон  
Роет вновь труху-солому.  
Перещупал все вокруг:  
— Без кисета, как без рук...

— Без кисета, несомненно.  
Ты боец уже не тот.  
Раз кисет — предмет военный.  
На-ко мой, не подойдет?

Принимай, я — добрый парень.  
Мне не жаль. Не пропаду.  
Мне еще пять штук подарят  
В наступающем году.

Тот берет кисет потертый.  
Как дитя, обновке рад...

И тогда Василий Теркин  
Словно вспомнил:  
— Слушай, брат.

Потерять семью не стыдно —  
Не твоя была вина.  
Потерять башку — обидно.  
Только что ж, на то война.

Потерять кисет с махоркой,  
Если некому пошить.—  
Я не спорю,— тоже горько.  
Тяжело, но можно жить,  
Пережить беду-проруху.  
В кулаке держать табак,  
Но Россию, мать-старуху.  
Нам терять нельзя никак.

Наши деды, наши дети,  
Наши внуки не велят.  
Сколько лет живем на свете?  
Тыщу?.. Больше! То-то, брат!

Сколько жить еще на свете.—  
Год, иль два, иль тыщи лет,—  
Мы с тобой за все в ответе.  
То-то, брат! А ты — кисет...

### Поединок

Немец был силен и ловок,  
Ладно скроен, крепко сшит.  
Он стоял, как на подковах.  
Не пугай — не побежит.

Сытый, бритый, береженый,  
Дармовым добром кормленный,  
На войне, в чужой земле  
Отоспавшийся в тепле.

Он ударил, не страшая,  
Бил, чтоб сбить наверняка.  
И была как кость большая  
В русской варежке рука...

Не играл со смертью в прятки.—  
Взялся — бейся и молчи.—  
Теркин знал, что в этой схватке  
Он слабей: не те харчи.

Есть войны закон не новый:  
В отступленье — ешь ты вдоволь.  
В обороне — так ли сяк,  
В наступленье — натощак.

Немец стукнул так, что челюсть  
Будто вправо подалась.  
И тогда боец, не целясь,  
Хряснул немца промеж глаз.

И еще на снег не сплюнул  
Первой крови злую соль,  
Немец снова в санки сунул  
С той же силой, в ту же боль.

Так сошлись, сцепились близко,  
Что уже обоймы, диски.  
Автоматы — к черту, прочь!  
Только б нож и мог помочь.

Бьются двое в клубах пара.  
Об ином уже не речь.—  
Ладит Теркин от удара  
Хоть бы зубы заберечь.

Но покуда Теркин санки  
Сколько мог  
В бою берег.  
Двинул немец, точной штангой,  
Да не в санки,  
А под вздох.

Охнул Теркин: плохо дело.  
Плохо, думает боец.  
Хорошо, что легок телом —  
Отлетел. А то б — конец...

Устоял — и сам с испугу  
Теркин немцу дал леща.  
Так что собственную руку  
Чуть не вынес из плеча.

Черт с ней! Рад, что не промазал.  
Хоть зубам не полон счет.  
Но и немец левым глазом  
Наблюденья не ведет.

Драка — драка, не игрушка!  
Хоть огнем горит лицо.  
Но и немец красной юшкой  
Разукрашен, как яйцо.

Вот он — в полвершке — противник.  
Носом к носу. Теснота.  
До чего же он противный —  
Дух у немца изо рта.

Злобно Теркин сплюнул кровью.  
Ну и запах! Валит с ног.  
Ах ты, сволочь, для здоровьяя,  
Не иначе, жрешь чеснок!

Ты куда спешил — к хозяйке?  
Матка, млечко? Матка, яйки?  
Оказать решил нам честь?  
Подавай! А кто ты есть.

Кто ты есть, что к нашей бабке  
Заявился на порог.  
Не спросись, не скинув шапки  
И не вытерши сапог?

Со старухой сладить в силе?  
Подавай! Нет, кто ты есть,  
Что должны тебе в России  
Подавать мы пить и есть?

Не калека ли убогий.  
Или добрый человек —  
Заблудился  
По дороге.  
Попросился  
На ночлег?

Добрым людям люди рады.  
Нет, ты сам себе силен.  
Ты наводишь  
Свой порядок.  
Ты приходишь —  
Твой закон.

Кто ж ты есть? Мне толку нету.  
Чей ты сын и чей отец.  
Человек по всем приметам,—  
Человек ты? Нет. Подлец!

Двое топчутся по кругу.  
Словно пара на кругу.  
И глядят в глаза друг другу:  
Зверю — зверь и враг — врагу.

Как на древнем поле боя.  
Грудь на грудь, что щит на щит,—  
Вместо тысяч боятся двое.  
Словно схватка все решит.

А вблизи от деревушки,  
Где застал их свет дневной,  
Самолеты, танки, пушки  
У обоих за спиной.

Но до боя нет им дела,  
И ни звука с тех сторон.  
В одиночку — грудью, телом  
Бьется Теркин, держит фронт.

На печальном том задворке,  
У покинутых дворов  
Держит фронт Василий Теркин,  
В забытьи глотая кровь.

Бьется насмерть парень бравый.  
Так что дым стоит сырой.  
Словно вся страна-держава  
Видит Теркина:  
— Герой!

Что страна! Хотя бы рота  
Видеть издали могла.  
Какова его работа  
И какие тут дела.

Только Теркин не в обиде.  
Не затем на смерть идешь.  
Чтобы кто-нибудь увидел.  
Хорошо б. А нет — ну что ж...

Бьется насмерть парень бравый —  
Так, как боятся на войне.

И уже рукою правой  
Он владеет не вполне.  
Кость гудит от раны старой,  
И ему, чтоб крепче бить.  
Чтобы слева класть удары.  
Хорошо б левицою быть.

Бьется Теркин,  
В драке зоркий,  
Утирает кровь и пот.  
Изнемог, уился Теркин,  
Но и враг уже не тот:

Далеко не та заправка,  
И побита морда вся.  
Словно яблоко-полявка,  
Что иначе есть нельзя.

Кровь — сосульками. Однако  
В самый жар вступает драка.

Немец горд.  
И Теркин горд.  
— Раз ты пес, так я — собака.  
Раз ты черт.  
Так сам я — черт!

Ты не знал мою натуру.  
А натура — первый сорт.  
В клочья шкуру —  
Теркин чуру  
Не попросит. Вот где черт!

Кто одной боится смерти —  
Кто плевал на сто смертей.  
Пусть ты черт. Да наши черти  
Всех чертей  
В сто раз чертей.

Бей, не милуй. Зубы стисну.  
А убьешь, так и потом  
На тебе, как клещ, повисну.  
Мертвый буду на живом.

Отоспись на мне, будь ласков.  
Да свали меня вперед.

Ах, ты вон как! Драться каской?  
Ну не подлый ли народ!

Хорошо же! —  
И тогда-то,  
Злость и боль забрав в кулак,  
Незаряженной гранатой  
Теркин немца — с левой — шмяк!

Немец охнул и обмяк...

Теркин ворот нараспашку,  
Теркин сел, глотает снег,  
Смотрит грустно, дышит тяжко.—  
Поработал человек.

Хорошо, друзья, приятно.  
Сделав дело, ко двору —  
В батальон идти обратно  
Из разведки поутру.

По земле ступать советской,  
Думать — мало ли о чем!  
Автомат нести немецкий.  
Между прочим, за плечом.

«Языка» — добычу ночи,—  
Что идет, куда не хочет:  
На три шага впереди  
Подгонять:  
— Иди, иди...

Видеть, знать, что каждый встречный —  
Поперечный — это свой.  
Не знаком, а рад сердечно.  
Что вернулся ты живой.

Доложить про все по форме.  
Сдать трофеи не спеша.  
А потом тебя покормят,—  
Будет мерою душа.

Старшина отпустит чарку.  
Строгий глаз в нее кося.  
А потом у печки жаркой  
Ляг, поспи. Война не вся.

Фронт налево, фронт направо,  
И в февральской выюжной мгле  
Страшный бой идет, кровавый.  
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на земле.

### *От автора*

Сто страниц минуло в книжке,  
Впереди — не близкий путь.  
Стой-ка, брат. Без передышки  
Невозможно. Дай вздохнуть.

Дай вздохнуть, возьми в догадку:  
Что теперь, что в старину —  
Трудно слушать по порядку  
Сказку длинную одну  
Все про то же — про войну.

Про огонь, про снег, про танки,  
Про землянки да портнянки,  
Про портнянки да землянки,  
Про махорку и мороз...

Вот уж нынче повелось:  
Рыбаку лишь о путине,  
Печнику дудят о глине.  
Леснику о древесине.  
Хлебопеку о квашне,  
Коновалу о коне,  
А бойцу ли, генералу —  
Не иначе — о войне.

О войне — оно понятно.  
Что война. А суть в другом:  
Дай с войны прийти обратно  
При победе над врагом.

Учинив за все расплату,  
Дай вернуться в дом родной  
Человеку. И тогда-то  
Сказки нет ему иной.

И тогда ему так сладко  
Будет слушать по порядку  
И подробно обо всем.  
Что изведано горбом,  
Что исхожено ногами,  
Что испытано руками,  
Что повидано в глаза  
И о чем, друзья, покамест  
Все равно — всего нельзя...

Мерзлый грунт долби, лопата,  
Танк — дави, греми — граната.  
Штык — работай, бомба — бей.  
На войне душе солдата  
Сказка мирная милей.

Друг-читатель, я ли спорю,  
Что войны милее жизнь?  
Да война ревет, как море  
Грозно в дамбу упервшись.

Я одно скажу, что нам бы  
Поуправиться свойной.

Отодвинуть эту дамбу  
За предел земли родной.

А покуда край обширный  
Той земли родной — в плену.  
Я — любитель жизни мирной —  
На войне пою войну.

Что ж еще? И все, пожалуй,  
Та же книга про бойца.  
Без начала, без конца.  
Без особого сюжета.  
Впрочем, правде не во вред.

На войне сюжета нету.  
— Как так нету?  
— Так вот, нет.

Есть закон — служить до срока,  
Служба — труд, солдат — не гость.  
Есть отбой — уснул глубоко.  
Есть подъем — вскочил, как гвоздь.

Есть войны — солдат воюет,  
Лют противник — сам лютует.  
Есть сигнал: вперед!.. — Вперед.  
Есть приказ: умри!.. — Умрет.

На войне ни дня, ни часа  
Не живет он без приказа,  
И не может испокон  
Без приказа командира  
Ни сменить свою квартиру,  
Ни сменить портняки он.

Ни жениться, ни влюбиться  
Он не может, — нету прав.  
Ни уехать за границу  
От любви, как бывший граф.

Если в песнях и поется,  
Разве можно брать в расчет,  
Что герой мой у колодца,  
У каких-нибудь ворот.

Буде случай подвернется,  
Чью-то долю уципнет?

А еще добавим к слову:  
Жив-здоров герой пока,  
Но отнюдь не заколдован  
От осколка-дуралка,  
От любой дурацкой пули,  
Что, быть может, наугад.  
Как пришлось, летит вслепую.  
Подвернулся, — точка, брат.

Ветер злой навстречу пышет.  
Жизнь, как веточку, колышет.  
Каждый день и час грозя.  
Кто доскажет, кто дослышил —  
Угадать вперед нельзя.

И до той глухой разлуки.  
Что бывает на войне.  
Рассказать еще о друге  
Кое-что успеть бы мне.

Тем же ладом, тем же рядом,  
Только стежкою иной.

Пушки к бою едут задом.—  
Это сказано не мной.

### «Кто стрелял?»

Отдымился бой вчеращий.  
Высох пот, металл простыл.  
От окопов пахнет пашней.  
Летом мирным и простым.

В полверсте, в кустах — противник,  
Тут шагам и пядям счет.  
Фронт. Война. А вечер дивный  
По полям пустым идет.

По следам страды вчерашней,  
По немыслимой тропе;  
По ничьей, помятой, зряшной  
Луговой, густой траве;

По земле, рябой от рытвин.  
Рваных ям, воронок, рвов.  
Смертным зноем жаркой битвы  
Опаленных у краев...

И откуда по пустому  
Долетел, донесся звук,  
Добрый, давний и знакомый  
Звук вечерний. Майский жук!

И ненужной горькой лаской  
Растревожил он ребят,  
Что в росой покрытых касках  
По окопчикам сидят.

И такой тосккой родною  
Сердце сразу обволок!  
Фронт, война. А тут иное:  
Выводи коней в ночное,  
Торопись на «пятачок».

Отплявшись, а там сторонкой  
Удаляйся в березняк.  
Провожай домой девчонку  
Да целуй — не будь дурак,  
Налегке иди обратно,  
Мать заждалася...

И вдруг —  
Вдалеке возник невнятный.  
Новый, ноющий, двукратный.  
Через миг уже понятный  
И томящий душу звук.

Звук тот самый, при котором  
В прифронтовой полосе  
Поначалу все шоферы  
Разбегались от шоссе.

На одной постылой ноте  
Ноет, воет, как в трубе.  
И бежать при всей охоте  
Не положено тебе.

Ты, как гвоздь, на этом взгорке  
Вбился в землю. Не тоскуй.  
Ведь — согласно поговорке —  
Это малый сабантуй...

Ждут, молчат, глядят ребята,  
Зубы скав, чтоб дрожь унять.  
И, как водится, оратор  
Тут находится под стать.

С удивительной заботой  
Подсказать тебе горазд:  
— Вот сейчас он с разворота  
И начнет. И жизни даст.  
Жизни даст!

Со страшным ревом  
Самолет ныряет вниз,  
И сильнее нету слова  
Той команды, что готова  
На устах у всех:  
— Ложись!..

Смерть есть смерть. Ее прихода  
Все мы ждем по старине.  
А в какое время года  
Легче гибнуть на войне?

Летом солнце греет жарко,  
И вступает в полный цвет  
Все кругом. И жизни жалко  
До зарезу. Летом — нет.

В осень смерть под стать картине.  
В сон идет природа вся.  
Но в грязи, в окопной глине  
Вдруг загнуться? Нет, друзья...

А зимой — земля, как камень.  
На два метра глубиной,

Привалит тебя комками,—  
Нет уж, ну ее — зимой.

А весной, весной... Да где там,  
Лучше скажем наперед:  
Если горько гибнуть летом,  
Если осенью — не мед,  
Если в зиму дрожь берет,  
То весной, друзья, от этой  
Подлой штуки — душу рвет.

И какой ты вдруг покорный  
На груди лежишь земной,  
Заслоняясь от смерти черной  
Только собственной спиной.

Ты лежишь ничком, парнишка  
Двадцати неполных лет.  
Вот сейчас тебе и крышка.  
Вот тебя уже и нет:

Ты прижал к вискам ладони,  
Ты забыл, забыл, забыл,  
Как траву щипали кони.  
Что в ночное ты водил.

Смерть грохочет в перепонках.  
И далек, далек, далек  
Вечер тот и та девчонка,  
Что любил ты и берег.

И друзей и близких лица,  
Дом родной, сучок в стене...  
Нет, боец,ничком молиться  
Не годится на войне.

Нет, товарищ, зло и гордо.  
Как закон велит бойцу,  
Смерть встречай лицом к лицу.  
И хотя бы плюнь ей в морду,  
Если все пришло к концу...

Ну-ка, что за перемена?  
То не шутки — бой идет.

Встал один и бьет с колена  
Из винтовки в самолет.

Трехлинейная винтовка  
На брезентовом ремне.  
Да патроны с той головкой,  
Что страшна стальной броне.

Бой неравный, бой короткий.  
Самолет чужой, с крестом.  
Покачнулся, точно лодка,  
Зачерпнувшая бортом.

Накреняясь, пошел по кругу.  
Кувыркается над лугом.—  
Не задерживай — давай.  
В землю штопором въезжай!

Сам стрелок глядит с испугом:  
Что наделал невзначай.

Скоростной, военный, черный,  
Современный, двухмоторный  
Самолет — стальная снасть —  
Ухнул в землю, завывая.  
Шар земной пробить желая  
И в Америку попасть.

— Не пробил, старался слабо.  
— Видно, место прогадал.

— Кто стрелял? — звонят из штаба —  
Кто стрелял, куда попал?

Адъютанты землю роют,  
Дышит в трубку генерал.  
— Разыскать тотчас героя.  
Кто стрелял?

А кто стрелял?

Кто не спрятался в окопчик,  
Поминая всех родных.  
Кто он — свой среди своих —  
Не зенитчик и не летчик,  
А герой — не хуже их?

Вот он сам стоит с винтовкой.  
Вот поздравили его.  
И как будто всем неловко —  
Неизвестно отчего.

Виноваты, что ль, отчасти?  
И сказал сержант спроста:  
— Вот что значит парню счастье.  
Глядь — и орден, как с куста!

Не промедливши с ответом.  
Парень сдачу подает:  
— Не горюй, у немца этот —  
Не последний самолет...

С этой шуткой-поговоркой,  
Облетевшей батальон,  
Перешел в герои Теркин.—  
Это был, понятно, он.

### О герое

— Нет, поскольку о награде  
Речь опять зашла, друзья,  
То уже не шутки ради  
Кое-что добавлю я.

Как-то в госпитале было.  
День лежу, лежу второй.  
Кто-то смотрит мне в затылок.  
Погляжу, а то — герой.

Сам собой, сказать, — мальчишка.  
Недолеток-стригунок.  
И мутит меня мыслишка:  
Вот он мог, а я не мог...

Разговор идет меж нами.  
И спроси я с первых слов:  
— Вы откуда родом сами —  
Не из наших ли краев?

Смотрит он:  
— А вы откуда? —  
Отвечаю:  
— Так и так.  
Сам как раз смоленский буду.  
Может, думаю, земляк?

Аж привстал герой:  
— Ну что вы.  
Что вы, — вскинул головой, —  
Я как раз из-под Тамбова, —  
И потрогал орден свой.

И умолкнул. И похоже,  
Подчеркнуть хотел он мне,  
Что таких, как он, не может  
Быть в смоленской стороне:

Что уж так они вовеки  
Различаются места,  
Что у них ручьи и реки  
И сама земля не та,  
И полянки, и пригорки,  
И козявки, и жуки...

И куда ты, Васька Теркин,  
Лезешь сдуру в земляки!

Так ли, нет — сказать, — не знаю,  
Только мне от мысли той  
Сторона моя родная  
Показалась сиротой,  
Сиротинкой, что не видно  
На народе, на круту...

Так мне стало вдруг обидно, —  
Рассказать вам не могу.

Это да, что я не гордый  
По характеру, а все ж  
Вот теперь, когда я орден  
Нацеплю, скажу я: врешь!

Мы в землячество не лезем,  
Есть свои у нас края.  
Ты — тамбовский? Будь любезен.  
А смоленский — вот он я.

Не иной какой, не энский.  
Безымянный корешок.  
А действительно смоленский,  
Как дразнили нас, рожок.

Не кичусь родным я краем.  
Но пройди весь белый свет —  
Кто в рожки тебе сыграет  
Так, как наш смоленский дед.

Заведет, задуэт сивая  
Лихая борода:  
Ты куда, моя красавая.  
Куда идешь, куда...

И ведет, поет, заяривает —  
Ладно, что без слов,  
Со слезою выговаривает  
Радость и любовь.

И за ту одну старинную  
За музыку-рожок  
В край родной дорогу длинную  
Стο раз бы я прошел.

Мне не надо, братцы, ордена,  
Мне слава не нужна,  
А нужна, больна мне родина,  
Родная сторона!

Где-то лошади в упряжке  
В скалах зубы бьют об лед...  
Где-то яблоня цветет.  
И моряк в одной тельняшке  
Ташит степью пулепет...

Где-то бомбы топчут город.  
Тонут на море суда...  
Где-то танки лезут в горы,  
К Волге двинулась беда...

Где-то будто на задворке,  
Будто знать про то не знал.  
На своем участке Теркин  
В обороне загорал.

У лесной глухой речушки,  
Что катилась вдоль войны.  
После доброй постирушки  
Поразвесил для просушки  
Гимнастерку и штаны.

На припеке обнял землю.  
Руки выбросил вперед  
И лежит и так-то дремлет.  
Может быть, за целый год.

И речушка — неглубокий  
Родниковый ручеек —  
Шевелит травой-осокой  
У его разутых ног.

И курлычет с тихой лаской,  
Моет камушки на дне.  
И выходит не то сказка,  
Не то песенка во сне.

Я на речке ноги вымою.  
Куда, реченька, течешь?  
В сторону мою, родимую,  
Может, где-нибудь свернешь...

## Генерал

Заняла война полсвета,  
Стон стоит второе лето.  
Опоясал фронт страну.  
Где-то Ладога... А где-то  
Дон — и то же на Дону...

Может, где-нибудь излучиной  
По пути зайдешь туда  
И под проволокой колючеко  
Проберешься без труда.

Меж немецкими окопами.  
Мимо вражеских постов,  
Возле пушек, в землю вкопанных,  
Промелькнешь из-за кустов.

И тропой своей исконною  
Протечешь ты там, как тут.  
И ни пешие, ни конные  
На пути не переймут.

Дотечешь дорогой кружкою  
До родимого села.  
На мосту солдаты с ружьями.—  
Ты под мостиком прошла.

Там печаль свою велискую,  
Что без края и конца,  
Над тобой, над речкой, выплакать,  
Может, выйдет мать бойца.

Над тобой, над малой речкою,  
Над водой, чей путь далек,  
Посыхать бы хоть словечко ей,  
Хоть одно, что цел сынок.

Помороженный, простуженный  
Отдыхает он, герой.  
Битый, рансный, контуженный.  
Да здоровый и живой...

Теркин — много ли дремал он,  
Землю-мать прикаив к щеке.—  
Слышиш:  
— Теркин, к генералу  
На одной давай ноге.

Посмотрел, поднялся Теркин,  
Тут связной стоит.  
— Ну что ж,  
Без штанов, без гимнастерки  
К генералу не пойдешь.

Говорит, чудит, а все же  
Сам, волнуясь и сопя,  
Непросохшую одежду  
Спешно пылит на себя.  
Приросла к спине — не стронет...

— Теркин, сроку пять минут.  
— Ничего. С земли не сгонят,  
Дальше фронта не пошлют.

Подзаправился на славу,  
И хоть знает наперед,  
Что совсем не на расправу  
Генерал его зовет.—  
Все ж у главного порога  
В генеральском блиндаже —  
Был бы бог, так Теркин Богу  
Помолился бы в душе.

Шутка ль, если разобраться:  
К генералу входишь вдруг,—  
Генерал — один на двадцать.  
Двадцать пять, а может статься,  
И на сорок верст вокруг.

Генерал стоит над нами.—  
Оробеть при нем не грех.—  
Он не только что чинами,  
Боевыми орденами,  
Он годами старше всех.

Ты, обжегшись кашей, плакал.  
Ты пешком ходил под стол.  
Он тогда уж был воякой,  
Он ходил уже в атаку.  
Взвод, а то и роту вел.

И на этой половине —  
У передних наших линий,  
На войне — не кто как он  
Твой ЦК и твой Калинин.  
Суд. Отец. Глава. Закон.

Честью, друг, считай немалой,  
Заработанной в бою.  
Услыхать от генерала  
Вдруг фамилию свою.

Знай: за дело, за заслугу  
Жмет тебе он крепко руку  
Боевой своей рукой.

— Вот, брат, значит, ты какой.  
Богатырь. Орел. Ну, просто —  
Воин! — скажет генерал.

И пускай ты даже ростом  
И плечами всего не взял.  
И одет не для парада, —  
Тут война — парад потом, —  
Говорят: орел, так надо  
И глядеть и быть орлом.

Стой, боец, с достойным видом,  
Понимай, в душе имей:  
Генерал награду выдал —  
Как бы снял с груди своей —  
И к бойцовской гимнастерке  
Прикрепил немедля сам.  
И ладонью:  
— Вот, брат Теркин, —  
По лихим провел усам.

В скобках надобно, пожалуй,  
Здесь отметить, что усы.  
Если есть у генерала,  
То они не для красы.

На войне ли, на параде  
Не пустяк, друзья, когда  
Генерал усы погладил  
и сказал хотя бы:  
— Да...

Есть привычка боевая,  
Есть минуты и часы...  
И не зря еще Чапаев  
Уважал свои усы.

Словом — дальше. Генералу  
Показалось под конец.  
Что своей награде мало  
Почему-то рад боец.

Что ж, боец — душа живая,  
На войне второй уж год...

И не каждый день сбивают  
Из винтовки самолет.

Молодца и в самом деле  
Отличить расчет прямой.

— Вот что, Теркин, на неделю  
Можешь с орденом — домой...

Теркин — понял ли, не понял,  
Иль не верит тем словам?  
Только дрогнули ладони  
Рук, протянутых по швам.

Про себя вдохнув глубоко,  
Теркин тихо отвечал:  
— На неделю мало сроку  
Мне, товарищ генерал...

Генерал склонился строго:  
— Как так мало? Почему?  
— Потому — трудна дорога  
Нынче к дому моему.  
Дом-то вроде недалечко,  
По прямой — пустяшный путь...

— Ну а что ж?  
— Да я не речка.  
Чтоб легко туда шмыгнуть.  
Мне по крайности вначале  
Днем соваться не с руки.  
Мне идти туда ночами.  
Ну, а ночи коротки...

Генерал кивнул:  
— Понятно!  
Дело с отпуском — табак.—  
Пошутил:  
— А как обратно  
Ты пришел бы?..  
— Точно ж так...

Сторона моя лесная,  
Каждый кустик мне — родня.  
Я пути такие знаю,  
Что поди поймай меня!

Мне там каждая знакома  
Борозденка под межой.  
Я — смоленский. Я там дома.  
Я там — свой, а ОН — чужой.  
— Погоди-ка. Ты без шуток.  
Ты бы вот что мне сказал...

И как будто в ту минуту  
Что-то вспомнил генерал.  
На бойца взглянул душевней  
И сказал, шагнув к стене:  
— Ну-ка, где твоя деревня?  
Покажи по карте мне.

Теркин дышит осторожно  
У начальства за плечом.  
— Можно, — молвит, — это можно.  
Вот он Днепр, а вот мой дом.

Генерал отметил точку.  
— Вот что, Теркин, в одиночку  
Не резон тебе идти.  
Потерпи уж, дай отсрочку.  
Нам с тобою по пути...

Отпуск точно, аккуратно  
За тобой прошу учесть.

И боец сказал:  
— Понятно.—  
И еще добавил:  
— Есть.

Встал по форме у порога,  
Призадумался немножко.  
На секунду на одну...

Генерал усы потрогал  
И сказал, поднявшись:  
— Ну?..

Сколькоих он, над картой сидя.  
Словом, подписью своей,  
Перед тем в глаза не видя.  
Посыпал на смерть людей!

Что же, всех и не увидишь.  
С каждым к расстаням не выйдешь.  
На прощанье всем нельзя  
Заглянуть тепло в глаза.

Заглянуть в глаза, как другу.  
И пожать покрепче руку.  
И по имени назвать.  
И удачи пожелать.  
И, помедливши минутку,  
Ободрить старинной шуткой:  
Мол, хотя и тяжело.  
А, между прочим, ничего...

Но с одним проститься кстати  
Генерал не забывал.

Обнялись они, мужчины,  
Генерал-майор с бойцом,—  
Генерал — с любимым сыном.  
А боец — с родным отцом.

И бойцу за тем порогом  
Предстояла путь-дорога  
На родную сторону.  
Пряником через войну.

### *О себе*

Я покинул дом когда-то,  
Позвала дорога вдаль.  
Не мала была утрата.  
Но светла была печаль.

И годами с грустью нежной —  
Меж иных любых тревог —  
Угол отчий, мир мой прежний  
Я в душе моей берег.

Да и не было помехи  
Взять и вспомнить наугад  
Старый лес, куда в орехи  
Я ходил с толпой ребят.

Лес — ни пулей, ни осколком  
Не пораненный ничуть,  
Не порубленный без толку.  
Без порядку как-нибудь:  
Не корчеванный фугасом,  
Не поваленный огнем,  
Хламом гильз, жестяночек, касок  
Не заваленный кругом;

Блиндажами не изрытый,  
Не обкуренный зимой,  
Ни своими не обжитый.  
Ни чужими под землей.

Милый лес, где я мальчионкой  
Плел из веток шалаши.  
Где однажды я теленка,  
Сбившись с ног, искал в глухи...

Полдень раннего июня  
Был в лесу, и каждый лист.  
Полный, радостный и юный.  
Был горяч, но свеж и чист.

Лист к листу, листом прикрытый.  
В сборе лиственном густом  
Пересчитанный, промытый  
Первым за лето дождем.

И в глухи родной, ветвистой.  
И в тиши дневной, лесной  
Молодой, густой, смолистый,  
Золотой держался зной.

И в спокойной чаще хвойной  
У земли мешался он  
С муравьиным духом винным  
И пьянил, склоняя в сон.

И в истоме птицы смолкли...  
Светлой каплею смола  
По коре нагретой елки,  
Как слеза во сне, текла...

Мать-земля моя родная.  
Сторона моя лесная.  
Край недавних детских лет.  
Отчий край, ты есть иль нет?

Детства день, до гроба милый.  
Детства сон, что сердцу свят,  
Как легко все это было  
Взять и вспомнить год назад.

Вспомнить разом что придется —  
Сонный полдень над водой.  
Дворик, стежку до колодца.  
Где песочек золотой:  
Книгу, читанную в поле,  
Кнут, свисающий с плеча,  
Лед на речке, глобус в школе  
У Ивана Ильича...

Да и не было запрета,  
Проездной купив билет.  
Вдруг туда приехать летом.  
Где ты не был десять лет...

Чтобы с лаской, хоть не детской.  
Вновь обнять старуху мать,  
Не под проволокой немецкой  
Нужно было проползать.

Чтоб со взрослой грустью сладкой  
Праздник встречи пережить —  
Не украдкой, не с оглядкой  
По родным лесам кружить.

Чтоб сердечным разговором  
С земляками встретить день —  
Не нужда была, как вору.  
Под стеною прятать тень...

Мать-земля моя родная.  
Сторона моя лесная,  
Край, страдающий в плену!  
Я приду — лишь дня не знаю,  
Но приду, тебя верну.

Не звериным робким следом  
Я приду, твой кровный сын,—  
Вместе с нашею победой  
Я иду, а не один.

Этот час не за горою.  
Для меня и для тебя...

А читатель той порою  
Скажет:  
— Где же про героя?  
Это больше про себя.

Про себя? Упрек уместный.  
Может быть, меня пресек.

Но давайте скажем честно:  
Что ж, а я не человек?

Спорить здесь нужды не вижу.  
Сознавайся в чем в другом.  
Я ограблен и унижен,  
Как и ты, одним врагом.

Я дрожу от боли острой.  
Злобы горькой и святой.  
Мать, отец, родные сестры  
У меня за той чертой.  
Я стонать от боли вправе  
И кричать с тоски клятой.  
То, что я всем сердцем славил  
И любил, — за той чертой.

Друг мой, так же не легко мне,  
Как тебе с глухой бедой.  
То, что я хранил и помнил,  
Чем я жил — за той, за той —  
За неписаной границей.  
Поперек страны самой,  
Что горит, горит в зарницах  
Вспышек — летом и зимой...

И скажу тебе, не скрою.—  
В этой книге, там ли, сям.  
То, что молвить бы герою,  
Говорю я лично сам.  
Я за все кругом в ответе,  
И заметь, коль не заметил,  
Что и Теркин, мой герой,  
За меня гласит порой.  
Он земляк мой и, быть может,  
Хоть нимало не поэт.  
Все же как-нибудь похоже  
Размышлял. А нет, ну — нет.

Теркин — дальше. Автор — вслед.

**Бой в болоте**

Бой безвестный, о котором  
Речь сегодня поведем,  
Был, прошел, забылся скоро...  
Да и вспомнят ли о нем?

Бой в лесу, в кустах, в болоте.  
Где война стелила путь,  
Где вода была пехоте  
По колено, грязь — по грудь:

Где брели бойцы понуро.  
И, скользнув с бревна в ночи,  
Артиллерия тонула.  
Увязали тягачи.

Этот бой в болоте диком  
На втором году войны  
Не за город шел великий,  
Что один у всей страны;

Не за гордую твердыню,  
Что у матушки-реки.  
А за некий, скажем ныне,  
Населенный пункт Борки.

Он стоял за тем болотом  
У конца лесной тропы,  
В нем осталось ровным счетом  
Обгорелых три трубы.

Там с открытых и закрытых  
Огневых — кому забыть! —  
Было бито, бито, бито.  
И, казалось, что там бить?

Там в щебенку каждый камень.  
В щепки каждое бревно.  
Называлось там Борками  
Место черное одно.

А в окружку — мох, болото,  
Край от мира в стороне.  
И подумать вдруг, что кто-то  
Здесь родился, жил, работал.  
Кто сегодня на войне.

Где ты, где ты, мальчик босый,  
Деревенский пастушок,  
Что по этим дымным росам,  
Что по этим кочкам шел?

Бился ль ты в горах Кавказа  
Или пад за Сталинград.  
Мой земляк, ровесник, брат,  
Верный долгу и приказу  
Русский труженик-солдат.

Или, может, в этих дымах.  
Что уже недалеки.  
Видишь нынче свой родимый  
Угол дедовский. Борки?

И у той черты недальной,  
У земли многострадальной,  
Что была к тебе добра,  
Влился голос твой в печальный  
И протяжный стон: «Ура-а...»

Как в бою удачи мало  
И дела нехороши.  
Виноватого, бывало,  
Там попробуй поищи.

Артиллерия толково  
Говорит — она права:  
— Вся беда, что танки снова  
В лес свернули по дровам.

А еще сложнее счеты,  
Чуть танкиста повстречал.  
— Подвела опять пехота.  
Залегла. Пропал запал.

А пехота не хвастливо,  
Без отрыва от земли  
Лишь махнет рукой лениво:  
— Точно. Танки подвели.

Так идет оно по кругу.  
И ругают все друг друга.  
Лишь в согласье все подряд  
Авиацию бранят.

Все хорошие ребята,  
Как посмотришь — красота.  
И ничуть не виноваты.  
И деревня не взята.

И противник по болоту.  
По траншейкам торфяным  
Садит вновь из минометов —  
Что ты хочешь делай с ним.

Адреса разведал точно.  
Шлет посылки спешной почтой.  
И лежишь ты, адресат.  
Изнывая, ждешь за кочкой.  
Скоро ль мина влепит в зад.

Перемокшая пехота  
В полный смак клянет болото.  
Не мечтает о другом —  
Хоть бы смерть, да на сухом.

Кто-нибудь еще расскажет,  
Как лежали там в тоске.  
Третья сутки кукиш кажет  
В животе кишку кишке.

Посыпает дождик редкий,  
Кашель злой терзает грудь.  
Ни клочка родной газетки —  
Козью ножку завернуть:

И ни спичек, ни махорки —  
Все раскисло от воды.  
— Согласись, Василий Теркин,  
Хуже нет уже беды?

Тот лежит у края лужи.  
Усмехнулся:  
— Нет, друзья,  
Во сто раз бывает хуже.  
Это точно знаю я.

— Где уж хуже...  
— А не спорьте,  
Кто не хочет, тот не верь,  
Я сказал бы: на курорте  
Мы находимся теперь.

И глядит шутник великий  
На людей со стороны.  
Губы — то ли от черники,  
То ль от холода черны.

Говорит:  
— В своем болоте  
Ты находишься сейчас.  
Ты в цепи. Во взводе. В роте.  
Ты имеешь связь и часть.

Даже сетовать неловко  
При такой, чудак, судьбе.  
У тебя в руках винтовка.  
Две гранаты при тебе.

У тебя — в тылу ль, на фланге, —  
Сам не знаешь, как силен, —  
Бронебойки, пушки, танки.  
Ты, брат, — это батальон.  
Полк. Дивизия. А хочешь —  
Фронт. Россия! Наконец,  
Я скажу тебе короче  
И понятней: ты — боец.

Ты в строю, прошу усвоить.  
А быть может, год назад  
Ты бы здесь изведал, воин,  
То, что наш изведал брат.

Ноги б с горя не носили!  
Где свои, где чьи края?  
Где тот фронт и где Россия?  
По какой рубеж своя?

И однажды ночью поздно,  
От деревни в стороне  
Укрывался б ты в колхозной.  
Например, сенной копне...

Тут, озnob вдувая в души,  
Долгой выгнувшись дугой,  
Смертный свист скатился в уши.  
Ближе, ниже, суще, глупше —  
И разрыв!  
За ним другой...

— Ну, накрыл. Не даст дослушать  
Человека.

— Он такой...

И за каждым тем разрывом  
На примолкнувших ребят  
Рваный лист, кружась лениво,  
Ветки сбитые летят.

Тянет всех, зовет куда-то,  
Уходи, беда вот-вот...  
Только Теркин:  
— Брось, ребята.  
Говорю — не попадет.

Сам сидит как будто в кресле...  
Всех страхует от огня.  
— Ну, а если?...  
— А уж если...  
Получи тогда с меня.

Слушай лучше. Я серьезно  
Рассуждаю о войне.

Вот лежишь ты в той бесхозной,  
В поле брошенной копне.

Немец где? До ближней хаты  
Полверсты — ни дать ни взять.  
И проходят два солдата  
В поле сена навязать.

Из копнушки вяжут сено.  
Той, где ты нашел приют,  
Уминают под колено  
И поют. И что ж поют!

Хлопцы, верьте мне, не верьте.  
Только врать не стал бы я.  
А поют худые черти.  
Сам слыхал: «Москва моя».

Тут сстроил Теркин рожу  
И привстал, держась за пень,  
И запел весьма похоже,  
Как бы немец мог запеть.

До того тянул он криво.  
И смотрел при этом он  
Так чванливо, так тоскливо,  
Так чудно, — печенки вон!

— Вот и смех тебе. Однако  
Услыхал бы ты тогда  
Эту песню, — ты б заплакал  
От печали и стыда.

И смеешься ты сегодня,  
Потому что, знай, боец:  
Этой песни прошлогодней  
Нынче немец не певец.

— Не певец-то — это верно.  
Это ясно, час не тот...  
— А деревню-то, примерно,  
Вот берем — не отдает.

И с тоскою бесконечной,  
Что, быть может, год берег.  
Кто-то так чистосердечно.  
Глубоко, как мех кузнечный.  
Вдруг вздохнул:  
— Ого, сынок!

Подивился Теркин вздоху.  
Посмотрел,— ну, ну! — сказал.—  
И такой ребячий хохот  
Всех опять в работу взял.

— Ах ты. Теркин. Ну и малый.  
И в кого ты удался.  
Только мать, наверно, знала...  
— Я от тетки родился.

— Теркин — теткин, елки-палки.  
Сыпь еще назло врагу.

— Не могу. Таланта жалко.  
До бомбейки берегу.  
Получай тогда на выбор.  
Что имею про запас.

— И за то тебе спасибо.  
— На здоровье. В добрый час.

Заключить теперь нельзя ли.  
Что, мол, горе не беда.  
Что ребята встали, взяли  
Деревушку без труда?

Что с удачей постоянной  
Теркин подвиг совершил:  
Русской ложкой деревянной  
Восемь фрицев уложил!

Нет, товарищ, скажем прямо:  
Был он долг до тоски.  
Летний бой за этот самый  
Населенный пункт Борки.

Много дней прошло суровых,  
Горьких, списанных в расход.

— Но позвольте, — скажут снова, —  
Так о чем тут речь идет?

Речь идет о том болоте,  
Где война стелила путь.  
Где вода была пехоте  
По колено, грязь — по грудь:

Где в трясине, в ржавой каше.  
Безответно — в счет, не в счет —  
Шли, ползли, лежали наши  
Днем и ночью напролет:

Где подарком из подарков,  
Как труды ни велики,  
Не Ростов им был, не Харьков.  
Населенный пункт Борки.

И в глухи, в бою безвестном,  
В сосняке, в кустах сырых  
Смертью праведной и честной  
Пали многие из них.

Пусть тот бой не упомянут  
В списке славы золотой.  
День придет — еще повстанут  
Люди в памяти живой.

И в одной бессмертной книге  
Будут все навек равны —  
Кто за город пал великий,  
Что один у всей страны:

Кто за гордую твердыню,  
Что у Волги у реки.  
Кто за тот, забытый ныне,  
Населенный пункт Борки.

И Россия — мать родная —  
Почесть всем отдаст сполна.  
Бой иной, пора иная,  
Жизнь одна и смерть одна.

### О любви

Всех, кого взяла война.  
Каждого солдата  
Проводила хоть одна  
Женщина когда-то...

Не подарок, так белье  
Собрала, быть может,  
И что дольше без нее,  
То она дороже.

И дороже этот час,  
Памятный, особый.  
Взгляд последний этих глаз,  
Что забудь попробуй.

Обойдись в пути большом.  
Глупой славы ради,  
Без любви, что видел в нем,  
В том прощальном взгляде.

Он у каждого из нас  
Самый сокровенный  
И бесценный наш запас,  
Неприкосновенный.

Он про всякий час, друзья,  
Бережно хранится.  
И с товарищем нельзя  
Этим поделиться.  
Потому — он мой, он весь —  
Мой, святой и скромный,  
У тебя он тоже есть,  
Ты подумай, вспомни.

Всех, кого взяла война,  
Каждого солдата  
Проводила хоть одна  
Женщина когда-то...

И приходится сказать,  
Что из всех тех женщин,  
Как всегда, родную мать  
Вспоминают меньше.

И не принято родной  
Сетовать напрасно,—  
В срок иной, в любви иной  
Мать сама была женой  
С тем же правом властным.

Да, друзья, любовь жены,—  
Кто не знал — проверьте,—  
На войне сильней войны  
И, быть может, смерти.

Ты ей только не перечь,  
Той любви, что вправе  
Ободрить, предостеречь,  
Осудить, прославить.

Вновь достань листок письма,  
Перечти сначала,  
Пусть в землянке полуутьма,  
Ну-ка, где она сама  
То письмо писала?

При каком на этот раз  
Примостилась свете?  
То ли спали в этот час,  
То ль мешали дети.  
То ль болела голова  
Тяжко, не впервые,  
Оттого, брат, что дрова  
Не горят сырье?..

Впряжен в тот воз одна,  
Разве не устанет?  
Да зачем тебе жена  
Жаловаться станет?

Жены думают, любя,  
Что иное слово  
Все ж скорей найдет тебя  
На войне живого.

Нынче жены все добры,  
Беззаветны вдосталь.  
Даже те, что до поры  
Были ведьмы просто.

Смех — не смех, случалось мне  
С женами встречаться.  
От которых на войне  
Только и спасаться.

Чем томиться день за днем  
С той женою-крошкой,  
Лучше ползать под огнем  
Или под бомбажкой.

Лучше, пять пройдя атак,  
Ждать шестую в сутки...  
Впрочем, это только так.  
Только ради шутки.

Нет, друзья, любовь жены —  
Сотню раз проверьте, —  
На войне сильней войны  
И, быть может, смерти.

И одно сказать о ней  
Вы бы могли вначале:  
Что короче, что длинней —  
Та любовь, война ли?

Но, беспрепетно в лицо  
Глядя всякой правде,  
Я замолвил бы словцо  
За любовь, представьте.

Как война на жизнь ни шла,  
Сколько ни пахала.  
Но любовь пережила  
Срок ее немалый.

И недаром нету, друг.  
Письмеца дороже.  
Что из тех далеких рук,  
Дорогих усталых рук  
В трещинках по коже,

И не зря взываю я  
К женам настоящим:  
— Жены, милые друзья,  
Вы пишите чаще.

Не ленитесь к письмечку  
Приписать, что надо.  
Генералу ли, бойцу,  
Это — как награда.

Нет, товарищ, не забудь  
На войне жестокой:  
У войны короткий путь,  
У любви — далекий.

И ее большому дню  
Сроки близки ныне.

А к чему я речь клоню?  
Вот к чему, родные.

Всех, кого взяла война,  
Каждого солдата  
Проводила хоть одна  
Женщина когда-то...

Но хотя и жалко мне,  
Сам помочь не в силе,  
Что остался в стороне  
Теркин мой Василий.

Не случилось никого  
Проводить в дорогу.

Полюбите вы его,  
Девушки, ей-богу!

Любят летчиков у нас,  
Конники в почете.

Обратитесь, просим вас,  
К матушке-пехоте!

Пусть тот конник на коне,  
Летчик в самолете,  
И, однако, на войне  
Первый ряд — пехоте.

Пусть танкист красив собой  
И горяч в работе.  
А ведешь машину в бой —  
Поклонись пехоте.

Пусть форсист артиллерист  
В боевом расчете,  
Отстрелялся — не гордись,  
Дела суть — в пехоте.

Обойдите всех подряд,  
Лучше не найдете:  
Обратите нежный взгляд,  
Девушки, к пехоте.

Полюбите молодца,  
Сердце подарите.  
До победного конца  
Верно полюбите!

### Отдых Теркина

На войне — в пути, в теплушке.  
В тесноте любой избушки.  
В блиндаже иль погребушке,—  
Там, где случай приведет,—

Лучше нет, как без хлопот,  
Без перины, без подушки.  
Примостясь кой-как друг к дружке,  
Отдохнуть... Минут шестьсот.

Даже больше б не мешало,  
Но солдату на войне  
Срок такой для сна, пожалуй,  
Можно видеть лишь во сне.

И представь, что вдруг, покинув  
В некий час передний край.  
Ты с попутною машиной  
Попадаешь прямо в рай.

Мы здесь вовсе не желаем  
Шуткой той блеснуть спроста.  
Что, мол, рай с передним краем  
Это — смежные места.

Рай по правде. Дом. Крылечко.  
Веник — ноги обметай.  
Дальше — горница и печка.  
Все, что надо. Чем не рай?

Вот и в книге ты отмечен,  
Раздевайся, проходи.  
И плечами у теплой печи  
На свободе поведи.

Осмотрись вокруг детально,  
Вот в ряду твоя кровать.  
И учти, что это — спальня,  
То есть место — специально  
Для того, чтоб только спать.

Спать, солдат, весь срок недельный,  
Самолично, безраздельно  
Занимать кровать свою.  
Спать в сухом тепле постельном,  
Спать в одном белье нательном,  
Как положено в раю.

И по строгому приказу.  
Коль тебе здесь быть пришлось.  
Ты помимо сна обязан  
Пищу в день четыре раза  
Принимать. Но как? — вопрос.

Всех привычек перемена  
Поначалу тяжела.  
Есть в раю нельзя с колена,  
Можно только со стола.

И никто в раю не может  
Бегать к кухне с котелком,  
И нельзя сидеть в одежде  
И корежить хлеб штыком.

И такая установка  
Строго-настрого дана,  
Что у ног твоих винтовка  
Находиться не должна.

И в ущерб своей привычке  
Ты не можешь за столом  
Утереться рукавичкой  
Или — так вот — рукавом.

И когда покончишь с пищей.  
Не забудь еще, солдат,  
Что в раю за голенище  
Ложку прятать не велят.

Все такие оговорки  
Разобрав, поняв путем.  
Принял в счет Василий Теркин  
И решил:  
— Не пропадем.

Вот обед прошел и ужин.  
— Как вам нравится у нас?  
— Ничего. Немножко б хуже.  
То и было б в самый раз...

Покурил, вздохнул — и на бок.  
Как-то странно голове.  
Простыня — пускай одна бы,  
Нет, так на, мол, сразу две.

Чистота — озноб по коже,  
И неловко, что здоров,  
А до крайности похоже,  
Будто в госпитале вновь.

Бережет плечо в кровати,  
Головой не повернет.  
Вот и девушка в халате  
Совершает свой обход.

Двое справа, трое слева  
К ней разведчиков тотчас.  
А она, как королева:  
Мол, одна, а сколько вас.

Теркин смотрит сквозь ресницы:  
О какой там речь красе.  
Хороша, как говорится,  
В прифронтовой полосе.

Хороша, при смутном свете.  
Дорога, как нет другой,  
И видать, ребята эти  
Отдохнули день, другой...

Сон-забвенье на пороге.  
Ровно, сладко дышит грудь.  
Ах, как холодно в дороге  
У объезда где-нибудь!

Как прохватывает ветер,  
Как луна теплом бедна!  
Ах, как трудно все на свете:  
Служба, жизнь, зима, война.

Как тоскует о постели  
На войне солдат живой!  
Что ж не спится в самом деле?  
Не укрыться ль с головой?

Полчаса и час проходит.  
С боку на бок, навзничь, ниц.  
Хоть убейся — не выходит.  
Все хралят, а ты казнись.

То ли жарко, то ли зябко,  
Не понять, а сна все нет.  
— Да надень ты, парень, шапку,—  
Вдруг дают ему совет.

Разъясняют:  
— Ты не первый.  
Не второй страдаешь тут.  
Поначалу наши нервы  
Спать без шапки не дают.

И едва надел родимый  
Головной убор солдат.  
Боевой, пропахший дымом  
И землей, как говорят.—

Тот, обношенный на славу  
Под дождем и под огнем,  
Что еще колючкой ржавой  
Как-то прорван был на нем:

Тот, в котором жизнь проводишь.  
Не снимая,— так хорош! —  
И когда ко сну отходишь,  
И когда на смерть идешь,—

Видит: нет, не зря послушал  
Тех, что знали, в чем резон:  
Как-то вдруг согрелись уши.  
Как-то стало мягче, глуще —  
И всего свернуло в сон.

И проснулся он до срока.  
С чувством редкостным — точь-в-точь  
Словно где-нибудь далеко  
Побывал за эту ночь:

Словно выкупался где-то.  
Где — хоть вновь туда вернись —  
Не зима была, а лето.  
Не война, а просто жизнь.

И с одной ногой обутой,  
Шапку снять забыв свою,  
На исходе первых суток  
Он задумался в раю.

Хороши харчи и хата.  
Осуждать не станем зря,  
Только, знаете, война-то  
Не закончена, друзья.

Посудите сами, братцы,  
Кто б чудней придумать мог:  
Раздеваться, разуваться  
На такой короткий срок.

Тут обвыкнешь — сразу крышка.  
Чуть покинешь этот рай.  
Лучше скажем: передышка.  
Больше время не теряй.

Закусил, собрался, вышел.  
Дело было на мази.  
Грузовик идет.— засыпал.  
Голосует:  
— Подвези.

И, четыре пуда грузу  
Добавляя по пути,  
Через борт ввалился в кузов.  
Постучал: давай, крути.

Ехал — близко ли, далеко —  
Кому надо, вымеряй.  
Только, рай, прощай до срока,  
И опять — передний край.

Соскочил у поворота.—  
Глядь — и дома, у огня.  
— Ну, рассказывайте, что тут.  
Как тут: хлопцы, без меня?

— Сам рассказывай. Кому же  
Неохота знать тотчас,  
Как там, что в раю у вас...

— Хорошо. Немножко б хуже,  
Верно, было б в самый раз...

— Хорошо поспал, богато.  
Осуждать не станем зря.  
Только, знаете, война-то  
Не закончена, друзья.

Как дойдем до той границы  
По Варшавскому шоссе.  
Вот тогда, как говорится,  
Отдохнем. И то не все.

А пока — в пути, в теплушке.  
В тесноте любой избушки.  
В блиндаже иль погребушке.  
Где нам случай приведет.—

Лучше нет, как без хлопот,  
Без перины, без подушки.  
Примостясь плотней друг к дружке,  
Отдохнуть.  
А там — вперед.

### В наступлении

Столько жили в обороне,  
Что уже с передовой  
Сами шли, бывало, кони,  
Как в селе, на водопой.

И на весь тот лес обжитый,  
И на весь передний край  
У землянок домовитый  
Раздавался песий лай.

И прижившийся на диво,  
Петушок — была пора —  
По утрам будил комдива,  
Как хозяина двора.

И во славу зимних буден  
В бане — пару не жалей —  
Секлись вениками люди  
Вязки собственной своей.

На войне, как на привале,  
Отдыхали про запас.  
Жили, «Теркина» читали  
На досуге.

Вдруг — приказ...

Вдруг — приказ, конец стоянке.  
И уж где-то далеки

Опустевшие землянки.  
Сиротливые дымки.

И уже обыкновенно  
То, что минул целый год,  
Точно день. Вот так, наверно,  
И война, и все пройдет...

И солдат мой поседелый,  
Коль останется живой.  
Вспомнит: то-то было дело,  
Как сражались под Москвой...

И с печалью горделивой  
Он начнет в кругу внучат  
Свой рассказ неторопливый.  
Если слушать захотят...

Трудно знать. Со стариками  
Не всегда мы так добры.  
Там посмотрим.

А покамест  
Далеко до той поры.

• • •  
Бой в разгаре. Дымкой синей  
Серый снег заволокло.  
И в цепи идет Василий,  
Под огнем идет в село.

И до отчего порога.  
До родимого села  
Через то село дорога —  
Не иначе — пролегла.

Что поделаешь — иному  
И еще кружнее путь.  
И идет иной до дому  
То ли степью незнакомой,  
То ль горами где-нибудь...

Низко смерть над шапкой свищет.  
Хоть кого согнет в дуту.

Цепь идет, как будто ищет  
Что-то в поле на снегу.

И бойцам, что помоложе,  
Что впервые так идут.  
В этот час всего дороже  
Знать одно, что Теркин тут.

Хорошо — хотя озnobцем  
Пронимает под огнем —  
Не последним самым хлопцем  
Показать себя при нем.

Толку нет, что в миг тосклиwyй.  
Как снаряд берет разбег.  
Теркин так же ждет разрыва.  
Камнем кинувшись на снег:

Что над страхом меньше власти  
У того в бою подчас.  
Кто судьбу свою и счастье  
Испытал уже не раз;

Что, быть может, эта сила  
Уцелевшим из огня  
Человека выносила  
До сегодняшнего дня,—

До вот этой борозденки.  
Где лежит, вобрав живот.  
Он, обшитый кожей тонкой  
Человек. Лежит и ждет...

Где-то там, за полем бранным,  
Думу думает свою  
Тот, по чьим часам карманным  
Все часы идут в бою.

И за всей вокруг пальбою,  
За разрывами в дыму  
Он следит, владыка боя.  
И решает, что к чему.

Где-то там, в песчаной круче,  
В блиндаже сухом, сыпучем.  
Глядя в карту, генерал  
Те часы свои достал:  
Хлопнул крышкой, точно дверкой.  
Поднял шапку, вытер пот...

И дождался, слышит Теркин:  
— Взвод! За Родину! Вперед!..

И хотя слова он эти —  
Клич у смерти на краю —  
Сотни раз читал в газете  
И не раз слыхал в бою, —

В душу вновь они вступали  
С одинаковою той  
Властью правды и печали,  
Сладкой горечи святой:

С тою силой неизменной,  
Что людей в огонь ведет,  
Что за все ответ священный  
На себя уже берет.

— Взвод! За Родину! Вперед!..

Лейтенант щеголеватый,  
Конник, спешенный в боях,  
По-мальчишечный усатый,  
Весельчак, плясун, казак.  
Первым встал, стреляя с ходу,  
Побежал вперед со взводом,  
Обходя село с задов.  
И пролет уже далеко  
След его в снегу глубоком —  
Дальше всех в цепи следов.

Вот уже у крайней хаты  
Поднял он ладонь к усам:  
— Молодцы! Вперед, ребята —  
Крикнул так молодцевато.  
Словно был Чапаев сам.

Только вдруг вперед подался.  
Оступился на бегу.  
Четкий след его прервался  
На снегу...

И нырнул он в снег, как в воду.  
Как мальчонка с лодки в вир.  
И пошло в цепи по взводу:  
— Ранен! Ранен командир!..

Подбежали. И тогда-то.  
С тем и будет не забыт,  
Он привстал:  
— Вперед, ребята!  
Я не ранен. Я — убит...

Край села, сады, задворки —  
В двух шагах, в руках вот-вот...  
И увидел, понял Теркин,  
Что вести его черед.

— Взвод! За Родину! Вперед!..

И доверчиво по знаку,  
За товарищем спеша,  
С места бросились в атаку  
Сорок душ — одна душа...

Если есть в бою удача.  
То в исходе все подряд  
С похвалой, весьма горячей.  
Друг о друге говорят.  
— Танки действовали славно.  
— Шли саперы молодцом.  
— Артиллерия подавно  
Не ударит в грязь лицом.  
— А пехота!  
— Как по нотам,  
Шла пехота. Ну да что там!  
Авиация — и та...

Словом, просто — красота.

И бывает так, не скроем.  
Что успех глаза слепит:  
Столько сыщется героев.  
Что — глядишь — один забыт.

Но для точности примерной.  
Для порядка генерал,  
Кто в село ворвался первым,  
Знать на месте пожелал.

Доложили, как обычно:  
Мол, такой-то взял село,  
Но не смог явиться лично,  
Так как ранен тяжело.

И тогда из всех фамилий,  
Всех сегодняшних имен —  
Теркин — вырвалось — Василий!  
Это был, конечно, он.

### Смерть и воин

За далекие пригорки  
Уходил сраженья жар.  
На снегу Василий Теркин  
Неподобранный лежал.

Снег под ним, набрякши кровью,  
Взялся грудой ледяной.  
Смерть склонилась к изголовью:  
— Ну, солдат, пойдем со мной.

Я теперь твоя подруга.  
Недалеко провожу.  
Белой вы沟ой, белой вы沟ой,  
Выгой след запорошу.

Дрогнул Теркин, замерзая  
На постели снеговой.  
— Я не звал тебя, Косая.  
Я солдат еще живой.

Смерть, смеясь, нагнулась ниже:  
— Полно, полно, молодец.  
Я-то знаю, я-то вижу:  
Ты живой да не жилец.

Мимоходом тенью смертной  
Я твоих коснулась щек,  
А тебе и незаметно,  
Что на них сухой снежок.

Моего не бойся мрака,  
Ночь, поверь, не хуже дня...  
— А чего тебе, однако,  
Нужно лично от меня?

Смерть как будто бы замялась,  
Отклонилась от него.  
— Нужно мне... такую малость.  
Ну почти что ничего.

Нужен знак один согласья,  
Что устал беречь ты жизнь,  
Что о смертном молишь час...

— Сам, выходит, подпишись? —  
Смерть подумала.  
— Ну что же,—  
Подпишись, и на покой.  
— Нет, уволь. Себе дороже.  
— Не торгуйся, дорогой.

Все равно идешь на убыль —  
Смерть подвинулась к плечу —  
Все равно стянулись губы.  
Стынут зубы...  
— Не хочу.

— А смотри-ка, дело к ночи.  
На мороз горит заря.  
Я к тому, чтоб мне короче  
И тебе не мерзнуть зря...

— Потерплю.  
— Ну, что ты, глупый!  
Ведь лежиши, всего свело.  
Я б тебя тотчас тулулом.  
Чтоб уже навск тепло.

Вижу, веришь. Вот и слезы,  
Вот уж я тебе милей.

— Врешь, я плачу от мороза,  
Не от жалости твоей.

— Что от счастья, что от боли —  
Все равно. А холод лют.  
Завилась поземка в поле.  
Нет, тебя уж не найдут...

И зачем тебе, подумай,  
Если кто и подберет.  
Пожалеешь, что не умер  
Здесь, на месте, без хлопот...

— Шутишь. Смерть, плетешь тенета —  
Отвернул с трудом плечо —  
Мне как раз пожить охота.  
Я и не жил-то еще...

— А и встанешь, толку мало.—  
Продолжала Смерть, смеясь —  
А и встанешь — все сначала:  
Холод, страх, усталость, грязь...  
Ну-ка, сладко ли, дружище.  
Рассуди-ка в простоте.

— Что судить! С войны не взыщешь  
Ни в каком уже суде.

— А тоска, солдат, в придачу:  
Как там дома, что с семьей?

— Вот уж выполню задачу —  
Кончу немца — и домой.

— Так. Допустим. Но тебе-то  
И домой к чему прийти?  
Догола земля раздета  
И разграблена, учти.  
Все в забросе.

— Я работник.  
Я бы дома в дело вник.

— Дом разрушен.

— Я и плотник...

— Печки нету.

— И печник...

Я от скуки — на все руки.

Буду жив — мое со мной.

— Дай еще сказать старухе:  
Вдруг придешь с одной рукой?  
Иль еще каким калекой,—  
Сам себе и то постыл...

И со Смертью Человеку  
Спорить стало свыше сил.  
Истекал уже он кровью,  
Коченел. Спускалась ночь...

— При одном моем условье,  
Смерть, послушай... я не прочь...

И, томим тоской жестокой,  
Одинок, и слаб, и мал.  
Он с мольбой, не то с упреком  
Уговариваться стал:

— Я не худший и не лучший.  
Что погибну на войне.  
Но в конце ее, послушай.  
Дашь ты на день отпуск мне?  
Дашь ты мне в тот день последний.  
В праздник славы мировой.  
Услыхать салют победный.  
Что раздастся над Москвой?

Дашь ты мне в тот день немножко  
Погулять среди живых?  
Дашь ты мне в одно окошко  
Постучать в краях родных  
И как выйдут на крылечко,—  
Смерть, а Смерть, еще мне там  
Дашь сказать одно словечко?  
Полсловечка?  
— Нет. Не дам...

Дрогнул Теркин, замерзая  
На постели снеговой.

— Так пошла ты прочь, Косая.  
Я солдат еще живой.

Буду плакать, выть от боли,  
Гибнуть в поле без следа,  
Но тебе по доброй воле  
Я не сдамся никогда.

— Погоди. Резон почище  
Я найду.— подашь мне знак...

— Стой! Идут за мною. Ищут.  
Из санбата.

— Где, чудак?  
— Вон, по стежке занесенной...

Смерть хохочет во весь рот:  
— Из команды похоронной.  
— Все равно: живой народ.

Снег шуршит, подходят двое.  
Об лопату звякнул лом.

— Вот еще остался воин.  
К ночи всех не уберем.

— А и то: устали за день.  
Доставай кисет, земляк.  
На покойничке присядем  
Да покурим натощак.

— Кабы, знаешь, до затяжки —  
Щец горячих котелок.  
— Кабы капельку из фляжки.  
— Кабы так — один глоток.  
— Или два...

И тут, хоть слабо.  
Подал Теркин голос свой:  
— Прогоните эту бабу.  
Я солдат еще живой.

Смотрят люди: вот так штука!  
Видят: верно,— жив солдат.

— Что ты думаешь?  
— А ну-ка,  
Понесем его в санбат.

— Ну и редкостное дело,—  
Рассуждают не спеша.—  
Одно дело — просто тело,  
А тут — тело и душа.

— Еле-еле душа в теле...  
— Шутки, что ль, зазяб совсем.  
А уж мы тебя хотели,  
Понимаешь, в наркомзэм...

— Не толкуй. Заждался малый.  
Вырубай шинель во льду.  
Поднимай!

А Смерть сказала:  
— Я, однако, вслед пойду.

Земляки — они к работе  
Приспособлены к иной.  
Врете, мыслит, растрясете —  
И еще он будет мой.

Два ремня да две лопаты,  
Две шинели поперек.  
— Береги, солдат, солдата.  
— Понесли. Терпи, дружок.—  
Норовят, чтоб меньше тряски,  
Чтоб ровнее как-нибудь,  
Берегут, несут с опаской:  
Смерть сторонкой держит путь.

А дорога — не дорога.—  
Целина, по пояс снег.  
— Отдохнули б вы немного,  
Хлопцы...  
— Милый человек,—  
Говорит земляк толково,—  
Не тревожься, не жалей.  
Потому несем живого,  
Мертвый вдвое тяжелей.

А другой:  
— Оно известно.  
А еще и то учесть,  
Что живой спешит до места.—  
Мертвый дома — где ни есть.

— Дело, стало быть, в привычке.—  
Заключают земляки —  
Что ж ты, друг, без рукавички?  
На-ко теплую, с руки...

И подумала впервые  
Смерть, следя со стороны:  
«До чего они, живые,  
Меж собой свои — дружны.  
Потому и с одиночкой  
Сладить надобно суметь,  
Нехотя даешь отсрочку».

И, вздохнув, отстала Смерть.

### Теркин пишет

...И могу вам сообщить  
Из своей палаты,  
Что, большой любитель жить,  
Выжил я, ребята.

И хотя натер бока,  
Належался лежнем,  
Говорят, зато нога  
Будет лучше прежней.

И намерен я опять  
Вскоре без подмоги  
Той ногой траву топтать.  
Встав на обе ноги...

Озабочен я сейчас  
Лишь одной задачей.  
Чтоб попасть в родную часть.  
Никуда иначе.

С нею жил и воевал,  
Курс наук усвоил.  
Отступая, пыль глотал,  
Наступая, снег черпал  
Валенками воин.

И покуда что она  
Для меня — солдата —  
Все на свете, все сполна:  
И родная сторона,  
И семья, и хата.

И охота мне скорей  
К ней в ряды вклиниться,  
И, дождавшись добрых дней,  
По Смоленщине своей  
Топать до границы.

Впрочем, даже суть не в том,  
Я скажу точнее:  
Доведись другим путем  
До конца идти,— пойдем.  
Где угодно, с нею!

Если ж пуля в третий раз  
Клюнет насмерть, злая,  
То по крайности средь вас,  
Братцы, свой последний час  
Встретить я желаю.

Только с этим мы спешить  
Без нужды не станем.  
Я большой любитель жить,  
Как сказал заране.

И, поскольку я спешу  
Повстречаться с вами.  
Генералу напишу  
Теми же словами.

Полагаю, генерал  
Как-нибудь уважит,—  
Он мне орден выдавал,  
В просьбе не откажет.

За письмом, надеюсь, вслед  
Буду сам обратно...  
Ну и повару привет  
От меня двукратный.

Пусть и впредь готовит так,  
Заправляя жирно,  
Чтоб в котле стоял черпак  
По команде «смирно»...

И одним слова свои  
Заключить хочу я:  
Что великие бои,  
Как погоду, чую.

Так бывает у коня  
Чувство близкой свадьбы...  
До того большого дня  
Мне без палок встать бы!

Сплю скорей да жду вестей.  
Все сказал до корки...  
Обнимаю вас, чертей.  
Ваш

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН.

### Теркин — Теркин

Чья-то печка, чья-то хата,  
На дрова распилен хлев...  
Кто назябся — дело свято,  
Тому надо обогрев.

Дело свято — чья там хата,  
Кто их нынче разберет.  
Грейся, радуйся, ребята,  
Сборный, смешанный народ.

На полу тебе солома,  
Задремалось, так ложись.

Не у тещи, и не дома,  
Не в раю, однако, жизнь.

Тот сидит, разувши ногу,  
Приподняв, глядит на свет.  
Всю ощущает строго,—  
Узнает — его иль нет.

Тот, шинель смахнув без страха,  
Высоко задрав рубаху,  
Прямо в печку хочет влезть.

— Не один ты, братец, здесь.  
— Отслонитесь, хлопцы. Темень...  
— Что ты, правда, как тот немец...  
— Нынче немец сам не тот.

— Ну, брат, он еще дает.  
Отпускает, не скупится...  
— Все же с прежним не сравнится,—  
Снял сапог с одной ноги.  
— Дело ясное, — беги!

— Охо-хо! Война, ребятки.  
— А ты думал! Вот чудак.  
— Лучше нет — чайку в достатке,  
Хмель — он греет, да не так.

— Это чья же установка  
Греться чаём? Вот и врешь.  
— Эй, не ставь к огню винтовку...  
— А еще кулеш хорош...

Опрокинутый истомой.  
Теркин дремлет на спине,  
От беседы в стороне.  
Так ли, сяк ли, Теркин дома.  
То есть — снова на войне...

Это раненым известно:  
Воротись ты в полк родной —  
Все не то: иное место  
И народ уже иной.

Прибаутки, поговорки  
Не такие ловит слух...  
— Где-то наш Василий Теркин? —  
Это слышит Теркин вдруг.

Привстает, шурша соломой,  
Что там дальше — подстеречь.  
Никому он не знакомый —  
И о нем как будто речь.

Но сквозь шум и гам веселый,  
Что кипел вокруг огня,  
Вот он слышит новый голос:  
— Это кто там про меня?..

— Про тебя? —  
Без оговорки  
Тот опять:  
— Само собой.  
— Почему?  
— Так я же Теркин.

Это слышит Теркин мой.

Что-то странное творится.  
Непонятное уму.  
Повернулись тотчас лица  
Молча к Теркину. К тому.

Люди вроде оробели:  
— Теркин — лично?  
— Я и есть.  
— В самом деле?  
— В самом деле.  
— Хлопцы, хлопцы, Теркин здесь!

— Не свернете ли махорки? —  
Кто-то вытащил кисет.  
И не мой, а тот уж Теркин  
Говорит:  
— Махорки? Нет.

Теркин мой — к огню поближе.  
Отгибает воротник.  
Поглядит, а он-то рыжий —  
Теркин тот, его двойник.

Если б попросту махорки  
Теркин выкурил второй,  
И не встрял бы, может, Теркин.  
Промолчал бы мой герой.

Но, поскольку водит носом,  
Задается человек.  
Теркин мой к нему с вопросом:  
— А у вас небось «Казбек»?

Тот помедлил чуть с ответом:  
Мол, не понял ничего.  
— Что ж, трофеиной сигаретой  
Угощу —

Возьми его!

Видит мой Василий Теркин —  
Не с того зашел конца.  
И не то чтоб чувством горьким  
Укололо молодца. —

Не любил людей спесивых.  
И, обиду затая,  
Он сказал, вздохнув, лениво:  
— Все же Теркин — это я...

Смех, волненье.  
— Новый Теркин!  
— Хлопцы, двое...  
— Вот беда...  
— Как дойдет их до пятерки,  
Разбудите нас тогда.

— Нет, брат, шутишь, — отвечает  
Теркин тот, поджав губу: —  
Теркин — я.

— Да кто их знает. —  
Не написано на лбу.

Из кармана гимнастерки  
Рыжий — книжку:  
— Что ж я вам...

— Точно: Теркин...  
— Только Теркин  
Не Василий, а Иван.

Но, уже с насмешкой глядя.  
Тот ответил моему:  
— Ты пойми, что рифмы ради  
Можно сделать хоть Фому.

Этот выдохнул затяжку:  
— Да, но Теркин-то — герой.

Тот шинелку нараспашку:  
— Вот вам орден, вот другой.  
Вот вам Теркин-бронебойщик.  
Верьте слову, не молве.  
И машин подбил я больше —  
Не одну, а целых две...

Теркин будто бы растерян.  
Грустно щурится в огонь.  
— Я бы мог тебя проверить,  
Будь бы здесь у нас гармонь.

Все кругом.  
— Гармонь найдется,  
Есть у старшего.  
— Не троны.  
— Что не троны?  
— Смотри, проснется...  
— Пусть проснется.  
— Есть гармонь!

Только взял боек трехрядку,  
Сразу видно: гармонист.  
Для началу для порядку  
Кинул пальцы сверху вниз.

И к мехам припал щекою,  
Строг и важен, хоть не брит,  
И про вечер над рекою  
Завернул, завел наварыд...

Теркин мой махнул рукою:  
— Ладно. Можешь,— говорит.—  
Но одно тебя, брат, губит:  
Рыжесть Теркину нейдет.  
  
— Рыжих девки больше любят.—  
Отвечает Теркин тот.

Теркин сам уже хохочет,  
Сердцем щедрым наделен.  
И не так уже хлопочет  
За себя,— что Теркин он.

Чуть обидно, да приятно,  
Что такой же рядом с ним.  
Непонятно, да з анятно  
Всем ребятам остальным.

Молвит Теркин:  
— Сделай милость.  
Будь ты Теркин насовсем.  
И пускай однофамилец  
Буду я...

А тот:  
— Зачем?..  
  
— Кто же Теркин?  
— Ну и лихо!..—  
Хохот, шум, неразбериха...

Встал какой-то старшина  
Да как крикнет:  
— Тишина!

Что вы тут не разберете.  
Не поймете меж собой?  
По уставу каждой роте  
Будет придан Теркин свой.

Слышино всем? Порядок ясен?  
Жалоб нету? Ни одной?  
Разойдись!

И я согласен  
С этим строгим старшиной.  
Я бы, может быть, и взводам  
Придал Теркина в друзья...

Впрочем, все тут мимоходом  
К разговору вставил я.

#### *От автора*

По которой речке плыть,—  
Той и славушку творить...

С первых дней годины горькой.  
В тяжкий час земли родной,  
Не шутя, Василий Теркин.  
Подружились мы с тобой.

Но еще не знал я, право,  
Что с печатного столбца  
Всем придешься ты по нраву,  
А иным войдешь в сердца.

До войны едва в помине  
Был ты, Теркин, на Руси.  
Теркин? Кто такой? А ныне  
Теркин — кто такой? — спроси.

— Теркин, как же!  
— Знаем.  
— Дорог.  
Парень свой, как говорят.

— Словом, Теркин, тот, который  
На войне лихой солдат.  
На гулянке гость не лишний,  
На работе — хоть куда...

Жаль, давно его не слышно.  
Может, что худое вышло?  
Может, с Теркиным беда?

— Не могло того случиться.  
— Не похоже.  
— Враки.  
— Вздор...

— Как же, если очевидца  
Подвозил один шофер.

В том бою лежали рядом,  
Теркин будто бы привстал,  
В тот же миг его снарядом  
Бронейбойным — наповал.

— Нет, снаряд ударил мимо.  
А слыхали так, что мина...

— Пуля-дурда...  
— А у нас  
Говорили, что фугас.

— Пуля, бомба или мина —  
Все равно, не в том вопрос.  
А слова перед кончиной  
Он какие произнес?

— Говорил насчет победы.  
Мол, вперед. Примерно так...

— Жаль,— сказал,— что до обеда  
Я убитый, натощак.  
Неизвестно, мол, ребята,  
Отправляясь на тот свет.  
Как там, что: без аттестата  
Признают нас или нет?

— Нет, иное почему-то  
Слышал раненый боец.  
Молвил Теркин в ту минуту:  
«Мне — конец, войне — конец».

Если так, тогда не верьте,  
Разве это невдомек:  
Не подвержен Теркин смерти.  
Коль войне не вышел срок...

Шутки, слухи в этом духе  
Автор слышит не впервые.  
Правда правдой остается,  
А молва себе — моловой.

Нет, товарищи, герою.  
Столько лямку протащив,  
Выходить теперь из строя? —  
Извините! — Теркин жив!

Жив-здоров. Бодрей, чем прежде.  
Помирать? Наоборот.  
Я в такой теперь надежде:  
Он меня переживает.

Все худое он изведал.  
Он терял родимый край  
И одну политбеседу  
Повторял:  
— Не унывай!

С первых дней годины горькой  
Мир слыхал сквозь грозный гром.—  
Повторял Василий Теркин:  
— Перетерпим. Перетрем...

Нипочем труды и муки,  
Гречь бедствий и потерь.  
А кому же книги в руки,  
Как не Теркину теперь?!

Рассуди-ка, друг-товарищ,  
Посмотри-ка, где ты вновь  
На привалах кашу варишь,  
В деревнях грызешь морковь.

Снова воду привелося  
Из какой черпать реки!  
Где стучат твои колеса,  
Где ступают салоги!

Оглянись, как встал с рассвета  
Или ночь не спал, солдат.  
Был иль не был здесь два лета.  
Две зимы тому назад.

Вся она — от Подмосковья  
И от Волжского верховья  
До Днепра и Заднепровья  
Вдаль на запад сторона,—  
Прежде отданная с кровью.  
Кровью вновь возвращена.

Вновь отныне это свято:  
Где ни свет, то наша хата.  
Где ни дым, то наш костер,  
Где ни стук, то наш топор,  
Что ни груз идет куда-то,—  
Наш маршрут и наш мотор!

И такую-то махину,  
Где гони, гони машину.—  
Есть где ехать вдаль и в ширь.  
Он пешком, не вполовину.  
Всю промерил, богатырь.

Богатырь не тот, что в сказке —  
Беззаботный великан.  
А в походной запояске.  
Человек простой закваски,  
Что в бою не чужд опаски.  
Коль не-пьян. А он не пьян.

Но покуда вздох в запасе,  
Толку нет о смертном часе.  
В муках тверд и в горе горд.  
Теркин жив и весел, черт!

Праздник близок, мать-Россия.  
Оберни на запад взгляд;  
Далеко ушел Василий.  
Вася Теркин, твой солдат.

То серьезный, то потешный,  
Нипочем, что дождь, что снег.—  
В бой, вперед, в огонь кромешный  
Он идет, святой и грешный.  
Русский чудо-человек.

Разносись, молва, по свету:  
Объявился старый друг...  
— Ну-ка, к свету.  
— Ну-ка, вслух.

### **Дед и баба**

Третье лето. Третья осень.  
Третья озимь ждет весны.  
О своих нет-нет и спросим  
Или вспомним средь войны.

Вспомним с нами отступавших.  
Воевавших год иль час.  
Павших, без вести пропавших,  
С кем видались мы хоть раз,  
Провожавших, вновь встречавших.  
Нам попить воды подавших.  
Помолившихся за нас.

Вспомним вынуж-завируху  
Прифронтовой полосы,  
Хату с дедом и старухой,  
Где наш друг чинил часы.

Им бы не было износу  
Впредь до будущей войны.  
Но, как водится, без спросу  
Снял их немец со стены:

То ли вещью драгоценной  
Те куранты посчитал,  
То ль решил с нужды военной,—  
Как-никак цветной металл.

Шла зима, весна и лето.  
Немец жить велел живым.  
Шла война далеко где-то  
Чередом глухим своим.

И в твоей родимой речке  
Мылся немец тыловой.  
На твоем сидел крылечке  
С непокрытой головой.

И кругом его порядки,  
И немецкий, привозной  
На смоленской узкой грядке  
Зеленел салат весной.

И ходил сторонкой, боком  
Ты по улочке своей.—  
Уберегся ненароком,  
Жить живи, дышать не смей.

Так и жили дед да баба  
Без часов своих давно.  
И уже светилось слабо  
На пустой стене пятно...

Но со страстью неизменной  
Дед судил, рядил, гадал  
О кампании военной,  
Как в отставке генерал.

На дорожке возле хаты  
Костылем старик чертил  
Окруженья и охваты,  
Фланги, клинья, рейды в тыл...

— Что ж, за чем там остановка? —  
Спросят люди. Срок не мал...

Дед-солдат моргал неловко,  
Кашлял:  
— Перегруппировка... —  
И таинственно вздохнул.

У людей уже украдкой  
Наготове был упрек,  
Словно добрую догадку  
Дед по скupости берег.

Словно думал подороже  
Запросить с души живой.  
— Дед, когда же?  
— Дед, ну что же?  
— Где ж он, дед, Буденный твой?

И едва войны погудки  
Заводил вдали восток,  
Дед, не медля ни минутки,  
Объявлял, что грязнул срок.

Отличал тотчас по слуху  
Прохот наших батарей.  
Бегал, топал:  
— Дай им духу!  
Дай еще! Добавь! Погрей!

Но стихала канонада.  
Потухал зарниц пожар.  
— Дед, ну что же?  
— Думать надо.  
Здесь не главный был удар.

И уже казалось деду.—  
Сам хотел того иль нет,—  
Перед всеми за победу  
Лично он держал ответ.

И, тая свою кручину,  
Для всего на свете он  
И угадывал причину,  
И придумывал резон.

Но когда пора настала,  
Долгожданный вышел срок.  
То впервые воин старый  
Ничего сказать не мог...

Все тревоги, все заботы  
У людей слились в одну:  
Чтоб за час до той свободы  
Не постигла смерть в плену.

\*\*\*

В ночь, как все, старик с женой  
Поселились в яме.  
А война — не стороной,  
Нет, над головами.

Довелось под старость лет:  
Ни в пути, ни дома.  
А у входа на тот свет  
Ждать в часы приема.

Под накатом из жердей,  
На мешке картошки,  
С узелком, с горшком углей,  
С курицей в лукошке...

Две войны прошел солдат  
Целый, невредимый.  
Пощади его, снаряд.  
В конопле родимой!

Просвисти над головой,  
Но вблизи не падай.  
Даже если ты и свой,—  
Все равно не надо!

Мелко крестится жена,  
Сам не скроешь дрожи:  
Ведь живая смерть страшна  
И солдату тоже.

Стихнул грохот огневой  
С полночи впервые.  
Вдруг — шаги за коноплей.  
— Ну, идут... немые...

По картофельным рядам  
К погребушке прямо.  
— Ну, старик, не выйти нам  
Из готовой ямы.

Но старик встает, плюет  
По-мужицки в руку.  
За топор — и наперед:  
Заслонил старуху.

Гибель верную свою,  
Как тот миг ни горек,  
Порешил встречать в бою.  
Держит свой топорик.

Вот шаги у края — стоп!  
И на шубу глухо  
Осыпается окоп.  
Обмерла старуха.

Все же вроде как жива.—  
Наше место свято.—  
Слышит русские слова:  
— Жители, ребята?..

— Детки! Родненькие... Детки!.—  
Уронил топорик дед.  
— Мы, отец, еще в разведке.  
Тех встречай, что будут вслед.

На подбор орлы-ребята,  
Молодец до молодца.  
И старшой у аппарата.—  
Хоть ты что, знаком с лица.

— Закурить? Верти, папаша —  
Дед садится, вытер лоб.  
— Ну, ребята, счастье ваше —  
Голос подали. А то б...

И старшой ему кивает:  
— Ничего. На том стоим.  
На войне, отец, бывает —  
Попадает по своим.

— Точно так — И тут бы деду  
В самый раз, что покурить.  
В самый раз продлить беседу:  
Столько ждал! — Поговорить.

Но они спешат не в шутку.  
И еще не снялся дым...

— Погоди, отец, минутку.  
Дай сперва освободим...

Молодец ему при этом  
Подмигнул для красоты.  
И его по всем приметам  
Дед узнал:  
— Так это ж ты!

Друг-знакомец, мастер-ухарь,  
С кем сидели у стола.  
Погляди скорей, старуха!  
Узнаешь его, орла?

Та как глянула:  
— Сыночек!  
Голубочек. Вот уж гость.  
Может, сала съешь кусочек.  
Воевал, устал небось?

Смотрит он, шутник тот самый:  
— Закусить бы счел за честь,  
Но ведь нету, бабка, сала?  
— Да и нет, а все же есть...

— Значит, цел, орел, покуда.  
— Ну, отец, не только цел:  
Отступал солдат отсюда.  
А теперь, гляди, кто буду.—  
Вроде даже офицер.

— Офицер? Так-так. Понятно.—  
Дед кивает головой —  
Ну, а если... на попятный,  
То опять как рядовой?..

— Нет, отец, забудь. Отныне  
Нерушим простой завет:  
Ни в большом, ни в малом чине  
На попятный ходу нет.

Откажи мне в черствой корке,  
Прогони тогда за дверь.  
Это я, Василий Теркин.  
Говорю. И ты уж верь.

— Да уж верю! Как получше,  
Но какой теперь манер:  
Господин, сказать, поручик  
Иль товарищ офицер?

— Стар годами, slab глазами.  
И, однако, ты, стариk.  
За два года с господами  
К обращению привык...

Дед — плеваться, а старуха,  
Подпервшись одной рукой,  
Чуть склоняясь и эту руку  
Взявшись под локоть другой.  
Все смотрела, как на сына  
Смотрит мать из уголка.

— Закуси еще.— просила.—  
Закуси, поешь пока...

И спешил, а все ж отведал,  
Угостился, как родной.  
Табаку отсыпал деду  
И простился.

— Связь, за мной! —  
И уже пройдя немного,—  
Мастер памялив и тут.—  
Теркин будто бы с порога  
Про часы спросил:  
— Идут?

— Как не так! — и вновь причина  
Бабе кинуться в слезу.

— Будет, бабка! Из Берлина  
Двое новых привезу.

### На Днепре

За рекой еще Угрою,  
Что осталась позади.  
Генерал сказал герою:  
— Нам с тобою по пути...

Вот, казалось, парню счастье,  
Наступать расчет прямой:  
Со своей гвардейской частью  
На войне придет домой.

Но едва ль уже мой Теркин,  
Жизнью третий человек.  
При девчонках на вечерке  
Помышлял курить «Казбек»...

Все же с каждым переходом,  
С каждым днем, что ближе к ней,  
Сторона, откуда родом,  
Земляку была больней.

И в пути, в горячке боя,  
На привале и во сне  
В нем жила сама собою  
Речь к родимой стороне:

— Мать-земля моя родная.  
Сторона моя лесная.  
Приднепровский отчий край.  
Здравствуй, сына привечай!

Здравствуй, пестрая осинка.  
Ранней осени краса.  
Здравствуй, Ельня, здравствуй, Глиска.  
Здравствуй, речка Лучеса...

Мать-земля моя родная,  
Я твою изведал власть.  
Как душа моя больная  
Издали к тебе рвалась!

Я загнул такого крюку,  
Я прошел такую даль,  
И видел такую муку,  
И такую знал печаль!

Мать-земля моя родная,  
Дымный дедовский большак,  
Я про то не вспоминаю,  
Не хвалясь, а только так!..

Я иду к тебе с востока.  
Я тот самый, не иной.  
Ты взгляни, вздохни глубоко.  
Встреться заново со мной.

Мать-земля моя родная.  
Ради радостного дня  
Ты прости, за что — не знаю.  
Только ты прости меня!..

Так в пути, в горячке боя,  
В суете хлопот и встреч  
В нем жила сама собою  
Эта песня или речь.

Но война — ей все едино.  
Все — хорошие края:  
Что Кавказ, что Украина.  
Что Смоленщина твоя.

Через реки и речонки,  
По мостам, и вплавь, и вброд,  
Мимо, мимо той сторонки  
Шла дивизия вперед.

А левее той порою,  
Ранней осенью сухой,  
Занимал село героя  
Генерал совсем другой...

Фронт полнел, как половодье.  
Вширь и вдаль. К Днепру, к Днепру  
Кони шли, прося поводья,  
Как с дороги ко двору.

И в пыли, рябой от пота,  
Фронтовой смеялся люд:  
Хорошо идет пехота,  
Раз колеса отстают.

Нипочем, что уставали  
По пути к большой реке  
Так, что ложку на привале  
Не могли держать в руке.

Вновь сильны святым порывом,  
Шли вперед своим путем,  
Со страдальчески-счастливым,  
От жары открытым ртом.

Слева наши, справа наши.  
Не отстать бы на ходу.  
— Немец кухни с теплой кашей  
Второпях забыл в саду.

Подпереть его да в воду.  
— Занял берег, сукин сын!  
— Говорят, уж занял с ходу  
Населенный пункт Берлин...

Золотое бабье лето  
Оставляя за собой,  
Шли войска — и вдруг с рассвета  
Наступил днепровский бой...

Может быть, в иные годы.  
Очищая русла рек.  
Все, что скрыли эти воды,  
Вновь увидит человек.

Обнаружит в илах сонных,  
Извлечет из рыбьей мглы.  
Как стволы дубов моренных,  
Орудийные стволы:

Русский танк с немецким в паре,  
Что нашли один конец.  
И обоих полушарий  
Сталь, резину и свинец;

Хлам войны — pontона днище,  
Трос, оборванный в песке,  
И топор без топорища.  
Что сапер держал в руке.

Может быть, куда как пуще  
И об этом топоре  
Скажет кто-нибудь в грядущей  
Громкой песне о Днепре:

О страде неимоверной  
Кровью памятного дня.

Но о чем-нибудь, наверно,  
Он не скажет за меня.

Пусть не мне еще с задачей  
Было сладить. Не беда.  
В чем-то я его богаче.—  
Я ступал в тот след горячий.  
Я там был. Я жил тогда...

Если с грузом многотонным  
Отстают грузовики.  
И когда-то мост понтонный  
Доберется до реки.—

Под огнем не ждет пехота.  
Уставной держась статьи,  
За паром идут ворота;  
Доски, бревна — за ладьи.

К ночи будут переправы,  
В срок поднимутся мосты.  
А ребятам берег правый  
Свесил на воду кусты.

Подплывай, хватай за гриву,  
Словно доброго коня.  
Передышка под обрывом  
И защита от огня.

Не беда, что с гимнастерки,  
Со всего ручьем течет...  
Точно так Василий Теркин  
И вступил на берег тот.

На заре туман кудлатый.  
Спутав дымы и дымки.  
В берегах сползал куда-то,  
Как река поверх реки.

И еще в разгаре боя.  
Нынче, может быть, вот-вот.  
Вместе с берегом, с землею  
Будет в воду сброшен взвод.

Впрочем, всякое привычно,—  
Срок войны, что жизни век.  
От заставы пограничной  
До Москвы-реки столичной  
И обратно — столько рек!

Вот уже боец последний  
Вылезает на песок  
И жует сухарь немедля,  
Потому — в Днепре намок.

Мокрый сам, шуршит штанами.  
Ничего! — На то десант.  
— Наступаем. Днепр за нами.  
А, товарищ лейтенант?..

Бой гремел за переправу,  
А внизу, южнее чуть —  
Немцы с левого на правый.  
Запоздав, держали путь.

Но уже не разминутсяся.  
Теркин строго говорит:  
— Пусть на левом в плен сдаются.  
Здесь пока прием закрыт.

А на левом с ходу, с ходу  
Подоспевшие штыки  
Их толкали в воду, в воду,  
А вода себе теки...

И еще меж берегами  
Без разбору, наугад  
Бомбы сваи помогали  
Загонять, стелить накат.

Но уже из погребушек,  
Из кустов, лесных берлог  
Шел народ — родные души —  
По обочинам дорог...

К штабу на берег восточный  
Плелся стежкой, стороной  
Некий немец беспорточный,  
Веселя народ честной.

— С переправы?  
— С переправы.  
Только-только из Днепра.  
— Плавал, значит?  
— Плавал, дьявол.  
Потому — пришла жара...

— Сытый, черт!  
Чистопородный.  
— В плен спешит, как на привал...

Но уже любимец взводный —  
Теркин, в шутки не встревал.  
Он курил, смотрел нестрого.  
Думой занятый своей.  
За спиной его дорога  
Много раз была длинней.  
И молчал он не в обиде,  
Не кому-нибудь в упрек.—  
Просто, больше знал и видел,  
Потерял и уберег...

— Мать-земля моя родная.  
 Вся смоленская родня.  
 Ты прости, за что — не знаю,  
 Только ты прости меня!  
 Не в пленау тебя жестоком,  
 По дороге фронтовой.  
 А в родном тылу глубоком  
 Оставляет Теркин твой.  
 Минул срок годинны горькой.  
 Не воротится назад.

— Что ж ты, брат, Василий Теркин.  
 Плачешь вроде?..  
 — Виноват...

### **Про солдата-сироту**

Нынче речи о Берлине.  
 Шутки прочь, — подай Берлин.  
 И давно уж не в помине,  
 Скажем, древний город Клин.

И на Одере едва ли  
 Вспомнят даже старики,  
 Как полгода с бою брали  
 Населенный пункт Борки.

А под теми под Борками  
 Каждый камень, каждый кол  
 На три жизни вдался в память  
 Нам с солдатом-земляком.

Был земляк не стар, не молод,  
 На войне с того же дня  
 И такой же был веселый.  
 Наподобие меня.

Приходилось парню драпать,  
 Бодрый дух всегда берег:  
 Повторял: «Вперед, на запад».  
 Продвигаясь на восток.

Между прочим, при отходе,  
 Как сдавали города.  
 Больше вроде был он в моде,  
 Больше славился тогда.

И по странности, бывало,  
 Одному ему почет.  
 Так что даже генералы  
 Были будто бы не в счет.

Срок иной, иные даты.  
 Разделен издревле труд:  
 Города сдают солдаты,  
 Генералы их берут.

В общем, битый, тертый, жженый,  
 Раной меченный двойной,  
 В сорок первом окруженный,  
 По земле он шел родной.

Шел солдат, как шли другие.  
 В неизвестные края:  
 «Что там, где она, Россия,  
 По какой рубеж своя?..»

И, в пленау семью кидая,  
 За войной спеша скорей,  
 Что он думал, не гадаю,  
 Что он нес в душе своей.

Но какая ни морока,  
 Правда правдой, ложью ложь.  
 Отступали мы до срока,  
 Отступали мы далеко,  
 Но всегда твердили:  
 — Врешь!..

И теперь взглянуть на запад  
 От столицы. Край родной!  
 Не на шутку был он заперт  
 За железною стеной.

И до малого селенья  
Та из плена сторона  
Не по щучьему велению  
Вновь сполна возвращена.

По велению нашей силы,  
Русской, собственной своей.  
Ну-ка, где она, Россия.  
У каких гремит дверей!

И, навески сбив охоту  
В драку лезть на свой авось.  
Враг ее — какой по счету! —  
Пал ничком и лапы врозь.

Над какой столицей круто  
Взмыл твой флаг, отчизна-мать!  
Подождемте до салюта,  
Чтобы в точности сказать.

Срок иной, иные даты.  
Правда, ноша не легка...  
Но продолжим про солдата.  
Как сказали, земляка.

Дом родной, жсна ли, дети.  
Брат, сестра, отец иль мать  
У тебя вот есть на свете,—  
Есть куда письмо послать.

А у нашего солдата —  
Адресатом белый свет.  
Кроме радио, ребята,  
Близких родственников нет.

На земле всего дороже.  
Коль имеешь про запас  
То окно, куда ты сможешь  
Постучаться в некий час.

На походе за границей.  
В чужедальней стороне.  
Ах, как бережно хранится  
Боль-мечта о том окне!

А у нашего солдата,—  
Хоть сейчас войне отбой.—  
Ни окошка нет, ни хаты,  
Ни хозяйствки, хоть женатый,  
Ни сынка, а был, ребята,—  
Рисовал дома с трубой...

Под Смоленском наступали.  
Выпал отдых. Мой земляк  
Обратился на привале  
К командиру: так и так,—

Отлучиться разрешите.  
Дескать, случай дорогой,  
Мол, поскольку местный житель.  
До двора — подать рукой.

Разрешают в меру срока...  
Край известный до куста.  
Но глядит — не та дорога,  
Местность будто бы не та.

Вот и взгорье, вот и речка,  
Глуши, бурьян солдату в рост.  
Да на столбике дощечка,  
Мол, деревня Красный Мост.

И нашлись, что были живы.  
И скажи ему спроста  
Все по правде, что служивый —  
Достоверный сирота.

У дощечки на развилке,  
Сняв пилотку, наш солдат  
Постоял, как на могилке.  
И пора ему назад.

И, подворье покидая,  
За войной спеша скорей,  
Что он думал, не гадаю,  
Что он нес в душе своей...

Но, бездомный и безродный,  
Воротившись в батальон.  
Ел солдат свой суп холодный  
После всех, и плакал он.

На краю сухой канавы,  
С горькой, детской дрожью рта,  
Плакал, сидя с ложкой в правой,  
С хлебом в левой.— сирота.

Плакал, может быть, о сыне,  
О жене, о чем ином,  
О себе, что знал: отныне  
Плакать некому о нем.  
Должен был солдат и в горе  
Закусить и отдохнуть,  
Потому, друзья, что вскоре  
Ждал его далекий путь.

До земли советской края  
Шел тот путь в войне, в труде,

А война пошла такая —  
Кухни сзади, черт их где!

Позабудешь и про голод  
За хорошуювойной.  
Шутки, что ли, сутки — город.  
Двое суток — областной.

Срок иной, пора иная —  
Бей, гони, перенимай.  
Белоруссия родная,  
Украина золотая,  
Здравствуй, пели, и прощай.

Позабудешь и про жажду.  
Потому что пиво пьет  
На войне отнюдь не каждый  
Тот, что брал пивной завод.

Так-то с ходу ли, не с ходу.  
Соступив с родной земли,  
Пограничных речек воду  
Мы с боями перешли.

Счет сведен, идет расплата  
На свету, начистоту.  
Но закончим про солдата.  
Про того же сироту.

Где он нынче на поверхку,  
Может, пал в бою каком,  
С мелкой надписью фанерку  
Занесло сырым снежком.

Или снова был он ранен,  
Отдохнул, как долг велит,  
И опять на поле браны  
Вместе с нами брал Тильзит?

И, Россию покиная,  
За войной спеша скорей,  
Что он думал, не гадаю,  
Что он нес в душе своей.

Может, здесь еще бездомней  
И больней душе живой.  
Так ли, нет,— должны мы помнить  
О его слезе святой.

Если б ту слезу руками  
Из России довелось  
На немецкий этот камень  
Донести,— прожгла б насквозь.

Счет велик, идет расплата.  
И за той большой страдой  
Не забудемте, ребята,  
Вспомним к счету про солдата,  
Что остался сиротой.

Грозен счет, страшна расплата  
За миллионы душ и тел.  
Уплати — и дело свято,  
Но вдобавок за солдата,  
Что в войне осиротел.

Далеко ли до Берлина,  
Не считай, шагай, смоли,—  
Вдвое меньше половины  
Той дороги, что от Клина,  
От Москвы уже прошли.

День идет за ночью следом,  
Подведем штыком черту.  
Но и в светлый день победы  
Вспомним, братцы, за беседой  
Про солдата-сироту...

### **По дороге на Берлин**

По дороге на Берлин  
Вьется серый пух перин.  
Провода умолкших линий,  
Ветки вымокшие лип  
Пух перин повил, как иней,  
По бортам машин налип.

И колеса пушек, кухонь  
Грязь и снег мешают с пухом.  
И ложится на шинель  
С пухом мокрая метель...

Скучный климат заграничный,  
Чуждый край краснокирпичный,  
Но война сама собой.  
И земля дрожит привычно.  
Хрусткий щебень черепичный  
Отряхая с крыш долой...

Мать-Россия, мы полсвета  
У твоих прошли колес.  
Позади оставил где-то  
Рек твоих раздольный плес.

Долго-долго за обозом  
В край чужой тянулся вслед  
Белый цвет твоей березы  
И в пути сошел на нет.

С Волгой, с древнею Москвою  
Как ты нынче далека.  
Между нами и тобою —  
Три не наших языка.

Поздний день встает не русский  
Над немилой стороной.  
Черепичный щебень хрусткий  
Мокнет в луже под стеной.

Всюду надписи, отметки,  
Стрелки, вывески, значки,  
Кольца проволочной сетки,  
Загородки, дверцы, клетки —  
Все нарочно для тоски...

Мать-земля родная наша,  
В дни беды и в дни побед  
Нет тебя светлей и краше  
И желанней сердцу нет.

Помышляя о солдатской  
Непредсказанный судьбе,  
Даже лечь в могиле братской  
Лучше, кажется, в тебе.

А всего милей до дому,  
До тебя дойти живому,  
Заявиться в те края:  
— Здравствуй, родина моя!

Воин твой, слуга народа.  
С честью может доложить:  
Воевал четыре года,  
Воротился из похода  
И теперь желает жить.

Он исполнил долг во славу  
Боевых твоих знамен.  
Кто еще имеет право  
Так любить тебя, как он!

День и ночь в боях сменяя,  
В месяц шапки не снимая.  
Воин твой, защитник-сын,  
Шел, спешил к тебе, родная.  
По дороге на Берлин...

По дороге неминучей  
Пух перин клубится тучей.  
Городов горелый лом  
Пахнет паленым пером.

И под грохот канонады  
На восток, из мглы и смрада,  
Как из адовых ворот,  
Вдоль шоссе течет народ.

Потрясенный, опаленный,  
Всех кровей, разноплеменный.  
Горький, выночный, пеший люд...  
На восток — один маршрут.

На восток, сквозь дым и копоть,  
Из одной тюрьмы глухой  
По домам идет Европа.  
Пух перин над ней пургой.

И на русского солдата  
Брат француз, британец брат.  
Брат поляк и все подряд  
С дружбой будто виноватой,  
Но сердечною глядят.

На безвестном перекрестке  
На какой-то встречный миг —  
Сами тянутся к прическе  
Руки девушек немых.

И от тех речей, улыбок  
Залил краской сам солдат:  
Вот Европа, а спасибо  
Все по-русски говорят.

Он стоит, освободитель.  
Набок шапка со звездой.  
Я, мол, что ж, помочь любитель,  
Я насчет того простой.  
Мол, такая служба наша,  
Прочим флагам не в упрек...

— Эй, а ты куда, мамаша?  
— А туда ж,— домой, сынок.

В чужине, в пути далече.  
В пестром сбوريце людском  
Вдруг слова родимой речи,  
Бабка в шубе, с посошком.

Старость вроде, да не дряхлость  
В ту котомку впряженна.  
По-дорожному крест-накрест  
Вся платком оплетена.

Поздоровалась и встала,  
Земляку-бойцу под стать,  
Деревенская, простая  
Наша труженица-мать.

Мать святой извечной силы,  
Из безвестных матерей,  
Что в труде неизносимы  
И в любой беде своей;

Что судьбою, повторенной  
На земле сто раз подряд.  
И растят в любви бессонной.  
И теряют нас, солдат;

И живут, и рук не сложат,  
Не сомкнут своих очей,  
Коль нужны еще, быть может,  
Внукам вместо сыновей.

Мать одна в чужбине где-то!  
— Далеко ли до двора?  
— До двора? Двора-то нету.  
А сама из-за Днепра...

Стой, ребята, не годится,  
Чтобы этак с посошком  
Шла домой из-за границы  
Мать солдатская пешком.

Нет, родная, по порядку  
Дай нам делать, не мешай.  
Перво-наперво лошадку  
С полной сбруей получай.

Получай экипировку.  
Ноги ковриком укрой.  
А еще тебе коровку  
Вместе с приданной овцой.

В путь-дорогу чайник с кружкой  
Да ведерко про запас.  
Да перинку, да подушку.—  
Немцу в тягость, нам как раз...

— Ни к чему. Куда, родные? —  
А ребята — нужды нет —  
Волокут часы стенные  
И ведут велосипед.

— Ну, прощай. Счастливо ехать! —  
Что-то сilitся сказать.  
И закашлялась от смеха.  
Головой качает мать.

— Как же, детки, путь не близкий.  
Вдруг задержат где меня:  
Ни записки, ни расписки  
Не имею на коня.

— Ты об этом не печалься,  
Поезжай да поезжай.—  
Что касается начальства,—  
Свой у всех передний край.

Поезжай, кати, что с горки.  
А случится что-нибудь,  
То скажи, не позабудь:  
Мол, снабдил Василий Теркин,—  
И тебе свободен путь.

Будем живы, в Заднепровье  
Завернем на пироги.  
— Дай господь тебе здоровья  
И от пули сбереги...

Далеко, должно быть, где-то  
Едет нынче бабка эта.  
Правит, щурится от слез.  
И с боков дороги узкой,  
На земле еще не русской —  
Белый цвет родных берез.

Ах, как радостно и больно  
Видеть их в краю ином!..

Пограничный пост контрольный,  
Пропусти ее с конем!

### В бане

На оконице войны —  
В глубине Германии —  
Баня! Что там Сандуны  
С остальными банями!

На чужбине отчий дом —  
Баня натуральная.  
По порядку поведем  
Нашу речь похвальную.

Дом ли, замок, все равно.  
Дело безобманное:  
Банный пар занес окно  
Пеленою туманною.

Стулья графские стоят  
Вдоль стены в предбаннике.  
Снял подштанники солдат,  
Докурил без паники.

Докурил, рубаху с плеч  
Ташит через голову.  
Про солдата в бане речь.—  
Поглядим на голого.

Невысок, да грудь вперед  
И в кости надежен.  
Телом бел,— который год  
Загорал в одежде.

И хоть нет сейчас на нем  
Форменных регалий,  
Что знаком солдат с огнем.  
Сразу б угадали.

Подивились бы спроста,  
Что остался целым.  
Припечатана звезда  
На живом, на белом.

Неровна, зато красна.  
Впрямь под стать награде.  
Пусть не спереди она.—  
На лопатке сзади.

С головы до ног мельком  
Осмотреть атлета:  
Там еще рубец стручком.  
Там иная мета.

Знаки, точно письмена  
Памятной страницы.  
Тут и Ельня, и Десна.  
И родная сторона  
В строку с заграницей.

Столько верст и столько вех.  
Не забыть иную.  
Но разделся человек.  
Так идет в парную.

Он идет, но как идет.  
Проследим сторонкой:  
Так ступает, точно лед  
Под ногами тонкий:

Будто делает с трудом  
Шаг — и непременно:  
— Ух, ты! — крякает, притом  
Щурится блаженно.

Говор, плеск, веселый гул,  
Капли с потных сводов...  
Ищет, руки протянув,  
Прежде пар, чем воду.

Пар бодает в потолок,  
Ну-ка, с ходу на полок!

В жизни мирной или бранной.  
У любого рубежа.  
Благодарны ласке банной  
Наше тело и душа.

Ничего, что ты природой  
Самый русский человек.  
А берешь для бани воду  
Из чужих, далеких рек.

Много хуже для здоровья.  
По зиме ли, по весне,  
Возле речек Подмосковья  
Мыться в бане на войне.

— Ну-ка ты, псковской, елецкий  
Иль еще какой земляк,  
Зачерпни воды немецкой  
Да уважь, плесни черпак.

Не жалей, добавь на пфенник,  
А теперь погладить швы  
Дайте, хлопцы, русский веник,  
Даже если он с Литвы.

Честь и слава помпохозу,  
Снаряжавшему обоз,  
Что советскую березу  
Аж за Кенигсберг завез.

Эй, славяне, что с Кубани,  
С Дона, с Волги, с Иртыша,  
Занимай высоты в бане,  
Закрепляйся не спеша!

До того, друзья, отлично  
Так-то всласть, не торопясь,  
Парить веником привычным  
Заграничный пот и грязь.

Пар на славу, молодецкий.  
Мокрым доскам горячо.  
Ну-ка, где ты, друг елецкий,  
Кинь гвардейскую еще!

Кинь еще, а мы освоим  
С прежней дачей заодно.  
Вот теперь спасибо, воин,  
Отдыхай. Теперь — оно!

Кто не нашел подготовки,  
Того с полу на полок  
Не встянуть и на веревке,—  
Разве только через блок.

Тут любой старик любитель,  
Сунься только, как ни рьян,  
Больше двух минут не житель.  
А и житель — не родитель.  
Потому не даст семян.

Нет, куда, куда, куда там.  
Хоть кому, кому, кому  
Браться париться с солдатом,—  
Даже черту самому.

Пусть он жиловатый парень,  
Да такими вряд ли он.  
Как солдат, жарами жарен  
И морозами печен.

Пусть он, в общем, тертый малый,  
Хоть, понятно, черта нет,  
Да поди сюда, пожалуй,  
Так узнаешь, где тот свет.

На полке, полке, что тесан  
Мастерами на войне.  
Ходит веник жарким чесом  
По малиновой спине.

Человек поет и стонет,  
Просит:  
— Гуще нагнетай —  
Стонет, стонет, а не донят:  
— Дай! Дай! Дай! Дай!

Не допариться в охоту,  
В меру тела для бойца —  
Все равно, что немца с ходу  
Не доделать до конца.

Нет, тесни его, чтоб вскоре  
Опрокинуть навзничь в море.  
А который на земле —  
Истолочь живьем в «котле».

И за всю войну впервые —  
Немца нет перед тобой.  
В честь победы огневые  
Прянут следом за Москвой.

Грянет залп многоголосый.  
Заглушая шум волны.  
И пошли стволы, колеса  
На другой конец войны.

С песней тронулись колонны  
Не в последний ли поход?  
И ладонью запыленной  
Сам солдат слезу утрит.

Кто-то свистнет, гикнет кто-то,  
Грусть растает, как дымок.  
И война — не та работа,  
Если праздник недалек.

И война — не та работа,  
Ясно даже простаку.  
Если по три самолета  
В помощь придано штыку.

И не те как будто люди,  
И во всем иная стать,  
Если танков и орудий —  
Сверх того, что негде стать.

Сила силе доказала:  
Сила силе — не ровня.  
Есть металл прочней металла,  
Есть огонь страшней огня!

Бьют Берлину у заставы  
Судный час часы Москвы...

А покамест суд да справа —  
Пропотел солдат на славу.  
Кость прогрел, разгладил швы.  
Новый с ног до головы —  
И слезай, кончай забаву...

А внизу — иной уют,  
В душевой и ванной  
Завершает голый люд  
Банный труд желанный.

Тот упарился, а тот  
Борется с истомой.  
Номер первый спину трет  
Номеру второму.

Тот, механик и знаток,  
У светца хлопочет.  
Тот макушку мылит впрок,  
Тот мозоли мочит:

Тот платочек носовой,  
Свой трофей карманный.  
Моет мыльною водой,  
Дармовою банной.

Ну, а наш слегка остыл  
И — конец лежанке.  
В шайке пену нарастил,  
Обработал фронт и тыл,  
Не забыл про фланги.

Быстро сладил с остальным,  
Обдался и вылез.  
И невольно вслед за ним  
Все поторопились.

Не затем, чтоб он стоял  
Выше в смысле чина.  
А затем, что жизни дал  
На полке мужчина.

Любит русский человек  
Праздник силы всякий,  
Оттого и хлеще всех  
Он в труде и драке.

И в привычке у него  
Издавна, извечно  
За лихое удальство  
Уважать сердечно.

И с почтеньем все глядят,  
Как опять без паники  
Не спеша надел солдат  
Новые подштанники.

Не спеша надел штаны  
И почти что новые,  
С точки зрения старшины,  
Сапоги кирзовые.

В гимнастерку влез солдат,  
А на гимнастерке —  
Ордена, медали в ряд  
Жарким пламенем горят...

— Закупил их, что ли, брат.  
Разом в военторге?

Тот стоит во всей красе.  
Занят самокруткой.

— Это что! Еще не все,—  
Метит шуткой в шутку.

— Любо-дорого. А где ж  
Те, мол, остальные?..  
— Где последний свой рубеж.  
Держит немец ныне.

И едва простился он,  
Как бойцы в восторге  
Вслед вздохнули:  
— Ну, силен!  
— Все равно, что Теркин.

#### От автора

«Светит месяц, ночь ясна.  
Чарка выпита до дна...»

Теркин. Теркин, в самом деле.  
Час настал, войне отбой.  
И как будто устарели  
Тотчас оба мы с тобой.

И как будто оглушенный  
В наступившей тишине.  
Смолкнул я, певец смущенный.  
Петь привыкший на войне.

В том беды особой нету:  
Песня, стало быть, допета.  
Песня новая нужна.  
Дайте срок, придет она.

Я сказать хотел иное.  
Мой читатель, друг и брат.  
Как всегда, перед тобою  
Я, должно быть, виноват.

Больше б мог, да было к спеху,  
Тем, однако, дорожи.  
Что, случалось, врал для смеху,  
Никогда не лгал для лжи.

И, по совести, порою  
Сам вздохнул не раз, не два,  
Повторив слова героя,  
То есть Теркина слова:

«Я не то еще сказал бы,—  
Про себя поберегу.  
Я не так еще сыграл бы,—  
Жаль, что лучше не могу».

И хотя иные вещи  
В годы мира у певца  
Выйдут, может быть, похлеще  
Этой книги про бойца,—

Мне она всех прочих боле  
Дорога, родна до слез.  
Как тот сын, что рос не в холе,  
А в годину бед и гроз...

С первых дней годины горькой,  
В тяжкий час земли родной.  
Не шутя, Василий Теркин.  
Подружились мы с тобой.

Я забыть того не вправе,  
Чем твой обязан славе,  
Чем и где помог ты мне,  
Повстречавшись на войне.

От Москвы, от Сталинграда  
Неизменно ты со мной —  
Боль моя, моя отрада,  
Отдых мой и подвиг мой!

Эти строки и страницы —  
Дней и верст особый счет,  
Как от западной границы  
До своей родной столицы.  
И от той родной столицы  
Вспять до западной границы,  
А от западной границы  
Вплоть до вражеской столицы  
Мы свой делали поход.

Смыли весны горький пепел  
Очагов, что грели нас.  
С кем я не был, с кем я не пил  
В первый раз, в последний раз...

С кем я только не был дружен  
С первой встречи близ огня.  
Скольким душам был я нужен.  
Без которых нет меня.

Сколькоих их на свете нету,  
Что прочли тебя, поэт.  
Словно бедной книге этой  
Много, много, много лет.

И сказать, помыслив здраво:  
Что ей будущая слава!

Что ей критик, умник тот,  
Что читает без улыбки,  
Ищет, нет ли где ошибки.—  
Горе, если не найдет.

Не о том с надеждой сладкой  
Я мечтал, когда украдкой  
На войне, под кровлей шаткой.  
По дорогам, где пришлось,  
Без отлучки от колес.  
В дождь, укрывшись плащ-палаткой,  
Иль зубами сняв перчатку  
На ветру, в лютой мороз.  
Заносил в свою тетрадку  
Строки, жившие вразброс.

Я мечтал о сущем чуде:  
Чтоб от выдумки моей  
На войне живущим людям  
Было, может быть, теплей.

Чтобы радостью нежданной  
У бойца согрелась грудь.  
Как от той гармошки драной,  
Что случится где-нибудь.

Толку нет, что, может статься,  
У гармошки за душой  
Весь запас, что на два танца.—  
Разворот зато большой.

И теперь, как смолкли пушки,  
Предположим наугад.  
Пусть нас где-нибудь в пивнушке  
Вспомнит после третьей кружки  
С рукавом пустым — солдат:

Пусть в какой-нибудь каптерке  
У кухонного крыльца  
Скажут в шутку: «Эй ты, Теркин!» —  
Про какого-то бойца:

Пусть о Теркине почтенный  
Скажет важно генерал.—  
Он-то скажет непременно.—  
Что медаль ему вручал:

Пусть читатель вероятный  
Скажет с книжкою в руке:  
— Вот стихи, а все понятно.  
Все на русском языке...

Я доволен был бы, право.  
И — не гордый человек —  
Ни на чью иную славу  
Не сменю того вовек.

Повесть памятной годины.  
Эту книгу про бойца.  
Я и начал с середины  
И закончил без конца

С мыслью, может, дерзновенной  
Посвятить любимый труд  
Павшим памяти священной.  
Всем друзьям поры военной.  
Всем сердцам, чей дорог суд.

М. Гефтер

«Потерял и уберёг!»

Траектории воина и рапсода совсем рядом, но между ними все-таки зазор.

Слово удесятеряет вину. Слово отпускает поводья возмездия. Впрочем, тут они, может, и ближе всего — инстинкт сострадания и «метр» стиха, все реже совпадающего с ритмом регулярной военной машины. Время сотворения первых двух частей «Теркина»: от лета 1942-го, обнажившего природу сталинского циклизма «внезапностей», — к весне следующего, к кануну Курской дуги. Поэт ставил на рукописях: «Конец». Он подводил черту книге и вместе с ней ТЕРКИНСКОЙ ВОЙНЕ.

Но однополчане Теркина требовали продолжения, и стихия Войны настаивала на этом же. Твардовский подчинился ей, продлив книгу и обновив себя. Из продолжения выросла (и вошла во вторую часть) «Смерть и воин», третья же стала обрастиать бытом, уходить на обочину сражений, все пристальнее взглядываясь в человеческое и противочеловеческое лицо победы. И вот уже Теркин — не столько бравый солдат, сколько человек, пропавший большую часть отпущенного ему времени бытия, уставший от своих и от чужих страданий, и уже тем близкий к тому, чтобы очутиться не по своей воле «на том свете».

Но пока он на этом. Вспомним фрагмент главы «На Днепре». Вырванные строки исказили бы одиссею Образа. А вот она — в связном виде, поражающая внезапным переходом сиюминутного во вселенское Завтра. ломкой настроения — от бравурного к грустному, мудрому утешению...

К штабу на берег восточный  
Плелся стежкой, стороной  
Некий немец беспорточный.  
Веселя народ честной.

— С переправы?  
— С переправы.

Только-только из Днепра.

— Плавал, значит?

— Плавал, дьявол,

Потому — пришла жара...

— Сытый, черт!

Чистопородный.

— В плен спешит, как на привал...

Но уже любимец взводный —

Теркин, в шутки не встревал.

Он курил, смотрел нестрого,

Думой занятый своей.

За спиной его дорога

Много раз была длинней.

И молчал он не в обиде.

Не кому-нибудь в упрек. —

Просто, больше знал и видел

Потерял и уберег...

ПОТЕРЯЛ И УБЕРЕГ! Старый пароль-присказка «Перетерпим. Перетрем» — не уходит. Но его мало. «Перетертый» духовный опыт жаждал нового Слова, способного сделать внутренний мир человека открытым Миру. Не с тем, чтобы вместить последний, не выйдет это, не вмещается. А ради того, чтобы на место канонизированного ответа, заповеди отмщения, встал вопрос. Вопрос-больь.

Александр Твардовский шел со своей неутихающей болью навстречу к вчера еще посторонней и чужой. Поэтическая строка не вмещала всего пережитого. Ему еще надо было осесть, отлиться в неосвоенную пока ритмiku. К прежней вине — и эта.

М. Гефтер

## Притяжения-отталкивания

Не тот Дом и не тот Мир!

Стоит вспомнить, что уже на другой день и год после кровавого фиаско Гитлера прозвучали (с двух сторон!) сигналы к «холодной войне», к противоборству, лишь внешне воспроизводящему традиционное «кто кого?» — на деле же сближавшему помыслы и дружно, хотя и несогласно, перевертышавшему следствия в причины.

Разумеется, не ответом была сталинская унификация «народных демократий», утрамбовка террором «социалистического лагеря», но только ли ответом — разлом единства в стане вчерашнего европейского Сопротивления?.. А над неулегшимся океаном страданий и попранных надежд поднялся ядерный гриб, из доказательства новоявленного могущества математических уравнений сразу же превратившийся в главное орудиеластного безвластвия человека над человеком. Сумасшествие средств, казалось, обессмысливало любую цель, кроме тождества в «гарантированном взаимном уничтожении»...

Глядя из начала 1990-х в первое послевоенное десятилетие, не трудно понять бескорыстного Карла Ясперса (немецкого врача, душеведа, одного из крупнейших философов нашего века), который заявил во всеуслышание, что люди оказались перед лицом буквальной опасности совместно покончить с жизнью, притом, что опасность эта в двух лицах: атомной бомбы и утраты свободы. А посему человечеству ничего не остается, как избрать одну из опасностей. Сам Ясперс отдавал предпочтение смерти от несвободы, угрозу которой связывал с Востоком. Жесткость

ясперской альтернативы не могла не означать: теснитая свобода призвана по-новому стать сильной.

А в это же время человек другого поколения, другой профессии, но, полагаю, не другого склада нравственного ума, еще не известный миру Андрей Сахаров открыл самый короткий путь к созданию оружия, которое выравнило мировые шансы — «красных» с «некрасными». «Термоядерная реакция, этот таинственный источник энергии звезд и Солнца в их числе, источник жизни на Земле и возможная причина ее гибели,— уже была в моей власти, происходила на моем письменном столе!» Вспоминая, он как бы снова проходит дорогой от стола к «объекту», от формулы к взрыву. И замечает: «Мы видели себя в центре огромного дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это достается людям, стране очень дорогой ценой... В важности, в абсолютной жизненной необходимости нашего дела мы не могли сомневаться. И ничего отвлекающего — всё где-то далеко, за двумя рядами колючей проволоки, вне нашего мира».

Они ведь близки друг к другу, тот Ясперс и тогдашний Сахаров. Близки заблуждениями и близки истинностью побудительных мотивов, я бы рискнул сказать — заблуждениями истины. Ибо нет ее без блужданий, в которых она ищет и находит себя: людьми — в людях! Разве равновесие страха вне ее маршрута?

Сомнения обращали Ясперса к его опыту недавно пережитого и к урокам тысячелетий. Мыслитель, который нашел разгадку (и утешение!) в особенном «осевом времени» (Axenzeit), связующем дух несходих цивилизаций во всплеске вселенских подъемов, страстном и хрупком,— он жаждал теперь вернуть в это русло современников, вернуть критикой, нелицеприятной к политике и к политикам. Позже, в 1966 году, он выпустил нашумевшую книгу «Куда влечется Федеративная республика» («Wohin treibt die Bundesrepublik») — призыв защитить правовое общество от опасностей, гнездящихся внутри него самого, отстоять его посредством легальной революции. Слова, которыми завершается текст, заслуживают быть приведенными и сегодня: «В политической истории не господствует разумное начало... Весьма воз-

можно, что все простое и последовательное правильно с фактической и логической точки зрения. Но до тех пор, пока приходится иметь дело с фанатизмом национального или идеологического толка, разумную политику можно проводить лишь в том случае, если принимаются во внимание и эти противоречащие разуму элементы». Что же — по Ясперсу — отсюда следует? «Возможно, все рухнет... Мыслящий должен принимать во внимание такую возможность, и тогда он поймет, что такое человек и чем он может быть».

Итак, не бомба сама по себе, а та искра пробуждения и воспоминания, которую «антиразум» высекает в человеке, — путь к его спасению!

Сахарова же сомнения и тревоги, настаивавшие на переосмыслении бытия и утверждении — заново — ценности каждой жизни, охватили в тот самый год, когда воплотилась в металл и огонь его триумфальная «третья идея». Экстаз испытания и трагизм его, ознаменованного несколькими гибелями. «Нами — мною во всяком случае — владела тогда уже целая гамма противоречивых чувств и, пожалуй, главным из них был страх, что высвобожденная сила может выйти из-под контроля... Сообщения о несчастных случаях, особенно о гибели девочки и солдата, усиливали это трагическое ощущение. Конкретно я не чувствовал себя виновным в этих страстиах, но и избавиться полностью от сопричастности к ним не мог». Пройдет еще тринадцать лет и сопричастность прорвет позолоченную колючую проволоку и выскажет себя беспрецедентным взглядом на близость человека к человеку, на Мир вновь породненных людей.

Ныне строки, что выше, читаются уже как марсианская хроника. Не сегодня, так завтра, не позже, суперядерные державы споловинят арсеналы «гарантированного уничтожения». Вот и «холодная война» перекочевала в арьергард, исчезли навсегда иные царства без монархов, рухнула в одночасье берлинская стена, поставив точку на незаконченном 1945-м. Ибо таково значение этой акции не только для Германии, заново и мирным способом обретшей единство, но, полагаю, в не меньшей мере — для советской

Евразии, переживающей сейчас тяжкий кризис своих исторических оснований. При всем несходстве в переменах и там, и здесь, речь идет, по сути, о месте и роли в Мире, которого еще нет.

В Мире Ясперса и Сахарова, архитектоника которого в огромной степени зависит от того, удастся ли людям и их сообществам вписать в нее исконные и вовсе свежие проблемы межчеловеческих притяжений и не отменяемых до конца отталкиваний.

Потому-то рассвет того давнего воскресенья 22 июня мне видится теперь Началом. Да он и был таким, если (не минуя внешнего обвода событий, но и не задерживаясь там) попытаться достигнуть донного слоя с его прихотливым смешением повседневности и духа, миллионов единиц людей — тревожно знаменитых и безвестных за пределами своей родни, притом, что именно последние в конечном счете и перевесили тогда чашу весов. Сначала в одну сторону, затем в другую.

Именно так. От этого не уйти: сначала в одну сторону и лишь затем — в другую.

И с той, и с другой стороны — человек, Приносящий в жертву смерти жизнь. Побеждающий жизнью смерть. Вернее: два человека в одном. Несовместимо-близкие там, где они — друг против друга.

**1991**

# САМОСТОЯНЬЕ

А.Твардовский

ДОМ У ДОРОГИ  
лирическая хроника

М.Гефтер

- |            |  |
|------------|--|
| <b>309</b> | Утопия суверенности<br>«жизни как таковой» |
| <b>311</b> |  |
| <b>335</b> | ДОМ как МИР                                |



М. Гефтер

## Утопия суверенности «жизни как таковой»

### «Из блокнотов»

Твардовский — «Дом у дороги».

О чем же? Дом — родное пепелище?

Уберите начисто ближний пласт Прошлого — и нет хода ни вглубь, ни вверх.

Пушкинское самостоянье — главный нерв Александра Трифоновича?

Есть нечто ближе к телу народному, чем сокрушение фашизма.

И есть нечто выше, чем спасение всей России — державы, страны.

Не отрицанием необходимости «Дом» и не возвратом к микрокосмосу

патриархальности он. Древнее — и новое.

К первоистокам — и за черту агонизирующего (и в победах) ХХ-го!

К Миру, в котором наравне со всеобщим, вселенным сожитием

как иная основа его будет отдельный человек, обладающий своим малым —  
суверенным жизненным пространством: открытый Миру, но защищенный  
от любых непрошенных гостей, от всех распорядителей судеб.

Утопия суверенности «жизни как таковой».

---

Твардовского «Дом» — в отзывах клеймили,

называя поэмой

«беспартийной»

«apolитичной»

«пацифистской», да еще с духом «абстрактного гуманизма»...

Каждое клеймо (каждый ярлык) как знак качества, добра, примета поэзии...

---

«Теркин» и «Дом у дороги» — не этапы. Тут пара. Тут оппонирование себе...

Как у Пушкина: «Медный всадник» оспоривает «Полтаву»,

«Онегин» — «Цыган».

Теркин воюет с немцем. «Дом» — с войной.

Это сага о разрушенном и недосыгаемом Доме, о Мире дома.

Теркин своею ВОЙНОЙ рассчитался за 30-е. Но с КЕМ? Не возмездие это, а ИСКУПЛЕНИЕ.

(Как у болдинского Пушкина, Бесы — они ведь тоже свои!)

Возмездие себе собою?

Это главная «твардовская» тема — в ее рождении, в ее движении вверх.

Твардовский опередил «писателей-деревенщиков» не во времени, а по сути.

Не деревню оплакивал (вообще не плакался...), а Дом, без которого нет человека земли, но и без него Дом — не дом: исчезал, уходил неприметно и повсюду.

Вот отчего слова поэмы пришли к нему, а от него к нам.

Утраченное без возврата каждым — та общая потеря, какую уже никогда не вернешь иначе как памятью, работой памяти (а не просто поминанием, упоминанием...), ее особенной совестью, домашним судилищем.

Память эта — освобождение от страдания, от тоски.

От «Страны Муравии» — к военным песням:

смерть надвинулась в своей беспощадности, в страшной уравниловке...

Там — ПОПРИЩЕ. А тут? Два ответа: «Теркиным» и «Домом...»

Поприще — Дом на войне и даже **война как дом**.

Ключевое — к тайне Твардовского. К тайне прозрачности, «просто-народности», всеобщности, объединяющей разъединенных разных.

Он только кажется — другим и себе — реалистом. На деле же — не поэт «с натуры».

Его герои — искомые. Его натура — «место, которого нет», хотя для него есть то, без чего и «место» не нужно. Есть ЧЕЛОВЕК, созданный быть счастливым и умеющий им быть: непраздно, животворно, домотворно счастливым.

Его мечта, чтобы такими счастливыми были все — Дома; без этого и отчизна, что чужбина.

Он — утопист. И его «Теркин» в своем роде УТОПИЯ. (Утопия свободы распоряжения жизнью — надолго, навсегда).

Он, Твардовский, — пост-советский внутри России-СССР.

Разумеется, сам он так не думал.

**Но его, им открытое Слово «думает» дальше, движется выше...**

А.Твардовский

ДОМ У ДОРОГИ  
лирическая хроника

**Глава 1**

Я начал песню в трудный год.  
Когда зимой студеной  
Война стояла у ворот  
Столицы осажденной.

Но я с тобою был, солдат,  
С тобою неизменно —  
До той и с той зимы подряд  
В одной страде военной.

Твоей судьбой я только жил  
И пел ее доныне,  
А эту песню отложил,  
Прервав на половине.

И как вернуться ты не мог  
С войны к жене-солдатке,  
Так я не мог  
Весь этот срок  
Вернуться к той тетрадке.

Но как ты помнил на войне  
О том, что сердцу мило,  
Так песня, начавшись во мне,  
Жила, кипела, ныла.

А я ее в себе берег,  
Про будущее прочил,  
И боль и радость этих строк  
Меж строк скрывая прочих.

Я нес ее и вез с собой  
От стен родной столицы —  
Вслед за тобой.  
Вслед за тобой —  
До самой заграницы.

От рубежа до рубежа —  
На каждом новом месте  
Ждала с надеждою душа  
Какой-то встречи, вести...

И где бы ни переступал  
Каких домов пороги,  
Я никогда не забывал  
О доме у дороги.

О доме горестном, тобой  
Покинутом когда-то.  
И вот в пути, в стране чужой  
Я встретил дом солдата.

Тот дом без крыши, без угла,  
Согретый по-жилому.  
Твоя хозяйка берегла  
За тыщи верст от дома.

Она тянула кое-как  
Вдоль колеи шоссейной —  
С меньшим, уснувшим на руках,  
И всей гурьбой семейной.

Кипели реки подо льдом.  
Ручьи взбивали пену.  
Была весна, и шел твой дом  
На родину из плена.

Он шел в Смоленщину назад.  
Что так была далеке...  
И каждый наш солдатский взгляд  
Теплел при этой встрече.

И как там было не махнуть  
Рукой: «Бывайте живы!».  
Не обернуться, не вздохнуть  
О многом, друг служивый.

О том хотя бы, что не все  
Из тех, что дом теряли,  
На фронтовом своем шоссе  
Его и повстречали.

Ты сам, шагая в той стране  
С надеждой и тревогой,  
Его не встретил на войне.—  
Другую шел дорогой.

Но дом твой в сборе, налицо.  
К нему воздвигнуть стены.  
Приставить сени и крыльца —  
И будет дом отменный.

С охотой руки приложить —  
И сад, как прежде, дому  
Заглянет в окна.  
Жить да жить.  
Ах, жить да жить живому!

А мне бы петь о жизни той,  
О том, как пахнет снова  
На стройке стружкой золотой,  
Живой смолой сосновой.

Как, огласив войне конец  
И долголетье миру,  
Явился беженец-скворец  
На новую квартиру.

Как жадно в рост идет трава  
Густая на могилах.  
Трава — права,  
И жизень жива.  
Но я про то хочу сперва,  
Про что забыть не в силах.

Так память горя велика.  
Глухая память боли.  
Она не стишится, пока  
Не выскажетя вволю.

И в самый полдень торжества,  
На праздник возрожденья  
Она приходит, как вдова  
Бойца, что пал в сраженье.

Как мать, что сына день за днем  
Ждала с войны напрасно,  
И позабыть еще о нем,  
И не скорбеть всечасно  
Не властна.

Пусть меня простят.  
Что снова я до срока  
Вернусь, товарищи, назад.  
К той памяти жестокой.

И все, что выразится здесь,  
Да вникнет в душу снова,  
Как плач о родине, как песнь  
Ее судьбы суровой.

## Глава 2

В тот самый час воскресным днем.  
По праздничному делу.  
В саду косил ты под окном  
Траву с росою белой.

Трава была травы добрей —  
Горошек, клевер дикий,  
Густой метелкою пырей  
И листья земляники.

И ты косил ее, сопя.  
Кряхтя, вздыхая сладко.  
И сам подслушивал себя.  
Когда звенел лопаткой:

Коси, коса,  
Пока роса,  
Роса долой —  
И мы домой.

Таков завет и звук таков,  
И по косе вдоль жала,  
Смывая мелочь лепестков,  
Роса ручьем бежала.

Покос высокий, как постель,  
Ложился, взбитый пышно,  
И непросохший сонный шмель  
В покосе пел чуть слышно.

И с мягким махом тяжело  
Косье в руках скрипело.  
И солнце жгло,  
И дело шло,  
И все, казалось, пело:

Коси, коса.  
Пока роса,  
Роса долой —  
И мы домой.

И палисадник под окном,  
И сад, и лук на грядах —  
Все это вместе было дом,  
Жилье, уют, порядок.

Не тот порядок и уют,  
Что, никому не веря,  
Воды напиться подают,  
Держась за клямку двери.

А тот порядок и уют,  
Что всякому с любовью  
Как будто чарку подают  
На доброе здоровье.

Помытый пол блестит в дому  
Опрятностью такою,  
Что просто радость по нему  
Ступить босой ногою.

И хорошо за стол свой сесть  
В кругу родном и тесном,  
И, отдыхая, хлеб свой есть,  
И день хвалить чудесный.

Тот вправду день из лучших дней,  
Когда нам вдруг с чего-то —  
Еда вкусней.  
Жена милей  
И веселей работа.

Коси, коса,  
Пока роса.  
Роса долой —  
И мы домой.

Домой ждала тебя жена.  
Когда с нещадной силой  
Старинным голосом война  
По всей стране завыла.

И, опершився на косье,  
Босой, простоволосый,  
Ты постоял — и понял все,  
И не дошел прокоса.

Не докосил хозяин луг,  
В поход запоялся,  
А в том саду все тот же звук  
Как будто раздавался:

Коси, коса,  
Пока роса.  
Роса долой —  
И мы домой.

И был ты, может быть, уже  
Забыт самой войною,  
И на брезвистном рубеже  
Зарыт иной землею.

Не умолкая, тот же звук.  
Щемящий звон лопатки.  
В труде, во сне тревожил слух  
Твоей жене-солдатке.

Он сердце ей насквозь изжег  
Тоскою неизбытоей.  
Когда косила тот лужок  
Сама косой небитой.

Слепили слезы ей глаза,  
Палила душу жалость.  
Не та коса,  
Не та роса,  
Не та трава, казалось...

Пусть горе женское пройдет.  
Жена тебя забудет  
И замуж, может быть, зайдет  
И будет жить, как люди.

Но о тебе и о себе,  
О давнем дне разлуки  
Она в любой своей судьбе  
Вздохнет при этом звуке:

Коси, коса,  
Пока роса,  
Роса долой —  
И мы домой.

### Глава 3

Еще не здесь, еще вдали  
От этих нив и улиц  
Стада недоеные шли  
И беженцы тянулись.

Но шла, гудела, как набат.  
Беда по всей округе.  
За черенки взялись лопат.  
За тачки бабы руки.

Готовы были день и ночь  
Копать с упорством женским.  
Чтоб чем-нибудь войскам помочь  
На рубеже смоленском.

Чтоб хоть в родимой стороне,  
У своего порога,  
Хотя б на малый срок войне  
Перекопать дорогу.

И сколько рук — не перечтешь! —  
Вдоль той канавы длинной  
Живьем приваливали рожь  
Сырой тяжелой глиной.

Живьем хлеба, живьем траву  
Приваливали сами.

А он уж бомбы на Москву  
Возил над головами.

Копали ров, валили вал,  
Спешили, будто к сроку.

А он уж по земле ступал,  
Премел неподалеку.

Ломал и путал фронт и тыл  
От моря и до моря.  
Кровавым заревом светил,  
В ночи смыкая зори.

И страшной силой буревой,  
В медовый срок покоса,  
В дыму, в пыли перед собой  
От фронта гнал колеса.

И столько вывалило вдруг  
Гуртов, возов, трехтонок,  
Коней, подвод, детей, старух.  
Узлов, тряпья, котомок...

Моя великая страна,  
У той кровавой даты  
Как ты была еще бедна  
И как уже богата!

Зеленой улицей села,  
Где пыль легла порошкой.  
Огромный край война гнала  
С поспешно взятой ношей.

Смятенье, гомон, тяжкий стон  
Людской страды горячей.  
И детский плач, и патефон.  
Поющий, как на даче,—  
Смешалось все, одной беды —  
Войны знаменьем было...

Уже до полудня воды  
В колодцах не хватило.

И ведра глухо грунт скребли,  
Тремя о стенки сруба.  
Полупустые кверху шли.  
И к капле, прыгнувшей в пыли,  
Тянулись жадно губы.

А сколько было там одних —  
С жары совсем соловых —  
Курчавых, стриженых, льняных,  
Чернявых, русых и иных  
Ребяческих головок.

Нет, ты смотреть не выходи  
Ребят на водопое.  
Скорей своих прижми к груди.  
Пока они с тобою.

Пока с тобой,  
В семье родной.  
Они, пускай не в холе,  
В любой нужде.  
В своем гнезде —  
Еще на зависть доля.

И приведись на горький путь  
Сменить свое подворье —  
Самой детей одеть, обуть —  
Еще, поверь, — полгоря.

И, притерпевшись, как-никак  
Брести в толпе дорожной  
С меньшим, уснувшим на руках,  
С двумя при юбке — можно!

Идти, брести.  
Присесть в пути  
Семьей на отдых малый.  
Да кто сейчас  
Счастливей вас!

Смотри-ка, есть, пожалуй.

Где светит свет хоть краем дnia.  
Где тучей вовсе застится.  
И счастье счастью не ровня.  
И горе — горю разница.

Ползет, скрипит кибитка-дом,  
И головы детишек  
Хитро укрыты лоскутом  
Железной красной крыши.

И служит кровлей путевой  
Семье, войной гонимой,  
Та кровля, что над головой  
Была в kraю родимом.

В kraю ином  
Кибитка-дом.  
Ее уют цыганский,  
Не как-нибудь  
Налажен в путь.—  
Мужской рукой крестьянской.

Ночлег в пути, ребята спят,  
Зарывшись в глубь кибитки.  
И в небо звездное глядят  
Оглобли, как зенитки.

Не спит хозяин у огня.  
На этом трудном свете  
Он за детей, и за коня,  
И за жену в ответе.

И ей, хоть лето, хоть зима.  
Все ж легче путь немилый.  
А ты реши-ка все сама,  
Своим умом и силой.

В полдневный зной  
И в дождь ночной  
Укрой в дороге деток.

Далекий мой,  
Родимый мой,  
Живой ли, мертвый — где ты?..

Нет, ни жена, ни даже мать,  
Что думала о сыне,  
Не в силах были угадать  
Всего, что станет ныне.

Куда там было в старину.—  
Все нынче по-иному:  
Ушел хозяин на войну.  
Война подходит к дому.

И, чуя гибель, этот дом  
И сад молчат тревожно.  
И фронт — уж вот он — за холмом  
Вздыхает безнадежно.

И пыльных войск отход, откат  
Не тот, что был вначале.  
И где колонны кое-как,  
Где толпы зашагали.

Все на восток, назад, назад,  
Все ближе бьют орудья.  
А бабы воют и висят  
На изгороди грудью.

Пришел, настал последний час,  
И нет уже отсрочки.  
А на кого ж вы только нас  
Кидаете, сыночки?..

И то, быть может, не упрек.  
А боль за них и жалость.  
И в горле давящий комок  
За все, что с жизньюсталось.

И сердце женское вдвойне  
Тоска, тревога гложет.  
Что своего лишь там, в огне,  
Жена представить может.

В огне, в бою, в чадном дыму  
Кровавой рукопашной.  
И как, должно быть, там ему,  
Живому, смерти страшно.

Не подсказала б та беда,  
Что бабьим воем выла,  
Не знала б, может, никогда,  
Что до смерти любила.

Любила — взгляд не оброни  
Никто, одна любила.  
Любила так, что от родни,  
От матери отбила.

Пускай не девичья пора,  
Но от любви на диво —  
В речах остра,  
В делах быстра,  
Как змейка вся ходила.

В дому — какое не житье —  
Детишки, печь, корыто —  
Еще не видел он ее  
Нечесаной, немытой.

И весь она держала дом  
В опрятности тревожной.  
Считая, может, что на том  
Любовь вовек надежней.

И та любовь была сильна  
Такою властной силой.  
Что разлучить одна война  
Могла.  
И разлучила.

## Глава 4

Томила б только ты бойца,  
Война, тоской знакомой  
Да не пылила б у крыльца  
Его родного дома.

Давила б грузным колесом  
Тех, что твои по списку,  
Да не губила б детский сон  
Пальбой артиллериейской.

Гремя, бесилась бы спьяна  
У своего предела,—  
И то была бы ты, война,  
Еще святое дело.

Но ты повыгнала ребят  
В подвалы, в погребушки,  
Ты с неба наземь наугад  
Свои кидаешь чушки.

И люди горькой стороны  
У фронта сбились тесно.  
Боясь и смерти и вины  
Какой-то неизвестной.

А ты все ближе ко дворцу.  
И дети, чуя горе,  
Пугливым шепотом игру  
Ведут в углу, не споря...

В тот первый день из горьких дней.  
Как собрался в дорогу.  
Велел отец беречь детей,  
Смотреть за домом строго.

Велел детей и дом беречь, —  
Жена за все в ответе.  
Но не сказал, топить ли печь  
Сегодня на рассвете.

Но не сказал, сидеть ли тут.  
Бежать ли в свет куда-то.  
Все бросить вдруг.  
А где нас ждут.  
Где просят?  
Свет — не хата.

Здесь потолок над головой,  
Здесь — дом. в хлеву — корова...  
А немец, может, он иной  
И не такой суровый,—  
Пройдет, минет.

А вдруг как нет?  
Не тою славен славой.  
А что ж, тогда ты в сельсовет  
Пойдешь искать управы?

Каким сгрошишь ему судом.  
Как встанет на пороге,  
Как в дом войдет?  
Нет, кабы дом  
Подальше от дороги...

...Последних четверо солдат  
Калитку в сад открыли.  
Железом кованых лопат  
Устало грюкнули не в лад,  
Присели, закурили.

И улыбнулся, обратясь  
К хозяинке, старший вроде:  
— Хотим тут пущечку у вас  
Поставить в огороде.

Сказал, как будто человек  
Проезжий, незнакомый.  
С конем просился на ночлег,  
С телегой возле дома.

Ему и ласка и привет.  
— Не уходите только,  
Не покидайте нас...  
— Да нет.—  
Переглянулись горько.

— Да нет, от этой конопли  
Мы не уйдем, мамаша.  
Затем, чтоб все уйти могли.—  
Такая служба наша.

— И ты спеши.— сказал боец.—  
Поскольку эту пушку,  
А заодно и твой дворец  
Уж ОН возьмет на мушку.  
А впрочем, малость погоди,—  
Прислушавшись, добавил:—  
Кладет уж вон где, впереди,  
Как раз по переправе.

Земля вокруг как на волне.  
И день оглох от грома.  
— Вот жизнь: хозяин на войне,  
А ты, выходит, дома.

А у нее про всех готов  
Один вопрос печальный:  
— Сивцов — фамилия. Сивцов.  
Не слышали случайно?

— Сивцов? Постой, подумать дай.  
Ну да, слыхал Сивцова.  
Сивцов — ну как же, Николай.  
Так он — живой, здоровый.  
Не твой? Ага, а твой Андрей?  
Андрей, скажи на милость...

Но чем-то вроде дорог ей  
И тот однофамилец.

— Ну, что, друзья, кончай курить.  
Разметил план лопатой  
И стал усердно землю рыть  
Солдат в саду солдата.

Не для того, чтоб там взросла  
Какая-либо штука,  
И не нарочно, не со зла.  
А как велит наука.  
Он рыл окоп, по форме чтоб  
И глубина и бруствер...

Ах, сколько в том рытье одном  
Покорной делу грусти.

Он делал дело — землюрыл,  
Но, может, думал мельком  
И даже, может, говорил.  
Вздыхал:  
— Земля, земелька...

Уже они по грудь в земле.  
Зовет к столу солдатка.  
Как будто помочи в семье.  
Обед и отдых сладкий.

— Устали, кушайте.  
— Ну что ж,  
Горячего, покамест...

— Еще, признаться, грунт хорош.  
А то бывает — камень...

И первым старший ложку нес.  
А вслед за ним солдаты.  
— А что, богатый был колхоз?  
— Нет, не сказать богатый.  
Не так, а все-таки. Хлеба  
Сильнее за Угрю...  
— Смотри, притихнула пальба.  
— Детишк трое?  
— Трое...

И общий вздох:  
— С детьми — беда. —  
И разговор с заминкой.  
Жирна не вовремя еда,  
Грустна, как на поминках.

— Спасибо наше за обед.  
Хозяюшка, спасибо.  
А что касается... так — нет,  
Не жди, беги как-либо.

— Постой, — сказал другой солдат.  
В окно с тревогой глядя: —  
Смотри, народ как раз назад  
Потек.  
— Чего бы ради?

Дорога пыльная полна,  
Идут, бредут понуро.  
С востока к западу война  
Оглобли завернула.

— Выходит, он уж впереди.  
— А что ж теперь, куда же?  
— Молчи, хозяйка, и сиди,  
Что дальше — день покажет.  
А нам стеречь твой огород.  
Хозяйка, — дело худо.  
Выходит, наш теперь черед  
Искать ходов отсюда.

И по лихой нужде своей  
Теперь они, солдаты.  
Казалось, женщины слабей,  
И не виновны передней.  
А все же виноваты.

— Прощай, хозяйка, жди, придем,  
Настанут наши сроки.  
И твой найдем приметный дом  
У столбовой дороги.  
Придем, найдем, а может, нет:  
Война, — нельзя ручаться.  
Еще спасибо за обед.

— И вам спасибо, братцы.  
Прощайте. —  
Вывела людей.  
И с просьбой безнадежной:  
— Сивцов, — напомнила, — Андрей,  
Услышите, возможно...

Шагнула вслед, держась за дверь.  
В слезах, и сердце сжалось.  
Как будто с мужем лишь теперь  
Навеки рас прощалась.  
Как будто он ушел из рук  
И скрылся без оглядки...

И ожила вдруг в ушах тот звук.  
Щемящий звон лопатки:

Коси, коса,  
Пока роса.  
Роса долой —  
И мы домой...

## Глава 5

Вам не случилось быть при том,  
Когда в ваш дом родной  
Входил, гремя своим ружьем,  
Солдат земли иной?

Не был, не мучил и не жег. —  
Далеко до беды.  
Вступил он только на порог  
И попросил воды.

И, наклонившись над ковшом,  
С дороги весь в пыли,  
Попил, утерся и ушел  
Солдат чужой земли.

Не был, не мучил и не жег. —  
Всему свой срок и ряд.  
Но он входил, уже он мог  
Войти, чужой солдат.

Чужой солдат вошел в ваш дом,  
Где свой не мог войти.  
Вам не случилось быть при том?  
И бог не привели!

Вам не случилось быть при том.  
Когда, хмельной, дурной,  
За вашим тешится столом  
Солдат земли иной?

Сидит, заняв тот край скамьи,  
Тот угол дорогой,  
Где муж, отец, глава семьи  
Сидел, — не кто другой.

Не доведись вам злой судьбой  
Не старой быть при том  
И не горбатой, не кривой  
За горем и стыдом,

И до колодца по селу,  
Где есть чужой солдат,  
Как по толченому стеклу.  
Ходить вперед-назад.

Но если было суждено  
Все это, все в зачет,  
Не доведись хоть то одно,  
Чему еще черед.

Не доведись вам за войну,  
Жена, сестра иль мать,  
Своих  
Живых  
Солдат в плена  
Воочью увидать.

...Сынов родной земли,  
Их стыдным, сборным строем  
По той земле вели  
На запад под конвоем.

Идут они по ней  
В позорных сборных ротах,  
Иные без ремней,  
Иные без пилоток.

Иные с горькой, злой  
И безнадежной мукой  
Несут перед собой  
На перевязи руку...

Тот хоть шагать здоров,  
Тому ступить задача,—  
В пыли теряя кровь,  
Тащись, пока ходячий.

Тот, воин, силой взят  
И зол, что жив остался.  
Тот жив и счастью рад,  
Что вдруг отвоевался.

Тот ничему цены  
Еще не знает в мире.  
И все идут, равны  
В колонне по четыре.

Ботинок за войну  
Одних не износили,  
И вот они в плену,  
И этот плен — в России.

Поникнув от жары,  
Переставляют ноги.  
Знакомые дворы  
По сторонам дороги.

Колодец, дом и сад  
И все вокруг приметы.  
День или год назад  
Брели дорогой этой?

Год или только час  
Прошел без проволочки?..

«А на кого ж вы нас  
Кидаете, сыночки!..»

Теперь скажи в ответ  
И встреть глаза глазами.  
Мол, не кидаем, нет,  
Пглядите, вот мы с вами.

Порадуй матерей  
И жен в их бабьей скорби.  
Да не спеши скорей  
Пройти. Не гнись, не горбись...

Бредут ряды солдат  
Угрюмой вереницей.  
И бабы всем подряд  
Заглядывают в лица.

Не муж, не сын, не брат  
Проходят перед ними,  
А только свой солдат —  
И нет родни родимой.

И сколько тех рядов  
Ты молча проводила  
И стриженых голов,  
Поникнувших уныло.

И вдруг — ни явь, ни сон,—  
Послышалось как будто,—  
Меж многих голосов  
Один:  
— Прощай, Анюта...

Метнулась в тот конец,  
Теснясь в толпе горячей.  
Нет, это так. Боец  
Кого-то наудачу  
Назвал в толпе. Шутник.  
До шуток здесь кому-то.

Но если ты меж них,  
Окликни ты Анютой.

Ты не стыдись меня,  
Что вниз сползли обмотки,  
Что, может, без ремня  
И, может, без пилотки.

И я не попрекну  
Тебя, что под конвоем  
Идешь. И за войну  
Живой, не стал героем.

Окликни — отзовусь.  
Я здесь, твоя Анюта.  
Я до тебя прорвусь.  
Хоть вновь навек прощусь  
С тобой. Моя минута!

Но как спросить сейчас,  
Произнести хоть слово:  
А нет ли здесь у вас,  
В плену, его, Сивцова  
Андрея?

Горек стыд.  
Спроси, а он, пожалуй,  
И мертвый не простит.  
Что здесь его искала.

Но если здесь он, вдруг  
Идет в колонне знайной.  
Закрыв глаза...  
— Цурюк!  
Цурюк! — кричит конвойный.

Ему ни до чего  
И дела нету, право.  
И голос у него.  
Как у ворон, картавый:

— Цурюк! —  
Не молод он.  
Устал, до черта жарко,  
До черта обозлен,  
Себя — и то не жалко...

Бредут ряды солдат  
Угрюмой вереницей.  
И бабы всем подряд  
Заглядывают в лица.

Глазами поперек  
И вдоль колонны ловят.  
И с чем-то узелок.  
Какой ни есть кусок  
У многих наготове.

Не муж, не сын, не брат.  
Прими, что есть, солдат.  
Кивни, скажи что-либо,  
Мол, тот гостинец свят  
И дорог, мол. Спасибо.

Дала из добрых рук.  
За все, что стало вдруг,  
С солдата не спросила.  
Спасибо, горький друг,  
Спасибо, мать-Россия.

А сам, солдат, шагай  
И на беду не сетуй:  
Ей где-то есть же край,  
Не может быть, что нету.

Пусть пахнет пыль золой,  
Поля — горелым хлебом  
И над родной землей  
Висит чужое небо.

И жалкий плач ребят.  
Не утихая, длится.  
И бабы всем подряд  
Заглядывают в лица...

Нет, мать, сестра, жена  
И все, кто боль изведал,  
Та боль не отмщена  
И не прошла с победой.

За этот день один  
В селе одном смоленском  
Не отплатил Берлин  
Своим стыдом вселенным.

Окаменела память.  
Крепка сама собой.

Да будет камнем камень,  
Да будет болью боль.

## Глава 6

Еще не та была пора.  
Что входит прямо в зиму.  
Еще с картошки кожура  
Счищалась об корзину.

Но становилась холодна  
Земля нагрева летнего.  
И на ночь мокрая копна  
Впускала неприветливо.

И у костра был сон — не сон.  
Под робкий треск валежника  
Теснила осень из лесов  
Тех горьких днейnochлежника.

Манила памятью жилья,  
Тепла, еды и прочего.  
Кого в зятья,  
Кого в мужья —  
Куда придется прочила.

Внушала голосом молвы,  
Дождем, погодой золкою.  
Что из-под Ельни до Москвы  
Идти — дорога долгая...

...В холодной пуне, у стены,  
От лишних глаз украдкой.  
Сидел отставший от войны  
Солдат с женой-солдаткой.

В холодной пуне, не в дому.  
Солдат, под стать чужому.  
Хлебал, что вынесла ему  
Жена тайком из дому.

Хлебал с усердьем горевым,  
Забрав горшок в колени.  
Жена сидела перед ним  
На том остывшем сене,  
Что в давний час воскресным днем.  
По праздничному делу  
В саду косил он под окном,  
Когда война приспела.

Глядит хозяйка: он — не он  
За гостя в этой пуне.  
Недаром, видно, тяжкий сон  
Ей снился накануне.

Худой, заросший, словно весь  
Посыпанный золою.  
Он ел, чтоб, может быть, заесть  
Свой стыд и горе злое.

— Бельишко пару собери  
Да свежие портнянки,  
Чтоб мне в порядке до зари  
Сниматься со стоянки.

— Все собрала уже, дружок.  
Все есть. А ты в дороге  
Хотя б здоровье поберег,  
И первым делом ноги.

— А что еще? Чудные вы.  
С такой заботой, бабы.  
Начнем-ка лучше с головы.—  
Ее сберечь хотя бы.

И на лице солдата — тень  
Усмешки незнакомой.

— Ах, я как вспомню: только день  
Ты этот дома.

— Дома!  
Я б тоже рад не день побыть.—  
Вздохнул.— Прими посуду.  
Спасибо. Дай теперь попить.  
С войны вернусь,— побуду.

И сладко пьет, родной, большой,  
Плечьми упервшись в стену.  
По бороде его чужой  
Катятся капли в сено.

— Да, дома, правду говорят.  
Что и вода сырья  
Куда вкусней,— сказал солдат,  
В раздумье утирая  
Усы бахромкой рукава,  
И помолчал с минуту.—  
А служ такой, что и Москва  
На очереди, будто...

Идти — не штука, был бы толк,—  
Добавил он с заминкой  
И так невесело примолк,  
Губами сжав сенинку.

Жена подвинулась к нему  
С участливой тревогой.  
Мол, верить стоит не всему.  
Болтают нынче много.  
А немец, может, он теперь  
К зиме остынет...

А он опять:  
— Ну, что же, верь  
Тому, что нам годится.  
Один хороший капитан  
Со мной блуждал вначале.  
Еще противник по пятам  
За нами шел. Не спали,  
Не ели мы тогда в пути.  
Ну, смерть. Так он, бывало,  
Твердил: идти, ползком ползти —  
Хотя бы до Урала.  
Так человек был духом зол  
И ту идею помнил.

— И что же?  
— Шел и не дошел.  
— Отстал?  
— От раны помер.  
Болотом шли. А дождь, а ночь.  
А тоже холод лютый.  
— И не могли ничем помочь?  
— И не могли. Анюта...

Лицом к плечу его припав.  
К руке — девчонкой малой.  
Она схватила за рукав  
Его и все держала,  
Как будто думала она  
Сберечь его хоть силой.  
С кем разлучить одна война  
Могла, и разлучила.

И друг у друга отняла  
В воскресный день июня.  
И вновь ненадолго свела  
Под крышей этой пуни.

И вот он рядом с ней сидит  
Перед другой разлукой.  
Не на нее ли он сердит  
За этот стыд и муку?

Не ждет ли он, чтобы сама  
Жена ему сказала;  
— Сойти с ума — идти. Зима.  
А сколько до Урала!

И повторяла бы:  
— Пойми,  
Кому винить солдата,  
Что здесь жена его с детьми,  
Что здесь — родная хата.  
Смотри, пришел домой сосед  
И не слезает с печи...

А он тогда сказал бы:  
— Нет,  
Жена, дурные речи...

Быть может, горький свой удел,  
Как хлеб щепоткой соли.  
Приправить, скрасить он хотел  
Таким геройством, что ли?

А может, просто он устал,  
Да так, что через силу  
Еще к родным пришел местам,  
А дальше — не хватило.

И только совесть не в ладу  
С приманкой — думкой этой:  
Я дома. Дальше не пойду  
Искать войну по свету.

И неизвестно, что верней.  
А к горю — в сердце смута.  
— Скажи хоть что-нибудь, Андрей.  
— Да что сказать, Аниута?  
Ведь говори не говори,  
А будет легче разве  
Сниматься завтра до зари  
И пробираться к Вязьме?  
Никем не писанный маршрут  
Распознавать на звездах.  
Дойти до фронта — тяжкий труд.  
Дойдешь, а там — не отдохн.  
Там день один, как год тяжел,  
Что день, порой минута...  
А тот — он шел и не дошел,  
Но все идет как будто.  
Ослабший, раненый идет.  
Что в гроб кладутся краше.  
Идет.  
«Товарищи, вперед.  
Дойдем. Настанет наше!  
Дойдем, иному не бывать,  
Своих достигнем линий.  
И воевать — не миновать.  
А отдыхать?  
В Берлине!»  
На каждом падая шагу  
И поднимаясь снова,  
Идет. А как же я могу  
Отстать, живой, здоровый?  
Мы с ним прошли десятки сел,  
Где как, где смертным лазом.  
И раз он шел, да не дошел,  
Так я дойти обязан.  
Дойти. Хоть я и рядовой.  
Отстать никак не волен.  
Еще добро бы он живой  
А то он — павший воин.  
Нельзя! Такие вот дела... —  
И ей погладил руку.

А та давно уж поняла.  
Что боль — не боль еще была,  
Разлука — не разлука.

Что все равно — хоть наземь ляг,  
Хоть вдруг лишишь дыханья...  
Прощалась прежде, да не так,  
А вот когда прощанье!

Тихонько руку отняла  
И мужние колени  
С покорным плачем обняла  
На том угретом сене...

И ночь прошла у них.  
И вдруг  
Сквозь кромку сна на зорьке,  
Сквозь запах сена в душу звук  
Вошел ей давний, горький:

Коси, коса,  
Пока роса,  
Роса долой —  
И мы домой...

## Глава 7

Все сборы в путь любой жены  
И без войны не сладки.  
И без войны тревог полны  
Все сборы в жизни краткой.

Но речь одна, когда добром,—  
Не по нужде суровой  
Мы край на край и дом на дом  
Иной сменить готовы.

Другая речь — в годину бед  
Жене самой, без мужа,  
Из дома выйти в белый свет  
И дверь закрыть снаружи.

С детьми из теплого угла,  
С гнезда родного сняться,  
Где, может быть, еще могла  
Ты весточки дождаться.

С котомкой выйти за порог —  
И, всей той мукой мучась,  
Брести...  
Но если на Восток,—  
То как бы ни был путь жесток.—  
Бывает горше участь.

Как на родной земле своей.  
Так ты, и дом теряя,  
Хоть под кустом, а все ж на ней —  
В любом далеком kraе.

А вот когда чужим судом  
Обмен решен иначе.—  
Не край на край, не дом на дом.  
А плен —  
На плен с придачей.

С какой придачей — погоди:  
Расчеты эти впереди.

Еще он твой — последний час  
В твоем дому, пока  
Переведут тебе приказ  
С чужого языка.

Но твой — он выбран не тобой —  
Лежит на Запад путь.  
И взять ни имени с собой,  
Ни отчества. Забудь.

Забудь себя еще живой  
И номер получи.  
И только этот номер свой  
На память заучи.

И только можешь ты молчать,  
Приказ в дорогу дан.  
На нем недвижная печать  
И подпись: комендант.

И в нем твой дом, и хлеб, и соль.  
Что от немых властей.  
И хоть самой — на снег босой  
Троих одеть успей.

Рукой дрожащею лови  
Крючки, завязки, мать.  
Нехитрой ложью норови  
Ребячий страх унять.

Зови меньших живей, живей.  
Как в гости, в тот поход.  
И только старшенькой своей  
Не лги — и так поймет.

И соберись, и уложись.  
И в час беды такой  
Еще хозяйкой окажись  
Проворной и лихой.

И всю свою в дорогу кладь.  
Как из огня, схвати.  
И перед тем, как выйти, мать,  
Не оглянись и не присядь.—  
Нельзя.  
И дом — прости!..

Прости-прощай, родимый дом,  
Раскрытый, разоренный.  
И пуня с давешним сенцом.  
И садик занесенный.

Прости-прощай, родимый дом,  
И двор, и дровосека.  
И все, что памятно кругом  
Заботой, замыслом, трудом.—  
Всей жизнью человека.

Дом, где он жил среди хлопот  
И всем хозяйством правил.  
И, чтоб годам был виден счет,  
Он надпись: тыща девяносто  
Такой-то год поставил.

Среди такой большой земли,  
Родной, заветный угол,  
Где эти девочки росли  
И наряжали кукол.

И где как будто жизнь прошла,  
Куда хозяйка дома  
Как будто девочкой вошла  
К парнишке молодому.

Где пел по веснам свой скворец  
И жил, как все на свете.  
Порядком вечным: мать, отец,  
Потом скворчата-дети.

Пришла в родную сторону  
Чужая злая сила.  
И порознь мужа и жену  
Из дома проводила.

И где-то, где-то он сейчас,  
Какой идет дорогой.  
Солдат, что воинскую часть  
Свою искал с тревогой.

Теперь меж небом и землей,  
Огнем вокруг обоятой.  
Она была его семьей,  
Его родною хатой.

И человек среди людей.  
Как хлебом и одеждой.  
Он был обязан только ей  
Своей мечтой-надеждой.

В пути, за тридевять земель,  
У Волги ли, у Дона  
Свою в виду держал он цель,  
Солдат,— дойти до дома.

Хоть кружным, может быть, путем  
Дойдем, придем с победой  
Домой!  
А что уже тот дом —  
Не все ты знал и ведал.

В тот первый день из горьких дней,  
Как собрался в дорогу.  
Велел отец беречь детей.  
Смотреть за домом строго.

Велел сидеть в своем углу  
В недобрую годину.  
А сам жену в чужом тылу.  
В глухом плену покинул.

Ну что ж, солдат, взыщи с нее,  
С жены своей, солдатки,  
За то, что, может быть, жилье  
Родное не в порядке:

Что не могла глядеть назад,  
Где дом пыпал зажженный.  
Как гнал ее чужой солдат  
На станцию с колонной:

Что не могла она сберечь  
В саду трехлеток-яблонь:  
Что шла, покинув дом и печь,  
А так детишки зябли!

Что шла, как пленные, в толпе  
На запад под конвоем;  
Что не отправила тебе  
Письма с дороги, воин.

За все с того, кто виноват.  
По всем статьям устава,  
Взыщи со строгостью, солдат.  
Твое, хозяин, право.

Всего и нужно для суда  
И для сведенья счетов  
Прийти с победою туда.  
Проверить, как и что там.

Отдать поклон краям своим,  
Припав к земле с винтовкой,  
Сквозь смерть прийти туда живым.  
За малым остановка.

Сквозь смерть иди, не умирай,  
В жару лица не утирай,  
В снегах не мерзни в зиму.  
Там, впереди, твой отчий край.  
Солдат, твой дом родимый.

Шагай, солдат, свои права  
Имея в этом мире,  
Шагай, воюй и год, и два,  
И три, и все четыре!..

Прошла война, прошла страда,  
Но боль взывает к людям:  
Давайте, люди, никогда  
Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней  
Хранят, об этой муке,  
И дети нынешних детей,  
И наших внуков внуки.

Пускай всегда годину ту  
На память нам приводит  
И первый снег, и рожь в цвету.  
Когда под ветром ходит.

И каждый дом и каждый сад  
В ряду — большой и малый.  
И дня восход и дня закат  
Над темным лесом — алый.

Пускай во всем, чем жизнь полна,  
Во всем, что сердцу мило,  
Нам будет памятка дана  
О том, что в мире было.

Затем, чтоб этого забыть  
Не смели поколенья.  
Затем, чтоб нам счастливей быть,  
А счастье — не в забвенье!

## Глава 8

Родился мальчик в дни войны,  
Да не в отцовском доме.—  
Под шум чужой морской волны  
В бараке на соломе.

Еще он в мире не успел  
Наделать шуму даже,  
Он вскрикнуть только что посмел —  
И был уже под стражей.

Уже в числе всех прочих он  
Был там, на всякий случай,  
Стеной-забором огражден  
И проволокой колючей.

И часовые у ворот  
Стояли постоянно,  
И счетверенный пулемет  
На вышке деревянной.

Родился мальчик, брат меньшой  
Троих детей крестьянки,  
И подают его родной  
В подаренной портнянке.

И он к груди ее прирос —  
Беда в придачу к бедам,  
И вкус ее соленых слез  
Он с молоком отведал.

И начал жить, пока живой,  
Жилец тюрьмы с рождения.  
Чужое море за стеной  
Ворочало каменья.

Свирепый ветер по ночам  
Со свистом рвался в щели.  
В худую крышу дождь стучал,  
Как в полог колыбели.

И мать в кругу птенцов своих  
Тепло, что с нею было,  
Теперь уже не на троих,  
На четверых делила.

В сырому тряпье лежала мать,  
Своим дыханьем грела  
Сынка, что думала назвать  
Андреем — в честь Андрея,  
Отцовским именем родным.

И в каторжные ночи  
Не пела — думала над ним:  
— Сынок, родной сыночек.

Зачем ты, горестный такой,  
Слеза моя, росиночка,  
На свет явился в час лихой,  
Краса моя, кровиночка?

Зачем в такой недобрый срок  
Зазеленела веточка?  
Зачем случился ты, сынок,  
Моя родная деточка?

Зачем ты тянешься к груди  
Озябшими ручонками.  
Не чуя горя впереди,  
В тряпье сучишь ножонками?

Живым родился ты на свет,  
А в мире зло несытое.  
Живым — беда, а мертвым — нет,  
У смерти под защитою.

Целуя зябкий кулачок,  
На сына мать глядела:

— А я при чем,— скажи, сынок,—  
А мне какое дело?

Скажи: какое дело мне,  
Что ты в беде, родная?  
Ни о беде, ни о войне,  
Ни о родимой стороне,  
Ни о немецкой чужине  
Я, мама, знать не знаю.

Зачем мне знать, что белый свет  
Для жизни годен мало?  
Ни до чего мне дела нет,  
Я жить хочу сначала.

Я жить хочу, и пить, и есть,  
Хочу тепла и света,  
И дела нету мне, что здесь  
У вас зима, не лето.

И дела нету мне, что здесь  
Шумит чужое море  
И что на свете только есть  
Большое, злое горе.

Я мал, я слаб, я свежесть дня  
Твою кожей чую,  
Дай ветру дунуть на меня —  
И руки развязку я.

Но ты не дашь ему подуть,  
Не дашь, моя родная.  
Пока твоя вздыхает грудь,  
Пока сама живая.

И пусть не лето, а зима,  
И ветошь греет слабо,  
Со мной ты выживешь сама,  
Где выжить не могла бы.

И пусть ползет сырой туман  
И ветер дует в щели,  
Я буду жить, ведь я так мал,  
Я теплюсь еле-еле.

Я мал, я слаб, я нем, и глуп,  
И в мире беззащитен;  
Но этот мир мне все же люб —  
Затем, что я в нем житель.

Я сплю крючком, ни встать, ни сесть  
Еще не в силах, пленник,  
И не лежал раскрытый весь  
Я на твоих колениях.

Я на полу не двигал стул,  
Шагая вслед неловко.  
Я одуванчику не сдул  
Пушистую головку.

Я на крыльцо не выползal  
Через порог упрямый.  
И даже «мама» не сказал,  
Чтоб ты слыхала, мама.

Но разве знает кто-нибудь,  
Когда рождаются дети,  
Какой большой иль малый путь  
Им предстоит на свете?

Быть может, счастьем был бы я  
Твоим, твой горький, лишний.—  
Ведь все большие сыновья  
Из маленьких повышли.

Быть может, с ними белый свет  
Меня поставит бровень.  
А нет, родимая, ну, нет.—  
Не я же в том виновен.

Что жить хочу, хочу отца  
Признать, обнять на воле.  
Ведь я же весь в него с лица —  
За то и люб до боли.

Тебе приметы дороги.  
Что никому не зrimы.  
Не дай меня, побереги...  
— Не дам, не дам, родимый.

Не дам, не дам, уберегу  
И заслоню собою,  
Покуда чувствовать могу.  
Что ты вот здесь, со мною.

.. И мальчик жил, со всех сторон  
В тюрьме на всякий случай  
Стеной-забором огражден  
И проволокой колючей.

И часовые у ворот  
Стояли постоянно.  
И счетверенный пулемет  
На вышке деревянной.

И люди знали: мальчик им —  
Ровня в беде недетской.  
Он виноват, как все, одним:  
Что крови не немецкой.

И по утрам, слыхала мать,  
Являлся Однорукий,  
Кто жив, кто помер, проверять  
По правилам науки.

Вдоль по бараку взад-вперед  
С немецким табелем пройдет:  
Кто умер — ставит галочку.  
Кто жив — тому лишь палочку.

И ровным голосом своим,  
Ни на кого не глядя,  
Убрать покойников — живым  
Велит порядка ради.

И мальчик жил. Должно быть, он  
Недаром по природе  
Был русской женщиной рожден,  
Возросшей на свободе.

Должно быть, он среди больших  
И маленьких в чужбине  
Был по крови крепыш мужик,  
Под стать отцу — мужчине.

Он жил да жил. И всем вокруг  
Он был в судьбе кромешной  
Ровня в беде, тюремный друг.  
Был свой — страдалец здешний.

И чья-то добрая рука  
В постель совала маме  
У потайного камелька  
В золе нагретый камень.

А чья-то добрая рука  
В жестянке воду грела,  
Чтоб мать для сына молока  
В груди собрать сумела.

Старик поблизости лежал  
В заветной телогрейке  
И, умирая, завещал  
Ее мальцу, Андрейке.

Из новоприбывших иной —  
Гостинцем не погребуй —  
Делился с пленною семьей  
Последней крошкой хлеба.

И так, порой полумертвые,  
У смерти на примете,  
Все ж дотянули до травы  
Живые мать и дети.

Прошел вдоль моря вешний гром  
По хвойным перелескам.

И очутились всем двором  
На хуторе немецком.

Хозяин был ни добр, ни зол,—  
Ему убраться с полем.  
А тут работницу нашел —  
Везет за двух. — доволен.

Харчи к столу отвесил ей  
По их немецкой норме.  
А что касается детей. —  
То он рабочих кормит.

А мать родную не учить.  
Как на куски кусок делить.  
Какой кусок ни скучный.  
Какой должен ни трудный.

И не в новинку день-деньской.  
Не привыкать солдатке  
Копать лопатою мужской  
Да бабьей силой грядки.

Но хоть земля — везде земля.  
А как-то по-другому  
Чужие пахнут тополя  
И прелая солома.

И хоть весна — везде весна,  
И жутко вдруг и странно:  
В Восточной Пруссии она  
С детьми. Сивцова Анна.

Журчал по-своему ручей  
В чужих полях нелюбых.  
И солона казалась ей  
Вода в бетонных трубах.

И на чужом большом дворе  
Под кровлей черепичной  
Петух, казалось, на заре  
Горланит непривычно.

Но там, в чужбине, выждав срок, —  
Где что — не разбирая, —  
Малютка вылез на порог  
Хозяйского сарая.

И дочка старшая в дому,  
Кому меньшого нянчить,  
Нашла в Германии ему  
Пушистый одуванчик.

И слабый мальчик долго дул,  
Дышал на ту головку.  
И двигал ящик, точно стул.  
В ходьбе ловя сноровку.

И, засмотревшись на дворе,  
Едва не рухнул в яму.  
И все пришло к своей поре,  
Впервые молвил:  
— Мама.

И мать зажмурилась от слез,  
От счастья и от боли,  
Что это слово произнес  
Ее меньшой в неволи...

Покоса раннего пора  
За дальними пределами  
Пришла. Запахли клевера.  
Ромашки, кашки белые.

И эта памятная смесь  
Цветов поры любимой  
Была для сердца точно весть  
Со стороны родимой.

И этих запахов тоска  
В тот чуждый край далекий  
Как будто шла издалека —  
Издалека с востока.

И мать с детьми могла тогда  
Подчас поверить в чудо:  
— Вот наш отец придет сюда  
И нас возьмет отсюда.

Могло пригрезиться самой  
В надежде и тревоге.  
Как будто он спешит домой  
Да припоздал в дороге.

А на недальнем рубеже  
У той границы где-то,  
Война в четвертое уже  
Свое вступала лето.

И по дорогам фронтовым  
Мы на дощечках сами  
Себе самим,  
Кто был живым,  
Как заповедь писали:

НЕ ПОЩАДИ  
ВРАГА В БОЮ,  
ОСВОБОДИ  
СЕМЬЮ  
СВОЮ.

## Глава 9

Я начал песню в трудный год,  
Когда зимой студеной  
Война стояла у ворот  
Столицы осажденной.

И завершаю в год иной,  
Когда от стен Берлина  
Пришел солдат с войны домой  
Своей дорогой длинной.

Чего, чего не повидал,  
Казалось, все знакомо.  
Но вот пришел, на взгорке стал —  
И ни двора, ни дома.

И там, где канули в огне  
Венцы, столбы, стропила,—  
Темна, жирна по целине.  
Как конопля, крапива.

Да груда глины с кирпичом.  
Золою перебитая,  
Едва видна на месте том,  
Уже травой прошитая.

Плухой, нерадостный покой  
Хозяина встречает.  
Калеки-яблони с тоской  
Гольем ветвей качают.

Пглядит солдат: ну, ладно — дом,  
А где жена, где дети?..

Да, много лучше о другом,  
О добром петь на свете.

Но не минуешь горьких слез.  
Которым срок не минул.  
Не каждой матери пришлось  
Обнять родного сына.

Не каждой женщине — жене.  
Родной сестре, невесте —  
О тех, что сгинули в войне.  
В конце дождаться вести.

Ответ не каждому письму,—  
Иное без ответа.  
Привет не каждому тому,  
Чье сердце ждет привета.

Но если та горька печаль.  
Чье место свято в доме,  
То, может, легче, да едва ль,  
Печаль особой доли.

Печаль подвижника-бойца,  
Что год за годом кряду  
Войну исполнил до конца,  
И вот тебе награда!

Присел на камушке солдат  
У бывшего порога,  
Больную с палочкою в ряд  
Свою устроил ногу.

Давай солдат курить табак.  
Сходиться люди стали,  
Не из чего-нибудь, а так —  
В свидетели печали.

Стоят над нею, опершись  
На грабли, на мотыги.  
Вздохнул один и молвил:  
— Жизнь... —  
Другой сказал:  
— Как в книге...

А третий только и могли  
Добавить осторожно:  
— Еще не все домой пришли  
Из той дали острожной.

И отвести старались взгляд  
Соседи в разговоре,  
Чтоб не видать, как он, солдат.  
Давясь, глотает горе.

Не мог он душу освежить  
Тем трудным, скрытым плачем...  
Все так.  
А надо было жить.  
И жить хозяин начал.

Погостевал денек-другой.  
— Ну что ж, на том спасибо.—  
И потянул с больной ногой  
На старую селибу.

Перекурил, шинель долой,  
Разметил план лопатой.  
Коль ждать жену с детьми домой,  
Так надо строить хату.

А где боец за столько лет  
Себе жилья не строил!  
Не только там, где лесу нет,  
А нет земли порою.

Где нет земли, один песок.  
А то, как камень, грунт жесток,  
А то — болото. Мука!  
А на земле — не штука.

Так-сяк, колхоз  
Леску подвез,  
Помог до крыши сруба.  
А дальше сам  
Мостил, тесал,—  
Займись — оно и любо.

И все спешил покончить в срок,  
Как будто в хате новой  
Скорей солдат увидеть мог  
Семью живой-здравой.

К покосу был окончен дом,  
Как раз к поре горячей.  
А сам солдат ютился в нем  
Со дня, как строить начал.

На свежеструганном полу,  
Что облекал прохладой,  
Он отдыхал в своем углу  
С великою отрадой.

Да что! У смерти на краю  
На каждом новоселье,  
И то любитель был свою  
Обжить, устроить келью.

Не знаешь, год иль день там быть,  
А все же и в землянке  
Охота гвоздь какой-то вбить,  
Зажечь фитиль в жестянке.

Водой, дровами запастись,  
Соломой побогаче.  
А там — приказ. И в ночь снялись,  
И с тем жильем навек простись! —  
А жить нельзя иначе.

Соорудил хозяин стол,  
Лежанку возле печи.  
И все в порядок произвел  
Желанной ради встречи.

Гадал, старался что к чему  
Приладить, вспомнить кстати...

И так тоскливо самому  
Вдруг стало в этой хате.  
Такая горькая нашла  
Душе его минута.

— Зачем не ты меня ждала,  
А я тебя, Анютя?

И не мила, не дорога  
Ему своя светлица...  
Пошел солдат с людьми в луга,  
Чтоб на людях забыться.

Чтоб горе делом занялось,  
Солдат вставал с рассвета  
И шире, шире гнал прокос —  
За все четыре лета.

Вслед за косой качал солдат  
Спиной, от пота серой.  
И точно время на свой лад.  
Свою мерял мерой,

И добрым ладом шли часы,  
И грудь дышала жадно  
Цветочным запахом росы,  
Живой травы из-под косы —  
Горькавой и прохладной.

И сладкий пек июльский зной,  
Как в годы молодые,  
Когда еще солдат с женой  
Ходил в луга впервые.

В луга верст за пять от села.  
И пот кипел на коже,  
И точно сила, как была,—  
Не та, не та, а все же!..

И косу вытерши травой  
На остановке краткой,  
Он точно голос слушал свой,  
Когда звенел лопаткой.

И голос тот как будто вдаль  
Взвы whole с тоской и страстью.  
И нес с собой его печаль,  
И боль, и веру в счастье.

Коси, коса,  
Пока роса,  
Роса долой —  
И мы домой.

1942 — 1946

М.Гефтер

ДОМ как МИР

Что — главная стихия («нерв») всего, насквозь  
творчества Твардовского?

Свобода человека, включенного (по доброй воле включившегося) в Мир??

Здесь перекличка-связь с Платоновым, Шукшиным, Булгаковым.

Нет Дома без Дороги.

Параллельно с главной поэмой о войне вызревали в поэте новые темы, мысли, сюжеты.

... «Теркин» заканчивается как-то вдруг. Перед самым финалом Твардовский ставит главку «В бане», хотя, казалось бы, по законам военного эпоса последнему аккорду быть бы иным. Но поэт верен собственному чувству меры, как верен себе и в том, что внезапно обрывает книгу про бойца.

Он вернется к «Теркину на том свете» уже обогащенным иным духовным опытом, в том числе и новым опытом собственной поэзии. Еще в годы войны стала писаться лирическая хроника, которую, не называя анти-Теркинской, я без натяжки определил бы своего рода оппонированием «Теркину». А может, и продолжением, которое несет в себе зерно сомнения, зерно генерального пересмотра, относящегося равно к биографии поэта и к судьбе человека. Так я понимаю переход от «Теркина» к вещи, которая для меня является величайшим произведением Твардовского — незабываемым, глубоко поразившим по первому впечатлению, проверенному всеми последующими... Это — «Дом у дороги».

Не берусь судить об особенностях ее жанра, не берусь сопоставлять, не буду проводить быть может очень допустимые и любопытные историко-литературные аналогии. Важно другое. Лирическая хроника явила мне,

читателю, такую мощь авторского духа, такую силу и глубину, что оказалась способной прочно войти в меня, стать частью моего духовного бытия. И потому вопрос о контекстах чисто литературного свойства, о влияниях, динамике образов, безусловно, существенный,— но все-таки отступает. Отступает перед тем, что я позволю себе назвать кровной связью, породненностью...

Первое чтение «Дома у дороги» совпало с известием о гибели близких в моей семье. Это не могло не усилить восприятие поэтической хроники. Она прозвучала как великий реквием погибшим: павшим в той войне, в непредвиденно и закономерно разных обстоятельствах войны и погибшим в особых обстоятельствах мира, не способного справиться со своими общечеловеческими и всечеловеческими делами. Эта тема звучала даже не словом, а — музыкой согласия, музыкой включения, музыкой движения во мне того самого чувства, постепенно все больше захватывавшего мысли. Размышления вклинивались в сюжеты моих собственных занятий, проясняли суть и смыслы заново опознанных страданий моих и общих, которых моя жизнь разным образом касалась.

Есть еще один момент в отношении «Дома у дороги». В конкретике и символике «книги про бойца» явно ощущался мною зазор между времененной и пространственной узостью стихийного освобождения и безграничной свободой, которая тоже ищет своего времени и своего пространства. Это выводило за пределы собственно «теркинской» темы в безграницье общей заброшенности. Она вклинивалась и в историю освободителя, корректировала судьбу солдата, неспособного сохранить собственный дом и собственных детей. Вот что звучит для меня лейтмотивом или контрапунктом «Дома у дороги». Мало в тяжкую годину пережить испытания, мало сблизиться с теми, кто рядом. Чтобы отстоять свободу, продлить ее за пределы победоносного освобождения от захватчиков, надо породниться со всем человечеством, которого нет, ибо весь Мир разделен на своих и не-своих. Разделен расстояниями, несовпадением нравов и укладов жизни, любовью и ненавистью, разностью чувств. Разделен неизбежной ограниченностью отдельного человеческого существования, несовпадением гигантского всечеловеческого Дома с маленьким человеческим домом. И тема Дома здесь в центре потому, что человек не может жить вне дома: он должен быть хозяином этого дома, ему нужно тепло дома, и он хотел бы весь Мир превратить в такой Дом. Но при исполнении желания он сам неизбежно теряет, сам разламывает, сам уничтожает свой

дом. И это неизбежно, если не научиться особому бережному обращению с Миром как с Домом.

Для меня именно это прозвучало с поразительной ясностью, силой и новизной. Это сочеталось с чистотой звучания лирической хроники и явной асимметрией ко всем оглушавшим фанфарам того времени. С «Домом у дороги» Твардовского могу сравнить лишь Восьмую симфонию Шостаковича, написанную после войны сразу же, а в пору испытаний выраставшую образом, смыслом... Композитор имел неосторожность заявить ее программной, она была осуждена как пацифистская. Абсурдная, не имеющая смысла оценка с приклеиванием музыке тематических ярлыков... Также и в отношении к «Дому у дороги»: только призови критику, дай свисток, нашелся бы и для Твардовского готовый тематический ярлык: мол, это лирика в духе абстрактного гуманизма...

Но истинно роднит симфонию и поэму сложное и согласное многоголосье.

В музыке первых двух частей, с одной стороны, мягкое движение только успокоившейся, еще тревожной души, в которой не улеглись волны великого несчастья. И эти волны то стираются, то вновь накатывают, ибо очевидно: исчезнуть без следа они не смогут. И подобное же у Твардовского — в теме неуходящей горечи. Тоски, что не избыть. И вместе с тем у Шостаковича — в параллель — то смеющиеся, то лиующие мелодии несдерживаемого торжества.

«Дом у дороги», если вслушаться в мелодику хроники, много шире конкретной поэтически мощной и выразительной картины разлученной судьбы. Тут уже контраст не смерти и жизни как в «Теркине», но выступает на мой взгляд, нечто шекспировское. Сталкивается новое «не быть» с новым, рождающимся в муках смерти и продолжения «быть». Великий вопрос «не быть или быть?» как тема звучит с самого начала. Причем — тема обманчиво прозрачна и удивительна по своей стройности и согласованности. Я буквально ощущаю, как мучившее автора чувство, обретая выход в слове сострадания и слившись со всечеловеческой мукой, производит освобождающее и утишающее боль действие. И этим тоже для меня «Дом у дороги» — вершина поэтического взлета...

В первообразах знаменитого предисловия и особенно в некоторых главах, частях поразительного произведения тема породнения и тема неустранимого, неуспокоенного в слове страдания звучит с недостижимой для прежнего Твардовского мощью. Да, с мощью и силой, которая отступит немножко в первые послевоенные годы и снова вернется в полном объеме в лирике пред-ухода.

«Нам целый мир чужбина...»

Поэт ушел из дома. Из дома в «Дом», вместе с другими, число им легион...  
Он не жалел покинутого очага.

Не жалел, но помнил. Все сильнее ПОМНИЛ, движимый (и движущийся!) этим воспоминанием.

Дом не заменил, не мог заменить очага.

А могли ли стать очагом городская квартира в высотном доме.  
подмосковная дача в писательском поселке?

Очагом стал «Новый мир».

Первый очаг он оставил сам.

Второй у него отняли.

Третьим стала могила.

М. Гефтер

Проблеск

Важен ли для нас, нынешних,— Сталин?

Да,— отвечаю. И в двух смыслах: в меру его присутствия в нас и в мере нашего освобождения от него — и обе эти меры неизвестны!

По сей день спорят о «сталинизме». И разве только как о пережитке?

Чувствуем: к бытому здесь примешано грядущее. Расхождение же не в одной оценке, но и в избранном масштабе.

Когда и как проходило освобождение от наследства Сталина? Незавершенный и по сей день — процесс этот имеет не только длительность во времени, сопровождающую обрывами и возобновлениями. Он и по сути неоднозначен. Освободиться от наследства доступно, лишь познав его, а само познание немыслимо вне освобождающего действия, создающего новые трудности и коллизии.

Если взглянуть на путь, ведущий к освобождению от сталинизма, то четко различимы несколько этапов-ступеней. Первая: разрозненный отпор, ограниченный отдельными людьми или группами людей. Их действия различались и смыслом, и целенаправленностью. Допустимо ли отождествлять инвективы поэта и партийного функционера (О. Мандельштама и М. Рютина), сопротивление познающим словом (А. Платонова) и публичный отказ присоединения к идеологизированной расправе (И. Раппопорт на лысенковской сессии 1948 г.)? Еще предстоит изучение архивов и систематическое собирание письменных и устных материалов, относящихся к ряду десятилетий, чтобы увидеть, как проростало в умах и душах начатое В. Шаламовым, А. Солженицыным, альманахом



А.Т. ТВАРДОВСКИЙ, 1950-е годы.

«Память»... Еще не воссоздана картина скрытого и открытого сопротивления как в повседневной жизни на «воле», так и в тюрьмах и лагерях (в широком диапазоне: от солидарности в выживании до акций беспощадно подавляемого и уходящего в небытие протesta).

Но убежден: сколь впечатляющим ни окажется результат выяснения примеров и характера изначальной десталинизации, он вместе с тем обнаружит, что, даже взятые в совокупности, бесценные как духовное наследие, факты этого ряда не достигали той пороговой величины, которая способная была бы видоизменить ход событий и оборвать порчу нравов.

Иной характер носит спонтанная и вместе с тем охватывающая миллионы людей десталинизация Отечественной войны, особенно ее трагического начала (1941-1942 гг.). Если лишение человека суверенных прав, достигающее «казов» жизнедеятельности было сутью сталинизма, то битва за жизнь, в которой ставкой была смерть, вернула этому же человеку возможность распорядиться собой и своею судьбой. Но лишь на время, на краткий период жестокой битвы. Гениальной интуицией А. Твардовский воссоздал в Василии Теркине свободного человека (и сам обрыв поэмы автором символизировал нестойкость «теркинской» свободы). В свете этой очеповечивающей стихии яснее направленные на изничтожение ее потенциальных последствий действия Сталина конца 40-х — начала 50-х годов. Внутренняя «холодная война», раскол поколения победителей с инсценируемым нагнетанием старых и новых — национальных, расовых и иных — форм взаимного отчуждения неотвратимо совместили в себе синхронизацию всех элементов сталинской системы с началом ее конца, вернее, началом начала конца.

Рубеж перехода от частичного и стихийного освобождения к осознанно всеобщему — события 1953-1956 годов. Смерть Сталина, уничтожение Берии, XX съезд КПСС, выход на свободу оставшихся в живых «врагов народа» были поддержаны первыми прорывами свободного Слова. Наиболее активным и смелым в духовном освобождении стал журнал «Новый мир»,

редактируемый Твардовским. Разнородное эхо этих и последующих событий и процессов как внутри «социалистического лагеря», так и за его пределами вызывали одновременно и раскрепощающий сдвиг, и смущение в умах, выдвигая на первый план потребность в конструктивном, преобразующем продолжении. Но чтобы это случилось, требовалось не только время. Самому продолжению еще предстояло найти свои замысел и форму, свое речевое сознание и речевое поведение, освобождаемые от стереотипов и шлаков целой эпохи, от слов-обрубков, теснящих мысль. Оборачиваясь назад, замечаем, что продолжение, оставаясь только продолжением, с неизбежностью принимает все более иллюзорный характер. В фигуре Никиты Хрущева пересеклись пафос анти-Сталина с отсутствием идеиного задела и политической почвы для не-Сталина. Индивидуальный момент играл немаловажную роль и в том, и в другом отношениях. Каковы бы ни были первоначальные намерения Хрущева, начиная от самозащиты и кончая стремлением возвыситься, его мужество явилось первоимпульсом выхода за пределы предназначенногоСраз и навсегда». Что имело большее значение — сокрушение монументов Сталина, полупризнание его преступлений или самый факт рассекречивания системы, для которой механизм тайны не менее фундаментален, чем механизм страха? Второе по крайней мере было необратимо. Хрущев затронул и другие краеугольные основы системы — другие, но не все. Он приоткрыл двери в Мир в большей мере для себя самого, но и это было ново. Он получил в наследство от Сталина сверхдержаву в тот момент, когда она обрела водородную бомбу и первой вышла в космос. Кончался — в перспективе — «американский век», а мирное сосуществование из фразы и прикрытия получило шанс стать мировой политикой, как и исходным пунктом обновления международного коммунизма — с попыткой его прийти к единству в рамках разнообразия: единству, выходящему за пределы тактики и требующему пересмотра принципов. Хрущев, оттеснив Молотова и других вельмож старого закала, сделал ряд шагов к разрядке, в числе самых существенных из которых —

«сахаровский» договор о прекращении ядерных испытаний в трех средах. Жесткая доктрина двух взаимоисключающих миров сталамягчеть, тем более что в планетарную жизнь вошел «третий мир»; его первоначальная харизма лидеров-романтиков была сродни Хрущеву, он шел ей навстречу, совершая, однако, и продиктованные реализмом попятные маневры (среди них — отказ от обещания, данного Китаю Мао, поделиться тайной атомной бомбы).

Однако объединить воедино новации с догмой Хрущев не мог и не только потому, что не обладал ни малейшими данными для теоретизирования. Действительное продвижение вперед требовало (хотя бы в прогнозе!) саморазоружения с одновременным отказом от идеи вселенского торжества единственной, «высшей общественной системы». Было бы наивно требовать от прямого преемника Сталина столь радикального разрыва с традицией. Однако без этого мировая политика Хрущева, во всех ее аспектах, должна была натолкнуться на препоны, ею же создаваемые. Развязко явился Карибский кризис. Счастье Хрущева, что его противником-партнером был тогда Джон Кеннеди, не поддавшийся искушению использовать ситуацию для «оправданной» военной акции. Опаснейшее из столкновений сверхдержав окончилось триумфом двух лидеров, если не единным, то взаимным, впрочем, как и их финал, различающийся лишь «формой» отстранения от власти.

Позволительно сказать, что во внешних сношениях Хрущев был «просто» непоследовательным. Для внутренних дел такая оценка звучит идеализирующей натяжкой. За исключением «реабилитации» (да и тут исключение неполное), на всем остальном — печать рас согласованности. Наряду с актами человечности (бум жилищного строительства, выдача паспортов колхозникам, пенсионная реформа и др.), рядом со здравым замыслом совнархозов — меры, рассчитанные на сиюминутный успех в ущерб завтрашнему дню и, как правило, безуспешные в самом ближнем счете. Особенно это относится к сельскому хозяйству и к культуре — двум сферам надвигающегося общего развала. И тут натура лидера

«работала» на то, что Герцен именовал простором отсутствия. «Жаберные щели» функционера первого призыва реставрировали в воображении Хрущева призрак распределительного коммунизма — с назначенным сроком [на 1980 год]. Объявленная в виде Программы КПСС, эта универсальная химера заведомо исключала возможность перевода ее на язык задач с распределением во времени и очередностью в исполнении. Неудачи не останавливали Хрущева, напротив, вызывали у него эйфорию фасадных переделок. Подорвавший сталинскую доминанту недоверия, он стал подозрителен, что не мешало ему, тася состав ближайшего окружения, ухудшать его за счет серых людей, льстецов и интриганов. Сделавший неустойчивым положение аппарата, он в конечном счете стал пленником тех, кто вне «системы» был ненужным, а в качестве ненужного — опасным. Хрущев провозгласил «общенародное государство», но сам не успел дорастить даже до дарованного сверху демократизма. Затронув сталинскую унификацию в самых бесчеловечных ее формах — депортации целых народов, которые теперь смогли вернуться к себе домой,— он одновременно как бы подчеркнул ее неотменяемость произвольным «даром» — передачей Крыма Украине, не спросивши ни население РСФСР, ни тем паче оставшихся вне родной земли крымских татар. И еще: справедливость требует напомнить, что людей убивали и при Хрущеве [и при нем же «психушки» становились средством устраниния неугодной мысли]. Случайно ли сошлись во времени [1962] Карибский кризис с Новочеркасской трагедией: расправой со стихийным протестом рабочих против обманного роста производительности труда за счет пересмотра расценок, а также «временного» повышения [в этот момент!] цен на главные продукты питания? Протesta, усугубленного оскорблением человеческого достоинства со стороны власть имущих и окрашенного откровенной неприязнью рабочих к личности Хрущева, в котором они видели главного виновника бед?! Вне зависимости от того, кто персонально ответствен за кровь и жертвы, это событие призывает к сопоставлению двух названных коллизий как к образу глубинного разлома. Выяснилось, в том

числе — падением самого Хрущева: частичная десталинизация рушит собственные результаты и в пострадавших оказываемся все мы у себя дома, а тем самым (прямо или косвенно) — и Мир в целом.

Хотя с различием в ритме, шла к исчерпанию и та фаза духовного обновления, которая не только зависела от изгибов политики, но и была внутренне ориентирована на то, чтобы подвигнуть «верхи» к продолжению курса XX съезда. Уже с начала 60-х гг. и особенно после вторжения в Чехословакию (1968) десталинизация из несостоявшегося всеобщего проекта стала избирательным действием. Будущее перекочевало к инакомыслящим новой генерации — в среду, ограниченную составом и все более жестко преследуемую. Движение их в свою очередь расщеплялось как на мужественные и обреченные попытки самочинных перемен внутри, так и на усилия подкрепить эти попытки (и заслониться от карательных ударов) посредством апелляции к мировому обществу. История диссидентства еще не написана, хотя и закончена, по крайней мере в тех формах противостояния, которые, творя пред-общество, с определенного рубежа стали и своего рода лимитом этого же процесса. Урок Хрущева и урок диссидентства, при своей своей неоднородности, сошлись в общей точке. Но без этих уроков не понять ни происхождения, ни трудностей перестройки. Следует добавить, что одно то, что правозащитное движение было, делает по меньшей мере неточным термин «застой» в отношении совокупных 1970-х.

Нельзя не отметить: чем дальше уходил Хрущев от своего начала, тем больше становилось людей, готовых не только не допустить возвратного движения, но и сделать шаг вперед по сравнению с дарованным — хрущевским — началом. Шаг или, точнее, шаги. Шаги-открытия, ведь при этом открывалось не только то, что в отечественном и мировом запаснике, но и то, чему еще нет precedента. Разные и не вполне согласуемые шаги. Спотыкающиеся на том самом месте, где споткнулось все хрущевское Дело,— на переходе от анти-Сталина к не-Сталину — к иной жизни.

Вот только вновь и вновь с непременным постоянством возвращается мучащий поколения вопрос: неужто, как заведено у нас в России, так и задано нам менять себя чередой взлетов и падений?

Сегодня, оглядываясь на 50-е и 60-е, и на то, что из них выросло, и на то, на чем они оборвались, не трудно ответить. Но это кажущаяся простота. Ответ еще ждет развернутого мыслю вопроса, на-кладывая запрет на недо-правду там, где вместе с несбывшимися надеждами обманутые, замученные люди. Да и вопрос не один, а ответов заведомо много больше. И не попеняешь, что Образ, как и раньше, опережает Понятие. Набросками вопросов, по-ставленных Эрнстом Неизвестным,— памятник на Новодевичьем кладбище, где отливающая позолотой голова Никиты — освобождающего, Никиты — властвующего, Никиты — топчущего им начатое, Никиты — карибского и Никиты — новочеркасского, стоит на бело-черных, разделенно-единых подставках-остриях, стоит, открывая тот пестрый ряд, который завершает могила Александра Твардовского?

И опять же не состязание, а вопрос, ответ которому дает дляящаяся жизнь: чьим именем справедливее назвать ту оконченную, но не завершенную эпоху — именем Никиты Хрущева или именем Александра Твардовского? Именем первого ослушника сталинской системы, не сумевшего совладать со Сталиным в самом себе, или именем человека, которому первый дал возможность превозмочь Сталина в себе: ту возможность, которая родила раскрепощающее Слово — дверь из смерти в жизнь?

**1989**

# ПРЕОДОЛЕНИЕ

А.Твардовский      М.Гефтер

Послевоенная зима	<b>349</b>
Беда откроется не вдруг	
Жестокая память	<b>350</b>
	<b>351</b> <Из блокнотов>
В те дни за границей	<b>353</b>
Не знаю, как бы я любил	<b>354</b>
Вся суть в одном-единственном завете	<b>355</b> Обидная бесприютность
<i>Из рабочих тетрадей 60-х годов</i>	<b>361</b>
	<b>373</b> Узость и безграничье
ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ	<b>377</b>



А. Твардовский

### Послевоенная зима

В вагоне пахнет зимним хлевом,  
Гремят бидоны на полу.  
Сосет мороженое с хлебом  
Старуха древняя в углу.

Полным-полно, народ в проходе  
Бочком с котомками стоит.  
И о лихой морской пехоте  
Поет нетрезвый инвалид.

**1946**

Беда откроется не вдруг.  
Она сперва роднится с вами  
Как неизбежный недосуг  
За неотложными делами.

Дела, дела, дела, дела —  
Одно, другое руки вяжет.  
Их слава жизни придала —  
А славу надобно уважить.

Дела зовут туда, сюда,  
И невдомек еще поэту,  
Что это исподволь беда  
Пришла сживать его со свету.

**1947**

## Жестокая память

Повеет в лицо, как бывало,  
Соснового леса жарой,  
Травою, в прокосах обвязлой,  
Землей из-под луга сырой.

А снизу, от сонной речушки,  
Из зарослей — вдруг в тишине —  
Послышился голос кукушки,  
Грустящей уже о весне.

Июньское свежее лето,  
Любимая с детства пора.  
Как будто я встал до рассвета,  
Скотину погнал со двора.

Я все это явственно помню:  
Росы ключевой холодок,  
И утро, и ранние полдни —  
Пастушеской радости срок;

И солнце, пекущее в спину,  
Клоняшее в сон до беды,  
И оводов звон, что скотину  
Вгоняют, как в воду, в кусты;

И вкус горьковато-медовый,—  
Забава ребячьей поры,—  
С облупленной палки лозовой  
Душистой, прохладной мездры.

И все это юное лето,  
Как след на росистом лугу.  
Я вижу. Но памятью этой  
Одною вздохнуть не могу.

Мне память иная подробно  
Свои предъявляет права.  
Опять маскировкой окопной  
Обвязлая пахнет трава.

И запах томительно тонок,  
Как в детстве далеком моем,  
Но с дымом горячих воронок  
Он был перемешан потом;

От самой черты пограничной —  
Сражений грохочущий вал.  
Там детство и юность вторично  
Я в жизни своей потерял...

Тружусь, и живу, и старею,  
И жизнь до конца дорога,  
Но с радостью прежней не смею  
Смотреть на поля и луга;

Росу обивать молодую  
На стежке, заметной едва.  
Куда ни взгляну, ни пойду я —  
Жестокая память жива.

И памятью той, вероятно,  
Душа моя будет больна.  
Покамест бедой невозвратной  
Не станет для мира война.

М. Гефтер

**<Из блокнотов>**

Годы — 50-е — 60-е ...

Были ли у Твардовского страхи?

Страх повторения, обращенный на себя...

И страх отстать...

И страх утратить себя, поспешая догнать «вперед ушедших»?

---

О природе нравственного страдания — Твардовского и других...

Изначальное оно

или — вовсе иное и столь необходимое — «вторичное» очеловечивание?

Как в далеком начале Человека — грехопадение.

Выдумка ли оно или же то

новорожденная совесть противится узурпации человеком Мира,

противится позыву к господству без меры, без границ.

противится культу Результата, отбирающему сильных, хватких, хищных для господства над другими?

---

«Личность» ему легко далась — временем, сломом старого уклада жизни, открывшимися поприщами.

Но ЛИЧНОСТЬ ли?

Сомнение нарастало подспудно, объявляясь, быть может, и не-личностным языком, чаще всего не им прямо и уж, во всяком случае, без резкого самодостаточного Эго, скорее, в диалоге, действительном и «мнимом»,

в диалоге с собою.

в диалоге Я-автора с Я-персонажа или с Я-Миром:  
окрестным и дальним,  
который опять-таки не отделен рвом от самого ближнего, а «просто» — за далью  
даль...

---

Еще — к Тайне (сугти) Твардовского.

ХХ-й, наследующий и переиначивающий XIX-й, сопрягает  
Мир и Личность — два главных образа (две проблемы-коллизии).

И коллизии-проблемы их переходят из той среды, чье имя «интеллигенция», —  
в толщу, в низы, а затем возвращаются «вверх» другими.

Какими?

Об этом две «даты» — рубежи его:

«30» и «68»

Между ними сложный ход и процесс сдвигки, переиначивания одновременно  
смысла и человека (типа, характера, и права...)

Не одна парадигма, а две

(третья за чертой смерти).

Твардовский знал, что Жизнь больше войны.

Но к жизни не вернуться, не избывши Словом мучительную память войны...

Сначала предстояло вернуться к жизни Слова.

Запись А. Твардовского в «рабочих тетрадях» 18.VIII.42:

«<...> Нужно развертывать повествование, нужно рассказывать. Будь это Моргунок  
или не Моргунок по имени.

Нужно рассказать сильно и горько о муках простой русской семьи, о людях, долго  
и терпеливо желавших счастья, на чью долю выпало столько войн, преворотов,  
испытаний...»

## В те дни за границей

В те дни за границей,  
в исходе последних сражений.  
В пыли разрушений,  
в обвиснувших дымах пожаров,  
С невиданной силой  
в цвету бушевали сирени.  
Каких у себя  
мы нигде не видали, пожалуй.  
Султаны их были  
крупней и как будто мясистей,  
Породистей были  
округлые пышные купы.  
Хотя и казалось,  
что наши нежней и душистей  
На родине нашей —  
к востоку от речки Шешупы.  
Но эти ломились,  
из зимнего вырвавшись плена.  
По всем городам, деревням,  
по садам, магистралям.  
То красной, то белой  
клубились могучею пеной  
У целых домов  
и задымленных, черных  
развалин.  
Казалось, они  
не цвели уже годы и годы  
И, голые ветви свои  
простирая уныло.  
Стояли и нашего именно  
ждали прихода.  
Чтоб сразу раскрыться  
со всей затаенною силой.  
Иные кусты  
у какой-нибудь кирхи иль дачи.  
По бровкам дорог,  
у садовых оград сотрясенных

Хватило огнем,  
привалило щебенкой горячей,  
Отбросило в пыль,  
под колеса машин многотонных...  
И теплый, густой,  
опьяняющий запах сирени,  
Живой и посохшей,  
завяленной жаром жестоким.  
Стоял и стоял  
надо всею Европой весенней  
И с запахом трупов мешался,  
не менее стойким...  
В те дни за границей  
нам думать и верить хотелось.  
Что грохот войны  
отгримит над землею усталой  
И годы вернут  
ее мирную свежесть и целость,  
А бомбы и пушки  
громить ее больше не станут...  
Кто-кто, а уж мы-то  
имели особое право  
О мире мечтать  
для себя и иных поколений.  
Затем, что войну  
мы прошли не для воинской славы,  
Затем, что весной  
на земле расцветают сирени.

1951

Не знаю, как бы я любил  
 Весь этот мир, бегущий мимо.  
 Когда бы не убыль прежних сил,  
 Не счет годов необратимый.

Не знаю, как горел бы жар  
 Моей привязанности кровной.  
 Когда бы я не подлежал,  
 Как все, отставке безусловной.

Тогда откуда бы взялась  
 В душе, вовек неомраченной,  
 Та жизни выстраданной сласть,  
 Та вера, воля, страсть и власть,  
 Что стоит мук и смерти черной.

1957

Вся суть в одном—единственном завете:  
 То, что скажу, до времени тая.  
 Я это знаю лучше всех на свете —  
 Живых и мертвых. — знаю только я.

Сказать то слово никому другому  
 Я никогда бы ни за что не мог  
 Передоверить. Даже Льву Толстому —  
 Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе.  
 Я об одном при жизни хлопочу:  
 О том, что знаю лучше всех на свете.  
 Сказать хочу. И так, как я хочу.

1958

М. Гефтер

## Обидная бесприютность

### «Из аудиозаписей»

...В судьбе Твардовского я вижу своего рода повторение судьбы Пушкина.

Не спорю — кому-то покажется натянутым, но для меня очевидно близки они, их судьбы, их конец, определяющий заново начало.

Поэзия для меня существует в небольшом числе имен и даже строк. В детстве первое запомнившееся — бунинское... Позже — из Некрасова, навсегда потрясшее, — «Генерал Топтыгин»... Потом — Маяковский. Тихонов. другие.

А дальше случилось так, что местом важной для меня поэзии завладела проза — жизни и проза литературная. Приходили имена, слышались строчки, оседали, запоминались, трогая, но не захватывая целиком.

Потом настала война и пришел Твардовский. Пришел и остался.

И вот, пожалуй, самое важно что хотел бы я прояснить и вам, и себе: отчего пришел? Проще и легче всего объяснить обстоятельствами: войной, общим настроением, его звучащим везде и всюду голосом. Труднее и важнее понять, почему остался...

Какая-то собственная душевная смута вызывала ко мне душу Твардовского, заставляла размышлять о нем и позволяла увидеть его всякий раз с новой стороны. Увидеть-принять в себя его судьбу, его житейскую и поэтическую историю. И со временем становилась все более очевидной связь его с Пушкиным: взаимо-переклички судеб и роли в странном и неутешительном служении России.

...С юности открытый мною Пушкин сблизил с Твардовским и помог мне распознать, объемнее ощутить приобретенное в Твардовском и с ним...

Есть странное нечто, в рассуждении не нуждающееся: безотчетная любовь к поэтам. Сегодня она сильнее, завтра неожиданно и необыкновенно слабеет — в отдельном человеке, в кругах читательских. Говорят, Александр Трифонович сейчас не так читается и не так видится, и не так будит мысли, и не так тревожит молодые сердца, как в годы 40-е, 50-е. Возможно — хотя не проверено досконально и точно. Но возможно... Свою лепту в первопричины этого вносят огосударствление, оказивание, всяческая полуправда да и просто сентиментальная ложь о нем, разного рода лицемерие — я бы так назвал, — хотя слово это не подходит, ибо речь идет о чем-то большем, худшем, мало ком замечаемом. Потому и — худшем. Ибо мешает сейчас молодым почувствовать не по-таенный смысл его строк (подтекста не найдешь, он писал текстом). Но как и у Пушкина, у него, у Твардовского, есть свои тайны: тайны рождения стихов, тайны строф, тайны его необыкновенной и уже привычной конкретики — столь непохожей на всякую иную и вместе с тем необычайно достоверной. Но кроме всех этих тайн, к которым можно прибавить еще немало, есть еще одна тайна. Та, что роднит с Пушкиным.

В Пушкине, несмотря на усилия, труды, догадки поколений пушкинистов многое не проясненного. Но самой важной и главной тайной остается прежде всего он сам — как таковой: весь, в целом, до конца.

Для меня (как и для большинства читателей, поклонников) Твардовский начался с Теркина — в этом нет ничего удивительного, хотя, конечно, он был уже известен и читаем даже прославлен и до своей «поэмы про бойца». Но вот вопрос: не начался ли он — в каком-то очень важном, сокровенном и определяющем смысле — и для самого себя — именно с него, с Теркина?

Полагаю, именно так.

Постараюсь сначала пояснить свой вопрос сопоставлением с Пушкиным.

Когда-то я понял, что Пушкин, который мне близок, который теперь **мой**, начинается в Михайловском. При этом я вовсе не собирался, само собой, отвергать ценность или значение написанного им до того. Но кажется мне, что Пушкин как личность — именно и только в пору Михайловской ссылки обрел себя таким, каким, меняясь, естественно, все же останется собою до конца.

Какое может быть сравнение с Твардовским? Не о прямом, не о дословном, конечно же, речь. Но не буквальное — несомненно.

Твардовский из поколения (годами несколько старше меня), которое где-то застряло в середине исторических превращений постоктябрьской России. Взрослое в ореоле романтики революционных лет, сражений и коллизий гражданской войны. О событиях знали, были наслушаны,

но участия сами в них не принимали. Недавнее прошлое оказывалось как бы своим собственным желаемым будущим.

А посередке, в собственном жизненном опыте — события, что потрясли до основания всю нашу жизнь, сдвинули всех с освоенных мест, переворотили социальные пласти, открыв гигантское количество новых поприщ. Они-то вывели молодого Твардовского из деревни в столичную Россию, сделав его поэтический дар очень быстро достоянием гласности, предметом покровительства.

Но вместе с тем подобные превращения уже отличались кардинально (хотя и не всегда отчетливым, заметным образом) от тех, что выпали на долю поколения годами старше. Тем отличались, что человек, даже пробиваясь сам, все равно ощущал себя частью вывороченного социального пласта. Он оказывался в гуще перемешанного человеческого муравейника, даже если ощущал себя активным жизнестроителем. Пути он уже не выбирал — в лучшем же, или в более частном случае — выбирал место, функцию, роль, успех. Само по себе не проклятие это, а вероятно, прихоть истории, которая распределяет так, производя жеребьевку поколений по их месту в общем своем движении. И сейчас я говорю не о крови и не о грязи, не о преступлениях, которые или вперемешку с ощущением величия открывшихся просторов и поприщ, — я о другом: для поэзии. Для вдохновения эта пора оставляла мало места. Она требовала не призыва, а служения. А от поэта — функционерства. Для творчества тут не было собственной почвы, которая как раз и создается, когда биография, судьба и возможность избрания пути где-то сплетаются в одно обще русло таланта.

Если мы посмотрим сегодня задним числом на людей поэтических того поколения, то, несомненно, поразимся, что настоящих имен так немного, настоящих произведений и совсем мало, хотя стихи уже и тогда не только писались, но и печатались километрами. Да и сопоставлять можно было бы, собственно, два имени, хотя уж больно они несоизмеримы в своем окончательном итоге: скажем, Твардовского и Симонова. И у того, и у другого (ибо ранний Симонов, начальный Симонов был все-таки не великим, но незаурядным поэтом) безусловно ощущаемая потребность найти себя в поэзии: свою точку отсчета, свою тему, свою кровность, свою собственную поэтическую почву. Симонов отчасти ищет почву, следя традиции поэтов всех времен — в любви, в любовной лирике, в поэзии чувства. С другой стороны, он ищет эту основу для себя в том, что составляло национальную тематику. (Тогда слово это воспринималось тепло, сердечнее и серьезнее, чем ныне). Это и стихи о Лукаче, и многие другие из лучших

его произведений того времени — испанские по теме, антифашистские по духу. Звучали они не казенно, не вымученно.

Твардовскому только отчасти легче — как человеку, который шел от почвы в самом прямом смысле, но шел ведь, отрывая ее от своих ног. Шел, отклоняясь от судьбы дедов и отцов, отклоняясь от судьбы своей семьи. Для него найти себя означало нечто в гораздо большей степени индивидуальное, лично заостренное. Даже если им самим не всегда и не сразу осознавалось это, ретроспективный взгляд указывает на правоту предположения с достаточной ясностью. Несколько лет назад Мария Илларионовна Твардовская опубликовала потрясающий текст уже покойного мужа: запись, которую он сделал для себя сразу же после похорон единственного сына своего — горячо и нежно любимого по-отцовски и по-крестьянски. Ребенка, умершего в одночасье от дифтерита. Текст потрясает — в нем виден уже почти весь Твардовский. Он удивляет не только силой чувства, но необыкновенной способностью и в этом трагическом случае увидеть, запомнить, запечатлеть все подробности прошедшего, через подробности выяснив для себя их какой-то особый, глубочайший, сокрытый смысл. Произведение это (назовем так этот текст) поражает также и отточенностью, и законченностью. Признаю, не вполне применимы они к отзыву нестерпимого горя, но как иначе оценить написанное, нежели — совершенство...

Спустя несколько дней, когда самое страшное в осознании стряслвшегося отошло и он уже был способен запечатлеть это на бумаге словами, над которыми властен как хозяин... — но даже тогда пробивается сквозь все начертанное на бумаге чувство-ощущение проклятой нехватки, недостаточности слов, непокорности их в передаче того, что ощутимо сердцем.

Лишь великим поэтам свойственно это. При всем богатстве языка, при всей виртуозности владения им — пагуба-проклятие недостаточности, скудости слов. Свидетельство изначально высокой требовательности к себе, симптом поиска себя...

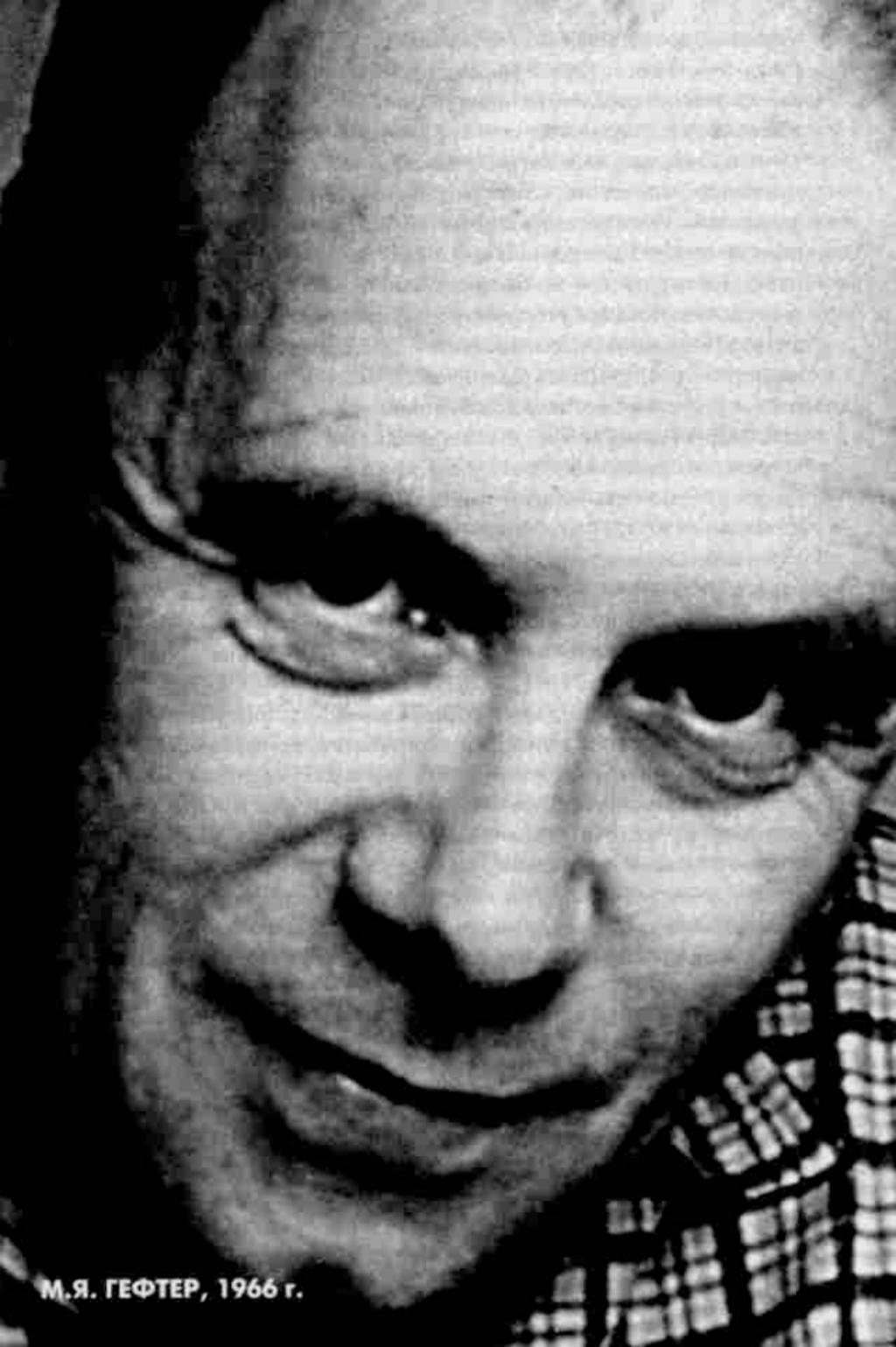
В этом пронзительном тексте нахожу поразительные слова — обращенные к ребенку: воспоминания о нем, о его теплоте, о том как он был мил и как он удивительным образом помогал ему, отцу, переносить свою «обидную бесприютность». А ведь он уже шел в гору, уже печатался в ту пору: текст датирован октябрем 38-го года.

Тот 38-й год — это конец; позади страшные страницы (как мы теперь знаем и понимаем историю нашей страны), унесшие целые генерации людей — тех, на кого вчера еще и Твардовский равнялся; тех, кто его поднимал или кто содействовал его подъему. А вот на этих страницах он говорит

о том, как, преодолевая боль, переводит строка за строкой «Кобзаря» Шевченко. И как он держит перед глазами материалы свежей «Правды» с сообщением о перелете женщин-летчиц. Ему заказаны хвалебные (естественно!), восторженные стихи об этом женском перелете, который, как известно, чуть не закончился катастрофой и стоил жизни многим мужчинам... Пишет это, испытывает бытовые неудобства, какие-то неукладицы в жизни (я не говорю сейчас об обрушившемся на него страшном горе). Но этот человек ощущал свою обидную бесприютность, конечно же, не в бытовом смысле — это обидная бесприютность с радостью, с крыльями за спину человека, оторвавшегося от прежней почвы и не нашедшего для себя настоящую, постоянно питающую, достойную его жизнь, позволяющую крылья удержать и расправить. Человек без биографии.

Для меня он был таким же, каким был Пушкин после своих одесских трагедий. Заброшенный волею судьбы в Михайловское, он там лицом к лицу встретился с русской историей, с тем прошлым, которое указывало — грозно и неумолимо — на что-то совсем новое в будущем.... Не похожее не только на то, что переживала Россия раньше, но и на то, что она могла бы пережить или должна была бы пережить: уже не только по мании царя, но и по мании декабристских лидеров, революционных вожаков, друзей поэта, падших... Обидная бесприютность Пушкина в Михайловском,— в истоках которой последующее, нами обретенное в виде оставленного им наследия.

Обидная бесприютность Твардовского разрешилась страшной войной, смертью миллионов погубленных, перевернутым существованием. Вот что позволило ему найти свою поэтическую почву, себя в поэзии, найти свою биографию: из пред-личности стать личностью. В войне лишь истинно обрести себя — страшно? Отчасти — да. Но мне кажется, это объясняет многое, от страшного здесь не уйдешь. Он сам в своей поэме, третьей по счету, сказал слова, которые я бы поставил эпиграфом к нему всему: «Да будет камнем камень, да будет болью боль». Он нашел себя — в «Теркине», но и «Теркин» нашел себя в этой же страшной коллизии войны.



М. Я. ГЕФТЕР, 1966 г.

## А. Твардовский

### *Из рабочих тетрадей 60-х годов*

<...>

**5. III. 61.** С утра совершенно прояснилось, что перегонять с места на место «картинки» того света — не пойдёт. они мне кажутся уже какими-то вчерашними, отболели, и цепляться за них нечего. Тем более, что видение того света в таком плане, до встречи с другом, неправомерно. Постижение того света — в фокусе «встречи с другом», в темке первой части, развитой мною уже порядочно, в плане непрерывности столкновений живого с мёртвыми. Заглянул в вёрстку — там очень немногое уцелевает для нынешнего плана. И — пусть. Хотя — наверняка — знающие тот вариант будут сожалеть о тех или иных памятных им местечках. Но незнающих больше, в них дело, а кроме того, не обязан я следовать за всеми теми мотивами и ходами вещи, что складывались когда-то, — пусть они следуют за нынешним планом: что годится — сюда, что нет, то за борт, хоть бы и были отдельные строфы или куски сами по себе неплохи. Нет, если эта штука тогда не явилась в свет, то теперь уж она будет не той в плане и деталях. Я, впрочем, и тогда чувствовал, что с середины утопал в рассыпчатой каше картинок, натяжённых придумок и т. д. Встреча с другом.— Поиски Тёркина по подозрению, что он живой.— «Я останусь в меньшинстве!» «На-гора!» Не дай бог в такой вещи — тянучка, она может взять только темпом, сцеплённостью этапов, энергией и простором выдумки.\*

\* Здесь, как и в последующих записях, речь идёт о работе над поэмой «Тёркин на том свете». Сверстная для майского номера «Нового мира» за 1954 г., поэма была запрещена как «идейно-порочная и политически вредная» и вместе с публикацией в «Новом мире» нескольких критических статей послужила основанием для снятия Твардовского с поста главного редактора журнала постановлением ЦК КПСС от 23 июля 1954 г.  
(Публикация В.А. и О.А. Твардовских. Примечания Ю.Г. Буртина и В.А. Твардовской)

**6.Ш.61.** Кажется, выхожу на тропу: Тёркин встречает друга, тут много госящегося. Встреча выявляет полное взаимопонимание друзей: «Может, ты мертвец неполноченный». «Я не против». Розыски Тёркина по тревоге на том свете. Ах, раз так, то я солдат ещё живой. Мне тут делать нечего. Друг уговаривает: не следует уходить с того света — всё равно возвращаться. Нет. Да и трудно. Что поделать — Тёркин раз — и «на-гора» — оттуда, как отсюда, бывает мгновенно.

Не обременять вещь большими претензиями, пусть будет такая, как сложилась в своей наиболее естественной и свободной манере шутки, с некоторой, конечно, начинкой, но не навязывать ей непосильных задач. И пусть лежит до поры, но уже очищенная от шелухи первого варианта, когда, сбившись с лёгкой тропы первовступления в мир загробный, я начал мудрить и накручивать.

&lt;...&gt;

**9.Ш.61.** Вчера переписывал в малеевскую тетрадку «высвобождающиеся» из Вёрстки строфы в примерной последовательности (встреча с другом) и вдруг учゅял концовку — способ возвращения с того света. Где-то были строчки:

туда  
Улицей зелёной  
Прибывают поезда.

А порожняк? Он, естественно, отправляется «наверх», на этот свет, за новыми партиями пассажиров. Т[ёркин], прибывший «туда» пешим ходом, оттуда устремляется с порожняком.

На площадке тормозной —

или ещё как.

Но эта концовка должна быть после какого-то ударного места, подводящего итоги скитаниям Т[ёркина] на т[ом] свете:

Вот чем, значит, смерть страшна.

Ничего не мочь, не сметь —

Вот что значит смерть.

А если мочь и сметь, то ничего не страшно, т.е. на этом свете. — Не слишком ли вчера обрадовался скрутению в проекте? — Но вещь стала видеться вся. И ничто из опущенного и опускаемого теперь в Вёрстке назад не просится. Возвращение поездом даёт, между прочим, сцепление с началом: поезда.

**11.Ш.61.** Б[арви]ха. «Поле оббежал», не имея ни минуты иллюзии действительного завершения вещи, но и чувствуя, что она выпростается-таки из варианта

Вёрстки, стала безусловно ровней, стройней, логичнее, сцеплённее и не-прерывнее. Правда, остаётся основной её грех — неполная отчётливость содержания, некоторое противоречие между условно-сказочным миром идеального бюрократизма и несколько мрачноватой аллегоричностью загробности. М.б., это и не будет вытравлено до конца, но кое-что понять можно. Напр[имер], нужно свести как-то слово «мертвечина» в том почти смысле, как употребил его Маяковский: «ненавижу всяческую мертвчину», — т.е. в смысле чего-то мёртвенного, отживающего или имеющего быть изжитым, с чем «человечество расстаётся смеясь». И, м.б., кое-где слова мертвец, мертвецы заменить мертвяками, ибо мертвец слишком серьёзно и не очень подлежит смеху. Все мы, братец, мертвяки... Всё же рад, что возобновил возню с вещью, что оторвался, наконец и безвозвратно, от Вёрстки, т.е. высвободил из неё всё, что годится (м.б.. не всё и, м.б., лишку), и уже имею дело, в сущности, с новой конструкцией. Главный узел вещи — во встрече с другом. Подобно тому, как в главе «Смерть и воин» — пря\* живота и смерти, здесь — пря, т[ак] ск[азать], доброго, советского «живота» с мертвчиной, здорового и здравого с уродливым, фантастически-нелепым, абсурдным духом «того света». Тут, конечно, вряд ли мне застегнуть все пряжки, но и не беда, только бы в главном застегнуться покрепче. Под конец нужно что-то ударное, выходящее как бы из ритма повести-диалога, вроде кусочка «Дед мой сеял рожь-пшеницу». Может быть, это «песня Тёркина», если таковая возможна,— жизнь, здоровье, разум, смех.

Жизнь, здоровье, смех и разум.

\* Борьба, состязание, спор  
(книжн., устар.)

Шутка — делу не помеха,  
Разум с правдой заодно.  
Кто на свете против смеха,  
Тому света не дано.

### С малеевских клочков (59 г.)

Всех красот и всех чудес  
Нет десятой доли.

Тёркин был уже не тот:  
(Что на свете ни рожна —  
не боялся —)  
Вот, чем, значит, смерть страшна.\*\*

\*\* Зачеркнуто автором.

Тёркин — что на этом  
 Не страшился ни рожна.  
 Перед Тем смущился светом.—  
 Вот, чем, значит, смерть страшна —  
 Тем, когда один на свете.  
 Никого ещё в виду.  
 И когда не ты в ответе  
 За удачу иль беду.

&lt;...&gt;

Они пишут так, как будто не было у нас Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Блока, Маяковского, а были только Бенедиков да Кукольник, Апухтин с Надсоном, да Игорь Северянин, в лучшем случае Гумилёв и Цветаева.

**13.III.61. Москва.** Вторичное чтение (Маше и Ольге) после барвишинского (Горюнову, Шумейко и Котову) укрепило ощущение «оббежания поля», но и выявило существенные недостачи.

1. Тревога по поводу «просочившегося живого» вообще, а не именно Тёркина.
2. Выход на-гора нужно вдруг, на середине строфы,— и вдруг доктор, жизнь, этот свет.
3. Не пересыпать ли диалог с другом картинками того света, кое-чем из того, что меня раздражало рассыпчатостью и дробностью и статичностью? М.б.! Переписываю из малеевской тетради то, что занёс туда в Барвихе, чтобы всё было на листах. А потом — резать и наращивать.

&lt;...&gt;

**12.XII.61. Москва 5 утра.**

Оказывается, я уже давно лежал и спал-не-спал, но в лёгком полубреду обдумывал, как я буду доделывать «Т[ёркина] на том св[ете]», которого в Малеевке даже не раскрыл, чтобы перечесть (как не сделал этого до сих пор, чего-то боясь, чего-то избегая — не полной ли ясности, что ничего уже сделать нельзя или не смогу?).

Толком не могу воспроизвести сейчас этот «план», но осталось одно, что я, мол, должен подключиться к этой новогодней хорейческой однолинейной истории ещё и ямбом, вторым из наиболее разработанных и основанных мною размеров — для отступлений, ретроспекции и т.п. И втотпать сюда всё — и «культ», и послекультурские времена, и колхозные, и литературные, и международные дела. И так мне было ясно, что это будет орга-

нично и что всё это, собственно, начиная с «Муравии», у меня подготовлено, пододвинуто для решения этой увенчивающей все мои стихотворные вещи задачи, что я утром начал это рассказывать Маше, хвастаясь, что всё доныне написанное мною — только «крыльцо» (по Гоголю) к тому, что должен именно теперь возвести «на базе» Т[ёркина] на т[ом] св[ете], и что мне ничего не страшно и не стыдно, и я знаю, что мне делать, еду в Малеевку, сажусь за стол и т.д.

<...>

Но прочесть «Тёркина на т[ом] св[ете]» до сих пор не решаюсь, что-то ещё не даёт мне этой свободы, скорее всего, полное отсутствие «запаса покоя». Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского (Солонжицына),\* с которым встречусь сегодня. И оно тоже обращает меня к «Тёркину» на т[ом] св[ете]. <...>

20.VI.62.

<...>

Запись на листке 14.VI. (вот когда еще я должен был лететь в Тбилиси). Думал уже почти строчками о Т[ёркине] на т[ом] св[ете], и уже угадывается другой простор темы (менее всего узкосатирическое уподобление «того» «этому»).

Друг: Что ж, за родину и за?

— Как сказать.

Но кричал однако:

В бой за родину и за...

Как ходил в атаку.

— Все возможно.

Уж кому-кому не знать.

Как не нам, солдатам,

Что ходить случалось в бой

Чаше — просто — с матом.

Невозможен (скажет чит[ате]ль) такой разговор о нем, о самом Верховном.

— Да ведь дело-то на том,

На том свете

От уставов далеки —

Здешних всех — вчерашних,

\*Рукопись «Щ-854» была подписана псевдонимом «А. Рязанский». А.Т. было сообщено настоящее имя автора, но «ко слуху» он запомнил его неточно. А.И. Солженицын, как следует из его мемуаров, решил передать рукопись в «Новый мир» под воздействием речи А.Т. на XXII съезде. Об этом же рассказывает Н.А. Решетовская — тогда жена А.И. Солженицына (Решетовская Н.А. А.И. Солженицын и читающая Россия. // Дон, 1990, январь, сс. 5253). Рукопись была послана А.Т. в начале ноября, но из-за промедления посредников дошла до него лишь в декабре.

Развязались языки,  
Ничего не страшно.

— Того света, дескать, нет?  
Ну, а, скажем, бога.  
Как выходит из газет,  
То никак не скажешь — нет.

Есть Всевышний и притом  
Он за власть Советов.  
Там — землетрясения, ураганы и т.п.  
У нас — ничего. Даже смерти нет,  
Разве только редко.  
Может, все это не так.  
Не в таком порядке.

&lt;...&gt;

**8.VIII.62. Коктебель**

&lt; ... &gt;

Друг поясняет:  
... да нет.  
Он, понятно, разный,  
Есть советский, наш тот свет,  
Ну и буржуазный.  
Теркин думает: учтем,  
Не беря на веру.  
— И какая же притом  
Разница, к примеру?

Ведь у них, да и у нас  
Тут живое в нетях  
— А такая же как раз,  
Как (была) на (этом) свете.  
— Значит, что же: тут и там

Жизни все подобно:  
То есть — труд и капитал  
За чертой загробной?

И по смерти бой ведут  
Смертный — так примерно?  
— Не совсем. Какой же труд?  
Отдых — это верно.

После боя всем настал  
Отдых в обороне.

Точно так же капитал  
Не играет роли.

Вечность вечностью течет  
По своей линейке.

Капиталу только счет.  
Денег — ни копейки.

Но у них, однако, счет.

То есть та же мерка.

А у нас зато — учет.

Да еще проверка...

Вот и все, что здесь дано —  
За чертой известной.

Теркин думает: чудно  
И неинтересно.

Капитал и даже труд.

Обратившись в лежку.

А дела еще ведут

Только понарошки.

Я хочу тебе сказать:

Был бы только выбор,

За такую благодать —

В шапку вам спасибо.

Как хотите, а по мне

Много лучше на войне.

О своем живом хлопочешь,

В бой идешь, победы хочешь.

< ... >

#### 10.VIII. (вчерашний и позавчераши карандаш)

(.....)

На войне о том хлопочешь,

Без чего ей нет конца.

Что там слава, что там почесть

Без победы для бойца!

Норовишь ее, победу,

Для живых в бою добыть

И гремишь за ней по следу,

Забывая есть и пить.

Как она (играет) звонко,

Чтобы ты не заскучал.

До поры, как в борозденку,  
Скыврнешься, как кочан.

Не о смертном думай часе  
Сам придет — поставит крест.  
Смерть — она всегда в запасе.  
Жизнь — она всегда в обрез.

Так ли, друг?

Молчи, вояка.  
Ваше время истекло.  
Нет, скажи: и так,  
и всяко.  
Ну, сказал, — куда

ни шло...

(.....)

Речь о нашей половине  
Преисподней мировой.  
Опиши тот свет, где ныне  
Мы находимся с тобой.

Что ж, тот свет весьма обширен,  
Да еще учти, что он  
Размежеван, разранжирен,  
По разрядам разнесен.

Тут порядок неизменный.  
А не то, что у живых.  
Впереди тот свет военный.  
Он пример для всех иных.

(.....)

Но за гробом иль без гроба,  
А за будкой пропускной  
Есть еще тот свет особый —  
Тут нам лучше стороной.

— Посмотреть бы тоже ценно.  
— Да нельзя, поскольку он  
Ни гражданским, ни военным  
Здесь властям не подчинен.

В чьем же все же подчинены  
Тот отдел? — Смущен солдат.  
Там лишь те, кто в заключены  
Получил сюда наряд.  
Воркута, Нарым. Печора. (Контингент)

Магадан — Тайшет. Переход к «культу».\*

\* Две строки зачеркнуты А. Т.

< ... >

11.VIII.62.

Там рядами по годам  
И особым метам —  
Колыма да Магадан.  
Воркута с Тайшетом.  
За черту из-за черты —  
С разницей малой —  
Область вечной мерзлоты  
В вечность их списала.  
Из-за проволоки той.  
Белой-поседелой  
С одинаковой статьей.  
Приобщенной к делу.  
Кто за что, который чей.  
Перечисли, ну-ка.  
Ни оркестров, ни речей —  
Вот уж где ни звука...  
Невдали сиротский прах  
Осенён покоем  
Оплативших смертный страх  
Смертью перед строем...  
На военном места нет.  
На гражданском тоже.  
«переход к культуре».

< ... >

Вчера и сегодня (13.VIII.)

< ... >

Тот, кто службе жизнь твою  
Придал безвозмездно.  
За кого ты пал в бою.  
Как тебе известно.  
Теркин вскинул бровь и вкось  
Поглядел вполвзгляда  
И устало молвил: брось.  
Я прошу, не надо.  
— Почему же? А печать?  
Не забыл, вояка,  
Что ты должен был кричать.  
Как ходил в атаку?

— Знаешь, лучше умолчим,  
Лучше без огласки.  
На том свете нет причин  
Для такой (подкраски).  
Нам ли, друг, не знать с тобой.  
Грамотные оба.  
Что в бою, на то он бой —  
Слов подбор особый.  
И вступали там в права,  
Вот как были кстати,  
Чаще прочих те слова,  
Что не для печати (Что печать!)  
— Ну, допустим, что порой  
Объяснялись всяко.  
За кого же ты, герой,  
Шёл на смерть, однако?

&lt;...&gt;

**23.1.63. Караварово.**

— Тот, кто в этот комбинат  
Нас послал с тобою.  
С чим ты именем, солдат.  
Пал на поле боя.  
Сам не помнишь, так печать  
Донесет до внуков,  
Что ты должен был кричать,  
Встав с гранатой. Ну-ка?  
— Да уж нам-то, друг, с тобой  
Без печати знато,  
Что в бою — на то он бой —  
Лишних слов не надо.  
И вступают там в права  
И бывают кстати  
Больше прочих те слова,  
Что не для печати...  
Так идут друзья рядком  
С непривычной думой  
Под загробным потолком —  
Сводчатым, угрюмым.  
Теркин даже помрачнел.  
— Невдомек мне словно,

Что особый ваш отдел  
За самим верховным.  
— Все за ним, само собой —  
Выше нету власти.  
— Но ведь сам-то он живой?  
— И живой. Отчасти.  
Теркин шапкой вытер лоб.—  
Сильно топят все же.  
Но от слов таких озnob  
Пробежал по коже.  
И смекает голова,  
Как ей быть в ответе  
За такие-то слова  
Даже на том свете.  
— Все за ним — само собой —  
Власть на всех простерта.  
Над живыми он живой,  
А над нами — мертвый.  
Потому-то глух и слеп  
Он к живым порою.  
И в Кремле недаром склеп  
Сам себе устроил.  
Невдомек еще тебе,  
Что живыми правит,  
Но давно уж сам себе  
Памятники ставит.  
И еще при жизни он —  
По чьему почину.  
Патриархом отнесен  
К ангельскому чину.  
Для живых крутой отец,  
И закон, и знамя.  
Он давно полумертвый  
С вами он и с нами.  
Та же власть и облик тот,  
Что войдет в преданья.  
Так что он тебя ведет  
И за этой гранью.  
И предельной нет черты  
Власти той безмерной.  
Кстати, знаешь ли, что ты  
Награжден посмертно?

Ты — сюда с передовой.  
Орден — следом за тобой.

&lt;...&gt;

**22.VI.64. Письма.** Двадцать четыре года назад в этот день в дер[евне] Грязи я записывал, как ходил накануне в Звенигород и пытался писать безнадежно трудного «Теркина», когда Маша позвала меня внушил Вале, что она повторяет не-лепые слухи о начавшейся войне, наслышавшись об этом на деревенской улице. Об этом в «Родине и Чужбине».

Прошла третья жизни, да какая треть — не полубессознательная треть из детства и юности и не та, что осталась впереди, а самая емкая серединка. И прошла она под знаком войны, сперва бушевавшей и сжигавшей день за днем свои четыре года, а затем висевшей над памятью, над сознанием и висящей до сих пор — что бы ты ни делал, о чем бы ни думал, чего бы ни замышлял. Вроде присущей некоторым людям, мне, в том числе, постоянной мысли о смерти. И все в какой-то спешке, и все в лихорадочной подготовке «рабочего места» (Внуково — с его «строительством»), разработкой участка, колодцами (один из них нужно вырыть, а потом зарыть), ремонтом снизу дома, так не достроенного до сих пор.

Олени рожки, раковые шейки.  
Березок мертвых духовитый лист.  
День — Духов день. Собрание в ячейке  
Иду в село, поэт и атеист.\*

&lt;...&gt;

\*Первоначальный набросок засина стихотворения «Погубленных березок вялый лист...» (1966) — Примеч. В.А. Твордовской

М. Гефтер

Узость и безграничье

Твардовский понимает новизну (исподволь, движением Слова...) как «тысячу путей», неискоженных... Придем (и идем!) нестесненно, свободно, а, стало быть, в разнообразии человеческих характеров, свойств. И — судеб!!

Утопия? Химера??

Главное — думал...

И разве ОН, Твардовский, — один?

Чтоб ответить, надо решить, каков счет: кого в расчет брать.

К примеру — ОН и плеяда русских высоколобых, «из серебряного века»...

Он и западные, разные, ряда поколений и жанров. Больше прозаики, чем поэты: Фолкнер, Бёлль, Лорка, Гарсиа Маркес, Хемингуэй конца («Старика и моря»).

Стейнбек, Шаша.

Он и Шостакович.

Он — в их свете — кто? каков?

Сам по себе — и кровный родственник. Родство по той крови, что не раса, а совсем наоборот. Родство по корням — у каждого свой, но у всех жажды иметь, обрести, сохранить исток и предчувствие, что сие не удастся никому в отдельности (вот он, — конец XX-го, всматривающийся в Первоначало).

Еще — родство по первозданности Слова, по невозможности изъясниться,

не вернувшись к той загадочной «точке», когда

родились вместе — понимание (взаимо?) и разноязычие.

Еще — родство по независимости: духа, персоны, Слова...

Мало этого?

Важно отношение Твардовского к слабым, к слабости...

Это — критерий...

(Тут своя неочевидная сцепка с иронией в отношении героя без кавычек.

Ирония убережения его от нимба и перста указующего, от любого без-меры...)  
 Рыцарь без страха и упрека — не идеал поэта.  
 Скорее — наоборот.  
 Упрек, преодолевающий СТРАХ: свой и всех,  
 страх вчерашний и завтрашний.

---

Его Теркин — не антифашист, не освободитель Европы,  
 он — защитник Дома,  
 страдалец и умелец,  
 враг Войны на войне.

---

Твардовский создавал «Теркина на том свете» как произведение оптимистическое.  
 Будто эпизод из войны.  
 На деле же —  
 уже нет ее, теркинской.  
 Это — то, что было: после прибавки моши и убавления в людях.  
 «И» — работающее.  
 меняющее,  
 а не просто возврат.

---

...Есть один конфликт — нравственный по сути, который вызрел в Твардовском. Вызрел в нем как в человеке и в нем как поэте. В подспуде разросся и захватил сложнейший пласт размышлений — о свободе.

Теркинский конфликт — по сути.

Сфера свободы Теркина одновременно узка и безгранична. Она узка потому, что распорядиться своей жизнью можно, как и своей судьбой. А может ли он распорядиться результатом, добытым войной?

В одном из важных авторских отступлений Твардовский вкладывает в уста своего героя слова подобием девиза: «Мне конец — войне конец». Это, конечно, оправдывает всё: смерть и смерти.

Но Смерти должен быть положен конец — вообще.

Теркин противником своим, своим антиподом видит войну — как таковую. Её пространство огромно. А сфера смерти узка! Потому что выбрать её — может один! Сам себе хозяин. Как будто бы один на один схватившийся с войной. Но весь вопрос в том, может ли он — в качестве одного — распорядиться результатом?

Ибо средство достижения этой свободы является для него — вместе с тем — и свобода убивать. Необходимость, обязательность, непременность и — свобода! Непременность, перерастающая в эту свободу. Вот тут и вопрос: может ли в этом он и здесь поставить себе нравственный предел?

Смерти — да, когда явится в «Теркине на том свете».

В самом начале вроде проходная, но в высокой степени выразительная для общего замысла сцена: встреча Теркина с генерал-покойником, распорядителем Того Света.

Оказывается, Теркин виноват, что явился лично(!), пешим ходом! А так не положено. Там, где подводится баланс, уже не может быть никаких «лично».

Результат не может быть личным! В результате нет для личности места.

Между безграничностью теркинской возможности распорядиться собственной жизнью и подобной её же узостью участия в итоге завоеванного центральной жизни — зазор.

И он, зазор, неизбежен.

И он, зазор, расширяется.

Ширится по мере перелома ситуации, по мере того, как прошла пора, когда солдаты сдавали города и наступила иная эпоха. Когда города стали БРАТЬ генералы.

И этот зазор — нравственный. Он не может разрешиться в образе, в движении, не может реализоваться путем социальных или политических выкладок, поиском резонов, путем даже острейшего и — потрясающего душу внезапно приходящего размыщения о том, что же будет после одержанной победы со страной...

Мысли такой, вероятно, не было у поэта. Беспокойства — подобного рода и свойства — вероятно, не было. Да и почвы не было — в неоконченной войне, в незавершенной победе, при неразгромленном фашизме и при надежде на переустроенный заново на справедливых и достойных основания мир. А все-таки нечто, заставлявшее думать о последующем мировом устройстве было! Рано пришло как рубеж, как перелом, затронув сам ход поэмы о бойце и ее тональность и подспудно подготовив продолжение — «Теркина на том свете».



А. Т. ТВАРДОВСКИЙ. 1960-е годы.

А.Твардовский  
ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ

Тридцати неполных лет —  
Любо ли не любо —  
Прибыл Теркин  
На тот свет,  
А на этом  
Убыл.

Убыл-прибыл в поздний час  
Ночи новогодней.  
Осмотрелся в первый раз  
Теркин в преисподней...

Так пойдет — строка в строку —  
Вразворот картина.

Но читатель начеку:  
— Что за чертовщина!  
— В век космических ракет.  
Мировых открытий —  
Странный, знаете, сюжет  
— Да, не говорите!..

— Ни в какие ворота.  
— Тут не без расчета...  
— Подоплека не проста.  
— То-то и оно-то...

\* \* \*

И держись: наставник строг  
Проницает с первых строк...

Ах, мой друг, читатель-дока,  
Окажи такую честь:  
Накажи меня жестоко,  
Но изволь сперва прочесть.

Не спеши с догадкой плоской.  
Точно критик-грамотей.  
Всюду слышать отголоски  
Недозволенных идей.

И с его лихой ухваткой  
Подводить издалека —  
От ущерба и упадка  
Прямо к мельнице врага.

И вздувать такие страсти  
Из запаса бабьих снов.  
Что грозят Советской власти  
Потрясением основ.

Не ищи везде подвоха,  
Не пугай из-за куста.  
Отвыкай. Не та эпоха —  
Хочешь, нет ли, а не та!

И доверься мне по старой  
Доброй дружбе грозных лет:  
Я за зря тебе не стану  
Байки баять про тот свет.

Суть не в том, что рай ли с адом.  
Черт ли, дьявол — все равно:  
Пушки к бою едут задом, —  
Это сказано давно...

Вот и все, чем автор вкратце  
Упреждает свой рассказ,  
Необычный, может статься,  
Странный, может быть, подчас.

Но — вперед.  
Перо запело.  
Что к чему —  
Покажет дело.

\* \* \*

Повторим: в расцвете лет.  
В самой добной силе  
Ненароком на тот свет  
Прибыл наш Василий.

Поглядит — светло, тепло,  
Ходы-переходы —  
Вроде станции метро.  
Чуть пониже своды.

Перекрытье — не чета  
Двум иль трем накатам.  
Вот где бомба ни черта  
Не проймет —  
Куда там!

(Бомба! Глядя в потолок  
И о ней смекая,  
Теркин знать еще не мог,  
Что — смотря какая.

Что от нынешней — случись  
По научной смете —  
Так, пожалуй, не спастись  
Даже на том свете.)

И еще — что явь, что сон —  
Теркин не уверен,  
Видит, валенками он  
Наследил у двери.

А порядок, чистота —  
Не приткнуть окурок.  
Оробел солдат спроста  
И вздохнул:  
— Культура...

Вот такие бы везде  
Зимние квартиры.  
Поглядим — какие где  
Тут ориентиры.

Стрелка «Вход».  
А «Выход»?  
Нет.  
Ясно и понятно:  
Значит, пламенный привет.—  
Путь закрыт обратный.

Значит, так тому и быть,  
Хоть и без привычки.  
Вот бы только нам попить  
Где-нибудь водички.

От неведомой жары  
В горле зачерствело.  
Да потерпим до поры,  
Не в новинку дело.

Видит Теркин, как туда,  
К станции конечной,  
Прибывают поезда  
Изо мглы предвечной.

И выходит к поездам,  
Важный и спокойный,  
Того света комендант —  
Генерал-покойник.

Не один — по сторонам  
Начеку охрана.  
Для чего — судить не нам,  
Хоть оно и странно:

Раз уж списан ты сюда,  
Кто б ты ни был чином,  
Впредь до Страшного суда  
Трусить нет причины.

По уставу, сделав шаг.  
Теркин доложился:  
Мол, такой-то, так и так,  
На тот свет  
Явился.

Генерал, угрюм на вид,  
Голосом усталым:  
— А с которым, — говорит,—  
Прибыл ты составом?

Теркин — в струнку, как стоял,  
Тем же самым родом:  
— Я, товарищ генерал,  
Лично, пешим ходом.

— Как так пешим?  
— Виноват.  
(Строги комендантцы!)  
— Говори, отстал, солдат,  
От своей команды?

Так ли, нет ли — все равно  
Спорить не годится.  
— Ясно! Будет учтено.  
И не повторится.

— Да уж тут что нет, то нет,  
Это, брат, бесспорно.  
Потому как на тот свет  
Не придешь повторно.

Усмехнулся генерал:  
— Ладно. Оформляйся.  
Есть порядок — чтоб ты знал —  
Тоже, брат, хозяйство.

Всех прими да всех устрой —  
По заслугам место.  
Кто же трус, а кто герой —  
Не всегда известно.

Дисциплина быть должна  
Четкая до точки:  
Не такая, брат, война,  
Чтоб поодиночке...

Проходи давай вперед —  
Прямо по платформе.

— Есть идти! —  
И поворот  
Теркин дал по форме.

И едва за стрелкой он  
Повернул направо —  
Меж приземистых колонн —  
Первая застава.

Тотчас все на карандаш:  
Имя, номер, дату.  
— Аттестат в каптерку сдашь.—  
Говорят солдату.

Удивлен весьма солдат:  
— Ведь само собою —  
Не положен аттестат  
Нам на поле боя.

Раз уж я отдал концы —  
Не моя забота.  
— Все мы, братец, мертвцы.  
А порядок — вот он.

Для того ведем дела  
Строго — номер в номер,—  
Чтобы ясность тут была.  
Правильно ли помер.

Ведь случалось иногда —  
Рана несмртельна.  
А его зашлют сюда.  
С ним возись отдельно.

Помещай его сперва  
В залу ожиданья...

(Теркин мельком те слова  
Принял во вниманье.)

— Ты понятно, новичок,  
Вот тебе и дико.  
А без формы на учет  
Встань у нас поди-ка.

Но смекнул уже солдат:  
Нет беды великой.  
То ли, се ли, а назад  
Вороти поди-ка.

Осмелел, воды спросил:  
Нет ли из-под крана?  
На него, глаза скосив,  
Посмотрели странно.

Да вдобавок говорят,  
Усмехаясь криво:  
— Ты еще спросил бы, брат,  
На том свете пива...

И довольны все кругом  
Шуткой той злорадной.

Повернул солдат кру-гом:  
— Будьте вы неладны...

Позади Учетный стол,  
Дальше — влево стрелки.  
Повернул налево — стоп.  
Смотрит:  
Стол проверки.

И над тем уже Столом —  
Своды много ниже.  
Свету меньшие, а кругом —  
Полки,  
Сейфы,  
Ниши;

Да шкафы,  
Да вертлюги  
Сздади, как в аптеке;  
Книг толстенных корешки,  
Папки,  
Картотеки.

И решеткой обнесен  
Этот Стол кромешный  
И кромешный телефон  
(Внутренний, конечно).

И доносится в тиши  
Точно вздох загробный:  
— Авто-био опиши  
Кратко и подробно...

Поначалу на рожон  
Теркин лезть намерен:  
Мол, в печати отражен.  
Стало быть, проверен.

— Знаем: «Книга про бойца».  
— Ну так в чем же дело?  
— «Без начала, без конца» —  
Не годится в «Дело».

— Но поскольку я мертвец...  
— Это толку мало.  
— ...то не ясен ли конец?  
— Освети начало.

Уклоняется солдат:  
— Вот еще обуза.  
Там же в рифму все подряд.  
Автор — член союза...

— Это — мало ли чего,  
Той ли меркой мерим.  
Погоди, и самого  
Автора проверим...

Видит Теркин, что уж тут  
И беда, пожалуй:  
Не напишешь, так пришлют  
От себя начало.

Нет уж, лучше, если сам.  
И у спецконторки  
Примостиившись, написал  
Авто-био Теркин.

\* \* \*

По графикам: вопрос — ответ.  
Начал с предков —  
Кто был дед.

«Дед мой сеял рожь, пшеницу.  
Обрабатывал надел.  
Он не ездил за границу.  
Связей также не имел.

Пить — пивал. Порой без шапки  
Приходил, в сенях шумел.  
Но, помимо как от бабки,  
Он взысканий не имел.

Не представлен был к награде,  
Не был дед передовой.  
И отмечу правды ради —  
Не работал над собой.

Уклонялся.  
И постольку  
Близ восьмидесяти лет  
Он не рос уже нисколько,  
Укорачивался дед...»

\* \* \*

Так и далее — родных  
Отразил и близких,  
Всех, что числились в живых  
И посмертных списках.

Стол проверки бросил взгляд  
На его работу:  
— Расписался?  
То-то, брат.  
Следующий — кто там?

Впрочем, стой,—  
Перелистал.  
Нет ли где помарок.  
— Фотокарточки представь  
В должностных экземплярах...

Докажи тому Столу:  
Что ж, как не запасся,  
Как за всю войну в тылу  
Не был ты ни часа.

— До поры была со мной  
Карточка из дома —  
Уступить пришлось одной,  
Скажем так,  
Знакомой...

Но суров закон Стола,  
Голос тот усопший:  
— Это личные дела,  
А порядок общий.

И такого никогда  
Не знал при жизни —  
Слышит:  
— Палец дай сюда.  
Обмакни да тисни.

Передернуло всего.  
Но махнул рукою.  
— Палец?  
Нате вам его.  
Что еще другое?..

Вышел Теркин на простор  
Из-за той решетки.  
Шаг, другой —  
И вот он, Стол  
Медсанобработки.

Подошел — не миновать  
Предрешенной встречи.  
И, конечно же, опять  
Не был обеспечен.

Не подумал, сгоряча  
Протянувши ноги,  
Что без подписи врача  
В вечность нет дороги;

Что и там они, врачи,  
Всюду наготове  
Относительно мочи  
И солдатской крови.

Ахнул Теркин:  
— Что за черт.  
Что за постановка:  
Ну как будто на курорт  
Мне нужна путевка!  
Сколько всяческой возни  
В их научном мире.

Вдруг велит:  
— А ну, дыхни,  
Рот разинь пошире.  
Принимал?  
— Наоборот.—  
И со вздохом горьким:  
— Непонятный вы народ,—  
Усмехнулся Теркин.

— Кабы мне глоток-другой  
При моем раненье,  
Я бы, может, ни ногой  
В ваше заведенье...

\* \* \*

Но солдат — везде солдат:  
То ли, се ли — виноват.

Виноват, что в этой фляге  
Не нашлось ни капли влаги,—  
Старшина был скуповат,  
Не уважил — виноват.

Виноват, что холод жуткий  
Жег тебя вторые сутки,  
Что вблизи упал снаряд,  
Разорвался — виноват.

Виноват, что на том свете  
За живых мертвец в ответе...

Но молчи, поскольку — тлен,  
И терпи волынку.  
Пропустили сквозь рентген  
Всю его начинку.

Не забыли ничего  
И науки ради  
Исписали на него  
Толстых три тетради.

Молоточком — тук да тук,  
Хоть оно и больно,  
Обстучали все вокруг —  
Чем-то недовольны.

Рассуждают — не таков  
Запах. Вот забота:  
Пахнет парень табаком  
И солдатским потом.

Мол, покойник со свежа  
Входит в норму еле.  
Словно там еще душа  
Притаилась в теле.

Но и полных данных нет,  
Снимок, что ль, нечеткий.  
— Приготовься на предмет  
Общей обработки.

— Баня? С радостью туда,  
Баня — это значит  
Перво-наперво — вода.  
— Нет воды горячей.

— Ясно! Тот и этот свет  
В данном пункте сходны.  
И холодной тоже нет?  
— Нету. Душ безводный.

— Вот уж это никуда! —  
Возмутился Теркин.  
— Здесь лишь мертвая вода.  
— Ну, давайте мертвый.

— Это — если б сверху к нам, —  
Поясняет некто.—  
Ты явился по частям.  
То есть некомплектно.

Мы бы той тебя водой  
Малость покропили,  
Все детали меж собой  
В точности скрепили.

И готов — хоть на парад —  
Ты во всей натуре...  
Приступай давай, солдат,  
К общей процедуре.

Снявши голову, кудрей  
Не жалеть, известно.

— Ах, валяйте, да скорей,  
Мне бы хоть до места...

Раз уж так пошли дела,  
Не по доброй воле,  
Теркин ищет хоть угла  
В мрачной той юдоли.

С недосыпу на земле,  
Хоть как есть, в одеже,  
Отоспаться бы в тепле —  
Ведь покой положен.

Вечный, сказано, покой —  
Те слова не шутки.  
Ну, а нам бы хоть какой,  
Нам бы хоть на сутки.

Впереди уходят вдаль,  
В вечность коридоры —  
Того света магистраль,—  
Кверху семафоры.

И видны за полверсты,  
Чтоб тебе не сбиться,  
Указателей персты.  
Надписи, таблицы...

Строгий свет от фонарей.  
Сухость в атмосфере.  
А дверей — не счастье дверей,  
И какие двери!

Все плотны, заглушены  
Способом особым.  
Выступают из стены  
Вертикальным гробом.

И какую ни открои —  
Ударяет сильный,  
Вместе пыльный и сырой.  
Запах замогильный.

И у тех, что там сидят,  
С виду как бы люди,  
Означает важный взгляд:  
«Нету. И не будет».

Теркин мыслит: как же быть,  
Где искать начало?

«Не мешай руководить!» —  
Надпись подсказала.

Что тут делать?  
Наконец  
Набрался отваги —  
Шасть к прилавку, где мертвец  
Подшивал бумаги.

Мол, приписан к вам в запас  
Вечный — и поскольку  
Нахожусь теперь у вас,  
Мне бы, значит, койку...

Взглядом сонным и чужим  
Тот солдата смерил,  
Пальцем — за ухо — большим  
Указал на двери  
В глубине.

Солдат — туда.  
Потянул за ручку.  
Слышил сзади:  
— Ах, беда  
С этою текучкой...

Там за дверью первый стол,—  
Без задержки следуй —  
Тем же, за ухо, перстом  
Переслал к соседу.

И вели за шагом шаг  
Эти знаки всуе,  
Без отрыва от бумаг  
Дальше указуя.

Но в конце концов ответ  
Был членораздельный:  
— Коек нет. Постели нет.  
Есть приклад постельный.

— Что приклад?  
На кой он ляд?  
Как же в этом разе?  
— Вам же ясно говорят:  
Коек нет на базе.

Вам же русским языком...  
Простыни в просушке.  
Можем выдать целиком  
Стружки.  
Для подушки.

Соответственны слова  
Древней волоките:  
Мол, не сразу и Москва,  
Что же вы хотите?

Распишитесь тут и там,  
Пропуск ваш отмечен.  
Остальное — по частям.  
— Тыфу ты! — плонуть нечем.

Смех и грех:  
Навек почить,  
Так и то на деле  
Было б легче получить  
Площадь в жилотделе.

Да притом, когда б живой  
Слышал речь такую.  
Я ему с его «Московой»  
Показал другую.

Я б его за те слова  
Спосыпал на базу.  
Сразу ль, нет ли та «Москва»,  
Он бы понял сразу!

Я б ему еще вкатил  
По гвардейской норме,  
Что такое фронт и тыл —  
Разъяснил бы в корне...

И уже хотел уйти.  
Вспомнил, что, пожалуй,  
Не мешало б занести  
Вывод в книгу жалоб.

Но отчетлив был ответ  
На вопрос крамольный:  
— На том свете жалоб нет,  
Все у нас довольны.  
Книги незачем держать,—  
Ясность ледяная.

— Так, допустим.  
А печать —  
Ну хотя б стенная?

— Как же, есть.  
Пройти пустяк —  
За угол направо.  
Без печати — как же так,  
Только это зря вы...

Ладно.  
Смотрит — за углом —  
Орган того света.  
Над редакторским столом —  
Надпись:  
«Гробгазета».

За столом — не сам, так зам, —  
Нам не все равно ли, —  
— Я вас слушаю, — сказал,  
Морщась, как от боли.

Полон доблестных забот,  
Перебил солдата:  
— Не пойдет.  
Разрез не тот.  
В мелком плане взято.

Авторучкой повертел.  
— Да и места нету.  
Впрочем, разве что в Отдел  
Писем без ответа...

И в бессонный поиск свой  
Вникнул снова с головой.

Весь в поту, статейки правит.  
Водит носом взад-вперед:  
То убавит,  
То прибавит,  
То свое словечко вставит,  
То чужое зачеркнет.

То его отметит птичкой,  
Сам себе и Глав и Лит,  
То возьмет его в кавычки,  
То опять же оголит.

Знать, в живых сидел в газете,  
Дорожил большим постом.  
Как привык на этом свете,  
Так и мучится на том.

Вот притих, уставясь тупо.  
Рот разинут, взгляд потух.  
Вдруг навел на строчки лупу.  
Избоченясь, как петух.

И последнюю проверку  
Применяя, тот же лист  
Он читает  
Снизу кверху.  
А не только  
Сверху вниз.

Верен памятной науке,  
В скорбной думе морщит лоб...

Попадись такому в руки  
Эта сказка —  
Тут и гроб!

Он отечески согретым  
Увещаньем изведет.  
Прах от праха того света.  
Скажет:  
Что еще за ТОТ?

Что за происк иль попытка  
Воскресить вчерашний день.  
Неизжиток  
Пережитка  
Или тень  
На наш плетень?

Впрочем, скажет, и не диво,  
Что избрал ты зыбкий путь.  
Потому — от коллектива  
Оторвался —  
Вот в чем суть.

Задурил, кичась талантом,—  
Да всему же есть предел.—  
Новым, видите ли, Дантом  
Объявиться захотел.

Как же было не в догадку —  
Просто вызвать на бюро  
Да призвать тебя к порядку.  
Чтобы выправил перо.

Чтобы попусту бумагу  
На авось не тратил впредь:  
Не писал бы этак с маxу —  
Дал бы планчик просмотреть.

И без лишних притязаний  
Приступил тогда к труду,  
Да последних указаний  
Дух всегда имел в виду.

Дух тот брал бы за основу  
И не ведал бы прорух...

Тут, конечно, автор снова  
Возразил бы:  
— Дух-то дух.  
Мол, и я не против духа.  
В духе смолоду учен.  
И по части духа —  
Слуха.  
Да и нюха —  
Не лишен.

Но притом вопрос не праздный  
Возникает сам собой:  
Ведь и дух бывает разный —  
То ли мертвый,  
То ль живой.

За свои слова в ответе  
Я недаром на посту:  
Мертвый дух на этом свете  
Различаю за версту.

И не той ли метой мечен  
Мертвых слов твоих набор.  
Что ж с тобой вести мне речи —  
Есть с живыми разговор!

Проходите без опаски  
За порог открытой сказки  
Вслед за Теркиным моим —  
Что там дальше —  
Поглядим.

Помещенья вроде ГУМА —  
Ходишь, бродишь, как дурной.  
Только нет людского шума —  
Всюду вечный выходной.

Сбился с ног, в костях ломота,  
Где-нибудь пристать охота.

\* \* \*

Галереи — красота.  
Помещений бездна,  
Кабинетов до черта,  
А солдат без места.

Знать не знает, где привал  
Маэты бессонной,  
Как тот воин, что отстал  
От своей колонны.

Догони — и с плеч гора,  
Море по колено.  
Да не те все номера,  
Знаки и эмблемы.

Неизвестных столько лиц,  
Все свои, все дома.  
А солдату — попадись  
Хоть бы кто знакомый.

Всем по службе недосуг,  
Смотрят, не вникая...  
И не ждал, не думал — вдруг  
Встреча.  
Да какая!

\* \* \*

В двух шагах перед тобой  
Друг-товарищ фронтовой.

Тот, кого уже и встретить  
Ты не мог бы в жизни сей.  
Но и там — и на том свете —  
Тоже худо без друзей...

Повстречал солдат солдата,  
Друга памятных дорог.  
С кем от Бреста брел когда-то,  
Пробираясь на восток.

С кем расстался он, как с другом  
Расстается друг-солдат,  
Второпях — за недосугом  
Совершить над ним обряд.

Не посетуй, что причалишь  
К месту сам, а мне — вперед.  
Не прогневайся, товарищ.  
И не гневается тот.

Только, может, в миг прощальный,  
Про себя, живой солдат  
Тот безропотно-печальный  
И уже нездешний, дальний,  
Протяженный в вечность взгляд  
Навсегда в душе отметит.  
Хоть уже дороги врозь...

— Друг-товарищ, на том свете —  
Вот где встретиться пришлось...

Вот он — в блеклой гимнастерке  
Без погон —  
Из тех времен.  
«Значит, все, — подумал Теркин.—  
Я — где он.  
И все — не сон».

— Так-то брат...—  
Слова излишни.  
Поздоровались. Стоят:  
Видит Теркин: друг давнишний  
Встрече как бы и не рад.

По какой такой причине —  
На том свете ли обычек  
Или, может, старше в чине  
Он теперь, чем был в живых?

— Так-то, Теркин...

— Так, примерно:

Не понять — где фронт, где тыл.  
В окруженье — в сорок первом —  
Хоть какой, но выход был.

Был хоть суткам счет надежный  
Был хоть запад и восток.  
Хоть в пути паек подножный,  
Хоть воды, воды глоток!

Отоспись в чащобе за день.  
Ночью двигайся. А тут?  
Дай хоть где-нибудь присядем —  
Ноги в валенках поют...

Повернули с тротуара  
В глубь задворков за углом.  
Где гробы порожней тарой  
Были свалены на слом.

Размешайся хоть на дневку.  
А не то что на привал.

— Доложи-ка обстановку.  
Как сказал бы генерал.

Где тут линия позиций.—  
Жаль, что карты нет со мной.—  
Ну, хотя б — в каких границах  
Расположен мир иной?..

— Генерал ты больно скорый.  
Уточнился бы сперва:  
Мир иной — смотря который,—  
Как-никак их тоже два.

И от ног своих разутых.  
От портянок отвлечен.  
Теркин — тихо:  
— Нет, без шуток?..—  
Тот едва пожал плечом.

— Ты-то мог не знать — заглазно.  
Есть тот свет,  
Где мы с тобой,  
И, конечно, буржуазный  
Тоже есть, само собой.

Всяк свой имеет стены  
При совместном потолке.  
Два тех света,  
Две системы,  
И граница на замке.

Тут и там свои уставы  
И, как водится оно,—  
Все иное — быт и нравы...

— Да не все ли здесь равно?

— Нет, брат.— все тому подобно.  
Как и в жизни — тут и там.  
— Но позволь: в тиши загробной  
Тоже — труд, и капитал,  
И борьба, и все такое?..

— Нет, зачем. Какой же труд,  
Если вечного покоя  
Обстановка там и тут.

— Значит, как бы в обороне  
Загорают — тут и там?  
— Да. И, ясно, прежней роли  
Не играет капитал.

Никакой ему лазейки.  
Вечность вечностью течет.  
Денег нету ни копейки,  
Капиталу только счет.

Ну, а в части распорядка —  
Наш подъем — для них отбой.  
И поверка, и зарядка  
В разный срок, само собой.

Вот и все тебе известно,  
Что у нас и что у них.

— Очень, очень интересно... —  
Теркин в горести поник.

— Кто в иную пору прибыл,  
Тот как хочешь, а по мне —  
Был бы только этот выбор. —  
Я б остался на войне.

На войне о чем хлопочешь?  
Ждешь скорей ее конца.  
Что там слава или почесть  
Без победы для бойца.

Лучше нет — ее, победу,  
Для живых в бою добыть.  
И давай за ней по следу,  
Как в жару к воде — полить.

Не о смертном думай часе —  
В нем ли главный интерес:  
Смерть —  
Она всегда в запасе.  
Жизнь — она всегда в обрез.

— Так ли, друг?  
— Молчи, вояка.  
Время жизни истекло.  
— Нет, скажи: и так, и всяко.  
Только нам не повезло.

Не по мне лежать здесь лежнем.  
Да уж выписан билет.  
Ладно, шут с ним, с зарубежным,  
Говори про наш тот свет.

— Что ж, вопрос весьма обширен.  
Вот что главное усвой:  
Наш тот свет в загробном мире —  
Лучший и передовой.

И поскольку уготован  
Всем нам этак или так,  
Он научно обоснован —  
Не на трех стоит китах.

Где тут пекло, дым иль копоть  
И тому подобный бред?  
— Все же, знаешь, сильно топят. —  
Вставил Теркин, — мочи нет.

— Да не топят, зря не сетуй,  
Так сдается иногда.  
Кто по-зимнему одетый  
Транспортирован сюда.

Здесь ни холодно, ни жарко —  
Ни полена дров, учти.  
Точно так же — райских парков  
Даже званья не найти.

С басней старой все несходно —  
Где тут кущи и сады?  
— А нельзя ль простой, природной  
Где-нибудь глотнуть воды?

— Забываешь, Теркин, где ты,  
Попадаешь в ложный след:  
Потому воды и нету,  
Что, понятно, спросу нет.

Недалек тот свет соседний,  
Там, у них, на старый лад —  
Все пустые эти бредни:  
Свежесть струй и адский чад.

И запомни, повторяю:  
Наш тот свет в натуре дан:  
Тут ни ада нет, ни рая.  
Тут — наука.  
Там — дурман...

Там у них устои шатки.  
Здесь фундамент нерушим.  
Есть, конечно, недостатки.—  
Но зато тебе — режим.

Там, во-первых, дисциплина  
Против нашенской слаба.  
И, пожалуйста, картина:  
Тут — колонна,  
Там — толпа.

Наш тот свет организован  
С полной четкостью во всем:  
Распланирован по зонам,  
По отделам разнесен.

Упорядочен отменно —  
Из конца пройди в конец.  
Посмотри:  
Отдел военный,  
Он, понятно, образец.

Врать привычки не имею,  
Ну, а ежели соврал,  
Так на местности виднее,—  
Поднимайся, генерал...

И в своем строю лежачем  
Им предстал сплошной грядой  
Тот Отдел, что обозначен  
Был армейскою звездой.

Лица воинов спокойны,  
Точно видят в вечном сне,  
Что, какие были войны,  
Все вместились в их войне.

Отгремел их край передний,  
Мнится им в безгласной мгле,  
Что была она последней,  
Эта битва на земле:

Что иные поколенья  
Всех пребудущих годов  
Не пойдут на пополненье  
Скорбной славы их рядов...

— Четкость линий и дистанций,  
Интервалов чистота...  
А возьми  
Отдел гражданский —  
Нет уж, выправка не та.

Разнобой не скрыть известный —  
Тот иль этот пост и вес:  
Кто с каким сюда оркестром  
Был направлен или без...

Кто с профкомовской путевкой,  
Кто при свечке и кресте.  
Строевая подготовка  
Не на той уж высоте...

Теркин будто бы рассеян,—  
Он еще и до войны  
Дань свою отдал музеям  
Под командой старшины.

Там соха иль самопрялка,  
Шлемы, кости, древний кнут,—  
Выходного было жалко,  
Но иное дело тут.

Тут уж верно — случай редкий  
Все увидеть самому.  
Жаль, что данные разведки  
Не доложишь никому.

Так, дивясь иль брови хмуря,  
Любознательный солдат  
Созерцал во всей натуре  
Тот порядок и уклад.

Ни покоя, мыслит Теркин,  
Ни веселья не дано.  
Разобрались на четверки  
И гоняют в домино.

Вот где самая отрада —  
Уж за стол как сел, так сел.  
Разговаривать не надо,  
Думать незачем совсем.

Разгоняют скучой скучу —  
Но таков уже тот свет:  
Как ни бьют —  
Не слышно стуку.  
Как ни курят —  
Дыму нет.

Ах, друзья мои и братья.  
Кто в живых до сей поры.  
Дорогих часов не тратьте  
Для загробной той игры.

Ради жизни скоротечной  
Отложите тот «забой»:  
Для него нам отпуск вечный  
Обеспечен сам собой...

Миновал костяшки эти,  
Рядом — тоже не добро:  
Заседает на том свете  
Преисподнее бюро.

Здесь уж те сошлись, должно быть,  
Кто не в силах побороть  
Заседаний вкус особый.  
Им в живых изъевший плоть.

Им ни отдыха, ни хлеба,—  
Как усядутся рядом,  
Ни к чему земля и небо —  
Дайте стены с потолком.

Им что вёдро, что ненастье,  
Отмеряй за часом час,  
Целиком под стать их страсти  
Вечный времени запас.

Вот с величьем натуральным  
Над бумагами склоняясь,  
Видно, делом персональным  
Занялися — то-то сласть.

Тут ни шутки, ни улыбки —  
Мнимой скорби общий тон.  
Признает мертвец ошибки  
И, конечно, врет при том.

Врет не просто скучи ради,  
Ходит краем, зная край.  
Как послушаешь — к награде  
Прямо с ходу представляй.

Но позволь, позволь, голубчик,  
Так уж дело повелось,  
Дай копнуть тебя поглубже,  
Просветить тебя насквозь.

Не мозги, так грыжу вправить,  
Чтобы взмокнул от жары.  
И в конце на вид поставить  
По условиям игры...

Стой-постой!  
Видать персону.  
Необычный индивид  
Сам себе по телефону  
На два голоса звонит.

Перед мнимой секретаршей  
Тем усердней мечет лесть.  
Что его начальник старший —  
Это лично он и есть.

И упившись этим тоном,  
Вдруг он, голос изменив,  
Сам с собою — подчиненным —  
Наставительно учтив.

Полон власти несравнимой,  
Обращенной вниз, к нулю.  
И от той игры любимой  
Мякнет он, как во хмелю...

Отвернувшись от болвана  
С гордой истовостью лиц.  
Обсудить проект романа  
Члены некие сошлись.

Этим членам все известно.  
Что в романе быть должно  
И чему какое место  
Наперед отведено.

Изложив свои наметки,  
Утверждают по томам.  
Нет — чтоб сразу выпить водки,  
Закусить —  
И по домам.

Дальше — в жесткой обороне  
Очертил запретный круг  
Кандидат потусторонних  
Или доктор пракнаук.

В предуказанным порядке  
Книжки в дело введены,  
В них закладками цитатки  
Для него застолблены.

Вперемежку их из книжек  
На живую нитку нитят.  
И с нее свисают вниз  
Мертвых тысячи страниц...

За картиною картина,  
Хлопцы дальше держат путь.

Что-то вслух бубнит мужчина.  
Стоя в ящике по грудь.

В некий текст глаза упрятал,  
Не поднимет от листа.  
Надпись:  
«Пламенный оратор» —  
И мочалка изо рта.

Не любил и в жизни бренной  
Мой герой таких речей.  
Будь ты штатский иль военный,  
Дай тому, кто побойчей.

Нет, такого нет порядка,  
Речь он держит лично сам.  
А случись, пройдет не гладко,  
Так не он ее писал.

Все же там, в краю забвенья,  
Свой особый есть резон:  
Эти длительные чтенья  
Укрепляют вечный сон...

Вечный сон.  
Закон природы.  
Видя это все вокруг,  
Своего экскурсовода  
Теркин спрашивает вдруг:

— А какая здесь работа,  
Чем он занят, наши тот свет?  
То ли, се ли — должен кто-то  
Делать что-то?  
— То-то — нет.

В том-то вся и закавыка  
И особый наш уклад.  
Что от мала до велика  
Все у нас  
Руководят.

— Как же так — без производства,—  
Возражает новичок.—  
Чтобы только руководство?  
— Нет, не только.  
И учет.

В том-то, брат, и суть вопроса,  
Что темна для простаков:  
Тут ни пашни, ни покоса,  
Ни заводов, ни станков.

Нам бы это все мешало —  
Уголь, сталь, зерно, стада...

— Ах, вот так! Тогда, пожалуй,  
Ничего. А то беда.

Это вроде как машина  
Скорой помощи идет:  
Сама режет, сама давит,  
Сама помочь подает.

— Ты, однако, шутки эти  
Про себя, солдат, оставь.  
— Шутки!  
Сутки на том свете —  
Даже к месту не пристал.

Никому бы не мешая,  
Без бомбекки да в тепле  
Мне поспать нужда большая  
С недосыпу на земле.

— Вот чудак, ужели трудно  
Уяснить простой закон:  
**Так ли, сяк ли** — беспробудный  
Ты уже вкушаешь сон.  
Что тебе привычки тела?  
Что там койка и постель?..

— Но зачем тогда отделы,  
И начальства корпус целый,  
И другая канитель?

Тот взглянул на друга хмуро.  
Головой повел:  
— Нельзя.  
— Почему?  
— Номенклатура,—  
И примолкли друзья.

Теркин сбился, огорожен  
Точно словом нехорошим.

\* \* \*

Все же дальше тянется нить,  
Развивая тему:

— Ну, хотя бы сократить  
Данную Систему?  
Поубавить бы чуток,  
Без беды при этом...  
— Ничего нельзя, дружок.  
Пробовали.  
Где там!

Кадры наши, не забудь,  
Хоть они лишь тени.  
Кадры заняты отнюдь  
Не в одной Системе.

Тут к вопросу подойти —  
Шутка не простая:  
Кто в Системе,  
Кто в Сети —  
Тоже Сеть густая.

Да помимо той Сети,  
В целом необъятной.  
Сколько в Органах — сочти!  
— В Органах — понятно.

— Да по всяческим Столам  
Список бесконечный,  
В Комитете по делам  
Перестройки Вечной...

Ну-ка, вдумайся, солдат.  
Да прикинь, попробуй:  
Чтоб убавить этот штат —  
Нужен штат особый.

Невозможно упредить,  
Где начет, где вычет.  
Словом, чтобы сократить.  
Нужно увеличить...

Теркин под локоть дружка  
Тронул осторожно:  
— А какая все тоска,  
Просто невозможно.

Ни заботы, ни труда.  
А тоска — нет мочи.  
Ночь-то — да. А день куда?  
— Тут ни дня, ни ночи.

Позабудь, само собой,  
О зиме и лете.  
— Так, похоже, мы с тобой  
На другой планете?

— Нет, брат. Видишь ли, тот свет —  
Данный мир забвенный.  
Расположен вне планет  
И самой Вселенной.

Дислокации иной —  
Ясно?  
— Как не ясно:  
То ли дело под луной  
Даже полк заласный.

Там — хоть норма голодна  
И гоняют лихо,  
Но покамест есть война —  
Виды есть на выход.

— Пообвыкнешь, новичок.  
Будет все терпимо:  
Как-никак — оклад, паек  
И табак без дыма...

Теркин слышит, не поймет —  
Вроде, значит, кормят?  
— А паек загробный тот  
По какой же норме?

— По особой.  
Поясню  
Постановку эту:  
Обозначено в меню.  
А в натуре нету.

— Ах, вот так... —  
Глядит солдат,  
Не в догадку словно.  
— Ну, еще точней, оклад  
И паек условный.

На тебя и на меня  
Числятся в расходе.  
— Вроде, значит, трудодня?  
— В некотором роде...

Все по форме: распишись —  
И порядок полный.  
— Ну, брат, это же — не жизни!  
— Вон о чем ты вспомнил.

Жизни!  
И слушать-то чудно:  
Ведь в загробном мире  
Жизни быть и не должно,—  
Дважды два — четыре...

\* \* \*

И на Теркина солдат  
Как-то сбоку бросил взгляд.

Так-то близко, далеко ли  
Новый видится квартал.

Кто же там во власть покоя  
Перед вечностью предстал?

— Любопытствуешь?  
— Еще бы.  
Постигаю мир иной.  
— Там отдел у нас Особый,  
Так что — лучше стороной...

— Посмотреть бы тоже ценно.  
— Да нельзя, поскольку он  
Ни гражданским, ни военным  
Здесь властям не подчинен.

— Что ж. Особый есть Особый.—  
И вздохнув, примолкли оба.

...Там — рядами по годам  
Шли в строю незримом  
Колымы и Магадан,  
Воркута с Нарымом.

За черту из-за черты,  
С разницею малой,  
Область вечной мерзлоты  
В вечность их списала.

Из-за проволоки той  
Белой-поседелой —  
С их особою статьей.  
Приобщенной к делу...

Кто, за что, по воле чьей —  
Разберись, наука.  
Ни оркестров, ни речей,  
Вот уж где — ни звука...

Память, как ты ни горька,  
Будь зарубкой на века!

— Кто же все-таки за гробом  
Управляет тем Особым?

— Тот, кто в этот комбинат  
Нас послал с тобою.

С чьим ты именем, солдат,  
Пал на поле боя.

Сам не помнишь? Так печать  
Донесет до внуков,  
Что ты должен был кричать,  
Встав с гранатой. Ну-ка?

— Без печати нам с тобой  
Знато-перезнато,  
Что в бою — на то он бой —  
Лишних слов не надо;

Что вступают там в права  
И бывают кстати  
Больше прочих те слова,  
Что не для печати...

Так идут друзья рядком.  
Вволю места думам  
И под этим потолком,  
Сводчатым, угрюмым.

Теркин вовсе помрачнел.  
— Невдомек мне словно,  
Что Особый ваш Отдел  
За самим Верховным.

— Все заnim, само собой.  
Выше нету власти.  
— Да, но сам-то он живой?  
— И живой.  
Отчасти.

Для живых родной отец,  
И закон, и знамя.  
Он и с нами, как мертввец.—  
С ними он.  
И с нами.

Устроитель всех судеб.  
Тою же порою  
Он в Кремле при жизни склеп  
Сам себе устроил.

Невдомек еще тебе.  
Что живыми правит.  
Но давно уж сам себе  
Памятники ставит...

Теркин шапкой вытер лоб —  
Сильно топят все же.—  
Но от слов таких озноуб  
Пробежал по коже.

И смекает голова,  
Как ей быть в ответе,  
Что слыхала те слова,  
Хоть и на том свете.

Да и мы о том, былом,  
Речь замнем покамест,  
Чтоб не быть иным числом.  
Задним,— смельчаками...

Слишком памятны черты  
Власти той безмерной...

— Теркин, знаешь ли, что ты  
Награжден посмертно?

Ты — сюда с передовой,  
Орден следом за тобой.

К нам прилисанный навеки,  
Ты не знал наверняка.  
Как о мертвом человеке  
Здесь забота велика.  
Доложился — и порядок,  
Получай, задержки нет.

— Лучше все-таки награда  
Без доставки на тот свет.

Лучше быть бы ей в запасе  
Для иных желанных дней:  
Я бы даже был согласен  
И в Москву скатать за ней.

Так и быть уже. Да что там!  
Сколько есть того пути  
По снегам, пескам, болотам  
С полной выкладкой пройти.

То ли дело мимоходом  
Повстречаться с той Москвой.  
Погулять с живым народом,  
Да притом, что сам живой.

Ждать хоть год, хоть десять кряду.  
Я б живой не счел за труд.  
И пускай мне там награду  
Вдвое меньшую дадут...

Или вовсе скажут: рано,  
Не видать еще заслуг.  
Я оспаривать не стану.  
Я — такой. Ты знаешь, друг.

Я до почестей не жадный,  
Хоть и чести не лишен...

— Ну, расчувствовался. Ладно.  
Без тебя вопрос решен.  
Как ни что, а все же лестно  
Нацепить ее на грудь.

— Но сперва бы мне до места  
Притулиться где-нибудь.

— Ах, какое нетерпенье,  
Да пойми — велик заезд:  
Там, на фронте, наступленье,  
Здесь нехватка спальных мест.

Ты, однако, не печалься,  
Я порядок наведу.  
У загробного начальства  
Я тут все же на виду.

Словом, где-нибудь приткнемся.  
Что смеешься?  
— Ничего.

На том свете без знакомства  
Тоже, значит, не того?

Отмахнулся друг бывалый:  
Мол, с бедой ведем борьбу.

— А еще тебе, пожалуй,  
Поглядеть бы не мешало  
В нашу стереотрубу.

— Это что же ты за диво  
На утеху мне сыскал?  
— Только — для загробактива,  
По особым пропускам...

Нет, совсем не край передний.  
Не в дыму разрывов бой.—  
Целиком тот свет соседний  
За стеклом перед тобой.

В четкой форме отраженья  
На вопрос прямой ответ —  
До какого разложенья  
Докатился их тот свет.

Вот уж точно, как в музее —  
Что к чему и что почем.  
И такие, брат, мамзели.  
То есть — просто нагишом...

Теркин слышит хладнокровно,  
Даже глазом не повел.  
— Да. Но тоже весь условный  
Этот самый женский пол?..

И опять тревожным взглядом  
Тот взглянул, шагая рядом.

\* \* \*

— Что условный — это да.  
Кто же спорит с этим,  
Но позволь и мне тогда  
Кое-что заметить.

Я подумал уж не раз,  
Да смолчал, покаюсь:  
Не условный ли меж нас  
Ты мертвей покамест?

Посмотрю — ни дать ни взять,  
Все тебе охота,  
Как в живых, то пить, то спать,  
То еще чего-то...

— Покурить! —  
И за кисет  
Ухватился Теркин:  
Не занес ли на тот свет  
Чуточку махорки?

По карманным уголкам  
Да из-за подкладки —  
С хлебной крошкой пополам —  
Выгреб все остатки.

Затянулся, как живой,  
Той наземной, фронтовой,  
Той надежной, неизменной,  
Той одной в страде военной,  
В час грозы и тишины —  
Вроде старой злой жены,  
Что иных тебе дороже —  
Пусть красивей, пусть моложе  
(Да от них и самый вред,  
Как от легких сигарет).

Угощаются взаимно  
Разным куревом дружки.  
Оба — дымный  
И бездымный  
Проверяют табаки.

Теркин — строгий дегустатор.  
Полной мерой раз и два  
Потянул, вернул остаток  
И рукой махнул:  
— Трава.  
На-ко нашего затяжку.

Друг закашлялся:

— Отвык.

Видно, вправду мертвым тяжко,  
Что годится для живых...

— Нет, а я оттуда выбыл,  
Но и здесь, в загробном сне.—  
То, чего не съел, не выпил.—  
Не дает покоя мне.

Не добрал, такая жалость,  
Там стаканчик, там другой.  
А закуски той осталось —  
Ах ты, сколько — да какой!

За рекой Угрой в землянке —  
Только сел, а тут «в ружье!» —  
Не доели консервов банки,  
Так и помню про нее.

У хозяйки белорусской  
Не доели кулеш свиной.  
Правда, прочие нагрузки,  
Может быть, тому виной.

А вернее — сам повинен:  
Нет — чтоб время не терять —  
И того не споловинил,  
Что до крошки мог прибрать.

Поддержать в пути здоровье,  
Как тот путь бывал ни крут.  
Зная доброе присловье:  
На том свете не дадут...

Тут, встревожен не на шутку,  
Друг прервал его:  
— Минутку!..

\* \* \*

Докатился некий гул,  
Задрожали стены.  
На том свете свет мигнул,  
Залились сирены.

Прокатился долгий вой  
Над глухим покоем...

Дали вскорости отбой.  
— Что у вас такое?

— Так и быть — скажу тебе,  
Но держи в секрете:  
Это значит, что ЧП  
Нынче на том свете.

По тревоге розыск свой  
Подняла Проверка:  
Есть опасность, что живой  
Просочился сверху.

Чтобы дело упредить.  
Срочное заданье:  
Ну... изъять и поместить  
В зале ожиданья.

Запереть двойным замком,  
Подержать негласно,  
Полноценным мертвецом  
Чтобы вышел.  
— Ясно.

— И по-дружески, любя.  
Теркин, будь уверен —  
Я дурного для тебя  
Делать не намерен.

Но о том, что хочешь жить,  
Дружба, знаешь, дружбой,  
Я обязан доложить...  
— Ясно....  
— ...куда нужно.

Чуть ли что — меня под суд.  
С места же сегодня...  
— Так. Боишься, что пошлют  
Дальше преисподней?

— Все ты шутки шутишь, брат,  
По своей ухватке.  
Фронта нет, да есть штрафбат,  
Органы в порядке.

Словом, горе мне с тобой,—  
Ну какого черта  
Бродишь тут, как чумовой.  
Беспокоишь мертвых.

Нет — чтоб вечности служить  
С нами в тесной смычке,—  
Всем в живых охота жить.  
— Дело, брат, в привычке.

— От привычек отвыкай,  
Опыт расширяя.  
У живых там, скажешь, — рай?  
— Далеко до рая.

— То-то!  
— То-то, да не то ж.  
— До чего упрямый.  
Может, все-таки дойдешь  
В зале в этой самой?

— Не хочу.  
— Хотеть — забудь.  
Да и толку мало:  
Все равно обратный путь  
Повторять сначала.

— До поры зато в строю —  
Хоть на марше, хоть в бою.

Срок придет, и мне травою  
Где-то в мире прорости.  
Но живому — про живое.  
Друг бывалый, ты прости.

Пусть мне скажут: что ж ты, Теркин,  
Рассудил бы, голова.  
Большинство на свете мертвых,  
Что ж ты, против большинства?

Я оспаривать не буду.  
Как не верить той молве,  
И пускай мне будет худо —  
Я останусь в меньшинстве.

Если он не даром прожит,  
Тыловой ли, фронтовой —  
День мой вечности дороже.  
Бесконечности любой.

А еще, сознаться можно,  
Потому спешу домой,  
Чтоб задачей неотложной  
Загорелся автор мой.

Пусть со слов моих подробно  
Отразит он мир загробный,  
Все по правде.  
А приврет —  
Для наглядности подсобной —  
Не беда. Наоборот.

С добрый выдумкою рядом  
Правда в целости жива.  
Пушки к бою едут задом, —  
Это верные слова...

Так что, брат, с меня довольно  
До предбудущих времен.  
— Посмотрю — умен ты больно!  
— А скажи, что не умен?

Прибедняться нет причины:  
Власть Советская сама  
С малых лет уму учила —  
Где тут будешь без ума!

На ходу снимала пробу,  
Как усвоил курс наук.  
Не любила ждать особо.  
Если понял что не вдруг.

Заложила впредь задатки  
Дело видеть без очков,  
В умных нынче нет нехватки,  
Поищи-ка дураков.

— Что искать — у нас избыток  
Дураков — хоть пруд пруди,  
Да каких еще набитых —  
Что в Системе, что в Сети...

— А куда же их, примерно.  
При излишестве таком?  
— С дураками планомерно  
Мы работу здесь ведем.

Изучаем досконально  
Их природу, нравы, быт,  
Этим делом специальный  
Главк у нас руководит.

Дуракам перетасовку  
Учиняет на постах.  
Посылает на низовку.  
Выявляет на местах.

Тех туда, а тех туда-то —  
Четкий график наперед.  
— Ну, и как же результаты?  
— Да ведь разный есть народ.

От иных запросишь чуру —  
И в отставку не хотят.  
Тех, как водится, в цензуру —  
На повышенный оклад.

А уж с этой работенки  
Дальше некуда спешить...  
Все же — как решаешь, Теркин?  
— Да как есть: решают жить.

— Только лишняя тревога.  
Видел, что за поезда  
Неизменною дорогой  
Направляются сюда?

Все сюда, а ты обратно.  
Да смекни — на чем и как?  
— Поезда сюда, понятно.  
Но отсюда — порожняк?

— Ни билетов, ни посадки  
Нет отсюда «на-гора».  
— Тормозные есть площадки.  
Есть подножки, буфера...

Или память отказала,  
Позабыл в загробном сне.  
Как в атаку нам, бывало,  
Доводилось на броне?

— Трудно, Теркин, на границе.  
Много легче путь сюда...  
— Без труда, как говорится,  
Даже рыбку из пруда...

А к живым из края мертвых —  
На площадке тормозной —  
Это что — езда с комфортом.—  
Жаль, не можешь ты со мной  
Бросить эту всю халтуру  
И домой — в родную часть.

— Да, но там в номенклатуру  
Мог бы я и не попасть.

Занимая в преисподней  
На сегодня видный пост,  
Там-то что я на сегодня?  
Стаж и опыт — псу под хвост?..

Вместе без году неделя,  
Врозвь на вечные века...

И внезапно из тоннеля —  
Вдруг — состав порожняка.

Вмиг от грохота и гула  
Онемело все вокруг...

Ах, как поручни рвануло  
Из живых солдатских рук:  
Как хватало мертвой хваткой  
Изо всех загробных сил!  
Но с подножки на площадку  
Теркин все-таки вступил.

Долей малой перевесил  
Груз, тянувший за шинель.  
И куда как бодр и весел.  
Пролетает сквозь тоннель.

Комендант иного мира  
За охраной суетной  
Не заметил пассажира  
На площадке тормозной.

Да ему и толку мало:  
Порожняк и порожняк.  
И прощальный генералу  
Теркин  
ручкой  
сделал  
знак.

Дескать, что кому пригодней.  
На себя ответ беру,  
Рад весьма, что в преисподней  
Не пришелся ко двору.

И как будто к нужной цели  
Пряником на белый свет,  
Вверх и вверх пошли тоннели  
В гору, в гору.  
Только — нет!

Чуть смежил глаза устало,  
И не стало в тот же миг  
Ни подножки, ни состава —  
На своих опять двоих.

Вот что значит без билета,  
Невеселые дела.

А дорога с того света  
Далека еще была.

Поискан во тьме руками.  
Чтоб на ощупь по стене...  
И пошло все то кругами.  
От чего кричат во сне...

Там в страде невыразимой.  
В темноте — хоть глаз коли —  
Всей войны крутые зимы  
И жары ее прошли.

Там руин горячий щебень  
Бомбы рушили на грудь,  
И огни толклися в небе,  
Заслоняя Млечный Путь.

Там валы, завалы, кручи  
Промоздились поперек.  
И песок сухой, сыпучий  
Из-под ног бессильных тек.

И мороз по голой коже  
Драл ножковкой ледяной.  
А глоток воды дороже  
Жизни, может, был самой.

И до робкого сознанья,  
Что забрезжило в пути.—  
То не Теркин был — дыханье  
Одинокое в груди.

Боль была без утоленья  
С темной тяжкою тоской.  
Неисходное томленье.  
Что звало принять покой...

Но вела, вела солдата  
Сила жизни — наш ходатай  
И заступник всех верней,—  
Жизни бренной, небогатой  
Золотым запасом дней.

Как там смерть ни билась круто,  
Переменчива борьба,  
Час настал из долгих суток,  
И наступала минута —  
Дотащился до столба.

До границы. Вот застава.  
Поперек дороги жердь.  
И дышать полегче стало,  
И уже сама устала  
И на шаг отстала  
Смерть.

Вот уж дома — только б ноги  
Перекинуть через край.  
Но не в силах без подмоги,  
Пал солдат в конце дороги.  
Точка. Теркин.  
Помирай.

А уж то-то неохота,  
Никакого нет расчета.  
Коль от смерти ты утек.  
И всего-то нужен кто-то.  
Кто бы капельку помог.

Так бывает и в обычной  
Нашей сутолоке здесь:  
Вот уж все, что мог ты лично.  
Одолел, да вышел весь.

Даром все — легко ль смириться —  
Годы мук, надежд, труда...  
Был бы бог, так помолиться.  
А как нету — что тогда?

Что тогда — в тот час недобрый,  
Испытанья горький час?  
Человек, не чин загробный,  
Человек, тебе подобный.—  
Вот кто нужен, кто бы спас...

Смерть придвигнулась украдкой.  
Не проси — скупа, стара...

И за той минутой шаткой  
Нам из сказки в быль пора.

В этот мир живых, где ныне  
Нашу службу мы несем...

— Редкий случай в медицине,—  
Слышил Теркин, как сквозь сон.

Проморгался в теплой хате,  
Простыня — не белый снег.  
И стоит над ним в халате  
Не покойник — человек.

И хотя вздохнуть свободно  
В полный вздох еще не мог,  
Чует — жив!  
Тропой обходной  
Из жары, из тьмы безводной  
Душу с телом доволок:  
Словно той живой, природной,  
Дорогой воды холодной  
Выпил целый котелок...

Поздравляют с Новым годом.  
— Ах, так вот что — Новый год!  
И своим обычным ходом  
За стеной война идет.

Отдохнуть в тепле не шутка.  
Дай-ка, думает, вздремну.

И дивится вслух наука:  
— Ай да Теркин! Ну и ну!  
Воротился с того света.  
Прибыл вновь на белый свет.  
Тут уж верная примета:  
Жить ему еще сто лет!

— Точка?

— Вывернулся ловко  
Из-под крышки гробовой  
Теркин твой.

— Лиха концовка.

— Точка все же с запятой...

— Как же: Теркин на том светел!

— Озорство и произвол:  
Из живых и сущих в нети  
Автор вдруг его увел  
В мир загробный.

— А постольку

Сам собой встает вопрос:  
Почему же не на стройку?

— Не в колхоз?

— И не в совхоз?

— Почему не в цех к мотору?

— Не к мартену?

— Не в забой?

— Даже, скажем, не в контору? —  
Годен к должности любой.

— Молодца такой закваски —

В кабинеты — не расчет.

— Хоть в ансамбль грузинской пляски,  
Так и там не подведет.

— Прозевал товарищ автор,

Не потрафил в первый ряд —

Двинуть парня в космонавты.

— В космонавты — староват.

— Впору был бы по отваге

И развитию ума.

— В космонавты?

— Нет, в завмаги!

— Ох, запутают.

— Тюрьма...

— Укрепить бы сеть Нарпита.

— Да не худо бы Жилстрой...

— А милиция забыта?

— А пожарник — не герой?..

— Хоть в ансамбль грузинской пляски

Ах, читатель, в этом смысле

Одного ты не учел:

Всех тех мест не перечислить,

Где бы Теркин подошел.

Спор о том, чьим быть герою

При наличии стольких свойств.

Возникал еще порою

Меж родами наших войск.

Теркин — тем ли, этим боком —

В жизни воинской своей

Близок был в раскате дней

И с войны могучим богом,

И гремел по тем дорогам

С маршем танковых частей,

И везде имел друзей.

Оставаясь в смысле строгом

За царицею полей.

Потому в солдатском tolke,

По достоинствам своим,

Признан был героем Теркин

Как бы общевойсковым...

И совсем не по закону

Был бы он приписан мной —

Вдруг — по ведомству какому

Или отрасли одной.

На него уже управа

Недействительна моя:

Где по нраву —

Там по праву

Выбирает он края.

И не важно, в самом деле.  
На каком теперь посту —  
В министерстве иль артели  
Занимает высоту.

Там, где жизнь.  
Ему привольно.  
Там, где радость.  
Он и рад.  
Там, где боль.  
Ему и больно.  
Там, где битва.  
Он — солдат.

Хоть иные батареи  
И калибры встали в строй.  
И всему иной покрой...  
Автор — пусть его стареет,  
Пусть не старится герой!

И такой сюжет для сказки  
Я избрал не потому,  
Чтобы только без подсказки  
Сладить с делом самому.

Я в свою ходил атаку.  
Мысль одна владела мной:  
Слажу с этой, так со всякой  
Сказкой слажу я иной.

И в надежде, что задача  
Мне пришла по плечу,  
Я — с чего я книжку начал,  
Тем ее и заключу.

Я просил тебя покорно  
Прочитать ее сперва.  
И теперь твои бесспорны,  
А мои — ничто — права.

Не держи теперь в секрете  
Ту ли, эту к делу речь.

Мы с тобой на этом свете:  
Хлеб-соль ешь,  
А правду режь.

Я тебе задачу задал,  
Суд любой в расчет беря.  
Пушки к бою едут задом —  
Было сказано не зря.

1954 — 1963

# ЗЛОБА ДНЯ

А.Твардовский

М.Гефтер

**407** Душа и злоба дня

*Из рабочих тетрадей 60-х годов*

**409**

Встречи без встреч

*Из рабочих тетрадей 60-х годов*

**460**

*3.IV.66.Пахра*

Чернил давнишних блеклый цвет

**461**

После самого страшного



М. Гефтер

Душа и злоба дня

Душа человеческая и злоба дня —

не извечные ли оспориватели друг друга?

У злобы дня — твердые, обозримые границы во времени и в пространстве: душа же, по смыслу, по происхождению своему — беспредельна, обращена ко всем людям, ко всем переживаниям и бедам, стало быть, она неизменно больше того, что сможет сделать и понять, и увидеть, и изведать отдельный человек в отмеренных сроках жизни. Знает это человек и не соглашается.

Вот что она есть — душа: несогласие с собственной ограниченностью, с недостачей сил — и времени! —

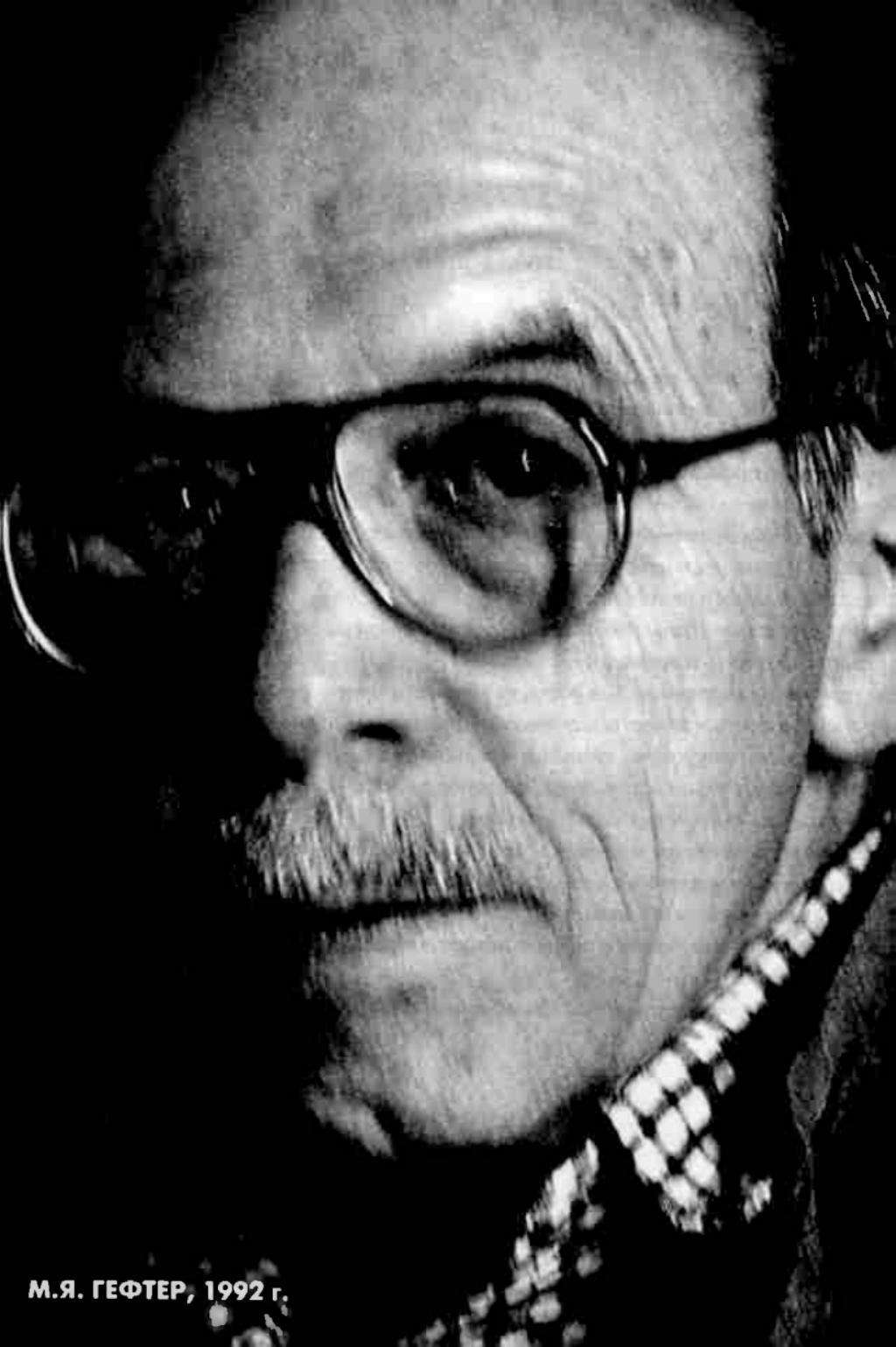
для помощи, сострадания, для всего, что невинятно именуется добром, обретая строгость, точность, однозначность лишь в столкновении со злом, которое всегда приурочено, сиюминутно, «конкретно»...

И когда говорим — злоба дня, то сразу ощущаем беспокойство, сразу догадываемся: что-то грозит людям.

что-то не устраивает их, и хотя не всех и, быть может, не в один присест, но чувствуем: не исключена цепная реакция, способная достигнуть каждого, грозящая вселенским обвалом...

Впрочем, не подставляю ли я под всю историю людей «свое» столетие и уже — «свои» десятилетия его?

Переверни вопрос: откуда душа? Первозданна ли...



М.Я. ГЕФТЕР, 1992 г.

А.Твардовский  
*Из рабочих тетрадей 60-х годов*

<...>

**1965 год**

**17.VI. Утреннее:**

<...> ...Намечается несколько вешиц  
«Памяти матери»:

1. «Перевозчик»
2. Рожденный под елкой<sup>1</sup>
3. Весна без нее.

И м[ожет] б[ыть], еще что-нибудь,  
и что-нибудь, речь о себе, обо всем са-  
мом дорогом в этом мире — что от нее  
у меня.

**19.VI.65. Б[арвиха].**

Прощаемся мы с материами  
задолго до крайнего срока.—  
Еще в нашей юности ранней,  
еще у родного порога;  
Когда потеплее носочки  
для нас выбирают их руки,  
А мы, опасаясь отсрочки.  
К назначенней разлуке.  
Разлука еще безусловней  
для них наступает попозже,  
Когда мы о воле сыновней  
родных извещаем по почте.  
И карточки им посылая  
каких-то девчонок безвестных,  
От щедрой души позволяем

<sup>1</sup>Стихотворение в цикл «Памяти ма-  
тери» не вошло. Опубликовано  
впервые под заголовком «Такою от-  
мечен я долей бедовой...» в «Новом  
мире», 1966, № 12.  
Здесь и далее подготовка публи-  
кации В.А. и О.А. Твардовских.  
Примечания В.А. Твардовской.

заочно любить им невесток.  
Но полная степень разлуки  
и с ними, и с юностью краткой,  
Когда за невестками — внуки,  
а там уже все по порядку.  
До самого этого часа,  
когда ты, родимый сыночек,  
За гробом идешь, — седовласый,  
и нет уже больше отсрочки.<sup>1</sup>

Помнится, были какие-то юношеские стихи об отце, о приезде на родину, где отец

Не предлагает мне невест,  
Он знает, — сам найдешь.  
(Не обсуждает мой приезд —  
Приехал — ну так что ж)?<sup>2</sup>

Вчера присяжали Дементьев, Кондратович, Лакшин. Дела плохи, журнал как в блокаде. Есть слух, что будет стоять вопрос на идеологич[еской] комиссии. «Надо кончать» — такие слова будто бы говорил нынешний зам[еститель] Демичева Степаков, опубликовавший в «Известиях» статью Вучетича. (Отдыхающая здесь сотрудница «Известий» Любовь, кажется, Михайлова, фамилии не знаю, подходила ко мне выражать сочувствие по поводу этой статьи, напечатанной без ведома редакции и переживаемой «всеми в редакции» как стыдное дело, потрясая версткой нашей подборки читательских писем, так и не попавшей и в № 6).<sup>3</sup>

Бессовестная подсказка Поликарпова<sup>4</sup> (через третьестепенных работников отдела) мне и Симонову взять обратно наше письмо о «Театральном романе» Булгакова.<sup>5</sup>

Дементьев уже, по словам Лакшина, говорит, что он готов пойти на пенсию. Твардовский мол, тоже не пропадет, а вы, молодые, какнибудь перебьетесь. Лакшин шутит о себе: в конце концов могу намахать листов 30 об Ост-

<sup>1</sup>Черновой вариант стихотворения из цикла «Памяти матери».

<sup>2</sup>Из Рабочей тетради 1935 г. [с пометой: «Из московских стишков 1929 г. — лето». «Его подъемлет мой приезд, / Он от души хорош. / Не предлагает мне невест, / Он знает: сам найдешь...»] («Литературное наследство», т. 93. М., 1983. С. 364).

<sup>3</sup>Александр Григорьевич Дементьев и Алексей Иванович Кондратович — заместители главного редактора «Нового мира». Владимир Яковлевич Лакшин — член редакколлегии. П.Н. Демичев — секретарь ЦК КПСС по вопросам идеологии, член Политбюро, В.И. Степаков — в ту пору главный редактор «Известий», зам. заведующего Отделом пропаганды ЦК. Л.М. Иванова — работник отдела школ и вузов редакции «Известий». О выступлении Е. Вучетича против программной статьи А.Т. «По случаю юбилея» («Новый мир», 1965, № 1) см. записи в мае 1965 г. («Знамя», 2001, № 12).

<sup>4</sup>Поликарпов Д.А. — заведующий Отделом культуры ЦК КПСС в 1945–1965 гг. См. о нем в Рабочих тетрадях 1961–1965 гг. («Знамя», №№ 6, 7, 9, 11, 12; 2001, № 12).

<sup>5</sup>В письме А.Т. и К.М. Симонова (председателя комиссии по литературному наследию М.А. Булгакова) в Отдел культуры ЦК оценка Главлитом «Театрального романа» М. Булгакова как «злобной клеветы на коллектив МХАТ» определилась как «неквалифицированная и безосновательная», а запрет романа — как цензурный произвол. Авторы письма просили отменить решение Главлито. (Архив А.Т.) О сопротивлении цензуры публикации «Театрального романа» см. в Рабочих тетрадях 1963–1964 гг. («Знамя», 2000, №№ 9, 11, 12).

ровском (давняя его работа, к которой он остыл) да еще и докторскую получить.<sup>1</sup>

Мы, четверо, т.е. я, Дементьев, Лакшин, Кондратович,— это и есть собственно редколлегия журнала, которой нечего уже терять, кроме журнала,— зашли далеко и глубоко. Но Моряков и Герасимов, пожалуй, могут и при коренных изменениях оставаться на месте.<sup>2</sup>

Третьего дня — беседа с Палмом Даттом (по его настойчивой инициативе). Наивность: его вопросы он бы должен направить в иную инстанцию,— на такие вопросы я сам хотел бы получить ответы и разъяснения.<sup>3</sup>

Оля сдала «костюм» на отлично<sup>4</sup> — рад за нее, радешенек. м[ожет] б[ыть], не меньше ее самой.

#### 20.VI.65. Барвиха

Завтра мне исполняется 55. «Это много»,— записал в «Дневнике» Эд. Гонкур по поводу 50 своих<sup>5</sup>. Правда, в 70 он помышлял прожить еще лет десять для осуществления своих замыслов. Эта книга, кстати сказать, так полна темы возраста, смерти, что при моем «обостренном чувстве» этого дела я иногда испытывал такое приближенное к своей плоти и духу дыхание этой неизбежности, что старался не оставаться долго с этой приближенностью. Все вспоминается, как мать говорила о самочувствии в ее возрасте: тоскли-и-во. Казалось бы, я уж «отписался» от этой темы в статье о Бунине, ах нет — это только те обязательные слова, которые положено говорить по этому поводу.

Книга Гонкуров интересна, полна тонких характеристик и наблюдений литературной жизни и явлений искусства, но мне чужда их тенденция отгородиться от большой общенародной жизни барьера литературы, мастерства, «артистизма». Собственно, натурализм для них (для Эдмона) не более, как их «жила», которую они застолбили и разрабатывали в целях

<sup>1</sup>После разгона «Нового мира» в 1970 г. В.Я. Лакшин работал в редакции журнала «Иностранный литература». Выпустил книгу «Островский» (М., 1976). Стал доктором филологических наук и академиком Академии образования.

<sup>2</sup>Александр Моисеевич Моряков ушел из редакции «Нового мира» вскоре после ухода А.Т. Евгений Николаевич Герасимов — член редколлегии журнала с 1958 г., зав. отделом прозы — оставил редакцию в июле 1965 г., не сработавшись с ведущим редактором отдела А.С. Берзер. (См.: В. Я. Лакшин. Дневник и попутное. // «Литературное обозрение», 1994, №№ 11, 12. С. 40).

<sup>3</sup>Датт Раджани Палм — историк и публицист, деятель компартии Великобритании, в 1965-м ее вице-президент. П. Датт спрашивал А.Т. о причинах непоследовательности в разобличении культа Сталина, о том, сколько людей погибло в лагерях и т.п. (Лакшин В.Я. Указ. соч. С. 39).

<sup>4</sup>Имеется в виду экзамен в Художественном училище «Памяти 1905 года», где училась младшая дочь А.Т.

<sup>5</sup>д'Гонкур Эдмон и Жюль. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы в 2х томах. Пер. с франц. См. записи об этой книге в мае-июне 1965. («Знамя», 2001, № 12).

самоутверждения в искусстве, в целях бессмертия. Как жалки самонадеянные апелляции к XX веку, который поймет и вознаградит их за недооценку их первооткрывательской роли в XIX в. Много, слишком много мелочной заботы об этом. Как это противно, когда писатель в старости говорит, что прекращает писание из опасения написать хуже прежнего,— мыслимое ли дело такая своекорыстная озабоченность мастерством при наличии необходимости высказаться («не могу молчать!»). В книге этой много жизни, автор интересен как персонаж ее, но читать их романы ни малейшего позыва. Ограниченно чисто «французская» в недоброжелательстве к русской и скандинавской литературе с их идейностью, «политикой». Очень мелки и Доде, и Золя, и сам Гонкур в сравнении с нашими,— дельцы, себялюбцы, буржуа.

Прошелся с огнем и мечом (это слишком громко) по «Сельской хронике» — много опустил стихов, решил и раздела «Юношеские» не делать — взять из ранних лишь самые памятные. Как много в ней («Хронике») навязанного временем. Еще и остались там, — может быть, еще выброшу, — такие напряженно-«идейные» стихи, как «Сын к отцу прилетел попрощаться» или «Дорога». Много сохранившихся стихи, в которых была какая-то моя личная необходимость, какой-то отголосок непредуказанных настроений. Каким, например, фальшивым довеском к «Братьям» выглядит сейчас вторая половина стихотворения. Сколько я потратил сил на «подворачивание» себя, своей биографии, своей сущности к требованиям и понятиям тогдашних лет. Но без этого «подворачивания», пожалуй, не было бы меня, а был бы вроде Рыленкова (но все же лучше) певец родных перелесков и всяческого «разногравья».

В «Муравии» восстановливаю выброшенные еще в первом издании две строфы из «кулацкой свадьбы»:

Их не били, не вязали,  
Не пытали пытками.  
Их везли, везли возами  
С детьми и пожитками.  
  
А кто сам не шел из хаты,  
Кто кидался в обмороки.—  
Милицейские ребята  
Выводили под руки.

Вчера на утренней прогулке завязались строчки этого пустяка для «Записной книжки»:

— В живых-то меня уже нету,  
Забытой старушки такой.

Как есть — в отпуску с того света.—  
Зато благодать и покой.

Гуляй себе, житель вчерашиий.  
На лавочке сядь, посиди.  
Мне даже и смерти не страшно —  
Она, как и жизнь, позади.

И чем же мне худо? Не худо  
Погреться на солнышке всласть.  
А кто не мечтал бы оттуда  
Сюда на побывку попасть.

Добро — ни забот, ни хлопот.  
И денег почти что не трачу,  
А пенсийка тоже идет.<sup>1</sup>

Неотчетливо.

«Завершается реконструкция здания Театра сатиры. И первый спектакль, которым «новосель» откроют очередной сезон. — поэма Александра Твардовского «Теркин на том свете»... (Лит[ературная] газ[ета]. 3.VI.65).

Не верю, хоть Оля и передает (на днях со слов Б. Новикова)<sup>2</sup>, что уже первый акт отрепетирован и очень хорош. и театр хотел бы мне показать.

<sup>1</sup>Черновой вариант стихотворения «В живых-то меня уже нету...». Опубликовано впервые в журнале «Юность» (1967, № 5).

<sup>2</sup>Б.К. Новиков — народный артист РСФСР, в спектакле театра Сатиры «Теркин на том свете» исполнял роль друга Теркина. Теркина играл А.Д. Попонов.

#### 21.VI.65. Барвижка.

Мне приятно, что, встав сегодня в первый раз в пять, во второй в семь, т.е. с досыпом, не вспомнил, не отметил про себя, что это день рождения. Только уже переставляя букетец оленевых рожек на столе (Оля), вспомнил и увидел на моем хозяйственном столе между графином и термосом другой букет — белая сирень, пионы с бутонами и нарциссы (Маша) из нашего сада в Пахре (как будто здесь мало этого добра!). Вчера они привезли, пробыли недолго, Оля торопилась к своим занятиям, да и это время прошло в моих излияниях по поводу козней, чинимых «Новому» Миру, инстанциями. Яблони все хороши, нынешние дожди их, говорит Маша, заметно ободрили, и даже та, «утловая», что еле-еле просыпалась, когда я заезжал на дачу, теперь веселей и веселей. Ракитовые колышки тоже, говорит Оля, ничего. Эти дожди им самая благодать.

Итак, — формально — до нынешнего дня уже пять лет мне было за пятьдесят, отныне под шестьдесят. Конечно, это уже где-то на середине второй половины жизни (в лучшем случае), но если уж так заплыл, то не назад же

возвращаться — до того берега, откуда вошел в воду, уже куда дальше, уже не доплыть — остается тянуть до другого. — На этом оставим «гонкуровскую» тему. Долго человек кокетничает, «психологизирует» по поводу возраста, но ощущение его (возраста) невеселой и необратимой реальности несколько отстает, — однако постепенно выравнивается с ним. Хорошо бы, конечно, переживать старение, упадок сил, всяческие потери (волос, зубов и т. п.) как временное хоть и горькое состояние — вроде временного пребывания вне партии с надеждой на восстановление. Но здесь это состояние предшествует (как в 37 г.) лишь еще худшему — в несколько большем отдалении во времени. — Но, чур, на этом точка. —

Правда ли, нет — еще один исторический анекдот. Н[икита] С[ергее]вич] попросился на прием к Брежневу, тот его принял, в присутствии всех членов Президиума или части их, в готовности услышать какие-то признания, предложения общезначимого порядка. Но тот, говорят, попросил построить ему гараж (несколько машин — зятя, сына и т. д.), переселить его из городской квартиры в особнячок, повысить пенсию и переменить «Волгу» на «Чайку». М. б., думаю, он схитрил, увидев, что наедине с ним не хотят беседовать, но, м. б., так оно и есть, что иных забот у него уже не было.

### 23.VI.65. Барыня

Записи отвлекают от прямого дела, — если утро ушло на какое-то дело, то уже трудно взяться за них.

Вчера была годовщина начала войны. Почти четверть века назад было такое же, как вчера, утро под Звенигородом, я сидел над уже задуманным, но очень туго шедшим «Теркиным», — подумать, что осуществлением этой вещи я обязан этой ужасной войне. Но тем, что пережил эту ужасную войну, я обязан «Теркину»<sup>1</sup>. Счастливчик — можно сказать, но что же тогда сказать о Симонове, которому без войны не видать бы своего литературного «Клондайка». Но и война не сделала из него художника. —

Вычитал два тома (I и III). Как-то совпало, что переход из «под 50» в «за 50» совершился при пересмотре всего написанного мною, а я, так часто оглядывающийся на свое «наследие» мысленно, суммарно, теперь должен пройти и это: трезвую, один на один с самим собою оценку всего этого<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Над «Теркиным» А. Т. работал с осени 1940 г. под впечатлениями Финской войны. В дни Отечественной войны замысел поэмы и образ ее героя существенно изменяются. См. подробнее: Твардовский А. Т. Как был написан «Василий Теркин». (Ответ читателям.) // Его же. (Собр. соч. в 6ти томах. Т. 5. М., 1980. С. 101-142). О дне 22 июня 1941 г. см. очерк А. Т. «Память первого дня», написанный по Рабочим тетрадям 1941-1942 гг. (Там же. Т. 4. М., 1978. С. 225-227).

<sup>2</sup> Речь идет о подготовке 5томного собрания сочинений А. Т. для Гослитта, первые два тома которого вышли в 1966 г. См. также записи 1 февраля, 1 и 2 июня 1965 («Знамя», 2001, № 12).

Многое «отболело», особенно в стихах, написанных с «мужественным» стремлением к «радостной теме» — были и такие понятия и «установки». Из «Сельской хроники» вымахнул полтора десятка вещей. Но еще остались там вещи, написанные тщательно, старательно, с затратой известных «запасов» моей «самобытности», но напряженные и конструктивные, сейчас помертвевшие («Сын к отцу прилетел попрощаться», «Семья кузнеца» и др.).

В «Стране Муравии» до сих пор хороши главы зачина, — «Кулацкая свадьба», «Свояк», «Муравия», описательные строфы. Встреча с Бугровым, с по-пом. Попросту изумительна глава о Сталине. И вот что значит истинная непреднамеренность. Ведь глава оказалась напечатанной только потому, что в ней Моргунок понимался как темный, смешной в своей психологии «последнего единоличника» мужичонка, — таким и я старался его представить («и шишки все еловые»)<sup>1</sup>. Но теперь его «смешные» мечтания выглядят исторически вещими: не все сразу, не под один замах, дай «пожить чуть-чуть» — при земле, да при коне, «а там» — пожалуйста. И никто в литературе нашей не говорит так со Сталиным — это единственный случай сближения житейской народной, мужицкой труженической мудрости с «догмой» сверху, с «революцией» сверху, по инициативе государственной власти<sup>2</sup>. И, казалось бы, глава архикультовая — с этим выдуманным мной «легендарным» мотивом разъездов Сталина по стране, который (Сталин) первый раз выехал лишь на осмотр Беломора — памятника началу лагерного режима. (Где-то у нас лежит себе рукопись Витковского, инженера, который еще с тех пор начал «отбывание», с Соловков, а потом Беломорканала. Какая там картина прохождения парохода с писателями на борту мимо берегов канала, где стояли его строители — картина, данная их глазами. Боже, какой символический парад «творцов-певцов», изготовленных уже лгать по указке, умиляться и мудрствовать, и захлебываться).<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Слова из внутреннего монолога Моргунка: «И все твое перед тобой // Колодец твой и ельник твой, // И шишки все еловые... И никакой, ни боже мой — // Коммунизм, колхозы».

<sup>2</sup>«Товарищ Сталин! // Дай ответ, // Чтоб люди зря не спорили: // Конец предвидится ой нет // всей этой суэтии?.. // И жизнь на слом, и все на слом — // Под корень, подчистую...» В кавычках — почти дословная цитата из того раздела Краткого курса «Истории ВКП(б)», где речь идет о коллективизации (М., 1938. С. 291).

<sup>3</sup>Рукопись Д. Витковского «Полжизни» поступила в редакцию в 1963 г. С автором был заключен договор, но напечатать ее «Новому миру» не удалось. Опубликована в «Знамении» (1991, № 6).

Не самое худшее в поэме «колхозная свадьба» — все же это отражение первого «медового» периода «колхозной зажиточности», когда еще не все проели от экспроприированного добра, скота и т.д., когда еще не все настоящие землеробы разбежались, когда еще в народе жила иллюзия. Слабы и фальшивоваты главы о коне, «Верхом на коне на сером», «Тракторист», беспомощен финал встречи с Бугровым на базаре, а главное — натянут и фальшив Фролов, за которого меня больше всего хвалили, но которого сам я в душе отнюдь не считал лучшей главой, а только «необходимой». Фальшив в том, прежде всего, что такие «богатырские» семьи были семьями зажиточными и попросту кулацкими, беднота и всяческая пролетаризация начиналась с распада, разделов, ослабления таких «дворов». «Патриархальность» эта стала нравиться в литературе сразу же после того, как покончено было с патриархальностью, благообразием в жизни. Приходит сейчас на память «патриархальность» (фальшивейшая!) в рабочем классе («Журбины»)<sup>1</sup>, но сближение это нестерпимо для меня,— я фальшивил от чистого юношеского сердца, в самоотверженном стремлении обрести «благообразие» в том страшном неблагообразии и распаде деревни. —

«Дом у дороги» почти весь хороши по стиху, по тону, недаром его так кисло встретили, хоть и премию дали. Как мне это памятно: «Что ты хотел? Образ женщины-героини?» и т.п. (Поликарпов — дурак, Кожевников — мерзавец (тогда сидел в «Правде»).<sup>2</sup>

Среди «Послевоенных стихов» есть пре- восходные — «В тот день», «Я убит подо Рже- вом», — порядочно. — тот же «Разговор с Паду- ном», в котором слышатся отголоски «закрыто- го» тогда «[Геркина] на том свете», вплетенные в сибирскую фактуру (тоже и в «Московском】 утре» и в «Далах» — «Фронт и тыл»).

Перечитывая «Дали», увидел, что последняя перепланировка по совету Дементьеву была спасительной для этой книги, писанной в «две эпохи», рывками, толчками, порывами — с еле уловимой внешней связью отдельных частей. Так и осталась неловкость с образом «друга»: то это «друг детства», то Фадеев. Но уж исправлять поздно. Мыслится «Допол-

<sup>1</sup> Роман В. Кочетова «Журбины» о рабочей династии, вышедший в 1952 г. одновременно в Москве и Ленинграде, переиздававшийся более 20 раз, был официально признан лучшим произведением о рабочем классе.

<sup>2</sup> Имеется в виду отказ редакции «Правды» напечатать отрывок из поэмы «Дом у дороги», предложенный автором газете летом 1945 г.

нительная глава» («Сын за отца не отвечает»), которая была бы сейчас еще одним антикультовым выходом в нынешней ситуации, оживившей в каких-то рядах и кругах тенденции к «реставрации» культа.<sup>1</sup>

Вчера на утренней прогулке косят круглый лужок, что справа от шоссе по дороге к мосту. Травой этой любовался еще накануне: одуванчики, высокие, жирные, еще не осыпались, а уже распустились ромашки — луг белый, молочный поверху, а понизу — дикий или подсевянный — клеверок и всякая «едомость». Косить — радость, попросил косу (дурную, с косовьем в оглоблю, тяжелую), прошел прокос. Гляжу, сгребают вилами траву в кучи. — оказывается, она пойдет в силос. — дичь, глупость такое сено губить. А ребятам — что? — ни малейшего хозяйствского чувства. — смахнуть. спихнуть, выполнить норму. —

По двум-трем телеграммкам внизу узнали (Марья Ивановна) о моем — минувшем — дне рождения, поставили в комнате букет сирени. Да Валя еще привезла из внуковского нашего сада букет французской и венгерской. Да стоит бедненький букетик белой — из Пахры, что привезли Маша с Олей. Пиончик с нераспустившимся бутоном так и повиснул головкой — не распуститься ему. — понимаю, какая это жертва со стороны Маши.

#### 25.VI. Вчера и сегодня] утром:

Давным-давно, допустим, это было:  
Дворами передвеше село  
Из той беды, из нёмощи унылой  
За годом год подняться не могло.  
  
Поля машинам уступили кони,  
Но не рядилась праздником страда.  
Смолкали песни, глухнули гармони  
И женихи смывались — кто куда.  
  
Затравенели старые подворья.  
Навесы, пуньки — все пошло на слом.  
И ни одной семьи, чтоб в полном соборе  
Хоть раз в году сидела за столом.  
  
Края родные, что же с вами стало?  
Какая непостижная судьба?  
  
Но не рядилась праздником страда.  
Смолкали песни, глухнули гармони  
И женихи смывались — кто куда.

<sup>1</sup> Над главой «Сын за отца не отвечает» А.Т. работал с 1963 г. (см. Рабочие тетради 1963 г. [«Знамя», 2000, № 9. С. 168-169]. Задуманная как дополнительная к поэме «За далью даль», она стала основой поэмы «По праву памяти», опубликованной посмертно [«Знамя», 1987, № 2]).

Затравенели старые подворья.  
Навесы, пуньки — все пошло на слом.  
И ни одной семьи, чтоб в полном собре  
Хоть раз в году сидела за столом.

Края родные, что же с вами стало?  
Какая непостижная судьба?  
Не только юность, но уже и старость  
На городские зарилась хлеба.

Казалось бы, какая в мире сила  
Ее поманит от родных могил.  
Давным-давно, допустим, это было,  
Но ты когда в последний раз там был?<sup>1</sup>

Это из старого наброска. Взявши за него, завернул было в самую что ни на есть прозу:

Подумать только, что при нашей власти,  
На нашей вольной и родной земле  
Немыслимые странности и страсти  
Творились год за годом на селе.

Вздыхали деды и смущалисьнуки,  
Страде обычный подводя итог:  
Казалось бы — ни шагу без науки,  
А в зиму снова — зубы на полок.

И не понять, казалось, в чем причина,  
Все наставленья были хороши:  
То пласт ворочай плутом в пол-аршина,  
То в полвершка, то вовсе не паши.

И нынешняя заповедь вчерашней  
С неспешным звоном шла наперерез.  
То лес корчуй, для расширенья пашни,  
То огороды запускай под лес.

И шутка ли, что в той ржаной России,  
Что хлебу поклонялась от веков,  
На сено рожь зеленую косили,  
Не успевая выкосить лугов<sup>2</sup>.

И сельские домишко поисправней,  
Размеченные плотничым мелком.

<sup>1</sup>Набросок, положенный в основу стихотворения «На новостройках в эти годы...». Впервые опубликовано в «Новом мире», 1965, № 9.

<sup>2</sup>Начало работы над стихотворением «А ты самих послушай хлеборобов...». Впервые — там же.

Перебирались правдой и неправдой  
В районный центр с шофером-леваком.

Из этого что-то может получиться, но, пожалуй, другим размером.

Еще набегало днями, но что-то не то.

Мне памятны с детства неясные толки,  
Что я по-иному, чем прочие дети.  
На свет появился,— что я из-под елки:  
Родился в лесу и прижился на свете.

И не были эти в обиду мне службы.  
Что я из-под елки. Ну что ж, из-под елки.  
Зато, как тогда утверждали старухи,  
Таких, из-под елки, не трогают волки.

Такая особая выпала доля.

Мать —

Гребла на опушке сенцо молодое,  
Пора подошла — далеко до постели.  
И так принесли меня с поля —  
С налипшей на теле еловую хвоей...<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Первоначальный набросок стихотворения «Такою отмечен я долей бедовой....». Впервые — в журнале «Юность», 1967, № 5.

Кажется, записывал где-то этот рассказ мамы о моем рождении именно под елкой. Налипшая хвоя — это ее слова, — иголки, иголочки.

День облачный, но теплый, по-настоящему летний, хотя нынче так все запоздало — не было теплой весны. Две последние ночи — теплые, летние. Запах сена, там-сям подкошенного в парке у озера, вдоль дорожек. Запах сена — говорят — как будто это один запах, — их множество; хотя все они запахи сена.

- Только что подкошенного с росой — это собственно запах луга, только усиленный срезом живой травы, запах травяного сока;
- запах обвязой в первой половине дня травы;
- запах подсохшего готового для сгребания сена — в полдень и пополудни, в свежести вечера, в росистой свежести и прохладе ночи;
- зимнего сена, сена в стогу, в сарае, в сенях, в хлеву — пополам с запахом навоза. Еще затыкали кувшинки с крещенской водой клоком сена;
- окропленного дождем сена, даже скошенного луга, где остались былинки и лугована «стерня» — после дождя.
- Сгоревшегося в копне, пыльного, погибшего, гнилого сена. —
- Это по стадиям, а еще и по качеству, по роду травы: клевера — дикого и культурного, клевера с тимофеевкой, клевера первого года, который

иногда подкашивают на подкормку — пополам с соломинками, жнивьем; сена молодой травы и травы перестоявшей, когда уже звенит звенец и лопаются стручки мышиного горошка; сена с заливного луга, с заболоченных лугов, особо — осоки и «двора», лесных трав — жирных, крупных — рябинник, медуница, «лапка», иван-чай и др. <...>

## 26.VI.65

Гулял по «большому кругу», проложенному по значительной части лесопарковых здешних угодий, любуясь мощными и высоченными стволами елей и сосен, каких уже не встретить в иных, не охраняемых зонах. Не могу отвлечься от перенятой у отца практически-хозяйственной мечтательности насчет всех этих богатств, как если бы я был единоличным владельцем всего этого, или председателем колхоза, или директором совхоза — сколько здесь можно сделать разумных вырубок за счет перестоявших, уже утрачивающих в своей ценности стволов, сколько можно было бы попилить досок, бруса, теса, сколько подобрать дров в результате «рубки ухода». Но отец не был при этом лишен чисто созерцательного восхищения такими дарами лесной природы. — Так же и я. Я даже не умею представить себе восхищение всем этим безотносительно к возможным воздействиям на все это топора и пилы. Мне почти мучительно хочется подчистить здешние чудесные — ближе к краю парка, вдоль озера — престарелые сосны, спилить у них сухие торчки обломившихся некогда сучьев, разнять переплевшиеся и удушающие друг друга деревья разных пород, подобрать належник. — А здесь и садовые насаждения просят подчистки от «волчков» и безобразящих корон лишних сучьев, отростков из-под корня. — Где-то в русской литературе есть полусумасшедший и, кажется, запивающий, словом, беспутный помещичий сын, занимающийся в периоды «каникул» обрезкой старых деревьев в саду.

## 28.VI

Вчера и сегодня утром — по старому наброску:

На выезде с кремлевского подворья  
За выступом надвратной Спасской башни  
Стоит еще не старая береза.  
Ровесница, пожалуй. Октябрю.  
Из-под стены пробилась самосевом  
И, отклоняясь от кирпичной кладки.  
Растет, свисая кроной однобокой,  
Как будто с деревенского задворка.  
С лесной опушки, с берега речушки

Вдруг на обстой сюда перебралась.  
И здесь, где нет дороги пешеходам,  
Где только по звонку, блюда черед.  
Ныряют под ступенчатые своды  
Машины вниз, на площадь из ворот —  
Тем седокам она уже полвека  
На краткий миг бросается в глаза.  
Сестра родная всех берез на свете,  
Что по другую сторону стены.  
Но если бы она имела память!<sup>1</sup>

Вечерние беседы на замедленных прогулках с Коневым<sup>2</sup> и др[угими]. Господи, господи. —

Двухсерийный фильм «Великая Отечественная»<sup>3</sup> — мозаика из обрывков кинохроники нашей и заграничной (больше всего немецкой). Объявлялся он в печати под названием «Ради жизни на земле» — эта строчка уже полностью обезымянилась, даже О. Бергольц в недавней статьице, так она и в фильме мимоходом приведена: «стояли насмерть ради жизни на земле». Но я помню возражение, кажется, Фадеева на эти строки.— «не ради славы, ради жизни», — почему же? И ради славы.

Грешным делом, когда шла уже вторая серия, подумал, что в этом киноиллюстрационном и озвученном обзоре истории войны (безнадежное дело!), где нашлось место песням Кумача, Суркова и еще кой-кого, могло бы поместиться что-нибудь из «Теркина», — есть кадры, что хоть вставляй в соответствующие главы книги. Потом утешился, когда голос ведущего привел строфу «Хоть серьезный, хоть потешный...». Лучше, мол, Твардовского не скажешь, — это, конечно, тоже «готовые слова» — не больше.

А сейчас (нет, не только сейчас) подумалось, что можно все-таки сделать фильм по Теркину, даже может быть со включением этого документ[ального] материала, но со введением в действие стиха. Без меня этого сделать невозможно, а я не умею или робею. —

<sup>1</sup>Продолжение работы над стихотворением «Береза», начатым в 1962 г. См.: Рабочие тетради 1962 г. («Знамя», 2000, № 7. С. 105). Впервые опубликовано в «Новом мире», 1966, № 12.

<sup>2</sup>Конев Иван Степанович — маршал, дважды Герой Советского Союза, член ЦК КПСС. Воспоминания И.С. Конева печатались в «Новом мире» (1965, №№ 5-7).

<sup>3</sup>Фильм «Великая Отечественная» (1965) — режиссер Р. Кармен, сценарий С.Г. Нагорного и Г.Н. Кублицкого.

«Береза» напомнила, что среди бесчисленных и безнадежных вариантов гимна были какие-то строчки «не гимнические», которые просились в дело помимо гимна:

Часов кремлевских бой державный...  
О том ли пишем, чем живем и дышим,  
О чём угодно, только не о том.

### 30.VI

Вчера образовался выходной. Встав в 5 ч., пошел искать грибы, уверившись в их реальности по тем белым, которые увидел на прогулке за оградой у парня в авоське и принял было их за булки. Набрел на один-единственный крупный и здоровый боровик в парке, повыше братского кладбища, исследовал очень грибной с виду рельеф вокруг карьера, но еще нашел 3 масленка и один не очень свежий подберезовик. Подбрал Марье Ивановне вроде букета цветов — была довольна — недоспавший сидел за столом. Несколько раздраженно и не во всем справедливо говорил с Валей о ее статье о Кропоткине<sup>2</sup>, а она умница, терпеливо слушала и мягко, но основательно возражала по частностям, признавая, что в целом у нее «по-видимому, не вышло». Вечером смотрел странный и очень глупый фильм «Гранатовый браслет», в котором купринский образ жалкого и малограмотного маниака Желткова «осмысливается» как противостоящий «Санинщине»<sup>3</sup> и т. п. Введен Куприн, довольно пошлый, разъясняющий зрителям «идейный смысл» своего «произведения» (так он и говорит: «мои произведения») посредством интервью некоему английскому репортеру.— Зачем это я.

Сегодня «доводил» кое-как опять же старый набросок.

Как сладок был тот шум сонливый  
И неусыпный полевой,  
Когда в июне, до налива,  
Смыкалась рожь над головой.

<sup>1</sup>Строки стихотворения «Береза»:  
«Чтоб возле самой башни мировой //  
Ее курантов спущать мерный бой //  
И города державный рокот...» по-  
своему перекликается с куплетом  
гимна СССР, написанного А.Т.: «Ча-  
сов кремлевских бой державный //  
Несется вдаль от стен Кремля // Как  
песнь судьбы большой и славной // /  
Твоей, Российская земля...». О рабо-  
те над гимном СССР А.Т. вместе  
с композитором Г.В. Свиридовым  
см.: В.А. и О.А. Твардовские. Гимни-  
ческие усилия. («Независимая газе-  
та», 2000, 1 августа)

<sup>2</sup>А.Т. критиковал мою вступительную статью к «Запискам революционера» П.А. Кропоткина (М., 1966) за тот самый «академически-монографический стиль», власте в который так бо-  
ялся в своей статье о Бунине.

<sup>3</sup>«Санинщина» [от имени героя романа М.П. Арцыбашева «Санин»] — восприятие любви как плотского чувства.

И трогал душу по-другому.  
Чем шум в просторах полевых,  
Невнятный говор или гомон  
В вершинах сосен боровых.

Но эти родственные шумы  
Иной порой, в краю ином  
Как будто отзовик давней думы  
Мне в шуме слышались морском.

Распознавалась та же мера  
И тоны музыки земной.  
Все это жизнь моя шумела,  
Что вся была еще за мной.

Теперь она идет на убыль —  
Уже не в гору, а с горы.  
Но не скажу, что мне не любы  
Ее предвестья той поры.

И все, что мне она вещала,  
Что обещала мне она.  
Как песню хочется сначала  
Прослушать — даром что грустна<sup>1</sup>. —

<sup>1</sup> Вариант стихотворения «Мне спадок был тот шум солнечный...», работа над которым началась в 1963 г. [См. Рабочие тетради 1963 г. // «Знамя», 2000. № 9. С. 163]. Впервые опубликовано в «Новом мире», 1965, № 9.

### 1. VII. 65. Еарвијка

Еще одну старую «баклужу» окружил:

Листва отпылала, и запахом поздним  
Настан осинник — грибным, спиртуозным.  
Отраден покой, и отрадна усталость,  
И думаешь даже: такую бы старость.

Чтоб нам не казалась досрочной, случайной,  
И все завершалось, как год урожайный.  
Чтоб малые ей помогали недуги,  
И нам под уклон — без хлопот, без натути.  
Взгрустнуть напоследки по белому свету.  
И — полный порядок. Да выбора нету:  
Бери, что дают, что случится. А впрочем,  
Еще погодим. Помудрим. Похлопочем.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Стихотворение «Листва отпылала алоя...» впервые опубликовано [в ином варианте] в «Новом мире», 1966, № 12.

2.VII

&lt;...&gt;

Вчерашинее это стихотвореньице очень плохое, ничтожное. Сегодня посмотрел другие свои вещицы кунцевско-барвихинского сидения.— нет, там есть кое-что. Конечно, в них нет выхода на большую просеку, в них еще трудно отрываешься от самого себя, иногда за ними мало чего, кроме желания «окрутить» еще одну «баклужу». Но без этого «междуматья» мне не обойтись. —

3.VII

&lt;...&gt;

Немыслимое дело в здешних условиях — на перекуре после столовой или на прогулке люди, порой не все зная друг друга, откровенничают на счет первого секретаря и предсоммина, критикуют, смеются, выслушивают самодурство глупости, фантастические несообразности его и признаются не только в нелюбви к нему, но в активной ненависти, подчеркивают свои несогласия с ним, упоминают о своих попытках на месте исправить положение. Но это делается именно в узком кругу, в порядке доверительности, крайней откровенности в наболевших вопросах,— все как если бы он был еще главой партии и государства.— Но когда был, молчали? — А что ж, пикнешь, никто тебя не поддержит и пойдешь за ни за что, ни про что.— И это-то не представляется самым ужасным, не бередит совести, принимается как нормальное. Охотно «воздают должное» Сталину, у которого «действительно были ошибки», а тут, мол, по поводу этих ошибок мы «сами себя грязью поливать», все зачеркивать и т.п. И это опять же — в узком кругу и сейчас, когда казалось бы...— Среди этого контингента может случиться и человек «побывавший там» и ныне реабилитированный — самое страшное, что иные из таких, пострадавших, могут поддержать общий разговор. Инерция, полнейшая отвычка от самостоятельного мышления,— что еще? Хотел сказать — малая теоретическая подготовленность, но вспомнил Постпелова<sup>4</sup>, которого, говорят, только уж придержали при излишествах в «воздаянии должного», — впрочем, то, что он зазубрил наизусть какие-то тома, не есть «теоретическая подготовленность». —

Возраст, по-видимому, редко со-впадает с субъективным ощущением. В детстве и отрочестве мы ощущаем себя старше, умнее, понятливее, чем полагается быть в таком возрасте. В юности сохраняем многое от детства и самоощущения (робость, склонность считать других более взрослыми, готовность уходить от нарастающих трудностей и «вопросов» в раковину

<sup>4</sup>П.Н. Постпелов — член ЦК КПСС, директор Института марксизма-ленинизма (ИМЛ). В 1954 г. был одним из инициаторов гонений на «Новый мир» и отстранения А.Т. от должности редактора журнала.

детства). — это в какой-то мере на всю жизнь: я нынешний 55-летний отец и дед, главный редактор, известный литератор, в какой-то степени — и тот, что оборудовал себе «кабинет» в предбаннике нашей последней бани. — Зрелый возраст особенно неохотно расстается с ощущением молодости, — еще очень недавно я чувствовал себя (про себя) молодым, хотя очень отчетливо отмечал про себя же зарубки возраста: 30, за 30, 40 и т.д. Сейчас уже и с этим приходится расставаться. Но сколько раз, в общении с почтенными, седыми и лысыми людьми, считаешь их куда старше себя, а н, глядь, — вроде этого Вас[илия] Ефимовича Чернышева<sup>1</sup>, тучного, лысого хриплоголосого секретаря крайкома. — он моложе тебя на год-другой. И еще — деревья, посаженные тобой когда-то, или те, что видел при посадке, как эта березовая аллеяка, что от гл[авных] ворот — я ее видел в первый или второй год посадки, — березки не толще моей палочки, в кнутовище — теперь настоящие деревья, сомкнувшиеся ветвями над пешеходной дорожкой. Или три елочки на въезде, где стоянка машин, я их помню такими, что мог бы трогать рукой их макушки — теперь, через 15 лет, — ели! —

Утром до прогулки:

Есть книги — волею приличий  
Они у века не в тени.

Из них цитаты брать — обыграй —  
Во все положенные дни.

В библиотеке иль читальне  
Любой — уж так заведено —  
Они на полке персональной.  
Как бы на пенсии давно.

Они — в чести. И не жалея  
Немалых праздничных затрат,  
Им обновляют в юбилеи  
Шрифты, бумагу и формат;

Поправки вносят в предисловья  
Иль пишут заново спеша.  
И — сохранийтесь на здоровье, —  
Куда как доля хороша.

Без них чредою многотомной  
Труды новейшие, толпясь,  
Стоят у времени в приемной.  
Чтоб на глаза ему попасть;

<sup>1</sup>Чернышев В.Е. — член ЦК КПСС.  
В 1943 г. — секретарь подпольного  
Барановичского обкома Белорус-  
сии, командующий партизанским  
соединением. С 1944-го — секре-  
тарь ряда обкомов. Герой Совет-  
ского Союза.

Не опоздать к его обедне,  
Не потеряться в тесноте.  
Но те, с той полки,— «кто последний?» —  
Не станут спрашивать в хвосте.

На них печать почтенней скучи  
Давненько пройденных наук.  
Но, взяв одну такую в руки,  
Ты, время, обожжешься вдруг.  
  
Случайно вникнув с середины.  
Невольно всю пройдешь насквозь.  
Все вместе строки до единой.  
Что ты вытаскивало врозь.

Тогда смекнешь, ее листая  
И взвесив бережно в руках:  
Она ль от нас с тобой отстала  
И устарела — или — как?!

## 5.VII

Вчерашний выходной ушел на Бека с его «Сшибкой» (занятно и существенно, но как всегда у Бека, несколько скандал~~е~~езно: Тевосян-Онисимов<sup>2</sup>).

Опус позавчерашиий, пустяшный, м[ожет] б[ыть], для «Записной Книжки»

Не жди, когда полномочной  
Такая станет пора,  
Что скажет твой друг заочный:  
— Не узнаю пера.

Пора эта — род недуга,  
И если сходишь на край.  
По крайности — прежде друга.  
Первым об этом знай<sup>3</sup>.

Буду пытаться толкать еще один вариант «сталинской» темы — «Сын за отца не отвечает»<sup>4</sup>. Это собственно личная тема — с ней нужно разделяться, не смущаясь тем, что это будет по стилю и по существу довеском к «Далям».

<sup>1</sup>Продолжение работы над стихотворением «Есть книги — волею приличий...». См. записи июня 1965 г. и примеч. к ним («Знамя», 2001, № 12).

<sup>2</sup>Роман А.Ф. Бека (первоначальные авторские названия «Онисимов», «Сшибка») дважды набирался, но многократно изымался из очередного номера цензурой как произведение, дающее «искаженную оценку эпохи индустриализации...», «сосредоточенное лишь на отрицательных явлениях того времени» [История советской политической цензуры. М., 1997. С. 558]. Опубликован после смерти автора. [Бек А. Новое назначение // «Знамя», 1986, №№ 10-11]. Многолетняя самоотверженная борьба за роман А.Т. отражена в дневниках А.Ф. Бека. [Бек А. Роман в романе. // сб. Взгляд: Критика. Полемика. Публикации. М., 1988; Его же. Из дневников 1964-1972 гг. Соч. Т. 4. М., 1994].

<sup>3</sup>Первый набросок стихотворения «Не жди, когда полномочной...», при жизни автора не опубликовавшегося. Впервые: Твардовский А.Т. Из неопубликованного. [«Комсомольская правда», 1972, 17 декабря. Публикация М.И. Твардовской].

<sup>4</sup>См. запись 23 VI и примеч. к ней.

«Сын за отца не отвечает»,—  
Сказал он, тот, что был один,  
Он сам, кого мы величали  
Уже тогда отцом родным.

Сказал с каким-то кратким жестом,  
Как будто про себя сказал.  
Но это было манифестом,  
И замер тот кремлевский зал.

Вам, из другого поколенья,  
Едва ль постичь до глубины,  
Чем было это откровенье  
Для виноватых без вины.

## 6.VII

Сын за отца не отвечает,—  
Так он сказал. не кто иной.  
А тот, кого мы величали  
Уже тогда: отец родной...

Вам, из другого поколенья,  
Едва ль постичь до глубины,  
Чем было это откровенье  
Для виноватых без вины.

Негромко сказанные с места  
Пять этих слов вошли в сердца,  
Как возвещенье манифеста  
В стенах кремлевского дворца.

Вам не грозит в любой анкете  
Вопрос графы сторожевой,  
Кем был до вас еще на свете  
Отец ваш — мертвый иль живой.

И ни в какой страде собраний  
Вас не встревожит тот вопрос,  
Ведь вы отца не выбирали.—  
Ответ сегодня был бы прост.

Но в те года и пятилетки,  
Кому — на грех — не повезло —  
Для соответственной отметки  
Подставь безропотно чело.

И со стыдом, с обидой жгучей  
 Не притаись — закон таков —  
 Будь под рукой всегда на случай  
 Нехватки классовых врагов.

Будь наготове вновь публично  
 Отречься лично от отца.  
 И услыхать упрек обычный  
 В который раз: — не до конца. —

Вчера был профессор-невропатолог: — я потерял бдительность и согласился на его посещение, навязанное лечащей невропатологичкой, — очень быстро от ног перешел к расспросам, не задерживаясь даже на том, сколько курю, — у самого папиросы — к тому, сколько пью и как часто и т.д. И так расстроил меня. Вдруг я увидел, что вокруг меня какая-то игра, оскорбительный круг недоверия и озабоченности одним-единственным!.. — Ничего не поделаешь.

#### 8.VII.65. Бараниха

Сын за отца не отвечает. —  
 Пять этих слов за дымкой дней  
 Лихой рубеж обозначают  
 Судьбы нередкостной моей.

Вам из другого поколенья  
 Едва ль постичь до глубины  
 Тех слов нежданных откровенье.  
 Для виноватых без вины.

Их обронил в кремлевском зале  
 Сам он, кто в мире был <для> всех одним,  
 Кого народы величали  
 На торжествах отцом родным.

Негромко сказанные с места,  
 Пять этих слов вошли в сердца  
 Как бы глаголом манифеста:  
 Сын — не ответчик за отца.

Вам, детям времени иного,  
 Должно быть только странен он —  
 Закон, что нам был уготован  
 Как будто с варварских времен.

Вам тряпн-трава в любой анкете  
Параграф тот сторожевой:  
Кем был до вас еще на свете  
Отец ваш — мертвый иль живой.

В страде полуночных собраний  
Вас не тиранил тот вопрос.  
Ведь вы отца не выбирали —  
Ответ по-нынешнему прост.

Но в те года и пятилетки,  
Кому — случись — не повезло —  
Для соответственной отметки  
Подставь безропотно чело.

И со стыдом и мукой жгучей  
Неси — чтоб знали, кто таков.  
Будь под рукой всегда — на случай  
Нехватки классовых врагов.

И сам проси покорно слова,  
Чтоб снова заклеймить отца  
И за спиной услышать снова,  
Что заклеймил не до конца...

И отбывая срам публичный,  
Ты вывод знаешь наперед.  
И даже друг твой закадычный  
В защиту слова не найдет.

И толку нету — как да что там —  
Пусть ты поведал обо всем,  
Что сам давно покончил счеты  
С утрупым извергом-отцом:

Что сам собой, еще мальчишкой,  
Отцовской воле предпочел  
Тот путь, куда манили книжки.  
И школьный дом, и комсомол.

Но здесь, куда ты половодьем  
Своей эпохи был влеком,  
Ты именуешься отродьем,  
Не сыном даже, а сынком.

Хоть, может быть, еще болынее  
Эпоха с теми обошлась.  
Чай и отец не спорил с нею  
И воевал за эту власть.

И шел за ней, на выгон вешний  
Коня с коровой выводил.  
И только в перечень кромешный,  
В поспешный список угодил.

Пусть это «лично», пусть не про то опять, что требуется, пусть даже не оснащено новизной стиха, но здесь я знаю, что сказать, мне есть что сказать, чего, пожалуй, так-таки и не сказано до сих пор. —

Опустело «время как-то» (по разговорам, по слухам). Ни «подъема», ни воодушевления в ком-нибудь.

#### 9.VII.65. Барвиха

Оказалось, что день отъезда — сегодня. Скудные итоги почти двухмесячного сидения в двух привилегированных заведениях при хорошем питании и относительной отрешенности от журнальных и иных дел. Собственно, говорить не о чем. Ладно, что хоть техническую работу по Собр[анию] сочинений<sup>1</sup> кое-как провернул.<sup>1</sup>

Время — точно опустело.

Действительно, читаю газеты, живу среди читающих газеты и даже редактирующих их, среди членов коллегий министерств, как мой сосед по столу С.П. Ефимов, и повыше — маршалов, министров, крупных пенсионеров, коим по самой их сути полагается быть «политиками», и никаких «дискуссий», мнений, рассуждений о проживаемом времени,— как ничего не произошло и не происходит: уженье рыбы, домино, кино — и все. Разговоры на редкость однообразные, плоскошупточные, пустоутробные. Время точно онемело.— в нем умолк нескончаемый затейник-оратор, а на место его словно бы никто не пришел,— как бы все в ожидании отсутствующего «старшего». Газеты вяло, по инерции взывают к кому-то о необходимости «убрать вовремя и без потерь», регистрируют фестивали, матчи, встречи, обеды, но все без чего-то,— трудно сказать — без чего именно.

Необходимо эти барвихинские впечатления рассеять дорогой, что-то подслушать, угадать нынешнее в ходе жизни.

<sup>1</sup>Речь идет о подготовке А.Т. своего пятитомного собрания сочинений.  
См. записи 20 и 23.VI.65 г.

План: решить вопросы о ремонте дачи, отыскать М[аши] и Оли, дождаться договора с Гослитом и т.п. И ехать, ехать. —

**16.VII.65. Пахри. —**

Возвращение, после почти двухмесячного «заточения» в Кунцеве и Барвихе, сюда — в свой дом, где уже прошел год, к своему столу, к заботам о древонасаждениях и т.п.— спокойное счастье.— Новомирская полка за 15 лет, которую приготовили М[аши] и О[ля] к моему приезду.— Косьба, перебазирование сиренек к сторожке, выкорчевка.— Вчера — первое в этом году, не считая Барвихи, где искупался разок в маленьком прудике, купание. Ужасающая замученность Маши, чьи силенки поглощает эта дача, эта спешка с дачи в город — из города на дачу, некоторая неприкаянность Оли, лишь отчасти компенсируемая фестивалем-кино, куда она ездит <...>. «Первые радости» — с первой поездки в город.

1) Крайне неприятная минута встречи с «дядей Димой» в Союзе, в кабинете Воронкова, где он совещался о чем-то с Марковым и Воронковым и при моем появлении был оборван разговор, точно вошел посторонний.<sup>1</sup>

2) На том же секретариате (сообщение Суркова о П[ариже]), через полчаса, когда я вышел покурить, «дружеские» мольбы Альберта Беляева забрать письмо о булгаковском «Театр[альном] романе» — мольбы «по поручению». Я: Я знаю, зачем я подписывал и отправлял (вместе с К. Симоновым) письмо в ЦК, но я не знаю и мне не объясняют: почему, зачем я должен взять его обратно и выставить себя мальчишкой, не соображающим, что он делает?<sup>2</sup>

3) Вызов к секретарю Тимирязевского РК Валентину Васильевичу Быкову для унизительных объяснений по поводу жалобы «избирателя». —

Сегодня еду, чтобы, может быть, сегодня же встретиться с П.Н. Деминым, кот[орый] по тел[ефону] сказал: «Мне тоже нужно с вами поговорить».

«Программа» беседы в кратчайших словах:

1) Успех журнала сложился в малой зависимости от меня и редакции. Его читают как никакой другой — очередь, запись в библиотеках, почта, отзывы-уподобления «Современнику», «Отеч[ественным] зап[искам]» и т.п. вплоть до заявления Х. Гйтисоло: «лучший в мире». И т.д. и т.п.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «Дядя Димо» — здесь и далее — Поликарпов Д.А., Воронков К.В. и Марков Г.М. — секретари Правления Союза писателей (ССП).

<sup>2</sup> О письме А.Т. и К.М. Симонова см. запись 19.VI и примеч. к ней, А. Беляев — зав. сектором Отдела культуры ЦК.

<sup>3</sup> Гйтисоло Хуан — известный испанский писатель, печатавшийся в журнале А.Т. (Гйтисоло Х. Нород в походе. // «Новый мир», 1964, № 2). В начале июля Гйтисоло посетил редакцию «Нового мира», рассказал о восприятии журнала за рубежом.

2) «Особое» отношение к журналу со стороны «отделов», цензуры и отдельных лиц редакторства: чуть ли не антисоветский журнал.

**«Формы и методы»:**

«Письма читателей» — по «Вологодской свадьбе»; по Теркину на том свете». Затыкание рта, задержание писем читателей (по Яшину, по Вучетичу), применение запрещенных приемов (Павлов).<sup>1</sup>

**Цензура.**

3) Если журналу быть — он должен быть поставлен в равные с другими условия.

Но я еще не знаю меры его возможного и вероятнейшего предубеждения и всей обстановки и нынешних настроений. Может быть, вопрос повернется и так, что придется спокойно и кратко сказать: постараюсь быть полезным в своем основном качестве писателя.

### 19. VII. 65. Щахра

В пятницу был у Демичева, беседовали около трех часов (!). Начал было я с журнала, но он говорит, — нет, давайте об общем положении: что делать, например, с Союзом писателей РСФСР, нужен ли он, кем заменить Соболева — и пошло, и пошло.<sup>2</sup> Главное было не в обширности тематики, а во «взаимопонимании», нарастающем расположении друг к другу. Конкретно разрешился вопрос о «Театральном романе».

— Печатайте, раз вы считаете, что нужно.

— Да, но дядя Дима...

— Ах, Поликарпов. Он вам скажет, что вы можете поступать по своему (редакции) усмотрению. (Хорош бы я был, если бы, понуждаемый через посредство «аппарата», взял обратно письмо в ЦК, подписанное вместе с Симоновым).

Зашла речь, конечно, и о Солженицыне.

— Я хотел бы с ним встретиться. Думаю о нем слишком много, чуть не каждый день.

(Когда я рассказывал об этом в редакции, в дверь заглянул Солженицын со своей ужасной бородой — без усов — и с бакенбардами, — ничего нельзя лучше придумать, чтобы попортить его красивое открытое лицо). Я тут же говорил с секретарем Демичева, на другой день Солженицын был принят, — звонил мне сюда, дово-

<sup>1</sup> Имеются в виду сфабрикованные читательские отклики на названные произведения. См. записи в Рабочих тетрадях 1963–1964 гг. («Знамя», 2000, № 9. С. 144, 176; № 11. С. 147–150, 169–170). Пришедшие в редакцию отклики читателей на «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, как и на статью Е. Вучетича с его критикой «Нового мира», были запрещены цензурой. О клевете секретаря ВЛКСМ С. Павлова на А. Солженицына см. в Рабочих тетрадях 1964 г. («Знамя», 2000, № 11. С. 161–162).

<sup>2</sup> Соболев Л. С. — председатель Правления СП РСФСР.

лен, хотя и не знает, как это вообще хорошо для журнала, для него и для меня и вообще).<sup>1</sup>

Потом об Овечкине. — Это не вопрос, — было сказано и повторено. Овечкину написал, чтобы он не мешкал с письмом на эту тему (какой ему город для жительства).<sup>2</sup>

Словом, кольцо «изоляции» разомкнулось.

### Сегодня утром.

Рассказывала мать: в краю далеком том,  
Где лес кругом и ни села, ни города,  
Где семьи были сгружены гуртом,—  
Всего там было — холода и голода.

Но не о том рассказывала мать.  
Как жили там лихими новоселами,  
Но как там не хотелось помирать,—  
Кладбище было больно невеселое.

Леса, леса — без края и конца.  
На тыщи верст глухие, нелюдимые.  
А на кладбище том — ни деревца.  
Ни кустика, ни прутика единого.

Не так житье в родимой стороне,  
Не так тот дом и двор со всеми справами,  
А кладбище ей виделось во сне,—  
На взгорке под березами кудрявыми.

Окрест — поля, такая благодать.  
Теплынь-светлынь, затишье бестревожное.  
Проснусь, проснусь, — рассказывала мать.—  
А за стеной-то кладбище таежное.

Теперь над ней березы, хоть не те,  
Кресты и звезды, заросли зеленые.  
И ничего, хотя и в тесноте.  
По-городски квартира населенная.

И снятся ей, покойнице моей,  
(Не веровавшей в ад и кущи райские)  
То рожь под ветром хуторских полей,  
То те снега да елки Зауральские.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Н.А. Решетовская — в ту пору жена А.И. Солженицына, пишет, что встречу с П.Н. Демичевым он воспринял как «крупную победу». (Решетовская Н.А. А.И. Солженицын и читающая Россия. // «Дон», 1990, № 3. С. 14).

<sup>2</sup> А.Т. заручился поддержкой П.Н. Демичева в вопросе о переезде В.В. Овечкина из Ташкента в среднюю полосу России (см. письмо А.Т. В.В. Овечкину 1965 г. // Твардовский А.Т. Соч. Т.6. М., 1983. С. 447-450).

<sup>3</sup> Начало работы над стихотворением из цикла «Памяти матери» — «В краю, куда их вывезли гуртом...». Впервые опубликовано в «Новом мире», 1965, № 9.

**21.VII.65.П[ахра]**

В краю, куда их вывезли гуртом.  
Где ни села вблизи, не то что города.  
Одна тайга на тыщи верст кругом,—  
Всего там было — холода и голода.

Но непременно вспоминала мать  
Чуть речь зайдет о том, что было-минуло.  
Как не хотелось там ей помирать —  
Уж больно было кладбище немилое.

Кругом леса — без края и конца.—  
Что видит глаз — глухие, нелюдимые,  
А на погосте том — ни деревца,  
Ни кустика, ни прутика единого.

Так-сяк, не в ряд нарытая земля  
Меж редких пней, торчащих раскоряжками.  
И хоть бы где поотдалъ от жилья,  
А то могилки — сразу за бараками.

И ей на той далекой стороне  
Не дом родной и двор со всеми справами.  
А кладбище все виделось во сне  
На взгорке под березами кудрявыми.

Такая то краса и благодать,  
Поля окрест, затишье бестревожное.  
Проснусь, проснусь, — рассказывала мать.—  
А за стеною — кладбище таежное...

Теперь над ней березы, пусть не те,  
Что грезились за далью чужедальнею.  
Досталось прописаться в тесноте  
На вечную квартиру коммунальную.

Поют над ней, покойницей моей,  
Скворцы по веснам, пусть не птицы райские.  
А где-то взгорок тот в тиши полей.  
А где-то те могилки Зауральские.

**Набросок этих дней.**

Посаженные дедом деревца.  
Как сверстники твои, вступали в силу

И пережили твоего отца.  
И твоему еще предстанут сыну  
  
Деревьями. То ль в дымке снеговой,  
То ль в пух весенний кротко приодеты,  
То ль полной прошумят ему листвой.  
Уже повсюду ранней грустью лета.

Ровесниками веку становясь.  
В любом от наших судеб отдаленье.  
Они для нас ведут безмолвно связь  
От одного к другому поколению.

Им три-четыре наших жизней жить.  
А там и наши сменят их посадки.  
И дальше связь пойдет в таком порядке...  
Ты что иное мог бы предложить?!

<sup>1</sup>Первоначальный вариант стихотворения «Посаженные дедом деревца...». Впервые — в «Новом мире», 1965, № 9.

#### <вклейка>

«Правда» от 20.VII.65.

Статья «Самоцветы» — Б. П. Чиркова, нар[одного] арт[иста] СССР.

«Познакомились мы с товарищем Колодиным, рабочим одного из совхозов Московской области. Пришел он на студию телевидения в пиджаке, на котором тихонько позывчивал такой набор орденов и медалей, что сразу видно было — много повоевал солдат! Одним из его лучших товарищей и в бою и на отдыхе стал Вася Теркин. Тот самый, из великолепной книги Твардовского, своей смекалкой, отвагой и весельем помогавший нашим солдатам в их тяжком ратном труде.

Дошли советские воины до Берлина — конец войне. Расписался Колодин на одной из колонн рейхстага и вернулся в родное Подмосковье. Жил покойно, радостно, а время от времени вспоминал своих военных дружков — от кого весточка придет, о ком слух донесется. И вдруг узнал, что по воле «отца своего родного» отправился Вася Теркин на тот свет!

И обида охватила бывшего солдата. Друг его и соратник, прославленный воин, вдруг ушел из нашей жизни. Разве есть у нас в стране лишние руки? Как же мы можем списывать со счетов бойца и труженика, вожака и выдумщика?..

И бывший воин, которому до всего дела, вооружается карандашом, берет тетрадку и принимается за литературные занятия. Он, читатель и друг литературного героя, по-новому сочиняет продолжение его судьбы. Любовно, но требовательно выговаривает автору за то,

что тот демобилизовал Теркина, увел его из нашей действительности. Решительно и твердо определяет он ему место «в рабочем строю». Хозяин земли и жизни зовет Теркина в деревню, на передовую линию борьбы и труда.

Мне кажется, в этом и триумф писателя Твардовского, создавшего образ такой типичный и живой, что читатели полагают его действительно существующим своим соотечественником и современником. Думаю, что и литературный почин Колодина — это замечательный образ гражданственности советского человека.

Надо сказать, что не только настоящим патриотизмом и убежденностью интересна новая глава Теркина. Ее автор настолько проникся духом и стилем поэмы, что сочиненное им продолжение кажется вполне родственным тому, что мы знаем и любим уже в течение почти четверти века. Этому способствует и влюбленность Колодина в образ героя, и искренность его побуждений, и, конечно же, его литературная одаренность.

Стихи, написанные им и прочитанные в передаче «Самоцветы», имели большой успех у телезрителей. С того вечера и непосредственно сам сочинитель, и наша редакция все время получают добрые отзывы о «Теркине в деревне» и настойчивые просьбы выслать текст этого дополнения к поэме».

«Уважаемый Борис Петрович!

С огорчительным недоумением прочел я в Вашей статье «Самоцветы» то, что там говорится о «Теркине на том свете». Только не прочитав до конца этой поэмы, можно сетовать на то, что «прославленный воин вдруг ушел из нашей жизни» и «выговаривать автору за то, что тот демобилизовал Теркина, увел его из нашей действительности». Так именно сетуют и выговаривают мне иногда люди, знающие «Теркина на том свете» лишь понаслышке и не-понаслышке знающие, что поэму эту можно бранить в отличие от «старого» «Василия Теркина». Но ведь в поэме в сказочно-условной форме речь идет о том, как Теркин попадает «на тот свет», но в силу своего жизнелюбивого характера не мирится с ним и не задерживаясь выбирается оттуда, преодолевая всяческие трудности и препятствия, с тем, чтобы «жить ему еще сто лет». Так написано мною и целиком напечатано типографским способом в газете «Известия», в журнале «Новый мир» и в отдельной книжке, выпущенной издательством «Советский писатель».

Разумеется, можно давать любую оценку этой моей работе, как угодно относиться к ней, но нельзя судить о ней, имея в виду какое-то другое, неизвестное мне произведение, автор которого «демобилизовал Теркина, увел его из нашей действительности».

25.VII

Сегодня быть бы моему письму в «Правде», если бы все по-доброму, но наверняка не будет.<sup>1</sup>

Отметили Лифшица<sup>2</sup>, прочел стихи «Есть книги», не без некоторой мысли, но они прошли как-то незаметно — то ли как старые, уже напечатанные, то ли как набросанные специально к случаю. Конечно, они слишком в колее «Слова о словах», а «Слово» в колее «Далей». Этим ямбом что я ни напиши — будет походить на уже привычное, как всякий мой хорей — на хорей «Теркина». — Вряд ли наберется у меня «цикль», но попробую. —

Чуть было, чуть не обошлось дорого чествование Лифшица, которого я еще и подвез до дому и зашел «на минутку». Но — нет!

#### 27.VII.65. Шахрая

В который раз! Опять цензура задержала «Театр[альный]», наши ей: так и так, мол, Т[вардовский] был у тов. Д[емичева], тот сказал, что «на усмотрение ред[акции]»<sup>3</sup>. — «А где это написано?» — И так далее. А дядя Дима, сформировав кабинет из двух замов и Барабаша<sup>4</sup>, отбыл в отпуск. Кондратович звонит первому из замов, Куницыну. Тот: ничего не знаем — и даже можно было понять, что дядя Дима нечто сказал на этот счет. Легко представить, что передача [а тов. Демичев], наверное, не сказал) «на усмотрение» той самой вещи, кот[орую] задержал Отдел и письмо по которой настоятельно предлагал забрать обратно, задевает кровные интересы Отдела, и, надо полагать, что приняты все меры к ограждению этого престижа. Мерзость, но сегодня еду в 9 ч., чтобы застать по тел[ефону] Д[емичева]. Каков будет этот разговор. Намерен в случае «знаете ли» и т. п. проситься вторично на прием. И второе опять встает во всей крутизне: если не состоится на «усмотрение» — жизни нам окончательно не будет. — Второй вчерашней радостью было пересланное от Демичева письмо Хвалебновой<sup>5</sup>, кот[орая] уже знает и второй вариант бековской повести, где «Тевоян говорит с Тевояном», и выражает благородное недоумение, «почему редакция «Н[ового] М[ира]»

<sup>1</sup> Открытое письмо А. Т. Б. П. Чиркову опубликовано в «Правде» 1 августа.

<sup>2</sup> 23 июля в редакции «Нового мира» отметили 60-летие Михаила Александровича Лифшица — философа, искусствоведа, критика и публициста — автора «Нового мира». А. Т. посвятил юбиляру еще не опубликованное стихотворение «Есть книги — волею приличий...» (Твардовский А. Т. Соч. Т. 3. М., 1973. С. 147).

<sup>3</sup> См. запись А. Т. 19.VII и примеч. к ней.

<sup>4</sup> Ю. Я. Барабаш — литературовед, один из ортодоксальных критиков «Нового мира».

<sup>5</sup> О. Хвалебнова — вдова И. Ф. Тевояна — наркома, а затем министра черной металлургии, послужившего прообразом Онисимова — героя романа А. Ф. Бека. Доказывая, что роман искачет образ Тевояна, она вовлекла в борьбу против автора и редакции председателя Совета министров А. Н. Косыгина, председателя Госплана А. Н. Тихонова, маршала А. М. Василевского. Не без помощи партийных и правительственные сил роман был заблокирован на многие годы (см. запись А. Т. 5.VII и примеч. к ней).

стремится опубликовать этот «клеветнический» опус. Будьте вы все прокляты.

О письме в ред[акцию] «Правды» — ни звука. Рум[янцев] в больнице<sup>1</sup>. Появление письма, по-жалуй, было бы даже важнее всего остального.

Вчера с Дем[ентьевым] вдруг вспомнили, что живем так ужс более трех лет. —

Вчера заходил в редакцию Миша Плескачевский<sup>2</sup>, некая часть моего детства — сын брата мамы — дяди Гриши (Митьково — «родовое поместье матери), живущий в Баку уже свыше 30 лет, воевавший, контуженный, славный и слабый, прижившийся в этом Баку, журналист, специальный корреспондент «Труда».

— Как ты, Саша, еще выпускаешь этот журнал? — Вот именно — как!

Вопрос излюбленный затроньте  
В кругу заслуженных вояк:  
Кто чем командовал на фронте  
Да кто кого сменял в боях.

На диво памятливы люди.  
Ревнивы в мелочах иных,  
В давнишних счетах честолюбий  
И уточненьях должностных...

Равны в их памяти послушной  
Несоразмерные дела.  
Война для них лишь частью службы,  
А служба жизнью их была.

А службы смысл непроходящий:  
Кем и кому в такой-то час  
Был отдан истинно блестящий  
Или губительный приказ.

Не тот —  
На том иль этом рубеже —  
Кто, выполняя приказанья.  
Сам не приказывал уже...<sup>3</sup>

<sup>1</sup> А.М. Румянцев — в 1963–1964 гг.  
главный редактор «Правды».

<sup>2</sup> См. «Я вступал в тот след горячий...»  
(из переписки А. Твордовского  
с М. Плескачевским. 1938–1969. //  
«Новый мир», 1985, № 6).

<sup>3</sup> Набросок незавершенного  
стихотворения.

28.VII.65

Опять не переоценить бы только успех в битве русских с кабардинцами: позвонил Демичеву и получил недвусмысленное подтверждение его прежних слов, что решать вопрос о пригодности рукописей дело редакции, а не «отдела» и не цензуры.— «Они не в свое дело вмешиваются». И что особо важно: он «еще не дочитал» (я об этом не спрашивал, он сам сказал), но опять подтверждалось, что его чтение не имеет прямого отношения к решению вопроса. Спустя часа два Кондратович звонит тому самому тов. Куницыну, который вчера был неподступно холoden (*«у нас нет изменений»*), и он говорит: да. Пётр Нилович звонил, сказал, что это компетенция редакции, и я сказал (т.е. он, Куницын, «отдел»), что мы того же мнения, но вот Главлит... — Я позвоню Романову<sup>1</sup> — сказал Пётр Нилович (уже со слов Куницына). Короче: звонит сама цензорша: мы подписываем *«Театральный роман»*. Торжество в редакции.

Вчера же позвонил Козеву<sup>2</sup>.

— Да, мы думаем дать в воскресенье в литстранице.  
— Не поздно ли?  
— Да нет, а в это воскресенье не смогли — День В[оенно]-Мор[ского] флота.  
— А в будний?  
— Не-ет, видите ли, у нас много любителей сенсаций...

Как тонко все учитывается: появление письма вне литстраницы — нечто особо значительное, а в литстранице — как бы внутрилитературная частность. Но все равно — победа. Уже для одного того, чем это будет для Плучека (бог знает, конечно, что там он натворил — едем сегодня смотреть) стоило затевать<sup>3</sup>. Но дело куда большего значения для поэмы, для меня и для журнала. —

Хорош был разговор с Косолаповым<sup>4</sup>, который во всем был джентельменски расположен

<sup>1</sup>П.К. Романов — начальник Главлита.

<sup>2</sup>Переговоры А.Т. с сотрудником «Правды» о посланном в редакцию газеты открытом письме Б.П. Чиркову. См. записи 21 и 25.VII.

<sup>3</sup>Имеется в виду генеральная репетиция *«Теркино на том свете»* в театре Сатиры в постановке В.Н. Плучека с последующим обсуждением спектакля. См. об этом запись 4.III, а также: Лакшин В.Я. Дневник и попутнов. // «Литературное обозрение», 1994, № 11-12. С. 42-43.

<sup>4</sup>В.А. Косолапов — директор издательства «Художественная литература», где готовилось к выходу 5-томное собрание сочинений А.Т. После вынужденного ухода А.Т. с поста редактора «Нового мира» и отказа ряда писателей (К.М. Симонова, С.С. Наровчатова и др.) заменить его на этом посту именно Косолапову 1 марта 1970 г. А.Т. сдал дела по редакции.

и очень порадовался, когда в ответ на вопрос его, не был ли я у Демичева, я ему пересказал и про «Театр[альный] роман», и про Солженицына.

**Неприятности дня:**

1) Нашествие (явочное) «авторов фильма» о Василии Теркине — наглость, глупость, невежество, корысть, решимость приспособить меня к решению дурацкой задачи.<sup>1</sup>

2) Посещение Элика Маршака — все с тем же долблением насчет предисловия к 12-томному Собранию. Я повторил свое: к 6-томному написал бы, а так нет. То же сказал и Косолапову.<sup>2</sup> —

Ходил, несмотря на пасмурное утро, купаться. От цветающие липы **<неразборчиво>** парка — запах, как у развороченной пасеки.

<sup>1</sup> В 60-е гг. было несколько попыток экranизировать поэму «Василий Теркин». О какой из них идет речь здесь — неизвестно.

<sup>2</sup> Иммануэль Самуилович Маршак, старший сын С.Я. Маршака. Собрание сочинений С.Я. Маршака вышло в 8-ми томах (1968-1972). В томе 5-м, завершающем поэтические тома, в качестве послесловия помещена статья А.Т. «О поэзии Маршака», опубликованная в «Новом мире», 1968, № 2.

#### **4.УП.65. Пахра**

Со времени последней записи. —

1) Просмотр «Т[еркина] на том свете» у Плучека.

Можно было встать и уйти от одного того, что начинается с Ошанина: «Эх, дороги...». Но потом это забылось, и пошло, и пошло нечто занятное, энергичное и решительно талантливое. Самым невероятным было то, что только я мог замечать в иных местах неловкость от слияния первого и третьего лица в репликах. А местами это даже как-то выигрышно. Недаром Плучек потом (формалист-таки!) как бы уклонился от моего предложения «наложить швы», — так, мол, оно даже пикантнее. Однако, я не оставляю мысли войти в дело, может быть, с пользой вообще для этой вещи. — Плучек правильно учゅял слабизну тех «образчиков» того света (домино, «бюро», оратор, доктор пракнаук), которые и мне все время, по кр[айней] мере при окончат[ельной] отделке вещи, представлялись уже чем-то как будто и обязательным, но не радующим. М[ожет] быть, без этих картинок все даже энергичнее и цельнее будет. Словом, я начал уже с отрадой думать о новом «вторжении» в эту штуку и о ликвидации ее некоторой, всегда томившей меня недостаточности. Все может быть. И может быть, это вывело бы меня из той заколдованнысти собственным ямбом, которая — за что ни возьмись — повисает на руках и ногах. Правда, была заколдованнысть хореем (после того «Теркина») и из нее был выход именно в ямбе, но и хорей пошел, когда пришла иная задача в «Т[еркине] на том св[ете]».

Письмо мое, после принятых редакцией мер осторожности (превращение его в заметку-отклик «по поводу напечатанного»), под заглавием

«Содержание мнимое и действительное» появилось — таки 1.VIII. Когда я читал гранку, не заметил малой утечки:

У меня — «сделать хотя бы самые необходимые напоминания и разъяснения»

«мертвичину» косности, бюрократизма, формализма». —

Редакцией было вставлено в скобках в первой фразе письма («Правда», 20 июля с.г.).

Так долго казалось невероятным такое «напоминание» о «Теркине на том свете», что когда вышла газета, то вдруг показалось, что это и не так важно.

Однако — «очень важно», как любил говорить П[етр] Ник[олаевич] Поспелов<sup>1</sup>. И «важность» эта замечена. На другой же день было письмо, подписанное как-то знакомо «В. Полынин», но без обр[атного] адреса, да и мой адрес приблизительный, отмечавшее с удовлетворением, что «Тв[ардовский] не устал».

<вклейка>

### СОДЕРЖАНИЕ МНИМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ.\*

По поводу напечатанного.

С огорчительным недоумением прочел я в статье народного артиста СССР Б. Чиркова «Самоцветы» («Правда», 20 июля с.г.) то, что говорится в ней о «Теркине на том свете». Тепло оценивая «литературный почин» рабочего совхоза тов. Колодина, написавшего под заглавием «Теркин в деревне» «продолжение» моей поэмы. Б. Чирков противопоставляет эту работу «Теркину на том свете».

Дело вкуса — предпочтеть одно произведение другому. От оценки «Теркина», принадлежащего перу тов. Колодина и находящегося у меня среди многих рукописей и печатных продолжений и перелицовок моей поэмы, я по понятным причинам воздерживаюсь. Пропаганда таким крупным деятелем искусства, как Б. Чирков, образцов художественной самодеятельности делает ему честь. Но в своей статье он утверждает, по ходу изложения, будто бы в «Теркине на том свете» речь идет о том, как «прославленный воин вдруг ушел из нашей жизни» и что автор «демобилизовал» Теркина, увел его из нашей действительности и т.д.

<sup>1</sup> С П.Н. Поспеловым А.Т. вплотную столкнулся в мае 1954 г., когда был вызван в ЦК для беседы о «клеветнической поэме «Теркин на том свете» [в ее первом варианте] и ошибках журнала «Новый мир». А.Т. отметил малую продуктивность этой беседы в силу ее «проработочного характера». «Менее всего, конечно, я мог ожидать, что такой характер примет рассмотрение важных литературных вопросов в столь высокой инстанции» (письмо А.Т. Твардовского в Президиум ЦК КПСС 10 июня 1954 г. // История советской политической цензуры. М., 1991. С 111-113).

С подобными представлениями о содержании поэмы, основанными, по-моему, только на ее заглавии, мне приходилось уже встречаться. Но так как повторяет их Б. Чирков со страниц печати, я вынужден сделать хотя бы самые необходимые разъяснения.

1. Поэма «Теркин на том свете» не является продолжением «Василия Теркина», а лишь обращается к образу героя «Книги про бойца» для решения особых задач сатирико-публицистического жанра.

2. Всякий, кто без предубеждения прочтет поэму, увидит, что в ней в сказочно-условной форме речь идет о том, как герой попадает «на тот свет», представляющий собою в сатирических красках те черты нашей действительности — косность, бюрократизм, формализм,— которые мешают нашему продвижению вперед и борьба с которыми — одна из задач нашей литературы, указанных Программой КПСС.

3. По сюжету поэмы Теркин, в силу самой сути своего характера, отвергает «тот свет» и, преодолевая всяческие препятствия и трудности, выбирается оттуда, с тем чтобы «жить ему еще сто лет», ибо:

Там, где жизнь,— ему  
привольно:  
Там, где радость, он и рад.  
Там, где боль, ему и больно.  
Там, где битва, он —  
солдат...

Разумеется, каждый вправе как угодно относиться к замыслу и выполнению этой моей вещи, давать ей любую оценку — все это нормальная литературная жизнь, но одно условие необходимо соблюдать: судя о произведении, принимать или отвергать его действительное, а не мое содержание.

А. Твардовский.

<sup>1</sup> См. запись 16.VII и примеч. к ней.

На романы Х. Гойтисоло {«Ловцы рук», «Прибой», «Цирк», «Остров». М., 1964} журнал А.Т. откликнулся рецензией, (Злобина М. Искания и открытия Гойтисоло. // «Новый мир», 1965, № 1). Здесь обращалось внимание на «диалектику самообмана» испанской интеллигенции, раскрываемую Гойтисоло: «Инерция былых убеждений особенно сильна, если эти убеждения подкреплены собственными жертвами» (там же. С. 274).

## 6.VII.65. Пахра

Неделя ушла бог весть на что. Но и в ней есть — Гойтисоло<sup>1</sup>, второй раз пришедший в редакцию,— уже из-за меня. Умный, милый, красивый. Замечательно было услышать от него — кому уж книги в руки-то,— о чем мы в узком кругу договаривались по переводам — о Неруде. И его смех как бы смущенный, вернее, улыбка при упоминании имени Эльзы Трио-

ле<sup>1</sup> — еще до перевода всей фразы. — Он начал с того, что, мол, хоть и не знает русского, но в курсе дел «[Нового] мира», его трудностей, и считает их своими трудностями, и мне пришлось в несколько банальных выражениях объяснять характер трудностей наших <в отличие> от его трудностей: «[Новый] мир» от «Современника» — и это было, пожалуй, скучновато. — Г. Белль, побывавший на неделях<sup>2</sup>, показался мне менее интересным, хотя хорош в своей натуральности немца средних лет с лицом заурядным — тысячи таких и у нас можно увидеть на улице, в толпе. Чуть утолщенный на конце, чуть как бы вспухнувший — нос, лысина, белая рубашка без галстука, костюмчик сборный, без малейших претензий — летний, дешевый. —

Неприятные впечатления: затея с письмом К. Чуковского о юбилее Зощенко — кажется, удалось направить ее в русло Секретариата. — Безрукий из Семипалатинска, — с ним нужно еще что-то закончить. — Вчерашние слова Воронкова, что на идеологической комиссии «долбают» «[Новый] мир». — Тревоги с журналом: решили запускать «Чуму» вопреки прежним запретам, — что бог даст<sup>3</sup>. — Г. Фиш — и его «Швеция»<sup>4</sup>. —

С утра перебирал стишочки, как мелкие грибочки, где ни одного боровика.

Переправа, переправа,  
Лед шершавый, кромки льда.

Кому — что? — кому слава, страшное дело — какое слово забыл было — в какой главе какой своей вещи! И хоть быстро вспомнил, но пережил наедине жалостную минуту, подбирай: почесть? счастье? имя? — Беда.<sup>5</sup> —

Перебирал стишочки,  
Как бедные грибочки,  
Что только на безгрибы...

<sup>1</sup> Пабло Неруда — поэт, член ЦК коммунистической партии Чили. Эльза Триоле — французская писательница, жена Луи Арагона, поэта, члена ЦК французской компартии.

<sup>2</sup> Судя по записи В. Я. Лакшина, Г. Белль побывал в редакции «Нового мира» 30 июля. А. Т. расспрашивал гостя из Западной Германии «о читателе, о писательской почте, о том, где издается Белль... об отношении к Томасу Манну и его «Доктору Фосту», интересовался, читал ли Белль нашего Бунина» (Лакшин В. Я. Дневник и попутное. С. 43). Р. Орлова зафиксировала в дневнике впечатление Белля от посещения «Нового мира» в июле 1965 г.: А. Т. «ему очень понравился... Сразу видно, что незаурядная личность» (Орлова Р. Копелев Л. Мы жили в Москве. 1956–1980. М., 1990. С. 157).

<sup>3</sup> О цензурных запретах на публикацию романа А. Камю, задуманную А. Т. еще в 1960 г., см. в предшествующих Рабочих тетрадях («Знамя», 2000, №№ 9, 11, 12). «Новому миру» так и не дали напечатать «Чуму».

<sup>4</sup> Г. С. Фиш интересовался прохождением своего очерка «У писателей Швеции» («Новый мир», 1965, № 12).

<sup>5</sup> Имеются в виду строки из главы «Переправа» поэмы «Василий Теркин»: «Кому помять, кому слово, // Кому темная вода...».

Тут — не то что белых —  
А только сыроечки и т.п.  
И даже — лжегрибы.

### **9.VIII.65. Шахрая**

Пробую выводить из тетрадки на листы подсобравшиеся стишочки.— не жирно. Самое. м[ожет] быть], значительное из набросанных в Кунцеве-Барвихе (по давней строчке) все получается вяловато и почти что под Исаковского. —

Давным-давно, должно быть, это было:  
Дворами поредевшее село  
Из той беды, из колготы унылой  
За годом год подняться не могло.

Поля машинам уступили кони.  
Но где тот праздник — летняя страда.  
Смолкали одинокие гармони,  
И женихи смывались кто куда.

И не свои на улице подружки.  
А бог весть из какого далека.  
Там распевало радио частушки  
Насчет больших надоев молока...

Затравенели старые подворья,  
Просились избы и дворы на слом.  
И ни одной семьи, чтоб в полном собре  
Хоть раз в году сидела за столом.

Вздыхали деды и смущались внуки,  
Делам осенний подводя итог:  
Казалось бы — ни шагу без науки,  
А в зиму снова — зубы на полок.

И не понять бывало — в чем причина.  
Лишь наставленья выполнять спеши:  
То пласт ворочай плугом в пол-аршина,  
То в полвершка, то вовсе не паши.

И нынешняя заповедь вчерашней —  
Такой же строгой — шла наперерез:  
То лес корчуй для расширенья пашни,  
То огороды запускай под лес.

И шутка ли, что в серпаной России,  
Где хлебу поклонялись от веков,  
На сено рожь зеленую косили.  
Не успевая выкосить лугов...

Надои! Как пойдет уж на худое,  
Так и слова чудные — не свои.  
По нашему-то все-таки удои.  
А тут — надои. Нету — надой...

Подумать только — при советской власти.  
Что вовсе не была отменена.  
Немыслимые странности и страсти  
В те давние творились времена.

И неспроста избенки поисправней.  
Размеченные плотничым мелком.  
Перебирались правдой и неправдой  
В районный центр с шофером-леваком.

Земля родная, что с тобоюсталось.  
Какая непостижная судьба:  
Не только юность, но уже и старость  
На городские зарилась хлеба.

Казалось бы — какая в мире сила  
Ее поманит от родных могил.  
Давным-давно, допустим, это было,  
Но ты когда в последний раз там был?

Если этим размером, то втрое короче. Если убавить на стопу — будет энергичнее. Но при всем при том...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Продолжение работы над текстом, разделившимся позднее на два самостоятельных стихотворения.

## 10.УП

Вчерашнее изложение Воронковым по его блокноту речи Демичева и кое-что еще с совещания идеологич[еской] комиссии на тему о политическом воспитании молодежи.

Как уже замечено за ним — вслед за вполне реалистической характеристикой положения вещей романтические предложения на « дальнейшее ».

Наиболее очевидные признаки покитания:

1) Критика лозунга «существования» (это, мол, ограниченно дипломатический принцип).

2) «Воевать будем», в частности во Вьетнаме и вообще — подготовка к войне — главное в воспитании молодежи (отсюда — «барабан», «строй», «факельные шествия» и т.п. вплоть до каких-то «мантий» как средств против размагниченности, пацифистских настроений у молодежи и соответствующие «задачи лит[ературы] и искусства»).

3) Трижды цитированный им Сталин, ссылки на Сталина, однажды даже, по старине, в единении этого имени с именем Ленина.

В выступлениях Скабы<sup>1</sup>, Кузнецова (МГК), в докладе Павлова<sup>2</sup> критика «Нового мира» вплоть до выражений: — В каком государстве издается этот журнал, раз мы на него не можем найти управы. Это, кажется, Павлов. Критика Союза писателей в части руководства журналами. — О Залыгине (критика).

Из других источников: Деми[чев] хорошо отозвался обо мне (о беседе) и плохо о Солженицыне. — <...>

### 13.VIII.65. Шахра

Читал стихи в один день вчера три раза. Маше, членам в редакции (Лакшин, Закс, Сац, Кондратович). Дементьеву здесь. Все — за. Сдам для №9 в понедельник. Будь — что будет.

Вчера же, прия в редакцию, как теперь вспоминаю, увидел что-то в лицах, в общем тоже, в том, как на меня смотрели во время чтения. Оказывается, уже за день перед тем было «определенко известно», что я снят.<sup>3</sup> Дементьев (со слов С.Н. Преображенского) и др.)<sup>4</sup>. Скаба прямо говорил: надо снимать. Демичев, будто бы, с места: — Это было бы неправильно.

Кузнецов (МГК): — Нельзя человеку с замутненным алкоголем сознанием руководить журналом.

Демичев: — Мы знаем (это не новость) что Твардовский пьет.

<sup>1</sup> Скаба А.Д. — секретарь ЦК КПСС Украины, член Идеологической комиссии, один из ярких обличителей «порочной линии» «Нового мира».

<sup>2</sup> О нападках 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ С.П. Павлова на «Новый мир» см. в Рабочих тетрадях 1961—1964 гг. («Знамя», 2000, №№ 6, 7, 9, 11, 12]. Речь идет о критике повести С.П. Залыгина «На Иртыше» («Новый мир», 1964, № 2), отрицательно встреченной в партийных «верхах». Высоко оцененная А.Т. в статье «По случаю юбилея» («Новый мир», 1965, № 1), она была выдвинута редакцией «Нового мира» на соискание Ленинской премии за 1965 г.

<sup>3</sup> Подобные слухи будут уже неотступно преследовать редактора «Нового мира» вплоть до его ухода из журнала в 1970 г.

<sup>4</sup> Преображенский С.П. — зам. главного редактора журнала «Юность».

Кузн[ецов]: — Так надо его приводить в порядок, взяться за него.

Дем[ичев]: — Вот и возьмитесь.

Кузнецов: — Мы брались...

Этот «однорукий» не может забыть мне моей реплики насчет того, что лит[ерату]ру нужно «знать» не по пиджакам писателей.

И еще кто-то из радио:

— У нас есть указание не давать в эфир Твардовского.

— ?

— Не знаю, я проверю, но...

Таковы дела. Ко времени ли давать стихи? Да. <...>

#### 15.VIII.65

<...>

Собачья осень, подобно тому, как бывает у людей собачья старость.

Холодное, мокрое лето. Но уже кое-где лист тронут преждевременной — не желтизной золота, а какой-то немощной обесцвеченностью. Дождь шумит и сейчас, дверь моя настежь на мокрый помост «солярия», — проолифить хотя бы — не нашлось сухого времени.

#### 17.VIII.65. Пахра

Вчера сдал на машинку, а затем и в набор 13 стих[отворений]. (Число это тревожит женско-евр[ейскую] часть редакции). Решил не давать «дрібниці» — из которой, м[ожет] б[ыть], потом образуется некий фенологический цикл или «Зап[исная] книжка»<sup>1</sup>.

Хотя говорю редколлегии, что устраняюсь в данном случае от решения вопроса о печатании, и хотя они как бы берут это на себя, но не ясно ли, что решают все же я. И задумай я отложить этот цикл, вряд ли бы я встретил настойчивое противление. А это одна из тревог в нынешнем положении журнала, и я не без некоторого сжатия мышцы вдруг представляю, как все эти стихи, только что из этой тетрадки — в 130 тыс[ячах] экземпляров, и под лупу всяческих Кузнецовых<sup>2</sup> и т.п. Поостеречься как будто бы все велит извине, но не остереешься, если уж на то пошло. Нужно идти прямо на медведя. — по крайней мере не бежать от него — догонит. — Другая тревога — «На деревню дедушка»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Из подготовленной подборки (см. запись 12.VIII) А.Т. снял стихотворение «Июль-макушка лета...». Оно опубликовано среди других стихов о природе в № 12 «Нового мира» за 1966 г.

<sup>2</sup> См. запись 10.VIII и 13.VIII.

<sup>3</sup> Статья М.А. Лифшица «На деревню дедушке» о течениях в современном искусстве, наброшенная для очередного номера «Нового мира», так и не была разрешена цензурой, несмотря на критику автором авангарда. Слишком определенно автор выразил здесь свое отношение к «социалистическому реализму». Опубликована посмертно на ротапринте (300 экз.). Институтом изобразительного искусства в 1991 г.

Вчерашняя информация Кондратовича об информации Егорова о совещании.— уныние поворота к предостережениям и оговоркам 56-го года.— «Существование не есть»... «Будем воевать, нужно поднимать патриотический дух». «Победа коммунизма во всем мире — конечная цель, и не обязательно мирным путем». «Забвение классовой борьбы — понятий и слов этих». «Критика нам нужна, но не разрушающая, а утверждающая». «Лакировка нам не нужна, но мы за идеал». «Новым миром» слишком интересуется бурж[уазный] мир».

Вчера на деп[утатский] прием пришел Розенблюм Л.М. (Ташкент). инж[енер]-констр[уктор] сельхозмашиностроения, «просто поговорить». Из всех его высказываний о бедственном состоянии нашей сельхозтехники, об отставании ее и т.д. выделилось положение об «общем уровне», который способен затормозить любой наш успех в его развитии (даже успех в космосе), и фраза о том, что у нас, к сожалению, нет бюрократизма, так как нет небюрократизма, т.е. бюрократизм не явление, с которым можно бороться, которому противостоят иные силы, а главное и сверху донизу проникающая в нашу жизнь система.

Вчерашняя доделка старого наброска, подключенная к циклу, но отравившая настроение какой-то своей несовершенностью:

Изведав жар такой работы,  
Когда часы быстрей минут,  
Когда забудешь, где ты, что ты,  
И кто, и как тебя зовут:  
  
Когда весь мир как будто внове  
И дорога до смерти жизнь,—  
От сладких слез, что наготове,  
Усилием воли удержись.  
  
Года обязывают строже,  
О невозвратном не жалей.  
Не шутка быть себя моложе,  
Труднее быть себя зрелей!'

<sup>1</sup> Впервые напечатано в «Новом мире», 1965, № 9.

Для «фенологического» цикла.

Как после мартовских метелей  
Свежи, прозрачны и легки  
В апреле вдруг порозовели  
По-вербному березняки.  
Весенним заморозком чутким

Подсущен и взбодрен лесок.  
Еще одни-другие сутки  
И под корой проснется сок.  
И зимний пень березовый  
Зальется пеной розовой.'

<sup>1</sup> Впервые (с разночтениями) —  
в «Новом мире», 1966, № 12.

## 20. VIII

Вчера правил стихи в верстке, расставлял по местам в более оправданном порядке. Все, кто читал стихи глазами, говорили о них хорошо. — Из Новосибирска запрашивали по телефону: кто приедет на конф[еренцию] читателей, — если Тв[ардовский], то они возьмут помещение оперы. Сегодня нужно ответить. Сегодня, наверное, привезут материал на зabor. и, наконец, еще одно начатое в замысле дело «устройства усадьбы» будет так ли сяк сделано. Все вообще дела как будто в порядке — пришел договор из Гослита, будет из Военгиза, будут вольные деньжонки, но вот со вчерашнего сообщения о «дружеской беседе» секретарей союзов «в связи с совещанием» — настроение стало падать. Как 10, 20 и 30 лет назад, тебя «приглашают» какие-то дяди для того, чтобы со слов других, высших дядей чему-то тебя учить, требовать изъявления готовности и т.д., будь оно проклято. Мне под шестьдесят, я не неудачник в литературе и даже в лит[ературно]-общ[ественной] деятельности — это все реальность, но вот стоящая над этой реальностью эфемерия заведует тобой, выказывает недовольство тобой, поучает, напоминает. Нет, дяди, не хочу и не буду бояться вас больше, не хочу и не буду применяться (применяться-то, пожалуй, буду, но с полным сознанием этого). Иду на эту дружескую беседу с твердым и решительным намерением отсидеть, отприсутствовать (ибо мое присутствие уже факт, не оставляемый без внимания) и не поддаваться на приманку, даже на провокацию словесного участия в этом пустоутробии. —

Сурков (позавчераший) о Хрущеве, кот[орый] в больнице и должно быть умрет.<sup>2</sup> Выйдет в коридор, все ныряют в палаты, чтобы не здороваться — гнусь. Вот кому привелось испить чашу. Сталин умер в присутствии своего величия и, если бы первые дни мог знать, что было после него, мог быть доволен: газеты, речи, Ходынка и т.д. Наконец, мавзолей. А этот умер живым, живым увидел, как можно просто-напросто быть сброшенным с площадки истории (ни развенчания, ни доклада о культе личности Х[рущева], ни даже упоминаний иначе как под псевдонимом «субъективизма»).

Проснулся в летнее время — около 5 ч., но рассвет был уже предосенний, медлительный и грустный, почтальон в постели

<sup>2</sup> Н.С. Хрущев умер в 1971 г.

Борзыкина (мемуары)<sup>1</sup>. Днями прочел воспоминания Ходасевича, кот[орого] когда-то в юности увлеченно (под влиянием Македонова) воспринимал как поэта. Перед этим воспоминания Н. Чуковского, бездарного литераторского сына, ставшего литератором, как и сестра, по обстоятельствам рождения, обстановки — автоматически.<sup>2</sup> —

Гершензон. по Ходасевичу, об определяющем качестве стихотворения — первой строке.

Сейчас должен спешно читать какую-то дрянь С. Антонова и Е. Герасимова<sup>3</sup>, уже читанных всеми и всеми воспринятых в этом их качестве, и нет никакой нужды во мне, кроме той, что я должен взять на себя, должно быть отнесено на мой счет отклонение этих вещей. Правда, печатать (прозы) до такой степени нечего, что, может быть, придется «скривя ухо» что-то делать с этим добром. —

## **21.VIII**

Суббота, день обещает быть добрым, едем в грибы.

Видимо, это характерно: «волны» убыстряются, сменяя одна другую. Совещание в Союзе, по словам Куницына (зам. дяди Димы), вызвано было теми слухами и неверными перетолкованиями совещания в идеолог[ической] комиссии, которые вышли еще и в серию выступлений печати, которые и т.д. Но еще вчера повторялся слух о моем снятии [из журнала «Вопросы истории»<sup>4</sup>?].

1.IX — встреча с читателями в Новосибирске, согласие на которую было дано до этого совещания в Союзе, до смены «волны». <...>

## **22.VIII**

Ездили в грибы — за Наро-Фоминск на 128-й км, прихватив Дементьеву и Тендрякова.

<sup>1</sup> Вышедшие в серии «Литературные мемуары» «Воспоминания» П.Д. Борзыкина в 2-х томах (М., 1965. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Э. Виленской и Л. Ройтберг).

<sup>2</sup> В.Ф. Ходасевич. Некрополь. Брюссель, 1939. (См.: Его же. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. М., 1996.) Адриан Владимирович Македонов — друг юности А.Т., литературовед, критик. О нем см. в предшествующих Рабочих тетрадях. Оценка Н.К. Чуковского сделана под неостывшим еще впечатлением от его голосования против выдвижения А.И. Солженицына на Ленинскую премию. См. Рабочие тетради 1963 г. («Знамя», 2000, № 9, С. 163). Она по-своему опровергается публикацией воспоминаний писателя в журнале А.Т. (Чуковский Н. Что я помню о Блоке. «Новый мир», 1967, № 2). Повесть Л.К. Чуковской «Софья Петровна» А.Т. отказался печатать.

<sup>3</sup> Повесть Е. Герасимова «Дикие берега» напечатана в № 10 «Нового мира» за 1965 г. Повесть С. Антонова «Разорванный рубль» — отклонена редактором и опубликована в «Юности» (1966, № 1).

<sup>4</sup> Редакция журнала «Вопросы истории» помещалась в одном здании с редакцией «Нового мира» (М. Путинковский, д. 1/2).

День удался подарочный — почти жаркий для нынешнего лета. В предосеннем лесу, хотя и «обработанном» грибниками, никого, кроме быстро обернувшихся с машиной красного креста каких-то нарофоминцев. Лес видел каких-то летних постояльцев — может быть, солдат: скамьи из жердочек, множество консервных банок в траве по опушке, огнищ, кой-какой городни вроде шалашей. А казалось, вот уж заехали. А пока ехали, минуя старинные села старой калужской, проезжая речки — Пахра. Протва, Истья, Нара, деревушку со старинным названием Коллонтай (не переименование? — нет), по сторонам то и дело открывались виды на целые кварталы по типу Черемушек, на трубы, дымы, мачты, ограждения, строительные площадки с их неприятностью и захламленностью. Вправо остался Обнинск, бывшая Обнинская, в недавние годы получившая свое мужское городское окончание своего наименования,— станция Обнинская, неподалеку от которой в лесочке на специальной отводке путей стоял в 1942 г. поезд-редакция «Красноармейской правды»<sup>1</sup>, куда я прибыл примерно в такую же пору.— вот было грибов.

Вчера грибов было не то чтобы много, вернее, даже маловато, но достаточно для того, чтобы, не теряя доброго настроения, провести в лесу чуть не весь день: у нас с Машей с полсотни боровиков и порядочно всякой сбордружины. —

Вчера привезли материал для забора, который я решил для опрятности поставить на место похилившегося «клеточного» с двух сторон участка. Обычные плутни, вранье и запросы со стороны «рабочего класса» по отношению к богатому и предположительно глупому дачевладельцу, но бог с ней.

Вечером выкладывал штакетник в клетку,— сбросили кое-как, загородив проезд, хотя указывал где.

#### Утреннее:

Просыпаюсь по-летнему  
Ради доброго дня,  
Только день все заметнее  
Отстает от меня.

За неясными окнами.  
Словно тот, да не тот,  
Он за елками мокрыми  
Неохотно встает.

Приготовься заранее  
До конца оттерпеть

<sup>1</sup> Военным корреспондентом этой газеты А.Т. прошел всю войну, встретив победу в Кенигсберге (Восточная Пруссия).

Все его отставания,  
Что размечены впредь.<sup>1</sup>

Баба сеяла грибы  
Серед огорода.  
Мы. хвалилась, не рабы  
У тебя, природа.

<sup>1</sup> Впервые в дополненном варианте  
опубликовано в «Новом мире»  
(1966, № 12).

## 23. VIII

В первый раз за все годы моего редакторства пойду в типографию,<sup>2</sup> — как-то так получалось, что словно бы не хотели меня туда пускать. Теперь — пропуск. Это в связи с возможным спуском в машинку сегодня № 8, который хотя бы в нескольких образцах хотелось захватить в Новосибирск, куда вылетаем, кажется, 30.VIII. — По проведении конференции намерен двинуться в Иркутск и Красноярск, выполняя хотя бы в минимальной степени план года. —

Какой странной жизнью мы живем со старухой: в спешке переездов между квартирой и дачей, в напряжении не забыть одно-другое житейское, не упустить из виду все, что касается, обволакивает, набегает, ускользает, забывается, меняется, скучивается и т. д., в моей — точно времененной — ненормальной в сущности жизни. — На прогулке (возвращаясь) встретил бегуна Тендрякова. Оббежит свой круг — и за стол, всего и забот, добавилось, правда, с рождением ребенка, но это опять же своя забота. — В кои-то веки собрал горсточку стихов, ни одно не считая для себя значительной находкой, и уж — гляди — событие. А ведь я должен бы писать и писать. Но я беру на себя все — порой как будто мелочные заботы и тревоги по журналу, погрызаю в них и порой с отчаянием вижу, что никто так не «влегает», все живут с покрытием потребностей возраста на отдых. Раздражаюсь — может быть, несправедливо — на своих «поддужных». В кои-то веки собирались в грибы съездить — любимейшее семейное мероприятие, — потом Маша была убита тем, что забыла еду, заготовленную в лес, предупредив Д[ементьев]а и Т[ендрякова], что ничего брать не нужно — все есть.

<sup>2</sup> Типография издательства «Известий»,  
где печатался «Новый мир».

## 24. VIII

Утренняя косьба на участке — осенняя темно-зеленая отава, трава, которой уже не цветсти, грустный, по-осеннему прохладный запах. Запах позднего укоса — память унылой неуправки в хозяйстве, — даже когда косят отаву на сено, и сено хорошее, сушка еще возможна. —

Вчерашнее посещение типографии, перегруженной заказами, тесной, едва управляющейся. Очень сильное впечатление в цеху брошюровки журнала (на один номер <тираж> идет 60 т бумаги). То, что бог весть из каких умственных запасов набегает у нас на бумагу, порой черт знает, какая ерунда и вздор — все это набирается, правится, верстается, превращается на некий срок в металлический текст (матрицы), печатается на ротациях по листам, листы собираются в пачку экземпляра, пачка с обрезанными корешками (сгибами) срезается, склеивается и одевается в обложку (без нитки) идет под резак, сразу трем книжкам равняющий края (обрез), складывается в штабеля, вывозится и развозится поездами во все концы.

Типографские люди — читатели «Нового мира», люди, которых невозможно упрекнуть в невнимании к нему — чудесно. Как я не удосужился до сих пор сходить туда!

---

<...>

М. Гефтер

Встречи без встреч

<...>

Встречи без встреч.

Обыденное, столь укорененное, что и не задумываешься — откуда оно и что такое?

Куда достигает глаз — соприкосновения с ушедшими, перевоплощения в другие существования.

Осколок эллинской мудрости: человек в夜里 себе зажигает свет; умерев, он жив. Жив, оттого что выучился зажигать свет. И в свете памяти видеть связь.

История, выломившись из первозданности, сделала связь эту и непреложнее, и затруднительнее. Как будто бы нет уже Атлантид, незаполненных промежутков, начисто исчезающих цивилизаций. Непрерывность! Те, кто позади, — не больше чем предшественники. А жизнь их — черновик для перебелки и исправления следующими.

Связь из магии, из ритуала превратилась в журнал входящих и исходящих.

И историк не дальше, чем искусный колледжский регистратор...

Но поперек этого — уже не таинства, их время прошло: не таинства, а тайна.

Тайна несовпадения, нехожести, разрыва. Замечасная, когда гаснет свет. В темноте сбиваются с такта поколения и эпохи, рушится очередь. Абсолют «исторического закона» — уже не регулировщик всемирного движения, скорее — могильная плита, отделяющая мертвых от живых.

И с колледжских регистраторов сдирают шинель, а то и шкуру.

Свет все-таки зажигается — ими, встречами без встреч...

Не будь этих встреч, окончился бы во мне историк. И еще вопрос: сохранился ли бы — человек?

Приходят неопознанные, остаются сроднившимися. И до поры не ведаем ни они, ни я — кто ближе? То, что свои, российские, это естественно,

другого языка не знаю. Да и этот — в препонах... К радищевскому «Путешествию» прикладывают перечень непонятных слов. Но разве, не будь их, легко разобрать голос человека, отринувшего российское владение душами — от кроны до корня, — но продолжавшего и после этого (и в силу этого!) спор с собою: как раскрепоститься совокупно, потратив на это меньшие жизней и не попавши в силки обновленного рабства? «Нахмуренность грусти» — сутью он. А «хуже Пугачева» — это блудница на троне, не понаслышке знавшая, чем заканчивается двухголосое размыщение, метафизический контрапункт. Сама не лишена была умения двоиться. Игра, а может — больше? А может, «контрапункт» этот как раз и догадка о природе российских взлетов и падений, тупиков и возвратов? От учебниковой прописи к монографическому фолианту — лагеря, идеиные станы, между которыми распаханная полоса. Неисправимая власть. Революция, рвущаяся — прымком — из пролога в последний акт. Выморочный либерализм. Конечно, есть взаимодействие, и не без перемены ролей и мест: палачи революций — в душеприказчики их, радикальнейшие без-государственники — в ревнителей насилия, не ведающего «формальных» ограничений.

Да еще спасительные зигзаги...

Меня не спасают. Скорее — соль на свежую рану. Освободишься ли от последних самообманов, не распознавши первые, первый?

Первый — несоразмерность проблем возможностям человека: человека у власти — и человека против власти. Сквозная напасть наша. Родовая примета российских маргиналов человечества.

Не остали еще угли яростной схватки. <...> Сюжет: предпосылки революций в России XX века. Обратный ход — к родословной буржуазного развития и к мере его. Много или мало его было и каков стаж — века либо только пореформенные десятилетия? Вроде бы вполне академический сюжет, но замешана политика, и арбитры из «отдела науки» бдят: не подрыв ли устоев? Но бог с ними, а мы-то что?

Не на недостатке единомыслия споткнулись и даже не на закулисных «ходах» (кому вверх, кого в сторону). Кроме холостых преград, есть и действительные. Преграда — критерий: получить ли при самой тщательной «перегонке» фактов чистый продукт — чистое крепостничество, чистый капитализм? Преграда — заданность: заданность поступательности, европейско-всемирного шаблона ее (откуда иначе Октябрь, классическая революция, всесветный авангард?). И еще преграда — то бытие, что всегда и повсюду определяет сознание. Разве не так? Правда,

нашкодили «вульгарные социологи», с ними непросто сладить — живучи, ибо не на пустом месте их поиски классового корня; да и все, что прямое. все, что проще, то по неписанному закону сближает с властью (и не только нынешний дух, но и бывший, классическую мысль, бессмертное Слово). Когда ты уже не казенный человек, то преграды заметней. И себя спрашиваю — одолел? Либо бревно-то в собственном глазу... Не стану выдавать сомнение за истину, но в сомнении продвинулся (вместе с другими и сам по себе). Сегодня ясней, что преграды эти и смысла нет устраниТЬ.

Напротив. Лишь спотыкаясь, ушибаясь о них, сдвинемся с мертвой точки. Мертвая точка — прецедент. Уподобление. Их превозмочь! Но если не они, то что взамен? Все та же российская исключительность — с заднего крыльца? Одни в Мире, ни на кого непохожие?

Ни на кого — врость. И на всех: будущих в прошлом. И тогда не назад к Чаадаеву, а вперед — к чаадаевскому вопросу, близнецу гамлетовского: «Не быть или быть?»

&lt;...&gt;

Труднее трудного — ухватить целое. Движение целого. В людях, конечно, ибо какая ж история, если безлюдна. Но еще два действующих «лица» не упустить бы из виду: Пространство и Время. Пространство — российское, которое заведомо не страна, но и империей не исчерпывается. А если империей, то той — особенной, что, доставшись XX веку, не в силах уйти, не прихватив с собою этот век. А Время? Оно и есть время, потребное для такого ухода: когда не от нуля, но — с начала.

Сегодня — это само собою. Так оно только и должно быть. Но не проглядеть бы, как пришло: не от нуля, но — с начала. Как возникло некогда, как уходило и возвращалось. И не непременно большаком, а и проселками, тропами. Малыми человеческими добавками, которыми придвигались (мы — в предках!) к нынешнему порогу.

Четыре десятка лет назад, когда впервые поднялся на истфаковскую лестницу и огляделся в этом шумном, тесном двухэтажнике с остатками былого дворянского гнезда (лепнина, изящные картины), — скажи мне кто-то: а знаешь, говорят, тут кончил дни свои Сергей Трубецкой, тот самый, что мог победить 14 декабря, — ты-то как к нему относишься? Если бы уклонился от ответа, то, скорей, от незнания. Да еще от преклонения перед «падшими». Привитое школьным Пушкиным могло ли уйти? А сейчас, когда позади две трети века, сраженные друзья и иллюзии, что скажу о князе Сергеевиче?

Из самых близких. Но почему? Разве не смалодушничал он, не изменил долгу лидерства, не бросил на прихоть судьбы тех, с кем прошел от Бородина

до Лейпцига, и еще многих иных, кому жить и жить? «...Я не только виновник всех бедствий оного дня и несчастной участи злополучных моих товарищей. <...> Я не только не заслуживаю ни малейшей пощады, но уверен еще, что только увеличением заслуженного наказания должна быть облегчена участь всех несчастных жертв моей надменности, ибо я могу почти утвердительно сказать, что если бы с самого начала отказался участвовать, то никто бы ничего не начал».

Никто бы ничего не начал. Историк не может не оспаривать. Чересчур долог путь к событию, чересчур грандиозно оно само, чтобы зависеть от человеческой единицы. А между тем — так. Не согласись Трубецкой, вряд ли рискнул бы Рылеев, а без его лихорадочной активности, без его вербочного азарта оказались ли бы в мятеже мужи совета — Штейнгейль и Батеньков (вход к Сперанскому!), рванулись ли бы в бой из-за переприятия храбрецы-рубаки, подобные двадцатисемилетнему Щепину-Ростовскому? Впрочем, и по сей день исследователь, просеивая свидетельства, нет-нет да и выловит еще один, не замеченный прежде шанс на успех заговорщиков. Но вот загвоздка — успех чего?

Князь Сергей Петрович был побежден еще до поражения. Ибо был старовером вольности, равно враждебной шапке Мономаха и фригийскому колпаку. Он задержался в пути, в то время как большинство из тех, кто начинал, уже отпало. Теперь ему предстояло решать головоломку: как овладеть «чужим» событием (заварухой престолонаследия), зная либо только догадываясь, что и продолжению не быть, если не уйдет в не свои руки. Решился совместить Сенатскую площадь с Россией, не гнушаясь обманом и уберегаясь от произвола. (Успей он уничтожить ключок бумаги, черновик реформ, пункты без заглавия, никогда не узнали бы этой первой отечественной заявки на исторический компромисс, великой — неисполнимостью!)

Алексеевский равелин очистил замыслы от тщеты. Человеческая неудача, терзаемая инквизиторами и раскаянием, переросла в поражение.

И неосвобожденная Россия стала отсчитываться от него: словом, мыслью, судьбами. Так повелось и уже не прекращалось.

Движение поражениями не русская находка. Оно изначально в историческом человеке. В России же, раздвинувшись масштабом, укоренилось в особом человеческом типе. Обреченном на поражение и превозмогающем эту предопределенность — нравственным максимализмом, у которого нет прямого переворота в Дело и которое поэтому остается без дела... Испытание на поражаемость — из тягчайших. От скрижали до похоронки — один шаг. И от братства одиночек к «злодеям

развития — также один, хотя и длится годами, десятилетиями, эпохами, поколениями.

Каков же выход? Сменить масштаб? И даже найти «свое» событие, вовремя расстаться с ним (своим!), уступив его «чужим» продолжателям?

Не потому ли так дорог мне князь Сергей Петрович, что был едва ли не первый из тех именивших и безвестных, у которых общее — сомнение в праве вести за собой других, еще не готовых к собственному выбору?

Не отказ, а — сомнение. Всего лишь сомнение. И даже не то, что впереди действия, предвестием гибелей, а то, и именно то, что оккуплено собственным уроком. Оплачено собственным действием.

Падением в поражении. И падением в победе. Да — и последним также. Высшее мужество — опознать падение в победе. Скажешь: никогда не поздно... Но так ли? Вся новейшая история, наша и не наша, в оспоривателях. Наша прежде других. Ибо вся в опозданиях. Чем ближе, тем опоздания эти злокачественней.

А затем уже и не опоздания.

Пустота. Яма. Беспамятство.

И не уходит горечь: откуда забывчивость? Чем держится? Ритуалом ли торжеств? Либо привыкли гордиться — превыше всего — праведными смертами, закрывая глаза на неправедные? Или — все дело в том, что нет уже этого различия? В последнем счете ушло. И не то чтобы поменялись местами, праведные с неправедными. И не то чтобы знак равенства. Иное.

...Ядерный гриб в конце того ряда, где князья и разночинцы, Раҳметовы от первого до последнего, где в моей ночной яви — симферопольские Дубки и замшелая, втиснутая в землю плита на Волковом кладбище над останками Веры Ивановны Засулич, открывшей русский террор и употребившей жизнь на избавление его.

Ядерный гриб — уравнитель. Но ведь и он не джин, самочинно выпрыгнувший из бутылки. Он также — люди. Сам-один, сам-десять, а затем — сразу — миллионы, миллиарды. Без промежутков во времени. Без убежищ в пространстве.

Табу на гибели — запрет на победы. Ни одной, ни над кем!

Даже привычные к обвалам, оказались застигнутыми врасплох — 1968-м. Поэтому ли, что казалось: хуже того, что позади, уже быть не может? Поэтому ли, что еще не ушли от себя — верноподданных идеи? Или привычное вместе еще не успело обрести новый лик? А может, сработало то наше забытье на поражения, на падения в поражениях, без которых не воспрясть?

Впрочем, мы и наше — не подходит. Не то чтобы раскол, хотя и он. Раскол — вторичное и даже внешнее. В глубине же — внезапное смещение пластов, сдвиг, подобный геологическому. Уходили неокончившиеся, те, что были еще в зените. Сдвинулись только собравшиеся в путь. 68-й на-смерть ранил Александра Твардовского. В 68-м прозвучало первое слово Андрея Сахарова.

А я — где, с кем? Позови меня на Лобное место, пошел бы? Нет, не счел бы за свое. Другим был занят. Накануне танков в Праге — верстка коллективного исповедания веры: «Историческая наука и некоторые проблемы современности». Несоизмеримо, что толковать, даже тогда сознавал. Но только-только собственным языком заговорили, прикусишь ли его по добной воле?.. Никогда не уйдет из памяти постыдное: партсобрание, голосовали одобрение тупости, самоубийству социализма. Рвался выступить, сказать лишь одно слово — трагедия; не решился, не захотел рисковать своим «новым прочтением». Тихо вышел в коридор, чтобы не поднять руку.

Жалею? Сегодня, пожалуй, нет. Тогдашнему унижению надо было дозреть до изнутри не стесненного объяснения с собою. До потребности в одиночестве. До нового вместе.

Встретиться ли вновь с тем мальчиком, который запомнил первый глоток сладкого, свежайшего воздуха?

Как близки ему бесконечно далекие от него слова: «Свободны наконец! Свободны наконец! Великий, всемогущий Боже, мы свободны наконец!» Псалом американских негров, призыв Мартина Лютера Кинга, равно обращенный и к атеистам, и к белым.

Я принимаю их сегодня. Не как свободу от себя. И даже — не как свободу для себя. А то — не от нуля, а с начала, которое вменено всем, кто не может жить иначе, как тут, где нестерпимо трудно жить.

**Май-июнь 1976**

А.Твардовский  
Из рабочих тетрадей 60-х годов

3.IV.66.Пахра]

<...>

Миша принес ящик для моих тетрадей с косой крышкой, чтобы видны были корешки с №№ и годами. Шутка сказать: дневники и разные записи с 26-го г.— 40 лет.

Чернил давнишних блеклый цвет  
И почерк, почерк разных лет  
И разных дней — то строгий, четкий,  
То вроде сбивчивой походки —  
Волнений отлетевших след,  
Усталости иль недосуга  
И просто лени и тоски.  
То — вдруг — и не твоей руки  
Нажимы, хвостики, крючки,  
А твоего былого друга,  
Кумира юности твоей.  
То мельче строчки, то крупней,  
Но отступ слева все заметней  
И спуск поспешный вправо-вниз.  
На нет сходя в конце страниц.—  
Уже не разобрать последней.  
Да есть ли толк и разбирать.  
Листая старую тетрадь  
С тем безысходным напряжением,  
С каким мы в зеркале хотим  
Смириться как-то со своим  
Непоправимым отражением,  
И все же, все же. —

Мне жаль и тех страниц (печальных),  
Которых я не написал<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Стихотворение «Чернил давнишних блеклый цвет...» с некоторыми изменениями опубликовано в 1966 г. («Новый мир», № 12).

Примечание В.А. Твардовской

## Окончательная редакция

Чернил давнишних блеклый цвет,  
И разный почерк разных лет  
И даже дней — то строгий, четкий,  
То вроде сбивчивой походки —  
Ребяческих волнений след,  
Усталости иль недосуга  
И просто лени и тоски.  
То — вдруг — и не твоей руки  
Нажимы, хвостики, крючки,  
А твоего былого друга —  
Поводыря начальных дней...  
То мельче строчки, то крупней,  
Но отступ слева все заметней  
И спуск поспешный вправо, вниз,  
Совсем на нет в конце страниц —  
Строки не разобрать последней.  
Да есть ли толк и разбирать,  
Листая старую тетрадь  
С тем безысходным напряженьем,  
С каким мы в зеркале хотим  
Сродниться как-то со своим  
Непоправимым отраженьем?...

1965

М. Гефтер

После самого страшного

**<Из блокнотов>**

Александр Трифонович — историчен ли?

Какие сомнения, если учесть его переломы, перевалы судьбы: «отдельные» и «всеобщие».

Это и — иное. Что не против Истории и не поворотом: уходом к извечному, спасительному...

Если и «против», то внутри той самой поступательности, какая идет вперед по трупам. Защищает той самой слабости человека, что не менее извечна для него, чем небо, шорох трав, бег волны, падающая звезда.

Не «неудачника» защищает, прикрывает собою Твардовский, а сильного, пока принадлежит себе,— и слабого, когда надвигается на него напасть отчужденного результата. отчужденного смысла жизни.

Слабого защищает силою своего Слова...

Все, что притягивает на всех, таит нечто страшное.

В корнях культуры — превозмогание абсурда, как в истоке нравственности преодоление в человеке убийцы.

Совесть, если не «утрызжение», — звук пустой.

Грех показан человеку. Ибо грех — вызов.

Но могла ли быть жизнь вызовом?

Да, Человек запограммирован. Но не до конца: есть щель, зазор.

Освобождение — через Свободу, а не к свободе — раз и навсегда.

Так рождается добровольная несвобода = необходимость.

У русских (век XIX-й) это — «примирение с действительностью».

Родонаучальник —

Пушкин. Но не один Пушкин.

Не в одиночестве. Еще — люди равелина, их совместная исповедь.

(Вершина — письмо Пестеля.) Еще — Чаадаев. Весь.

И его квадратура круга.

Его примирение с действительностью — предварением «русского социализма».

Двуликий Янус русской культуры — заявка на все души

и погибельное одиночество.

По сей день так. Последний (пока?) — Твардовский. А дальше?

Обрыв? Или то, что сейчас, уже не культура?

Какое пустое слово — «ответственность». Опустевшее,  
замаранное суесловием. Придать бы ему силу  
потрясшего меня у апостола Павла: СОРАСПЯВШИЙСЯ!  
Но для этого надо увидеть во вчерашнем Голгофе —  
и не избирательную, а всеобъемлющую:  
сооруженную всеми для всех,  
как и заново пережить свою Гефсиманскую ночь.  
Ту, что была, или ту, до которой не дотянулись?

Александр Твардовский как поэт мог завершиться  
«Теркиным на том свете»,  
мог перейти — без остатка —  
в свое поистине историческое редакторство.  
Но он не кончился. И это часть Тайны,  
объясняющая ее всю, как «Медный Всадник»  
объясняет всего Пушкина.

Что в нем жаждало быть еще выговоренным?

Надежда, не отворачивающаяся от жестокой правды прошлого,  
которое не только позади,

но и рядом.

округ — Прошлого, норовящегося сожрать Надежду...

«Поверх надежды — Надежда».

Пушкин вырвался  
из руин чаадаевского Некрополя к жизни,  
которую не дано сломить — ИСТОРИЕЙ.

Твардовский сам сотворил Некрополис.  
Жизнь, искомая им, уже после него, после — истории.  
Это «быть», — выжившее после самого страшного  
из человеческих, вселенских НЕ-БЫТЬ.

Его лирика Ухода не отпевание,  
но Реквием.  
Реквием по Истории.

# К ОПЫТУ — ОПЫТ

А. Твардовский | М. Гефтер

	467	Небесспорный
Памяти матери	469	
Трехногий одноглазый пес	472	
В дальний угол шалаша		
Лежат они, глухие и немые	473	
Есть имена и есть такие даты		
Полночь в мое городское окно	477	Возврат в мир
29.VIII.68. Пахра	478	
Из рабочих тетрадей 60-х годов		
В чем хочешь человечество вини		
Всему свой ряд, и лад, и срок	479	
Что нужно, чтобы жить с умом?		
Час мой утренний, час контрольный	480	
Не впальь бы мне в чрезмерную гордыню		
	481	Начать со слова
	483	Постскриптум
Об авторах	485	
А. Твардовский. Автобиография <Фрагменты>		
	491	Е.И. Высочина М.Я. Гефтер



М. Гефтер

Небесспорный

Твардовский — природа его одиночества:  
разве оно началось в 70-м?

У лирики ухода — свой особый контекст.  
В ней — и «Бетховенское», и «Пушкинское»,  
и «Чеховское», и «Булгаковское» — все слито воедино  
в последних пронзительных стихах Твардовского.

Но уход не равнозначен умиранию.  
Без оплакиваний себя, без ожесточенности одинокого.  
Напротив — светлость во всем.  
Оправдание жизни не сделанным, а оставляемым.  
Но последние стихи и остро современны —  
движением мысли, лексикой, ритмом...

---

Тут впору вспомнить: кто такой Пророк?  
Есть ли у него спец-мета? Или только — задним числом?  
Есть и непременна: он всем поколениям — **свой!!**  
Тем **свой**, что и Слово его в собственном поколении было ЕГО и — СВЕРХ.  
Сверх — от двойного страдания: страха не быть услышанным, понятым  
своими («всеми») и от страдания непонятной,  
невыразимой словом чуждости «злобе дня»,  
не исключая и самую кровную злобу, самую властную потребность времени.  
Рвущийся к людям — и неспособный слиться с ними, раствориться в них.

У Пушкина — где Пророк?

Только ли там, где гул истории и страсть? Или всюду, ибо на всем —  
след искупления,

жажды избыть его, не утоленная до конца.

Так и Твардовский —

**ЧЕЛОВЕК ВНЕ (БЕЗ) ПОКОЛЕНИЯ:**

БЕЗ — путь к тому, чтобы стать своим во многих...

Очень нужна дельная книга об Александре Трифоновиче. Кто смог бы напи-  
сать ее? По силу это, скорее всего, тому, кто близок Твардовскому. Не обя-  
зательно лично, непосредственно, но близок корнями, складом ума,  
растревоженным сознанием, какому не успокоиться, пока не доищется  
дальних и окольных истоков нынешних человеческих бед, но также  
и нынешних надежд, поразительно родственных бедам. Как раз  
и именно истоками — дальними, окольными — и родственному им.

И что же — доищется этого растревоженное сознание, так и успокоится?

Вряд ли успокоится ибо вряд ли доищется.

Может, так оно и нужно — нам, нынешним, разных возрастов и единого по-  
коления ответственных, искать, не доискавшись, чтобы не дать досроч-  
но онеметь вопросам, в которых теплится жизнь.

Не преувеличение ли это, не очередной ли загиб, какими с избытком преис-  
полнена одиссея российского правдоискательства? Бежим от скоротеч-  
ных ответов, укороченных злобою дня, — будто в вопросах спасение,  
будто вопрошение единствено достойное дело, будто вопрошающим

по плечу и накормить, и уберечь... Спорно, спорно, ничего не скажешь.  
Но разве бесспорен Александр Твардовский, возведенный в великие и остав-  
шийся одиноким? Плоть от плоти нашей, от той, что есть, и от той, ка-  
кой нет — не состоялась, замученная самою собой?

Он бесспорен или, напротив, ничто сегодня так не противоречит духу его,  
его памяти как равнодушная хрестоматийность вкупе с предписанным  
и добровольным заговором молчания относительно финала его, его ги-  
бели, бросающей свет на весь его путь — к себе и от себя и снова к себе!

Упустишь концы, потеряешь начала — истина древняя, ныне же в ней особая  
существенность, особенная пронзительность. И оттого не столько в осуж-  
дение умалчивающих, сколько призывом к несклонному вставлять себе  
кляп в рот уверенность моя — впереди еще Твардовский, вновь понятый  
и заново открытый веком XXI-м.

А.Твардовский

### Памяти матери

Прощаемся мы с материами  
Задолго до крайнего срока —  
Еще в нашей юности ранней,  
Еще у родного порога.

Когда нам платочки, носочки  
Уложат их добрые руки,  
А мы, опасаясь отсрочки,  
К назначенней рвемся разлуке.

Разлука еще безусловней  
Для них наступает попозже,  
Когда мы о воле сыновней  
Спешим известить их по почте.

И карточки им посылая  
Каких-то девчонок безвестных,  
От щедрой души позволяем  
Заочно любить их невесток.

А там — за невестками — внуки...  
И вдруг назовет телеграмма  
Для самой последней разлуки  
Ту старую бабушку мамой.

В краю, куда их вывезли гуртом,  
Где ни села вблизи, не то что города,  
На севере, тайгою запертом.  
Всего там было — холода и голода.

Но непременно вспоминала мать,  
Чуть речь зайдет про все, про то, что минуло.  
Как не хотелось там ей помирать.—  
Уж очень было кладбище немилое.

Кругом леса без края и конца —  
Что видит глаз — глухие, нелюдимые.  
А на погосте том — ни деревца,  
Ни даже тебе пруттика единого.

Так-сяк, не в ряд нарытая земля  
Меж вековыми пнями да корятами.  
И хоть бы где подальше от жилья.  
А то — могилки сразу за бараками.

И ей, бывало, виделись во сне  
Не столько дом и двор со всеми справами.  
А взгорок тот в родимой стороне  
С крестами под березами кудрявыми.  
Такая то краса и благодать,  
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.  
— Проснусь, проснусь, — рассказывала  
мать,—  
А за стеною — кладбище таежное...

Теперь над ней березы, хоть не те,  
Что снились за тайгою чужедальнею.  
Досталось прописаться в тесноте  
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно.  
Какою метой вечность сверху мечена.  
А тех берез кудрявых — их давно  
На свете нету. Сниться больше нечему.

Как не спеша садовники орудуют  
Над ямой, заготовленной для дерева:  
На корни грунт не сваливают грудою,  
По горсточке отмеривают.

Как будто птицам корм из рук,  
Крошат его для яблони.  
И обойдут приствольный круг  
Вслед за лопатой граблями...

Но как могильщики — рывком —  
Давай, давай без передышки,—  
Едва свалился первый ком,  
И вот уже не слышно крышки.

Они минутой дорожат,  
У них иной, пожарный навык:  
Как будто откопать спешат.  
А не закапывают навек.

Спешат, — меж двух затяжек срок, —  
Песок, гнилушки, битый камень  
Кой-как содвинуть в бугорок,  
Чтоб завалить его венками...

Но ту скоровку не порочь, —  
Оправдан этот спех рабочий:  
Ведь ты им сам готов помочь.  
Чтоб только все — еще короче.

• • •  
Перевозчик-водогребщик,  
Парень молодой.  
Перевези меня на ту сторону,  
Сторону — домой...

Из песни

— Ты откуда эту песню,  
Мать, на старость запасла?  
— Не откуда — все оттуда.  
Где у матери росла.

Все из той своей родимой  
Приднепровской стороны,  
Из далекой-предалекой  
Деревенской старины.

Там считалось, что прошалась  
Навек с матерью родной.  
Если замуж выходила  
Девка на берег другой.

Перевозчик-водогребщик,  
Парень молодой.  
Перевези меня на ту сторону,  
Сторону — домой...

Давней молодости слезы.  
Не до тех девичьих слез,  
Как иные перевозы  
В жизни видеть привелось.

Как с земли родного края  
Вдаль спровадила пора.  
Там текла река другая —  
Шире нашего Днепра.

В том краю леса темнее,  
Зимы дольше и лютей.  
Даже снег визжал больнее  
Под полозьями саней.

Но была, пускай не пета,  
Песня в памяти жива.  
Были эти на край света  
Завезенные слова.

Перевозчик-водогребщик,  
Парень молодой,  
Перевези меня на ту сторону,  
Сторону — домой...

Отжитое — пережито.  
А с кого какой же спрос?  
Да уже неподалеку  
И последний перевоз.

Перевозчик-водогребщик,  
Старичок седой.  
Перевези меня на ту сторону  
Сторону — домой...

1965

\*Трехногий одноглазый пес,  
Глухой на оба уха.  
Всего осталось: глаз да нос,  
А сколько силы духа.

1965

\*Первая книжная  
публикация

\*В дальний угол шалаша,  
Где притерта солома,  
Забивается душа.  
Чтоб одной побыть ей дома.

Зарядил осенний дождь,  
Занавесил стежки сада.  
Никуда ты не пойдешь,—  
Под тулуп — твоя отрада.

Угол с вечера угрей.  
Не витай задаром где-то  
У заzapанных дверей  
Станционного буфета.

К тем разболтанным дверям,  
На ночь глядя, путь не близкий —  
По картофельным полям,  
По тропе, как мыло, склизкой.

И не те уже года,  
И не выдумка простуда.  
Ничего еще — туда.  
А оттуда — ох, как худо

Добираться не резон:  
Мало ль мокла ты и зябла.  
Отдохни, сдобряя сон  
Винным духом поздних яблок.

1966

\*Первая книжная  
публикация

Лежат они, глухие и немые,  
Под грузом плотной от годов земли —  
И юноши, и люди пожилые,  
Что на войну вслед за детьми пошли.  
И женщины, и девушки-девчонки,  
Подружки, сестры наши, медсестренки.  
Что шли на смерть и повстречались с ней  
В родных краях иль на чужой сторонке,  
И не затем, чтоб той судьбой своей  
Убавить доблесть воинов мужскую.  
Дочерней славой — славу сыновей.—  
Ни те, ни эти, в смертный час тоскуя,  
Верней всего, не думали о ней,

1966

Есть имена и есть такие даты,—  
Они нетленной сущности полны.  
Мы в буднях перед ними виноваты.—  
Не замолить по праздникам вины.  
И славословья музыкою громкой  
Не заглушить их памяти святой.  
И в наших будут жить они потомках,  
Что, может, нас оставят за чертой.

1966

М. Гефтер

Возврат в мир

Природа квази-простоты Твардовского:  
его простота ОБМАНЧИВА.

Неожиданностью была Муравия.

Неожиданен Теркин.

И «Дом у дороги» в сравнении со всем, что говорилось — прозою и стихом,  
и также в сравнении с «Теркиным».

Неожиданен Теркин — на том (этом) свете.

Неожиданна лирика ухода — ясная, изначальная...

Псевдо-простота Твардовского — противостояние псевдо-сложности  
(у какой свои амплуа и в творчестве, и в критике).

А природа УПРОЩЕНИЯ МИРА входит в суть  
тех отношений людей.

какие не сводимы к одному единственному основанию  
и лишь искусственно могут быть укрупнены отбором,  
отсевом «лишнего», «второстепенного»...

Поразительно: его упрощение — всегда к добру...

Он отклоняется от изображения (прямого) зла и злых людей.

НО это не воспринимается как идиллия.

Ибо это упрощение, входящее в плоть ТРАГЕДИИ: «брат против брата».

Если Мир это «Дом домов», то все жители его — братья.

(«В семье не без урода»? Можно по уродам судить о данной семье,  
а можно и иначе —

скорбеть по всем видам и обликам уродства,  
зачисляя их существование и на свой собственный счет...)

...Когда людям не дается будущее, они особенно взыскательны к прошлому.  
Они роются в собственных родословных, пытаясь найти там ответ.  
Пытаются разговорить сфинкса.

Они норовят наказать былое за свою неспособность разобраться  
в альтернативах предстоящего.

А мы — дома — упорно доискиваемся ответа на вопрос:  
есть ли будущее у прошлого?

У прошлого отдельных этносов — стран — цивилизаций, ибо мы неявно —  
всегда — состояли из них. У прошлого той естественной и  
противоестественной связи, каковой является российская Евразия —  
фрагмент Мира, разделяющий судьбу Мира.

И без всех, кто был озабочен судьбой вопроса и сутью ответа, — не обойтись.  
Даже если были те ответы не в лоб.

Но страдание ищущих — в копилке опыта.

Великий ли Твардовский? — Какой спор.

Кто-то: самый...

Кто-то: не такой уж и самый...

Но — в иконостасе. Раз и навсегда.

И еще — в мартирологе, какой ведется от Герцена.

И не быть первому без второго...

На Руси так!

И спор —

о месте его в нашем сознании.

Два неизвестных: ОНО и ОН.

Да и есть ли ОНО — единое: НАШЕ?

Хрестоматийность не непременно сознание. Как и наследство —  
не эстафета.

Наследовать значит начинать с начала.

Себя (очевидное) и ВООБЩЕ — (тайна, искус., дерзость, Голгофа).

Он из послеоктябрьских

самый «ВООБЩЕ» — в особом смысле...

Как у М.А. Булгакова: Пушкин это «вообще» не стихи.

И Александр Трифонович Твардовский также.

Этим ближе к Пушкину, чем даже к Некрасову.

Хотя все трое — редакторы, творившие читателя и автора.

И все-таки — ближе к первому.

А первый почему первый? Неприличный вопрос. («Отчего у ребенка есть и мать, и отец?...»)

Не в том ли тайна Александра Трифоновича Твардовского,

что он — его Слово — и есть возврат Мира?

Речь не о поэзии советской —

пост-октябрьской по «дате»,

а по происхождению и смыслу...

«Старая» поэзия свободно двигалась по стезям духовного Мира,

не вдумываясь достаточно в то, что эта свобода в огромной степени мнимая,  
если в «предмете» ее видеть и себя — творящего,

и себя же читателем...

Затем — на время слияние с читателем... и — отрыв от Мира.

Он, Мир, — расколот на два.

Расколотый — мог ли быть освоен-исчерпан Словом?

Мог ли оставаться в сфере поэтического?

Не потому ли — на помощь и дневники, и проза?

### У Твардовского — возврат в Мир

Это важно — расколотый Мир как предмет.

И — как вопрос...

А.Твардовский

Полночь в мое городское окно  
Входит с ночных дарами:  
Позднее небо полным-полно  
Скученных звезд мирами.

Мне еще в детстве, бывало, в ночном,  
Где-нибудь в дедовском поле  
Скопища эти холодным огнем  
Точно бы в темя кололи.

Сладкой бессонницей юность мою  
Звездное небо томило:  
Где бы я ни был, казалось, стою  
В центре вселенского мира.

В зрелости так не тревожат меня  
Космоса дальние светы,  
Как муравьиная злая возня  
Маленькой нашей планеты.

1967

*Из рабочих тетрадей 60-х годов***29.VIII.68. Пахра**

Страшная десятидневка.

Что делать нам с тобой, моя присяга.  
 Где взять слова, чтоб рассказать о том,  
 Как в сорок пятом нас встречала Прага  
 И как встречает в шестьдесят восьмом. —

Записывать — все без меня записано.

Встал в 4, в 5 слушал радио — в первый раз попробовал этот час. Слушал до 6, курил, плакал, прихлебывая чай. Потом еще задремал до 8. Сейчас 9.30. Еду в Москву<sup>1</sup>... <...>

<sup>1</sup>Запись сделана под впечатлением введения советских войск в Чехословакию 21 августа. Примечание — В.А. Твардовской.

В чем хочешь человечество вини  
 И самого себя, слуга народа,  
 Но ни при чем природа и погода:  
 Полны добра перед итогом года,  
 Как яблоки антоновские, дни.

Безветренны, теплы — почти что жарки,  
 Один другого краше, дни-подарки  
 Звенят чуть слышно золотом листвы  
 В самой Москве, в окрестностях Москвы  
 И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой беввестною зимой  
 Каких еще тревог и потрясений  
 Так свеж и ясен этот мир осенний,  
 Так сладок каждый вдох и выдох мой?

Всему свой ряд, и лад, и срок:  
В один присест, бывало,  
Катал я в рифму по сто строк,  
И все казалось мало.

Был неогляден день с утра,  
А нынче дело к ночи...  
Болтливость — старости сестра,—  
Короче.  
Покороче.

1969

Что нужно, чтобы жить с умом?  
Понять свою планиду:  
Найти себя в себе самом  
И не терять из виду.

И труд свой пристально любя,—  
Он всех основ основа,—  
Сурово спрашивать с себя,  
С других не столь сурово.

Хоть про сейчас, хоть про запас,  
Но делать так работу,  
Чтоб жить да жить,  
Но каждый час  
Готовым быть к отлету.

И не терзаться — ах да ох —  
Что, близкий или дальний.—  
Он все равно тебя врасплох  
Застигнет, час летальный.

Аминь! Спокойно ставь печать,  
Той вопреки оглядке:  
Уж если в ней одной печаль,—  
Так, значит, все в порядке.

(1969)

Час мой утренний, час контрольный,—  
 Утро вечера мудреней,—  
 Мир мой внутренний и окольный  
 В этот час на смотру видней.

Час открытый, еще возможных,  
 И верней его подстеречь  
 До того, как пустопорожних  
 Ни мечтаний, ни слов, ни встреч.  
 Не скрывает тот час контрольный,—  
 Благо, ты человек в летах,—  
 Все, что вольно или невольно  
 Было, выпало не то, не так.

Но еще не бездейственен ропот  
 Огорченной твоей души  
 Приобщая к опыту опыт.  
 Час мой, дело свое верши.

**1970**

\*Не власть бы мне в чрезмерную гордыню  
 (Соблазн велик — всем прочим неровня)  
 По поводу забот, с какими ныне  
 Стремится Власть окоротить меня.

**4.VII.1970**

\*Первая книжная  
публикация

М. Гефтер

Начать со слова

Смерть как враг и со-творец жизни — от Твардовского ли?

Тут и «фольклорная» основа, и — коллизия XX-го.

А сравни с Пушкиным и вспомни — Некрасова, Тютчева, Блока...

А если в этот ряд и Лорку, и Мартинайтиса?

Но у них еще и БЕЗ-УМИЕ...

А это — не его. И прямо, и даже окольно не его. Не для сына кузнеца.

Не для выученика Лифшица.

Судьба Ума — ему близка, ему, но безумие — не его Слову...

А как же переосмысление наследства?

Не самое сильное у него — размышление вслух о литературе.

о природе творчества.

Сказанное им о Пушкине достойно, но не дальше.

Это у него было впереди.

Это у него отняли.

Безусловность Вкуса, Меры

еще не достроилась до ЭСТЕТИКИ российского неоклассицизма,

пост-«соалистического реализма».

---

Сам — свой у «верха».

И — чужой до полюсности.

Аутсайдер все больше.

Одинокий,

даже дома...

Чем выше — тем чужее??

У Мандельштама, как у Булгакова,— благо была Маргарита.  
 Маяковскому же, соорудившему себе одиночество раньше других,  
 Марине Ивановне — вторично московской, елабужской,— кто им  
 в силах был подставить плечо,  
 когда Земля стала уходить из-под ног?

А Твардовский — вроде и не брошенный, и любимый, даже счастливо  
 не видящий всех мелких бесов в близких листцах?  
 Его одинокость, может быть, всего более сродни Пушкинской.  
 И казенный фимиам, посмертно вмененный его гонителями, и пошлый Л.  
 в самозванных душеприказчиках заставляют вспомнить Пушкинский юбилей  
 в разгаре 37-го.  
 К счастью, ныне не убивают подряд. И нет того непостижимого  
 самообмана, который тогда владел душами.  
 (Как ни вычитай из него страх и расчетец, замену лица личиной,  
 что-то все-таки остается: до жуткости идеальное, до безумия  
 бескорыстное...)  
 Нынешний же самообман — все больше с малой буквы и все чаще видится  
 на нем ярлык с ценою.  
 Но, оказывается, и мелкость душит, достигая мертвых.

1984

<...> ...Вот вспомнил об Александре Ивановиче Герцене и тотчас мысленно  
 поставил рядом Александра Трифоновича Твардовского. Его конец, его  
 уход.  
 Кому-то сравнение это покажется, вероятно, натянутым.  
 Разве ушел Твардовский, а не ушли его, оборвав жизнь — сначала его журна-  
 ла, затем его собственную, полную еще неистраченных возможностей,  
 на пороге открытый, цену которых мы еще не осознали вполне...  
 Разве покинул Твардовского читатель, а не вырвали «Новый мир» из его рук  
 посредством подлой интриги литературных бонз, реакционеров и зави-  
 стников, получивших «добро» на самом верху? И разве могло быть иначе  
 после 1968-го, разве это не было логическим шагом, за которым после-  
 довали и раньше, и почти одновременно, и позже — другие, менее за-  
 метные, но столь же логичные шаги, совокупностью которых был засто-  
 порен, искажен долгий путь, которым шли мы, в который верил  
 Твардовский?

М. Гефтер

Постскриптум

*Из письма  
Валентине Александровне Твардовской  
Москва, 4 января 1973 г.*

<...>

... Обычная моя неприязнь к Новому году с его «новым счастьем» на сей раз была много больше нормы. Да еще грипп подкатил. Впрочем, все это внешнее. Подоплека же другая, серьезнее личных передряг и переживаний.

Чувствую, что что-то отломилось, какой-то пласт жизни с его надеждами, планами, иллюзиями. И, вероятно, не только моей жизни. Мы все по инерции делали нечто, цеплялись за что-то, может быть, и делали почти все, что умели, но то, что делали, становилось все менее и менее осуществимым. 60-е годы задержались, и лишь сейчас, спустя 2-4 года после своего «естественного» конца уходят в небытие. Напрашивается невольно параллель с теми шестидесятыми\* и хочется думать, что наши также оставят след и что даже задел их окажется еще значительней. Увидим ли только мы, как им воспользуются эти — следующие, нынешние мальчики и девочки, раздражающие нас своими «нет», курением, отсутствием определенности в желаниях и замыслах. Откуда же ей быть, определенности? И кто, когда начинал новое с полной ясности? Шестидесятые (наши) со всеми их мучительными зигза-

\*Речь идет о шестидесятых годах XIX века, насыщенных событиями, переломными для российской истории.

гами были эпохой (уже эпохой), когда все искали (все из тех, кто искал), простых ответов, способных сохранить веру. Не станем уточнять — во что? Это было сугубо разным, хотя слова часто произносились одинаковые. Часто, но не всегда. Происходила великая очистка — девальвация казенных и возрождение подлинных. Вот уж когда действительно все начиналось со слова — в самом прямом, первозданном значении его. За то, чтобы оно было своим и только в этом качестве нужным всем, чтобы его подлинность подготавливала развитие внутри него нового смысла и даже больше — другого, нового человека (словом снова начинался человек, личности!), за это заплачено — Вам ли говорить? — тяжкой ценой! Но не напрасно. Как это ни жестоко говорить себе, но цена не могла не быть огромной. Только сейчас это становится ясным в полной мере, только сейчас, когда совсем, окончательно уходят 60-е с его словами, звучавшими и как итог, и как наказ, и как единственное достойное человека утешение

Но еще не бездействен ропот  
Огорченной твоей души.  
Приобщая к опыту опыт,  
Час мой. дело свое верши.

31-го я перечитывал эти строки, удивительные строки.\*  
А вчера получил Ваше письмо, вызвавшее столь сложные  
чувства, что нет сейчас сил их выразить. Для меня двух этих  
записей в рабочей тетради Александра Трифоновича доста-  
точно, чтобы считать небесполезной свою жизнь.\*\*

Ваш М. Гефтер

\* Цитата — из стихотворения А.Твардовского «Час мой утренний, час контольный».

\*\* В «Рабочих тетрадях» последних лет А.Т. Твардовский сделал две записи с положительной оценкой работ М.Я Гефтера.

## Об авторах

### А.Твардовский Автобиография

#### «Фрагменты»

Родился я в Смоленщине, в 1910 году, 21 июня, на «хуторе пустоши Столпово», как назывался в бумагах клочок земли, приобретенный моим отцом, Трифоном Гордеевичем Твардовским, через Поземельный крестьянский банк с выплатой в рассрочку. Земля эта — десять с небольшим десятин, — вся в мелких болотцах — «оборках», как их у нас называли, и вся заросшая лозняком, ельником, березкой, — была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. И нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, подзолистой, скучной и недоброй, но нашей земле — нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Местность эта была довольно дикая, в стороне от дорог, и отец, замечательный мастер кузнечного дела, вскоре закрыл кузницу, решив жить с земли. <...>

Отец был человеком грамотным и даже начитанным по-деревенски. <...>

Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечатлительна и чутка, даже не без сентиментальности, ко многому, что находилось вне практических, житейских интересов крестьянского двора, хлопот и забот хозяйки в большой много-детной семье. <...>

Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. <...>

По-разному благосклонно и по-разному с тревогой относились мои родители к тому, что я стал сочинять стихи. Отцу, человеку очень честолюбивому, это было лестно, но из книг он знал, что писательство не сулит больших выгод, что писатели бывают

и не знаменитые, безденежные, живущие на чердаках и голодящие. Мать, видя мою приверженность к таким необычным занятиям, по-своему чуяла в ней некую печальную предназначенностъ моей судьбы и жалела меня. <...>

С 1924 года я начал посыпать небольшие заметки в редакции смоленских газет. Писал о неисправных мостах, о комсомольских субботниках, о злоупотреблениях местных властей и т.п. Изредка заметки печатались. Это делало меня, рядового сельского комсомольца, в глазах моих сверстников и вообще окрестных жителей лицом значительным. Ко мне обращались с жалобами, с предложениями написать о том-то и том-то, «протянуть» такого-то в газете... Потом я отважился послать и стихи. В газете «Смоленская деревня» летом 1925 года появилось мое первое напечатанное стихотворение «Новая изба». Начиналось оно так:

Пахнет свежей сосновой смолою,  
Желтоватые стены блестят.  
Хорошо заживем мы с весною  
Здесь на новый, советский лад...

После этого я, собрав с десяток стихотворений, отправился в Смоленск к М.В. Исаковскому, работавшему там в редакции газеты «Рабочий путь». Принял он меня приветливо, отобрав часть стихотворений, вызвал художника, который зарисовал меня, и вскоре в деревню пришла газета со стихами и портретом «селькора-поэта А. Твардовского». <...>

Обучение мое прервалось по существу с окончанием сельской школы. Годы, назначенные для нормальной и последовательной учебы, ушли. Восемнадцатилетним парнем я приехал в Смоленск, где не мог долго устроиться не только на учебу, но даже на работу — по тем временам это было еще не легко, тем более, что специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработка и обивать пороги редакций. Я и тогда понимал незавидность такого положения, но отступать было некуда. — в деревню я вернуться не мог, а молодость позволяла видеть впереди, в недалеком будущем только хорошее.

Когда в московском «толстом» журнале «Октябрь» М.А. Светлов напечатал мои стихи и кто-то где-то отметил их в критике, я заявил в Москву. Но получилось примерно то же самое, что со Смоленском. Меня изредка печатали, кто-то одобрял мои опыты, поддерживал ребяческие надежды, но зарабатывал я ненамного больше, чем в Смоленске, и жил по углам, койкам, слонялся по редакциям, и меня все заметнее относило

куда-то в сторону от прямого и трудного пути настоящей учебы, настоящей жизни. Зимой тридцатого года я вернулся в Смоленск и прожил там лет шесть-семь, до появления в печати поэмы «Страна Муравия».

Период этот — может быть, самый решающий и значительный в моей литературной судьбе. Это были годы великого переустройства деревни на основе коллективизации, и это время явилось для меня тем же, чем для более старшего поколения — Октябрьская революция и гражданская война. Все то, что происходило тогда в деревне, касалось меня самым близким образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением. В Смоленске я, наконец, принял за нормальное учение. С помощью ныне покойного смоленского партийного работника А. Н. Локтева поступил я в Педагогический институт без приемных испытаний, но с обязательством сдать в первый год все необходимые предметы за среднюю школу, в которой я не учился. Мне удалось в первый же год вырасти с моими однокурсниками, успешно закончить второй курс, с третьего я ушел по сложившимся обстоятельствам и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ), куда поступил осенью тридцать шестого года.

Эти годы учебы и работы в Смоленске навсегда отмечены для меня высоким душевным подъемом. Никаким сравнением я не мог бы преувеличить испытанную тогда впервые радость приобщения к миру идей и образов, открывшихся мне со страниц книг, о существовании которых я ранее не имел понятия. Но, может быть, все это было бы для меня «прохождением» институтской программы, если бы одновременно меня не захватил всего целиком другой мир — реальный нынешний мир потрясений, борьбы, перемен, происходивших в те годы в деревне. Отрываясь от книг и учебы, я ездил в колхозы в качестве корреспондента областных газет, вникал со страстью во все, что составляло собою новый, впервые складывающийся строй сельской жизни, писал статьи, корреспонденции и вел всякие записи, за каждой поездкой отмечая для себя то новое, что открылось мне в сложном процессе становления колхозной жизни. Около этого времени я совсем разучился писать стихи, как писал их прежде, пережил крайнее отвращение к «стихотворству» — составлению строк определенного размера с обязательным набором эпитетов, подыскиванием редких рифм и ассоциантов, стремлением попасть в известный, принятый в тогдашнем поэтическом обиходе тон.

Моя поэма «Путь к социализму», озглавленная так по названию колхоза, о котором шла речь, была сознательной попыткой

говорить в стихах обычными для разговорного, делового, отнюдь не «поэтического» обихода словами:

В одной из комнат бывшего барского дома  
Насыпан по самые окна овес.  
Окна побиты еще во время погрома  
И щитами завешаны из соломы.  
Чтобы овес не пророс  
От солнца и сырости в помещенье.  
На общем хранится зерно попеченье..

Поэма, выпущенная по рекомендации очень благожелательно к молодым Эд. Багрицкого в 1931 году издательством «Молодая гвардия», встречена была в печати, в общем, положительно, но я не мог не почувствовать сам, что такие стихи — езда со спущенными вожжами, утрата ритмической дисциплины стиха, проще говоря, не поэзия. И вернуться к стихам в прежнем, привычном духе я уже не мог. Новые возможности погрелись мне в организации стиха из его элементов, входящих в живую речь,— из оборотов и ритмов пословицы, поговорки, присказки. Вторая моя поэма «Вступление», вышедшая в Смоленске в 1932 году, была данью таким именно односторонним поискам «естественноти» стиха:

Жил на свете Фодот. Был про него анекдот:  
— Федот, каков умолог?  
— Как и в прошлый год.  
— А каков укос?  
— Чуть не целый воз.  
— А как насчет сала?  
— Кошка украла...

По материалу, содержанию, даже намечавшимся в общих чертах образам обе эти поэмы подготовляли «Страну Муравию», написанную в 1934-1936 годах. Но для этой новой моей вещи я должен был на собственном трудном опыте разувериться в возможности стиха, который утрачивает свои основные природные начала: музыкально-песенную основу, энергию выражения, особую эмоциональную наполненность.

Пристальное знакомство с образцами большой отечественной и мировой поэзии и прозы подарило мне еще такое «открытие», как законность условности в изображении действительности средствами искусства. Условность хотя бы фантастического сюжета, преувеличение и смешение деталей живого мира в художественном произведении перестали мне казаться пережиточными моментами искусства, противоречащими реализму

изображения. А то, наблюденное и добытое из жизни мною лично, что я носил в душе, гнало меня к новой работе, к новым поискам. То, что я знаю о жизни,— казалось мне тогда,— я знаю лучше, подробней и достоверней всех живущих на свете, и я должен об этом рассказать. Я до сих пор считаю такое чувство не только законным, но и обязательным в осуществлении всякого серьезного замысла. <...>

Со «Страны Муравии», встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писаниям, которые могут характеризовать меня как литератора. Выход этой книги в свет послужил причиной значительных перемен и в моей личной жизни. Я переехал в Москву: в 1938 году вступил в ряды Коммунистической партии; в 1939 году окончил МИФЛИ, выпустил книгу новых стихов «Сельская хроника».

Осенью 1939 года я был призван в армию и участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию. По окончании похода я был уволен в запас, но вскоре вновь призван и, уже в офицерском звании, но в той же должности спецкорреспондента военной газеты, участвовал в войне с Финляндией. Месяцы фронтовой работы в условиях суровой зимы сорокового года в какой-то мере предварили для меня военные впечатления Великой Отечественной войны. А мое участие в создании фельетонного персонажа «Васи Теркина» в газете «На страже Родины» (ЛВО) — это по существу начало моей основной литературной работы в годы Отечественной войны. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первых дней отличили ее от каких бы то ни были иных войн, и тем более военных кампаний. Это, конечно, и определило существенное отличие теперешнего «Василия Теркина» от того, прежнего, «Васи».

<...> ... «Книга про бойца», каково бы ни было ее собственно литературное значение, в годы войны была для меня истинным счастьем: она дала мне ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся, непринужденной форме изложения. «Теркин» был для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем — воюющим советским человеком, — моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к слушаю. Впрочем, все это, мне кажется, более удачно выражено в заключительной главе самой книги.

Почти одновременно с «Теркиным» и стихами «Фронтовой хроники» я начал еще на войне, но закончил уже после войны, поэму «Дом у дороги». Тема ее — война, но с иной стороны, чем

в «Теркине», — со стороны дома, семьи, жены и детей солдата, переживших войну. Эпиграфом этой книги могли бы быть строчки, взятые из нее же:

Давайте, люди, никогда  
Об этом не забудем.

Всегда наряду со стихами я писал прозу — корреспонденции, очерки, статьи, рассказы: выпустил еще до «Муравии» нечто вроде небольшой повести — «Дневник председателя колхоза» — результат моих деревенских записей «для себя». В 1947 году опубликовал книгу о минувшей войне «Родина и чужбина» <...>.

Могу сказать, что если Смоленщина, со всей ее неповторимой и бесценной для меня памятью, досталась мне, как говорится, от отца с матерью, то уже, например, Сибирь, с ее суровой и величественной красотой, природными богатствами, гигантскими стройками и сказочно-широкими перспективами, я обретал для себя уже сам в зрелые годы. Правда, интерес и влечение к Сибири и Дальнему Востоку были у меня задолго до моих поездок в эти края, с отроческих лет, под влиянием книг и отчасти переселенческих мечтаний и планов отца, то и дело возникавших у него в полном противоречии с привязанностью к своему загорьевскому «имению».

Эту новую мою связь — связь с «иными краями» — я сознательно развиваю и укрепляю с конца сороковых годов, когда впервые побывал на востоке страны, и она непосредственно сказалась в главной моей работе пятидесятых годов — книге «За далью — даль».

Одновременно с этой книгой, а также лирикой, очерками и статьями, в эти годы писалась поэма «Теркин на том свете». <...>

В эти же годы значительную часть своего рабочего времени уделял редактированию журнала «Новый мир».

Как только автобиография оставляет форму прошедшего времени, продолжение ее как таковой становится, по крайней мере, нескромным и уж во всяком случае не может заменить собою делания ее, то есть написания новых вещей, о которых автору позволительнее высказываться после их появления перед судом читателя.

## М.Я.Гефтер

---

Гефтер Михаил Яковлевич (24.08.1918, Симферополь — 15.02.1995, Москва, похоронен на Армянском кладбище) — историк, философ, публицист.

Родился в семье служащих в Симферополе. Там же окончил школу. В 1936-м стал студентом исторического факультета Московского Государственного Университета. Окончил его с отличием 2 июля 1941 года и сразу же был командирован политруком и командиром батальона МГУ на строительство противотанковых преград под Москвой. С октября 1941 — доброволец Отдельного истребительного батальона Красной Пресни, затем 8-го полка московских рабочих. В боях за Ржев был дважды тяжело ранен. Награжден солдатским орденом Славы, медалями.

После аспирантуры в Институте истории АН СССР с 1951 г. стал научным сотрудником этого же института. В 1953 защитил кандидатскую диссертацию «Царизм и монополии в топливной промышленности России накануне первой мировой войны». В те же годы был привлечен к созданию первой советской «Всемирной истории» в 10 томах как один из создателей проекта, редактор, а также и автор ряда текстов. М.Я. все больше притягивают проблемы философии истории, метаморфозы исторического факта, истоки и эволюция исторического сознания.

В 1963 г. Гефтер создал и возглавил первый в стране сектор методологии истории в Институте истории АН СССР. Он собрал уникальный коллектив, в котором работали или сотрудничали Л.М. Баткин, В.С. Библер, И.В. Бестужев-Лада, Л.Н. Гумилев, М.М. Герасимов, Вяч.В Иванов, А.Л. Монгайт, Г.С. Померанц, Б.Ф. Поршнев, С.О. Шмидт и др. Благодаря созданному в секторе духу свободного поиска был внесен серьезный научный вклад в развитие новых тем и исследовательских направлений, в числе которых социальная психология, диалоги культур, история социальных движений, теоретическое источниковедение, историческая антропология, динамика исторических формаций.

проблема многоукладности, теория исторического процесса и др. В предисловии к одному из созданных сектором сборников «Историческая наука и некоторые проблемы современности» (М., Наука, 1969) ответственный редактор Гефтер выражал кредо своего научного коллектива, суть которого в необходимости «нового прочтения исторической концепции Маркса, Энгельса, Ленина...», что «требует исторического подхода к самому наследству...» Покушение на догматы вызвало незамедлительную реакцию: заказные разгромные статьи в печати, жесткая критика сектора и его работ со стороны отдела науки ЦК партии. Наборы других секторальных книг были рассыпаны. Институт истории по требованию Отдела науки ЦК партии разделили на два академических учреждения (в 1969 г.) и в ходе реорганизации сектор методологии как единый научный коллектив ликвидировали.

С начала 1970-х почти четверть века Гефтера не печатали. Его оставили «при дирекции», уволить формально не могли: инвалид войны, ученый с прочным авторитетом и широкой известностью в отечественных научных кругах и за рубежом. В 1976 г. он сам досрочно ушел на пенсию. Стал активно работать дома. «думал в стол», формулировал новые для себя задачи: «Труднее всего — ухватить целое. Движение целого. В людях, конечно, ибо какая же история, если безлюдна. Но еще два действующих лица не упустить из виду: Пространство и Время. Пространство — российское, которое заведомо не страна, но и империей не исчерпывается. А если империей, то той — особенной, что доставшись XX веку, не в силах уйти, не прихватив с собою этот век. А Время? Оно и есть время, потребное для такого ухода; когда не от нуля, но — с начала.» («Процальная запись», 1976.)

Интерес к проблемам философии истории и гносеологии исторического познания привел к переосмыслению и оригинальной трактовке многих конкретно-исторических сюжетов и персонажей. Среди постоянных тем-притяжений — русский XIX век, декабристы до восстания и после, Чаадаев, Пушкин, спор Герцена с Чернышевским, мыслящее движение на пути к 1 марта 1881, сражение мысли с властью, Витте, биография мысли Ленина, революции начала века XX, российские альтернативы и развилики (1905 — 1994), феномен сталинизма, войны, включая холодную, судьба утопии во всемирной истории, Россия в мире и Мир России, а также многие другие.

Гефтер полагал, что важнее всего — «доработаться до вопроса», установить диалог с минувшим и с «живыми мертвыми» всех эпох и народов, без которых человеку не отыскать выхода из множащихся катаклизмов, тупиков и кризисов, отечественных и мировых. С этим он пришел в диссидентство. У М. Я. все больше

молодых друзей, собираются «домашние семинары». С 1978 Гефтер — один из инициаторов и авторов самиздатского московского журнала «Поиски». Активно сотрудничал он с 1977 до закрытия в 1981 году и с самиздатской «Памятью». Последовали обыски, допросы, аресты друзей. Когда их отправили в лагеря и ссылки, стал правозащитником, содействовал освобождению.

С 1987 г. пришла возможность печататься. Статьи, эссе, беседы, опубликованные в периодике, становились предметом широких дискуссий («Надо ли нас бояться?», «Сталин умер вчера», «Россия и Маркс», «Конвергенция или мир миров», «От анти-Сталина к не-Сталину: непройденный путь», «Перестройка или перепутье?», «Дом Евразия», «История — позади? Историк — человек лишний?» и др.)

С 1988 он член совета общества «Мемориал», с 1992 — Президент научно-исследовательского и просветительского центра «Холокост». В 1993 был введен в состав Президентского совета, из которого вышел в октябре 1993 после расстрела парламента в Москве.

Подавляющая часть наработок Гефтера (сохранившихся после обысков, изъятий и переездов) до сих пор не опубликована. Не собраны в книги и работы, выходившие в 1990-х в периодике. «Он оставил за собой — при бесспорности своего остатка в культуре — уклончивость формы и тайну невоплощенности, не разгадав которой мы не сумеем ни понять, ни продолжить его работу. Однако игнорировать ее впредь невозможно, русская культура уже несет в себе «измерение Гефтера» (Г. Павловский).

#### Издано:

«Сталинизм». «Десталинизация». «Октябрьская революция: событие, эпоха, феномен сознания» // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М., Прогресс, 1989; Из тех и этих лет (избранные эссе, диалоги, портреты, мысли об истории) — М., 1991; Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники исторического факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях / Сост., вводные тексты М. Я. Гефтера. М., 1995; Мир миров: российский зачин // Иное. Крестоматия нового российского самосознания. М., 1995; Эхо Холокоста и русский еврейский вопрос. М., 1995; Россия: диалоги вопросов (препринт). М., 2000; Смерть — гибель — убийство; М., 2000. Там, где сознанию узко и больно. М., 2004.

#### О Гефтере:

Неретина С.С. История с методологией истории // Вопросы философии. 1990. № 9: Павловский Глеб. Замечания на прожитую

книгу // Век XX и мир. 1991. №8; Елисеев Н. Мыслящие вслух: Гефтер, Померанц, Мамардашвили, Лосев // Знамя. 1993. № 2; Гефтер с нами и сам по себе: сб. к 75-летию историка. М., 1993 (препринт); Павловский Г.О. Невосстановимый Гефтер // Век XX и мир. 1994. № 11-12; Аутсайдер — человек вопроса. Тома 1-3 . М., 1996 (в томе 3 — наиболее полная библиография публикаций М.Я. Гефтера с 1940 по 1996гг.); Высоchnina E.I. Mихаил Яковлевич Гефтер // Историки России: послевоенное поколение. М., Михаил Гефтер в русской-зыгчном Интернете.— М., 2002.

Елена Высоchnina

## ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ»

Готовятся к печати:

### РОССИЙСКАЯ ГВАРДИЯ 1700-1918 гг.

Биобиографический справочник.

Самый полный и достоверный свод материалов, отражающих в сжатом виде всю историю Российской Гвардии. Создатели опирались на редкие исторические документы и новейшие архивные изыскания. Справочник содержит уникальные сведения о гвардейских формированиях, списки командиров, боевые формуляры и др., сопровождается редким иллюстративным рядом.

### Пихоя Р.Г. МОСКВА. КРЕМЛЬ. ВЛАСТЬ. 1945-2002 гг. ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

Книга посвящена политической истории России второй половины XX — начала XXI века. В центре внимания — эволюция власти в СССР, особенности ее функционирования, механизмы принятия решений во внешней и внутренней политике руководством страны от Сталина, Берии, Маленкова, Хрущева, Брежнева, Андропова и др. Особое внимание уделено распаду СССР. Глубоко анализируется крушение советской системы, вызванное, в частности, противоречием между принципами «всевластия Советов» и разделения властей. В книге впервые исследована деятельность съездов и Верховного Совета Российской Федерации, суть политico-конституционного кризиса 1993 года.

Книга написана на основе документов из архивов Секретариата, Политбюро ЦК КПСС, Верховного Совета РФ и других источников.

### РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. 1905-1925 гг. Сборник документов. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Составитель Д.А. Аманжолова при участии Б.Ф. Додонова

На основе неопубликованных документов освещаются мало исследованные аспекты национальной политики России и межэтнических отношений в Центральной Азии, особенности цивилизационных, политических, межконфессиональных и иных связей России и Центральной Азии (территория бывшего Степного края и Туркестана) с начала XX века до середины 1920-х годов.

Сборник включает материалы из фондов ГА РФ, РГАСПИ, РГВИА, РГИА (СПб), ЦГА Республики Узбекистан, ГА Семипалатинской области (Казахстан) и др., а также материалы редких периодических изданий, выходивших в Средней Азии в 1905-1925 гг.

Эти и другие книги издательства можно заказать по адресу:  
109052 Москва, а/я 38. Тел./факс (095) 671-0095  
E-mail: nkhronograf@mail.ru

**Александр Твардовский  
Михаил Гефтер**

**ХХ ВЕК.  
ГОЛОГРАММЫ ПОЭТА И ИСТОРИКА.**

Составитель — Е.И. ВЫСОЧИНА

Выпускающий редактор — Л.С. ЯНОВИЧ

Художественное оформление, дизайн макета — Ю.А. САВЧЕНКО

Макет, компьютерная верстка — А.В. БАЙДИНА

Обработка факсимильных материалов М.Я. Гефтера — Р.В. ЛЫСЕНКО

Корректоры — О.А. ДОЛЕЦКАЯ, М.Н. ПОЛИЩУК

Техническая поддержка — И.С. ШУБИН, Г.В. ИГРУНОВ

Форзацы: фотография Н.Г. ПАВЛОВСКОЙ

Подписано в печать 20.07.2005.

Формат 70x100 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Печ. л. 31.

Тираж 5000 экз. Заказ № 7873.

НП Издательство «Новый Хронограф»  
Контактный телефон в Москве (095) 8710095

E-mail: [nkhrongraf@mail.ru](mailto:nkhrongraf@mail.ru)

Информация об издательстве в Интернете  
<http://www.novhron.ru>

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»  
170024, г Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15  
Интернет/Home page - [www.tverpk.ru](http://www.tverpk.ru) Электронная почта (E-mail) - [sales@tverpk.ru](mailto:sales@tverpk.ru)



30.000

25 Dp = 12695 C





АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ



М. ГЕФТЕР

...В веке XX-м сумели ли понять-разгадать Александра Твардовского, возведенного в великие и оставшегося одиноким? Того, кто плоть от плоти нашей, от той, что есть и от той, какой нет — не состоялась, замученная самой собою? Он бесспорен или, напротив, — ничто сегодня так не противоречит духу его, его памяти — как равнодушная хрестоматийность вкупе с предписанным и добровольным заговором молчания относительно финала-гибели, бросающей свет на весь его путь.

Упустишь концы, потеряешь начала — истина древняя, ныне же в ней особая нужда, особенная пронзительность. И оттого не столько в осуждение умалчивающих, сколько призывом к несклонному вставлять себе кляп в рот уверенность моя: впереди еще Твардовский, вновь понятый и заново открытый веком XXI-м.

Михаил Гефтер

ISBN 5-94881-038-0



НОВЫЙ ХРОНОГРАФ